УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

На правах рукописи

Мальцев Александр Андреевич

История экономических учений в системе экономических наук: современность и перспективы

Специальность 08.00.01 – Экономическая теория
(Область исследования – 3. История экономической мысли. 3.8. Возникновение новых школ и направлений экономической мысли в условиях трансформации капитализма, краха огосударствленной общественной системы и глобализации экономических процессов; 4. Методология экономической науки. 4.4. Принципы и методы экономико-теоретических исследований, 4.7. Методология историко-экономических исследований. Разработка методологии исследования истории экономической мысли)

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
доктора экономических наук

Научные консультанты:
доктор экономических наук, профессор,
академик РАН А.И. Татаркин,
доктор экономических наук, профессор
Е.П. Дятел

Екатеринбург – 2017

Содержание

Введение ... 3
Глава 1. Изменение роли истории экономической мысли в иерархии экономических дисциплин ... 12
1.1. Причины и последствия периферизации истории экономических учений ... 12
1.2. Эволюция методологического ландшафта истории экономических учений ... 34
1.3. Анализ современного дисциплинарного статуса истории экономических учений ... 63
Глава 2. Теоретико-методологические особенности взаимодействия хозяйственной среды и экономической мысли ... 80
2.1. Специфика эволюции истории экономических учений в контексте трансформации технико-экономического ландшафта глобального хозяйства ... 80
2.2. Ретроспектива теоретических воззрений на роль материальных факторов в развитии экономической мысли ... 100
2.3. Препятствия для рассмотрения истории экономических учений на фоне развития мировой экономики ... 118
Глава 3. Особенности изменения экономических представлений в доиндустриальном и раннеиндустриальном мире ... 143
3.1. Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья в контексте изменений технико-экономических условий хозяйствования ... 143
3.2. Формирование доктрины меркантилизма в зеркале перехода европейских стран на торгово-промышленную траекторию роста ... 154
3.3. Эволюция взглядов представителей классической школы политической экономии в условиях промышленной революции ... 165
Глава 4. Специфика развития экономической мысли индустриальной эпохи ... 177
4.1. Взаимосвязь второй промышленной революции и маржиналистского переворота ... 177
4.2. Возникновение кейнсианского учения в контексте замещения технологических парадигм ... 191
4.3. Модификация кейнсианства в «золотой век процветания» ... 203
Глава 5. Трансформация экономического знания в эпоху постиндустриализации мировой экономики ... 217
5.1. «Инновационная пауза» 1970-х гг. как катализатор монетаристского мятежа ... 217
5.2. Отличительные черты экономической мысли эры становления информационно-коммуникационного уклада ... 231
5.3. Перспективы развития экономических исследований в условиях третьей промышленной революции ... 247
Заключение ... 272
Список литературы ... 278

Введение

Актуальность темы исследования. Последние десятилетия XX – начало XXI столетия стали временем непростых испытаний для истории экономических учений (ИЭУ). Отождествив экономическую теорию с точными дисциплинами и поверив в кумулятивный характер экономического знания, представители мейнстрима сакрализировали максиму: «Наука, которая не отваживается забыть своих основателей, является погибшей» (цит. по: [Kurz, 2006]). Неудивительно, что все больше экономистов стали солидаризироваться с точкой зрения Ж.-Б. Сэя, признавшего «бессмысленным и обременительным эксгумировать… нелепые мнения и дискредитированные доктрины прошлого» (цит. по: [Theocarakis, 2014, p. 12]). Многие специалисты, полагая, что экономика стала естественно-научной дисциплиной, на которую распространяется принцип «чем более совершенна наука, тем меньше внимания должно уделяться ее прошлому» (цит. по: [Boettke et al., 2010, p. 7]), начали бравировать нежеланием знать что-либо «о теориях мертвых авторов» (цит. по: [Роббинс, 2013, с. 395]). Однако Великая рецессия 2007–2009 гг. нанесла серьезный удар по позициям тех экономистов, кто верил, что все полезные теоретические наработки прошлого уже описаны в последних трудах, а прогресс в экономической науке носит линейный характер «от ложных идей к истинным». Все большее количество экспертов соглашается с тем, что поверхностное знание ИЭУ представителями основного русла стало одной из причин их неспособности предвидеть сколько-нибудь значимые кризисные явления, а также серьезно затрудняет осмысление новых глобальных вызовов XXI века.

Данные обстоятельства обусловливают актуальность изучения истоков аисторичности современного мейнстрима, проведения диагностики современного состояния ИЭУ, а также определения значимости истории экономических учений для профессионального роста будущих экономистов. Решение задачи ревитализации ИЭУ предполагает также систематизацию существующих способов изучения прошлого экономической науки и разработку новых подходов исследования истории экономических учений. Несмотря на серьезное расширение разнообразия методов изучения ИЭУ, произошедшее в последние десятилетия, проблематика влияния различных факторов на развитие экономической науки нуждается в дополнительной проработке. На фоне интереса к рассмотрению отдельных страниц истории экономических учений в контексте изменения культурно-философской атмосферы недостаточно проработанной выглядит проблематика воздействия трансформации хозяйственного ландшафта мировой экономики на ИЭУ. В частности, по-прежнему ощущается нехватка исследований долгосрочной ретроспективы взаимодействия ИЭУ и хозяйственной среды. В связи с этим изучение теоретико-методологических аспектов коэволюции ИЭУ и истории мировой экономики представляется актуальной и практически значимой задачей.

Степень научной разработанности проблемы. Изучение ИЭУ и ее методологии имеет долгую историю. Появление первых специализированных работ по ИЭУ обычно связывают с именами классиков политической экономии Д.Р. Мак-Куллоха и Ж.-Б. Сэя, к важнейшим заслугам которых, среди прочих, можно отнести формирование основ двух главных традиций исследования ИЭУ, получивших впоследствии названия релятивистского и абсолютистского подходов. Ж.-А. Бланки, Дж.К. Ингрэм, Г. Каутц, Л. Косса, К. Маркс, Т. Твисс и ряд других ученых XIX столетия также внесли значимый вклад в развитие ИЭУ. В первой половине XX в. исследования в области истории экономических учений привлекли внимание крупнейших экономистов эпохи. Стараниями Я. Вайнера, У. Митчелла, Л. Роббинса, Э. Селигмена, Й. Шумпетера ИЭУ стала считаться одной из наиболее респектабельных отраслей экономического знания. Важной особенностью изучения ИЭУ в данный период являлось преобладание анализа концепций прошлого в релятивистском ключе, подразумевающем выявление хозяйственных предпосылок их эволюции. В 1960–1980-е гг. усилившееся стремление экономистов стать такими же учеными, как математики, превратило ИЭУ из предмета, находящегося в сердцевине программ профессиональной подготовки, в маловажную дисциплину. В этих условиях едва ли не единственным способом предотвращения окончательного забвения истории экономических учений стал абсолютистский метод, приверженцы которого (ранний М. Блауг, П. Самуэльсон, Дж. Стиглер и др.) пропагандировали и (или) занимались искусственной модернизацией экономических идей прошлого посредством формализации ИЭУ в виде набора математических моделей.

Однако к концу 1980-х гг. усталость от лишенной связи с окружающим миром деконтекстуализированной истории экономических учений вкупе с общим аисторичным настроем экономического мейнстрима вынудила специалистов по ИЭУ углубить сотрудничество с представителями других гуманитарных наук. Расширение межпредметных связей обогатило методологический инструментарий историков экономической мысли. Важной отличительной чертой современных исследований в области ИЭУ является задействование подходов, в рамках которых анализируемые теории прошлого помещаются в исторический, социальный, культурно-философский, дискурсивный и другие контексты. Так, в трудах А.У. Коутса, М. Разерфорда, М. Фуркад, Р. Эмметта экономические идеи представлены в виде продуктов определенных академических культур, изучение которых невозможно без исследования норм и правил, принятых в данных сообществах. Э.Р. Вайнтрауб, А. Кламер, Ю. Йонай, Д. Макклоски, Ф. Мировски, Е.-М. Сент, М. Шабас предлагают рассматривать развитие ИЭУ через призму используемых экономистами метафор и особенностей дискурсивных практик, распространенных в сообществах экономистов. В свою очередь, М. Берг, Э.К. Хант, Й. Цвайнерт изучают историю экономических учений на фоне изменений экономической и политической жизни. Значимость реконструкции бытийных условий, окружающих экономические концепции прошлого, подчеркивали поздний М. Блауг,

Д. Уинч, Г. Шпигель. На важную роль внешних факторов в развитии экономической теории неоднократно обращали внимание Н. Кристодулакис, Э. Райнерт, В. Старк, Р. Скидельски и др.

Отзвуки стартовавшего в конце XX столетия движения общественных наук в сторону стирания междисциплинарных границ все чаще начали раздаваться и в ИЭУ. Например, одной из главных целей совместного проекта Кембриджского и Гарвардского университетов «Обмен экономическими, правовыми и политическими идеями», объединяющего целый ряд видных ученых (Г.С. Джонс, Э. Ротшильд, Д. Тодд, Р. Так и др.), является развитие «новой истории экономической мысли», обеспечивающей пространство для исследовательского сотрудничества специалистов в области ИЭУ и экономической истории, а также историков бизнеса. В работах Р. Бэкхауса, Ф. Дин, П. О'Брайена предприняты попытки найти новые точки соприкосновения между ИЭУ и историей экономики.

Российские ученые также не остаются в стороне от актуальных тенденций в изучении ИЭУ. Широкую известность получили работы по различным методологическим проблемам экономической теории В.С. Автономова, О.И. Ананьина, И.А. Болдырева, И.П. Гуровой, В.М. Ефимова, Е.Н. Калмычковой, А.М. Либмана, Д.Я. Майдачевского, Н.А. Макашевой, Е.В. Попова, Д.Е. Раскова, С.А. Толкачева, Л.А. Тутова, А.Г. Худокормова, И.Г. Чаплыгиной и др. В.С. Афанасьевым, Г.А. Баженовым, Е.П. Дятелом, А.П. Заостровцевым, П.Н. Клюкиным, В.М. Кульковым, Д.В. Мельником, А.А. Пороховским, И.В. Розмаинским, А.И. Татаркиным, Л.Д. Широкорадом подробно исследованы важнейшие страницы истории экономических учений. Катализирующее воздействие переломных моментов хозяйственной практики на экономическую мысль продемонстрировано в исследованиях С.Б. Авдашевой, Е.В. Балацкого, А.В. Бузгалина, Р.С. Дзарасова, А.И. Колганова, А.Д. Некипелова, В.Т. Рязанова, В.Н. Черковца, А.Е. Шаститко и др. Для трудов И.А. Благих, Г.Г. Богомазова, Р.М. Нуреева, Я.С. Ядгарова характерно стремление преодолеть разрыв между ИЭУ и экономической историей. М.Г. Покидченко поднят вопрос о соотнесении истории экономических учений отдельных стран с развитием мировой экономической науки. Оригинальное объяснение причин доминирования экономических учений одних государств над другими при помощи мир-системного подхода предложено Г.Д. Гловели и Ю.В. Латовым. На необходимость углубления сотрудничества экономистов с представителями других общественных дисциплин указывали Л.И. Абалкин, В.М. Полтерович, А.Я. Рубинштейн. Проблема темпоральной относительности экономических учений и актуальности релятивизации экономической теории нашла всестороннее рассмотрение в творчестве Ю.А. Ольсевича.

При всем богатстве и разнообразии литературы, затрагивающей многочисленные проблемы методологии экономико-исторических исследований, целый ряд вопросов по-прежнему ждет своего решения. В частности, достаточно слабо проработанной выглядит проблематика наличия и характера связи между технико-экономическими сдвигами и переменами в экономическом зна-

нии. Требуется выработка новых методов изучения истории экономической мысли, позволяющих, с одной стороны, преодолеть фрагментированность рассмотрения ИЭУ в виде набора взаимонесвязанных сюжетов, с другой – показать ситуативность экономического знания, избегая тем самым субъективного присвоения теориям ушедших эпох ярлыков «хорошая» или «плохая».

Цель диссертационного исследования: развить методологию историко-экономических исследований посредством выработки подхода, направленного на раскрытие специфики воздействия изменений глобального экономического ландшафта на эволюцию ИЭУ.

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда исследовательских **задач**:

1) систематизировать важнейшие проявления и установить ключевые эндогенные и экзогенные факторы внутриакадемической периферизации ИЭУ;

2) выявить особенности эволюции методологического инструментария истории экономических учений;

3) провести диагностику текущего дисциплинарного статуса ИЭУ, а также определить специфику восприятия ИЭУ студентами и аспирантами-экономистами с целью установления наиболее предпочтительных в их глазах способов изучения истории экономической мысли;

4) конкретизировать отличительные черты теоретических воззрений на роль внешней среды в развитии ИЭУ;

5) разработать авторский подход к анализу истории экономической мысли, нацеленный на сближение ИЭУ и экономической истории;

6) апробировать сформулированный автором подход к изучению истории экономической мысли при решении ряда историографических парадоксов, в частности, для объяснения феномена неравномерной представленности в ИЭУ концепций ученых из разных стран;

7) осуществить проверку гипотезы о «кризисном» состоянии современной экономической теории и наметить возможные пути развития экономических исследований в контексте вызовов XXI столетия.

Предметом диссертационного исследования выступает эволюция истории экономических учений.

Объектом исследования являются особенности взаимодействия истории экономической мысли и хозяйственной среды.

В **теоретико-методологическом плане** диссертационное исследование базировалось на принципах релятивности экономической теории, историзма экономических явлений и контекстуализации ИЭУ. При обосновании авторского подхода к изучению ИЭУ диссертант опирался на соответствующие положения концепций технологий широкого применения, технико-экономических парадигм, гипотезы об инновационной паузе В.М. Полтеровича. Решение поставленных в диссер-

тации задач осуществлялось с помощью полевых социологических исследований и задействования приемов причинно-следственного, сравнительного, ретроспективного анализа.

Информационно-эмпирической базой диссертационного исследования стали как монографические труды, так и публикации в периодической печати отечественных и зарубежных исследователей по истории экономических учений, экономической методологии, экономической истории глобального хозяйства и экономике зарубежных стран. При анализе хозяйственного контекста, окружающего экономические теории прошлого, автор использовал систематизированные данные международной статистики, энциклопедические серии Кембриджской экономической истории, статистические базы, подготовленные Центром роста и развития университета Гронингена, труды Р. Аллена, Р. Барро, К. Бекара, С. Бродбери, Ф. Броделя, С.Ю. Глазьева, Б. Делонга, В.Л. Иноземцева, И.М. Кулишера, Р. Липсея, Дж. Мокира, А. Мэддисона, Д. Норта, К. Перес, Дж. Рифкина, К. О'Рурка, Дж. Уильямсона и др. При составлении выводов в отношении перспективных направлений развития методологии ИЭУ и потенциальных сценариев развития экономической теории диссертант использовал данные, полученные в ходе опросов студенческо-аспирантской аудитории ведущих российских экономических вузов о роли ИЭУ в системе выработки профессиональных компетенций, а также результаты авторского эмпирического исследования теоретико-методологических предпочтений представителей российского академического сообщества экономистов (РАСЭ).

Научная новизна диссертации состоит из следующих положений:

1. Выявлены признаки изменения статуса истории экономической мысли в иерархии экономических наук, а также установлены интерналистские и экстерналистские причины, обусловившие периферизацию ИЭУ как субдисциплины экономической науки. Продемонстрировано, что одним из ключевых внутринаучных факторов, вызвавших утрату интереса экономистов к ИЭУ, стало быстрое распространение во второй половине XX столетия позитивистского стандарта мышления с его предпосылкой о кумулятивном характере знания, освободившего ученых от необходимости изучения прошлого своей науки для ее дальнейшего развития. На обширном историко-экономическом материале раскрыто значение Второй мировой войны и эпохи биполярного противостояния в качестве внешних причин ускорения процессов сциентизации экономической теории, зафиксировавших второстепенное положение ИЭУ как предмета, отвлекающего специалистов от совершенствования техники экономического анализа.

2. Установлена специфика эволюции методологии ИЭУ в XIX – начале XXI века, заключающаяся в циклическом характере ее развития, когда аналитические предпочтения историко-экономического сообщества регулярно перемещаются от абсолютистской к релятивистской части историографического спектра и наоборот. Показано, что смена исследовательского инструментария специалистов по ИЭУ находится в тесной связи с технико-экономическими и социально-

культурными сдвигами. Систематизация содержания ключевых современных подходов к изучению ИЭУ позволила конкретизировать основные достоинства и недостатки наиболее распространенных в настоящее время принципов изучения ИЭУ, а также оценить перспективы достижения методологического консенсуса в сфере исследования истории экономической мысли.

3. Впервые в отечественной литературе осуществлена диагностика текущего дисциплинарного статуса ИЭУ, указавшая на взаимосвязь между сциентизацией экономического дискурса, вылившейся в снижение интереса экономико-теоретического мейнстрима к историко-методологическим исследованиям, и инициацией процессов автономизации истории экономических учений. Установлено, что современная ИЭУ постепенно обретает предметную независимость от мейнстримного экономикса, превращаясь в мультидисциплинарную отрасль знания, привлекательную не только для специалистов, принадлежащих к неортодоксальным течениям экономической теории, но и для других гуманитариев. Обобщение результатов полевого исследования студенческо-аспирантской аудитории ведущих российских экономических вузов доказало необходимость углубления взаимодействия историков экономической мысли с представителями социальных наук для сохранения ИЭУ в программах подготовки экономистов в целях выработки навыков, выходящих за рамки узкой формально-математической подготовки, свойственной многим современным экономическим программам.

4. Проведено изучение особенностей различных оценок влияния изменений условий хозяйствования на ИЭУ. Вскрыты причины непопулярности экстерналистских интерпретаций ИЭУ постклассической эпохи, к главным из которых отнесен рост сциентистских притязаний мейнстрима, позволивших отождествить экономическую теорию с точными науками, занимающимися поиском законов, незыблемых во времени и пространстве, и тем самым обосновать независимость развития экономикса от влияния внешней среды. Обнаружено постепенное смещение вектора научных интересов современного историко-экономического сообщества от рассмотрения ИЭУ в виде внеконтекстуальной хроники несвязанных друг с другом аналитических открытий к попыткам установить общие принципы эволюции истории экономической мысли и помещения творчества экономистов прошлого в многоплановый контекст.

5. Разработан авторский подход к изучению эволюции экономических учений, открывающий возможность для укрепления связи между историей хозяйства и историей экономической мысли. Его принципиальная особенность – рассмотрение ИЭУ на фоне технико-экономического развития мирового хозяйства, позволившее выявить характер взаимосвязи между крупными сдвигами в экономическом знании и процессами замещения устаревших технологий широкого применения более современными, а также раскрыть роль хозяйственных кризисов, сопровождающих распространение новых технологических инноваций, в развитии экономической мысли в качестве ускорителей мейнстримизации экономических идей, казавшихся второстепенными в до-

кризисную эпоху. Обоснована точка зрения, согласно которой скорость распространения новых течений экономической мысли связана с глубиной социально-экономических пертурбаций, высвечивающих несоответствие старой системы экономического мышления новым реалиям.

6. Выдвинуто альтернативное объяснение парадокса «национальной диспропорциональности» в развитии ИЭУ, традиционно интерпретируемого как порождение большей интеллектуальной привлекательности экономических теорий, появившихся в одних странах, над аналитическими схемами, созданными в других государствах. Анализ феномена неравномерной представленности в ИЭУ концепций из разных регионов мира, проведенный при помощи предложенного автором подхода, показал наличие сложно опосредованной взаимосвязи технологических достижений отдельных стран с их доминированием в мировой экономике и успехами в экономической науке. Найдено подтверждение справедливости обратного утверждения: потеря государством технологического лидерства приводит к его выходу из борьбы за главенство в глобальном хозяйстве и оборачивается утратой престижа местных экономистов.

7. Раскрыта роль Великой рецессии 2007–2009 гг. в качестве катализатора роста потребности в дальнейшем обогащении мейнстрима концепциями, не входящими в основное русло, как способа преодоления узости неоклассического подхода, все менее адекватного усложняющейся экономике XXI столетия. Обобщены итоги впервые проведенного в масштабе страны эмпирического исследования теоретико-методологических представлений российского сообщества академических экономистов, раскрывшего его гетеродоксальную сущность и выявившего значительный уровень потребности отечественных специалистов в обновлении экономической теории. Найдено сходство между российскими и зарубежными сторонниками альтернативных мейнстриму концепций, заключающееся в их поверхностном знании современной ситуации в основном русле. Сформулировано несколько сценариев дальнейшего развития гетеродоксальной экономической теории (ГЭТ): стратегия интеграции в мейнстрим посредством ее математизации и вариант перехода из предметного поля экономической теории в сферу других общественных наук. Обосновано, что вне зависимости от выбора дальнейшей траектории развития представители ГЭТ должны сконцентрировать усилия не на карикатуризации становящегося все более плюралистичным и открытым к нешаблонным идеям основного русла, а на развитии собственных оригинальных концепций.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в конкретизации причин снижения статуса ИЭУ в иерархии экономических наук, диагностике текущей ситуации в истории экономической мысли и уточнении восприятия данной дисциплины будущими экономистами, что позволило точнее определить перспективные направления развития ИЭУ, а также опровергнуть заявления о ее бесполезности для специалистов в области экономики. Интеграция в процесс рассмотрения эволюции истории экономических учений технологического фактора, взя-

того в социально-историческом контексте, дала возможность расширить панораму рассмотрения ИЭУ и разнообразить методологию историко-экономических исследований, в которой отчасти ощущается нехватка широких исследовательских матриц. Апробация применения данного подхода к изучению истории экономической мысли в сочетании с систематизацией итогов полевого исследования теоретико-методологических предпочтений российских экономистов позволила предложить альтернативные интерпретации ряда историографических феноменов и определить возможные направления дальнейшего развития экономической науки в условиях структурных трансформаций начала XXI столетия.

Полученные в ходе работы над диссертацией выводы облегчают решение задач, имеющих существенное значение для таких дисциплин, как история экономических учений, экономическая история, мировая экономика. Результаты диссертационного исследования могут быть задействованы при реализации программ повышения квалификации и переподготовки преподавателей экономических вузов, при разработке и чтении учебных курсов по истории и методологии экономической науки, а также при подготовке монографий и научных статей, посвященных различным проблемам развития экономического знания. Отдельные положения диссертации могут быть использованы для выработки и (или) корректировки программ в области экономического образования.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта специальности 08.00.01 – Экономическая теория:

3.8. Возникновение новых школ и направлений экономической мысли в условиях трансформации капитализма, краха огосударствленной общественной системы и глобализации экономических процессов.

4.4. Принципы и методы экономико-теоретических исследований.

4.7. Методология историко-экономических исследований. Разработка методологии исследования истории экономической мысли.

Апробация результатов исследования

Основные положения диссертационной работы докладывались на конференции «Новая экономическая реальность: вызовы и возможности» (Москва, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017); Международном экономическом симпозиуме-2017 (Санкт-Петербург, экономический факультет СПбГУ, 2017); Апрельских международных научных конференциях по проблемам развития экономики и общества (Москва, НИУ ВШЭ, 2014, 2016, 2017); Российских экономических конгрессах (Суздаль, НЭА, 2013; Москва, НЭА, 2016); Ломоносовских чтениях (Москва, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015, 2016); Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, УрФУ, 2015, 2016); Меж-

дународной научно-практической конференции молодых ученых «Развитие территориальных социально-экономических систем: вопросы теории и практики» (Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2016); Всероссийских симпозиумах по экономической теории (Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2012, 2014, 2016); Международной научной конференции «Российская экономика на перепутье: преодоление неолиберализма или усугубление кризиса» (Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015), Международной научно-практической конференции молодых ученых по региональной экономике (Екатеринбург, Институт экономики УрО РАН, 2015); Астанинском экономическом форуме (Астана, 2014); Международной Кондратьевской конференции «Новая модель экономического роста: теоретические конструкции и реальная политика» (Москва, Институт экономики РАН, 2014); Международной научной конференции «Инновационное развитие экономики России: междисциплинарное взаимодействие» (Москва, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014); Международной научно-практической конференции, посвященной 290-летию Санкт-Петербургского университета (Санкт-Петербург, экономический факультет СПбГУ, 2014); Ежегодной научной конференции «Междисциплинарные исследования экономики и общества» (Москва, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2013) и др.

Результаты исследования диссертанта, отраженные в рамках данной работы, поддержаны Грантом Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (проект № МК-5700.2016.6); Молодежным грантом Астанинского клуба лауреатов Нобелевской премии (Youth Award of Astana Nobel Club, 2014); Грантом в рамках ФЦП «Научные и научно-технологические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (лот № 16.740.11.0696), а также удостоены Премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых за лучшую работу в области экономики (2013).

Отдельные положения диссертационного исследования используются в образовательном процессе ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» в рамках учебного курса «Эволюция мирового хозяйства».

Основные результаты диссертации отражены в 49 публикациях общим авторским объемом свыше 65 п.л., в том числе в трех монографиях, 3 статьях в изданиях из перечня журналов, индексируемых в Web of Science (Core Collection), 6 публикациях в реферируемых изданиях, вошедших в список Russian Science Citation Index на платформе Web of Science, а также 15 статьях в рецензируемых научных журналах из списка ВАК.

Глава 1. Изменение роли истории экономической мысли в иерархии экономических дисциплин

1.1. Причины и последствия периферизации истории экономических учений[1]

Вторую половину XX – начало XXI столетия в среде экономистов в ряду прочих обстоятельств отличают потеря интересов исследователей к изучению экономической мысли и снижение престижа профессии историка экономических учений. Все чаще стали раздаваться призывы захлопнуть перед специалистами в области истории экономических учений (ИЭУ) двери факультетов экономики или в лучшем случае «изгнать» их на кафедры истории науки. Подобные предубеждения перед ИЭУ, по-видимому, начали появляться еще во второй половине 1930-х гг., когда Дж. Хикс и Д. Робертсон вслед за своим старшим коллегой по Кембриджскому университету А. Пигу, который «не читал ничего по истории экономической мысли» и бравировал нежеланием «ничего знать о теориях мертвых авторов» [Роббинс, 2013, с. 395], высказали идею о том, что «нет никакого смысла тратить время на чтение классических экономистов» (см. подробнее: [Roncaglia, 2014, p. 1]). В послевоенный период данная точка зрения постепенно превратилась в мейнстрим: «Экономическая теория, – заявил в 1965 г. профессор Вашингтонского университета Д. Гордон, – не испытывает необходимости включения ее истории в программу профессиональной подготовки [экономистов]» [Gordon, 1965, p. 126]. Спустя четыре года будущий лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглер однозначно утверждал, что «для освоения современного экономикса не нужно читать историю экономической теории, то есть про экономические теории прошлого» [Stigler, 1969, p. 217].

Точку в дискуссии о необходимости изучения ИЭУ, как тогда казалось, поставил в конце 1980-х гг. П. Самуэльсон, «самый главный академический экономист XX столетия» [Weinstein, 2009]. «Когда я начинал учиться в аспирантуре миллион лет назад, – снисходительно констатировал нобелиат, – история мысли [уже] была умирающей отраслью знания». Ученый настоятельно советовал историкам экономической мысли переориентироваться «на изучение прошлого с позиции современного состояния экономической науки» [Samuelson, 1987, p. 51, 52], чтобы не оказаться в теоретико-методологической «резервации» и не быть выдворенными из лагеря экономистов. Профессор П. Самуэльсон выстраивал свою аргументацию от гипотезы, согласно которой человеческое знание имеет свойство аккумулироваться, следовательно, все теории прошлого уже инкорпорированы в современные теоретические построения. Поэтому занятие подобной интел-

[1] Данный параграф базируется на статье: [Мальцев, 2015а] и авторских разделах статьи: [Татаркин и Мальцев, 2015].

лектуальной археологией вряд ли может помочь исследователю при анализе текущей ситуации и по большому счету бесполезно (см. подробнее: [Boettke et al., 2010]). Такой взгляд на развитие науки, получивший название «виговской интерпретации» (Whig interpretation), о философских основаниях которой мы поговорим позже, окончательно закрепил среди мейнстримных экономистов пигунианское видение ИЭУ как «неверных мнений ушедших из жизни людей» [Blaug, 1997, p. 1]. В свою очередь, специалисты в области истории мысли стали рассматриваться едва ли не как маргиналы-неудачники, которые слабо владеют математическим аппаратом и попросту «недостаточно умны для занятия экономической теорией» (см. подробнее: [Kurz, 2006]).

Подобное высокомерное отношение к ИЭУ прочно закрепилось в сознании современных исследователей. Например, председатель Совета экономических консультантов при Президенте США Дж. Буше-мл., профессор Гарвардского университета Г. Мэнкью, отвечая на вопрос студента о том, читал ли он «Человеческую деятельность», не без гордости признался, что не знаком с трудами Л. фон Мизеса. Экономист объяснил это тем, что «книги, написанные двадцать или тридцать лет назад, обычно не имеют значения», а во время обучения в Принстонском университете и Массачусетском технологическом институте ему «не задали прочитать ни одной статьи, написанной экономистом австрийской традиции» [Mankiw, 2006]. Глухим непониманием необходимости изучения истории экономической мысли до недавнего времени отличался П. Кругман. «Практикующий экономист может обратиться к чтению старых книг ради развлечения, но не как к авторитетному источнику… Экономика – это наука, а не талмудическая ученость», – утверждал лауреат Нобелевской премии [Krugman, 2012].

В конечном счете идиосинкразия в отношении ИЭУ – «Никакой истории идей, пожалуйста, мы экономисты» [Blaug, 2001] – вылилась в устойчивую клиофобию, ставшую одной из отличительных черт современного мейнстрима. Конечно, можно успокаивать себя, полагая, что экономика стала естественно-научной дисциплиной, подобно физике, на которую распространяется принцип: «Чем более совершенна наука, тем меньше внимания должно уделяться ее прошлому» (цит. по: [Boettke et al., 2010, p. 7]). Однако мы убеждены, что без «восстановления в правах» истории экономической мысли нельзя преодолеть кризисные моменты, с которыми столкнулся мейнстрим в последние годы. В обоснование своей позиции определим главные проявления «историобоязни» экономической теории, выявим причины, в силу которых ИЭУ оказалась на периферии исследовательских интересов ученых, и систематизируем последствия забвения экономистами идей своих предшественников. Начнем с определения признаков обесценения истории мысли не только в глазах отдельных представителей магистрального течения, но и во всей научно-образовательной иерархии.

Во-первых, обращает на себя внимание практически повсеместное исчезновение ИЭУ из перечня предметов, обязательных к изучению студентами-экономистами. Так, в Лондонской

школе экономики и политических наук история мысли перестала быть таковой в первой половине 1960-х гг. [Corry, 2000, p. 68], в начале 1970-х гг. аналогичные изменения произошли в сетке расписания австралийских университетов [Groenewegen, 2003, p. 116]. В итоге «амнезия», охватившая мейнстрим, привела к тому, что в конце XX столетия ИЭУ как неэлективная дисциплина сохранилась только в ряде высших учебных заведений Японии и Италии [Гурова, 1999, с. 5], а к началу 2000-х гг. лишь 4 из 20 ведущих экономических факультетов США предлагали аспирантам курсы по данной тематике [Ashenfelter, 2011, p. 10]. Ко всему прочему, в подавляющем большинстве случаев история мысли дошла до наших дней в крайне выхолощенной, переложенной на язык математики форме. Как метко заметил эмерит-профессор политической экономии Уорикского университета лорд Р. Скидельски, «богатая история экономической мысли была заменена небольшим набором модных теперь математических „моделей“» [Skidelsky, 2012].

Во-вторых, участились попытки поставить под сомнение принадлежность историков мысли к экономической науке. В частности, в 2007 г. сильный резонанс вызвало решение Австралийского бюро статистики переместить ИЭУ из категории «Экономические науки» в раздел «История, археология, религия, философия», которое с большим трудом удалось предотвратить благодаря вмешательству целого сонма авторитетов [Lodewijks, 2014]. В 2011 г. почин австралийцев решил поддержать Европейский исследовательский совет, предложивший – впрочем, с тем же результатом – отныне относить историю экономических учений в раздел знаний, относящихся к группе «Исследования человеческого прошлого: археология, история и память» [Kates, 2014].

В-третьих, зачистка основного русла от «посторонних» исторических наслоений не ограничивается стремлением реклассификацировать отдельные разделы экономической науки. Так, весьма чувствительный удар по профессии историков экономической мысли нанесло изъятие, пусть и временное, в 2005 г. журнала History of Political Economy из системы цитирования Social Science Citation Index (SSCI). Бурю негодования (см. подробнее: [Kurz, 2006]) вызвал в первую очередь тот факт, что это произошло именно с дисциплиной, не способной похвастать большим количеством индексируемых в SSCI журналов [Mata, 2012], тогда как «индексация в SSCI… есть вопрос выживания», от которого зависит индекс цитирования автора и, соответственно, продление контракта с факультетом и продвижение вверх по служебной лестнице [Kurz, 2006]. Кроме того, специализированные журналы в области ИЭУ «невысоко ценятся деканами» [Blaug, 2001, p. 147], которые считают их «не имеющими никакого значения, так как они не способствуют развитию экономической теории» [Lee, 2006, p. 7].

В-четвертых, настораживает ослабление позиций ИЭУ в авторитетной экономической периодике. Так, расчеты Я. Жиро и П.Г. Дуарте показали, что в 1991–2011 гг. на долю работ с кодом «История экономической мысли, методология и гетеродоксальные подходы» по классификации JEL пришлось лишь 5% суммарного количества статей, опубликованных в восьми наиболее зна-

чимых журналах (American Economic Review, Econometrica, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies, Economic Journal, Journal of Economic Literature и Journal of Economic Perspectives), а за вычетом рецензий, интервью и биографий эта цифра составила скромные 2,1% [Giraud & Duarte, 2014, p. 7]. При этом в современном научном сообществе прочно укоренилась увязка репутации ученого с числом его публикаций в престижных изданиях, что создает дополнительные трудности специалистам в области истории экономической мысли при «демонстрации своей полезности» перед коллегами и руководством [Boettke et al., 2014, p. 535] и ведет к еще большей провинциализации и самоизоляции их отрасли знания. Пятилетний импакт-фактор авторитетного журнала по ИЭУ European Journal of the History of Economic Thought (0,276) в 2012 г. в 2,6 раза уступал показателю рассчитанного отнюдь не на самую широкую аудиторию Geneva Risk and Insurance Review (0,732) и в 29,5 раза – одного из флагманов научной экономической периодики Quarterly Journal of Economics (8,147)[1]. Если к этому добавить появление в последние десятилетия многочисленных изданий по ИЭУ с практически нулевыми индексами цитирования[2], то трудно не согласиться с учеными из Университета Джорджа Мейсона, отмечающими парадоксальную ситуацию: «Число людей, пишущих на данную тему [ИЭУ], выросло, но количество читающих их… сократилось» [Boettke et al., 2014, p. 543].

В-пятых, замедлились темпы воспроизводства кадров историко-экономического профиля, что во многом вызвано невысокими по сравнению с другими разделами экономики карьерными перспективами. Если в 1984–1989 гг. в США и Канаде ежегодно защищалось в среднем 8,8 работы на соискание докторской степени по экономической мысли и методологии [Aslanbeigui & Naples, 1997, p. 132], то в 2007–2012 гг. – только три диссертации[3]. Вслед за уменьшением количества часов, отводимых на изучение истории экономических учений в учебных планах (например, в австралийских университетах удельный вес курсов по ИЭУ за 1980–2011 гг. уменьшился с 2,4 до 1,0% общего количества предметов, читаемых студентам-экономистам) [Argyrous & Thornton, 2013], сократились потребности в историках экономики. Эту тенденцию легко проследить при помощи базы данных Job Openings for Economists Американской экономической ассоциации, где аккумулируются предложения об академических вакансиях в сфере экономики со всего мира. Так, за 1976–2015 гг. в общем объеме экономистов, нанимаемых на глобальном рынке, доля историков и методологов экономической мысли упала с 3,43 до 0,26% [Aslanbeigui & Naples, 1997, p. 131; Siegfried, 2016, p. 742]. Далеко не случайно, что в по-

---

[1] https://www.yumpu.com/en/document/view/37540276/factor-de-impacto-isi-jcr-sscr-2012-economics/

[2] Например, импакт-фактор появившегося в 1983 г. Research in the History of Economic Thought and Methodology равен 0,0 (http://www.researchgate.net/journal/0743-4154_Research_in_the_History_of_Economic_Thought_and_Methodology); издающегося с 1993 г. History of Economic Ideas – 0,19 (http://www.researchgate.net/journal/1122-8792_History_of_Economic_Ideas).

[3] Рассчитано по: Doctoral Dissertations in Economics Annual List за соответствующие годы, публикуемых в Journal of Economic Literature.

следние годы старшие коллеги начали рекомендовать начинающим исследователям ИЭУ обретать дополнительные компетенции в других научных сферах в целях сохранения конкурентоспособности. «Я никому не посоветую, – говорил в 2006 г. в своем выступлении на ежегодной конференции Европейского общества по истории экономической мысли его президент Х.Д. Курц, – начинать свою академическую карьеру *только* в качестве историка экономической мысли. Мне кажется, гораздо безопаснее иметь вторую ногу в экономике. Шагать на двух ногах не только гораздо комфортнее, но и менее рискованно, чем шагать на одной» [Kurz, 2006]. В целом, даже не разделяя похоронную риторику профессора Ольденбургского университета Г.-М. Траутвайна, утверждающего, что «поколение ученых, которые еще знали и могут научить истории экономической мысли, вымирает» (цит. по: [Häring, 2011]), и предрекающего скорое окончательное забвение ИЭУ, нельзя не признать: данная дисциплина столкнулась с непростыми вызовами.

Вопрос о причинах трансформации респектабельной отрасли знания, некогда занимавшей наряду с микро- и макроэкономикой лидирующие позиции в «высшей лиге» экономической науки, во второстепенный предмет-аутсайдер продолжает вызывать ожесточенные споры. Дополнительный интерес к этой проблеме подогревает скорость «девальвации» ИЭУ в академической табели о рангах. Ведь вплоть до 1960-х гг. историки экономической мысли, за плечами которых стояли такие авторитеты, как Я. Вайнер, У. Митчелл, Л. Роббинс, Э. Селигмен, Й. Шумпетер, «не думали о своей области знаний как об отдельной дисциплине внутри экономикса и не видели причин собирать отдельные собственные встречи и организовывать ассоциации» [Goodwin, 2008]. Спустя 40 лет, когда большинство современных экономистов переняли взгляд на ИЭУ Дж. Стиглера (кстати, единственного нобелевского лауреата с докторской степенью по истории экономической мысли [Cohen & Emmett, 2012, p. 543]): «Историю дисциплины лучше оставить тем, кто не наделен достаточными способностями для профессионального занятия исследованиями на современном уровне» [Stigler, 1969, p. 218], ситуация полностью изменилась. В результате от некогда монолитного здания экономической науки отделилась важная его часть.

С нашей точки зрения, корни этого раскола следует искать как во внутренних причинах, продиктованных логикой развития экономикса, так и внешних по отношению к ИЭУ факторах, заключающихся в изменении системы организации научных исследований, предопределенных спецификой процессов, разворачивавшихся в мировом хозяйстве второй половины XX – начала XXI века. Начнем с интерналистских факторов, обусловивших потерю интереса экономистов к истории собственной дисциплины. Наша рабочая гипотеза заключается в том, что изначально на протяжении XVIII–XIX столетий экономика постепенно все больше становилась «настоящим» естественно-научным знанием, что проявилось прежде всего в заимствовании экономистами многих философских принципов из физики. В XX веке, особенно после Второй мировой войны, эко-

номикс заговорил с корпусом точных дисциплин на одном математическом языке. К началу XXI столетия стало казаться, что демаркационной линии между экономической теорией и естественными науками больше нет. В конечном итоге трансформация экономики в мечту Ф. Найта (учителя П. Самуэльсона) в «точную науку, которая выводит универсальные законы, как математика или механика» (цит. по: [Emmett, 1999, vol. 1, p. 28], привела к кардинальному изменению отношения экономистов к прошлому своей профессии. Разберем эти обстоятельства подробнее.

Как известно, отцом сегодняшнего мейнстрима заслуженно называют А. Смита. В ряде публикаций последних лет популяризируется гипотеза о квазирелигиозной природе смитианской политической экономии, в которой вся экономика являет собой часовой механизм, запущенный в движение Богом-механиком и поддерживаемый в движении его невидимой рукой, которая преобразует – через рост конкуренции – эгоизм отдельных индивидов в коллективное социальное благо (см., например: [Graafland, 2007, p. 87; McMurtry, 2004, p. 153]). Сторонники такой интерпретации учения А. Смита также обращают внимание на богословскую природу антипатии исследователя к вмешательству внешних сил в работу запущенной Всевышним рыночной машины, которая якобы вытекает из деистских позиций ученого. «Деисты верят в Бога, который создал Вселенную и чье провидение управляет ею… путем создания универсальных законов, которые распространяются на всю природу и все времена» [Dunford, 2014], а поэтому нет смысла вторгаться в Божественный промысел и нарушать «гармонию и счастье» [Graafland, 2007, p. 87]. Не отрицая определенного деистского оттенка теоретических конструкций А. Смита, впрочем, свойственного многим представителям шотландского Возрождения, мы полагаем, что гораздо большее воздействие на видение автором «Богатства народов» облика хозяйственной системы оказала научная революция XVII столетия. По нашему мнению, за кажущимися теологическими одеждами смитианской доктрины определенно проглядывает тень И. Ньютона, чьи работы экономист называл «величайшим открытием за всю историю человечества» (цит. по: [Рифкин, 2014, с. 274]). Безусловно, речь идет не столько о заимствовании политэкономом каких-то «готовых» идей создателя классической механики, сколько о перенесении принципов, методологических стандартов и метафор физики XVII века для изложения своих размышлений.

Пожалуй, самым важным приобретением, оказавшим определяющее влияние на облик основного течения экономикса, стала «трансплантация» А. Смитом принципа механицизма, постулирующего детерминированность явлений окружающего мира и исключающего какую-либо случайность. О восприятии шотландским экономистом реальности в ньютонианском ключе весьма красноречиво говорит его убежденность в том, что человек нуждается в науке, способной «связать друг с другом разрозненные объекты, позволяя тем самым ввести порядок в хаос» (цит. по: [Henderson & Samuels, 2004, p. 51]). В методологическом плане помимо возможности выведения вечных, подобных законам природы принципов, описывающих социальное устройство, перене-

сение А. Смитом «физического» мироощущения «санкционировало» использование в социальных дисциплинах редукционистского подхода. Последний позволяет свести исследование сложного явления к упрощенной модели, из которой ученый – по своему усмотрению – может предварительно исключить кажущиеся ему лишними факторы (см. подробнее: [Louth, 2011]). По всей видимости, именно отсюда берет свое начало знаменитый принцип «как будто» (as if), открывший дорогу абстрактному теоретизированию и математическому моделированию социально-экономических процессов. Как утверждает известный «смитовед» Л. Монтес, «частое использование Смитом словосочетания „может быть“ не случайно. Для Смита наука является безграничным процессом следующих друг за другом аппроксимаций, что имеет сходство с методологическим наследием Ньютона» [Montes, 2013, p. 48]. Ко всему прочему, именно А. Смит одним из первых начал использовать в политической экономии терминологический аппарат точных и технических дисциплин: достаточно вспомнить знаменитую гравитационную метафору из седьмой главы «Богатства народов», используемую политэкономом для описания рыночной цены товара, или объяснение в «Теории нравственных чувств» того, как «заставить двигаться колеса политической машины с большей легкостью и согласием» (цит. по: [Merchant, 1989, p. 200]).

В своей совокупности труды А. Смита заложили фундамент для превращения экономики в «настоящую», подобную физике, научную дисциплину. Процесс уподобления политической экономии естествознанию активизировался во второй половине XIX столетия, совпав с развитием термодинамики и целой серией технологических открытий, ставших материальной основой второй промышленной революции. Колоссальные научно-технические достижения привели к появлению нового, позитивистского стандарта научного мышления. Отыне «наука могла быть только аксиоматической и математической», а «научную сферу надлежало отделить от сферы образов, ценностей, красот, добродетелей и всех других неизмеряемых вещей» [McCloskey, 1998, p. 142]. Лейтмотивом такого видения науки стал знаменитый афоризм лорда У. Кельвина: «Если вы можете измерить и выразить в числах то, о чем говорите, – вы знаете это; но если вы не можете измерить, если не можете выразить числами, – ваши знания скудны и недостаточны» (цит. по: [Роджерс, 1970, т. 2, с. 457]).

Вполне естественно, что экономисты не могли и не хотели отставать от веяний своего времени. Главными фигурами, еще больше сблизившими экономику и физику, стали отцы маржиналистской революции – учившийся на химика У. Джевонс и горный инженер Л. Вальрас. «Экономика, если она хочет быть наукой вообще, должна быть математической наукой», – писал У. Джевонс в предисловии к своей «Теории политической экономии» (цит. по: [Schabas, 1984, p. 129]). Подобный позитивистский кураж отличал и лозаннского ученого: «Всем уже понятно, – утверждал Л. Вальрас в 1900 г., – что экономика, как астрономия и механика, является эмпирической и рациональной наукой» (цит. по: [Prychitko, 1990, p. 69]). При этом претензии маржинали-

стов на превращение политической экономии в естественно-научную дисциплину не остались нереализованными амбициями. Их стараниями, как справедливо замечает профессор Университета Нотр-Дам (США) Ф. Мировски, «экономическая теория присвоила себе целиком физику середины XIX века: полезность была переопределена так, чтобы занять место энергии» [Майровски, 2012, с. 105]. Не вдаваясь в анализ положительных и негативных сторон такой «подмены» (см. подробнее: [Ефимов, 2011]), отметим главное: с конца XIX столетия неоклассическая ветвь экономической теории – по крайней мере, значительная часть ее представителей – стала ощущать себя социальной физикой, чьи «законы точно такие же, как в физике, и, будучи однажды правильными, правы всегда» [McLure, 2001, p. 69].

Впрочем, противостояние условных «лириков» условным же «физикам» продолжалось вплоть до конца 1940-х гг. Еще в 1930-е гг., по образному сравнению профессора Иллинойского университета в Чикаго Д. Макклоски, подавляющая часть экономистов «оставалась математически невинной», в «American Economic Review практически не встречались уравнения, а допущения не подвергались формализации» [McCloskey, 1998, p. 139]. Ситуация начала стремительно меняться с выходом в свет в 1948 г. «Economics» П. Самуэльсона, которая вытеснила с полок университетских библиотек учебники, написанные в отличной от формально-математической традиции (см. подробнее: [Colander, 2006]). Учебное пособие нобелевского лауреата оказало поистине революционизирующее воздействие, учитывая тираж в 4 млн копий и перевод на более чем 40 языков, на видение «облика» экономической науки студентами во всем мире. Наверное, лучше всего главный посыл magna opus П. Самуэльсона сформулировал другой нобелевский лауреат В. Смит: «Книга Самуэльсона показала, что экономика – это просто физика» (цит. по: [Horn, 2009, p. 288]). В сфере методики преподавания «Economics» также стала решительным разрывом со «словесными обсуждениями, которые подчеркивали сложность экономики и принижали аналитические модели экономистов», и открыла дорогу новой педагогике, «в сердцевине которой находилась ограниченная рамками оптимизации уникальная модель общего равновесия» [Colander & Rothschild, 2010, p. 2]. Теперь экономисты, взращенные на «Economics», в полной мере могли утверждать, что «математика – это наш язык», и по праву заявлять, что экономика – точная наука [Nelson, 2001, p. 51].

Иначе говоря, можно смело говорить о том, что благодаря книге П. Самуэльсона читатели хорошо усвоили совет Ф. Найта, однажды полушутя предложившего: «Даже если ты не можешь измерить, все равно измеряй» (цит. по: [McCloskey, 1998, p. 144]). Однако причины триумфа «Economics», как нам представляется, лежат отнюдь не в лаконичности и виртуозном владении ее автором графическими способами изложения материала, а в поразительно тонком чувстве экономистом изменения интеллектуального «климата» эпохи. В общественных умонастроениях выдающиеся научно-технические прорывы 1930–1960-х гг. окончательно закрепили формировавшую-

ся с середины XIX столетия научно-техническую ментальность, которая абсолютизировала роль науки в качестве главной движущей силы развития социума. Эта мировоззренческая позиция, получившая название сциентизма, покоится на идеях возможности посредством научных методов управления решить все социально-экономические проблемы общества и построения всех социальных наук по подобию физико-математических дисциплин. Применительно к экономической теории данная философская установка выразилась, с одной стороны, в необходимости модернизации экономикса в соответствии с последними изменениями в тогдашней «королеве наук» – физике, а с другой – в очищении от остатков метафизики, еще свойственной довоенному «основному канону». Именно эти задачи блестяще решил П. Самуэльсон, «примирив протофизику неоклассической традиции XIX века с наукой XX века, то есть физикой XX века, …и усилил зависимость [экономической теории] от математического аппарата, практически полностью исключив философские и оценочные суждения» [Mirowski, 1989, p. 385]. По-видимому, официальным признанием успехов великого американского ученого и его последователей в подражании естественным наукам стало учреждение в 1968 г. Шведским государственным банком премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, окончательно развеявшее «комплекс неполноценности» экономического сообщества перед коллегами из лагеря точных наук.

Окрыленные признанием своей отрасли знания, исследователи получили своеобразный карт-бланш на завершение начатой в конце XIX столетия работы по «офизичиванию» экономики. Робкие еще в середине века попытки математизировать экономикс сменились решительным натиском на «гуманитарную» установку экономической теории. Например, удельный вес статей в American Economic Review, The Journal of Political Economy и Quarterly Review of Economics, содержащих физико-математические подходы, увеличился с 17–30% в 1950-е гг. до 67–77% в 1970-е гг. [Aromi, 2013]. Столь быстрая трансформация структуры и стиля мышления имела прямое отношение к кардинальному пересмотру отношения к ИЭУ. Так, среди прочего, в своей нобелевской речи М. Фридман обратил внимание на принципиальное свойство точных наук – кумулятивный характер их знания [Friedman, 1976]. По сути, эта ремарка означает, что все достижения прошлого уже хорошо известны современникам и воплощены в последних трудах. Следовательно, знание истории своей науки не только несущественно, но и может быть вредно для ее дальнейшего прогресса, поскольку мешает исследователю сосредоточиться на изучении текущих явлений. Предельно четко эту мысль сформулировал известный британский математик А.Н. Уайтхед: «Наука, которая не отваживается забыть своих основателей, является погибшей» (цит. по: [Kurz, 2006]), то есть чем более зрелой в научном плане становится дисциплина, тем меньше внимания она должна уделять своему прошлому. Еще элегантнее этот тезис много ранее изложил Ж.-Б. Сэй: «Чем совершеннее наука, тем короче ее история» (цит. по: [Blaug, 2001, p. 146]).

В свою очередь, экономисты, превратившись в представителей «настоящей» науки, теперь могли, подобно физикам, «полагать, что современные учебники или трактаты… будут включать в себя все наиболее важные прошлые и настоящие завоевания в этой области» [Ravier, 2010, p. 55]. При такой постановке вопроса история экономической мысли действительно являла собой рудимент «донаучного» прошлого экономики, которая не заслуживает лучшей доли, чем нахождение в антикварной лавке. В таком контексте едва ли не единственной возможностью сохранения дисциплины в экономическом поле стала «виговская» программа преподавания ИЭУ, рассматривающая прошлые теории с позиции сегодняшнего мейнстрима и с использованием современных методов анализа. В результате сохранения истории экономической мысли в основном корпусе экономикса посредством такого историографического подхода возникло весьма упрощенное понимание ИЭУ «как неустанного марша прогресса от прошлых ошибок к сегодняшним истинам» [Blaug, 2002, p. 80], еще больше укрепляющее в экономистах ощущение ненужности данного предмета[1]. Вместе с тем приходится признать, что, несмотря на ряд недостатков, именно этот подход стал для ИЭУ своеобразным спасательным кругом, не давшим «последовать ей за историями других академических предметов, нашедших покой в глухих углах кафедр истории» [Goodwin, 2008].

Однако наш разговор о превращении истории экономических учений в «падчерицу» экономикса будет неполным без учета внешних факторов – преобразований в учебно-научной сфере, также произошедших под воздействием научно-технических сдвигов второй половины XX века. Как известно, рубеж 1940–1950-х гг. стал для большинства развитых стран эпохой массификации высшего образования. С одной стороны, этот процесс детерминировался необходимостью не допустить коллапса рынка труда, вызванного послевоенной демобилизацией, с другой – бурное развитие НТП вкупе с началом холодной войны требовали повышения качества человеческого капитала. Казалось, что такая ситуация сулила всем дисциплинам, преподаваемым в вузах, прекрасные перспективы и обещала щедрое финансирование со стороны правительств, собиравшихся «компенсировать… народам жертвы, понесенные в годы войны» [Nasar, 2011, p. 420]. Тем не менее поначалу экономические специальности столкнулись с некоторыми трудностями.

Весной 1945 г. декан экономического факультета Массачусетского технологического института Р. Фримен откровенно признался П. Самуэльсону, что студенты-первокурсники, значительную часть которых составляли ветераны военной службы, «просто ненавидят» экономику [Nasar, 2011, p. 420]. Частично происхождение антипатии к экономическим дисциплинам объ-

---

[1] Действительно, зачем тратить время на изучение работ авторов прошлого, если, по словам П. Самуэльсона, его «аспиранты [благодаря своему научному руководителю] знают больше, чем Рикардо и Маркс»? (цит. по: [Ravier, 2010, p. 55]).

яснялось преобладанием сохранявшегося в них «архаичного» гуманитарного уклона, не способного, с точки зрения вчерашних фронтовиков, надежно гарантировать будущее трудоустройство в техноцентричном мире. «Ветераны искали… полезных знаний. [Экономическое] образование, базирующееся на гуманитарных предметах, было роскошью, которую эти… студенты не могли себе позволить», – замечает профессор Университета Дьюка Э.Р. Вайнтрауб [Weintraub, 2012]. Выходом из положения стал перевод экономического образования на универсальный математический язык и его адаптация к новому духу времени, главными действующими лицами которого становились ученые и инженеры. Очень точно суть этой трансформации уловил один из ее творцов, лауреат Нобелевской премии по экономике Р. Солоу: «Экономика должна была превратиться из профессии ученого-джентльмена в понятный технический предмет» [Solow, 1998, p. 60].

Одним из главных источников нового подхода к преподаванию экономики стал американский Кембридж. Так, во внутреннем циркуляре Массачусетского технологического института, датируемого ноябрем 1945 г., говорилось: «…современный компетентный экономист должен быть укоренен в точную науку и ее методологию», для чего «желательно, чтобы по крайней мере некоторые представители экономической профессии получили предварительную подготовку в атмосфере инженерной школы». В целях реализации данных намерений в Кембридже ввели курс «Экономика и инженерное дело» (Economics and Engineering). Предмет не получил популярности среди студентов, но превратился в образец того, как должна преподаваться экономика [Giraud, 2011, p. 6]. Дополнительную уверенность первопроходцам из Массачусетского технологического института придала осторожная поддержка Американской экономической ассоциации (АЭА) тренда на инструментализацию экономической теории. В частности, из доклада АЭА, опубликованного в American Economic Review в 1953 г., следовало, что сердцевину подготовки студента-экономиста должны формировать «…экономическая теория, включая вопросы изучения стоимости, распределения, денег, занятости, и по крайней мере ознакомление в первом приближении с такими „строго для посвященных“ (esoteric) дисциплинами, как динамика, теория игр и математическая экономика» [Backhouse, 2010, p. 50]. Как бы то ни было, шапочное знакомство с математикой очень быстро переросло в настоящий роман, в результате которого к концу 1950-х гг. «все, что не моделировалось математически, просто отбрасывалось в сторону как „нестрогая“ и „ненаучная“ экономика» [Milonakis, 2012, p. 250].

Не в последнюю очередь легкости и стремительности победы «цифры» над «прозой» содействовал и образовательный бэкграунд послевоенного поколения экономистов, многие из которых пришли в экономику из математики или физики и перенесли сюда соответствующий исследовательский стиль [Porter, 1994, p. 159]. Так, за первые 10 лет (1969–1979) существования Нобелевской премии по экономике 8 из 17 ее лауреатов имели базовое образование и (или) уче-

ные степени в области физико-математических дисциплин[1]. Не приходится удивляться, что дальнейшее развитие событий в плане преподавания экономических дисциплин лучше всего описывается афоризмом австрийского писателя К. Крауса (1874–1936): «Что переварили учителя, то едят ученики» (цит. по: [Weis, 2010, p. 56]). Вторжение точных дисциплин на территорию экономики легитимировало зачистку образовательных программ от остатков гуманитарной составляющей. Опросы студентов шести ведущих американских высших учебных заведений, проведенные исследователями Мидлберийского колледжа и Университета Айовы Д. Коландером и А. Кламером в середине 1980-х гг., показали, что 57% учащихся считали очень важным для своего профессионального роста математическое мастерство и лишь 10% считали невозможным стать специалистами без широкого знания экономической литературы [Colander & Klamer, 1987, p. 100]. При таком перевесе в предметных предпочтениях в пользу «царицы наук» вполне закономерно, что, как сказал П. Самуэльсон, «…чем-то надо было поступиться в учебном плане экономических специальностей. Пришлось пожертвовать историей экономической мысли, затем быстро последовало уменьшение количества часов на иностранные языки и сведение до минимума преподавания экономической истории» [Samuelson, 1987, p. 52].

Природу послевоенной «аллергии» на историю экономических учений также невозможно до конца осмыслить без учета изменений в характере развития мировой науки в целом и экономикса в частности. В плане организации научной деятельности события первой половины XX столетия привели к возникновению «корпоративных, университетских и государственных мощностей НИОКР» [Мокир, 2012, с. 142]. Это ознаменовало собой закат эры «личных исследований» отдельных изобретателей, которые могли себе позволить заниматься изучением интересующих только их вещей, и начало эпохи активного финансирования правительствами и бизнесом «полезных», с их точки зрения, для всего общества научных проектов крупных групп ученых. В сфере экономических изысканий родиной институциональных инноваций стали США, где уже в конце 1910-х гг. крупные предприниматели задались задачей установления «интеллигентного социального контроля» и выразили желание «создать научно-исследовательские организации, специализирующиеся на непрерывном производстве эмпирического знания» [Fourcade, 2009, p. 67]. Так, в 1916 г. сентлуисский предприниматель Р. Брукингс основал Институт правительственных исследований (Institute for Government Research), который в 1927 г. слился с еще двумя научными учреждениями и стал носить имя Института Брукингса. В 1920 г. при финансовой поддержке Корпорации Карнеги, Мемориального фонда Лоры Спелман-Рокфеллер и Фонда Содружества начал работу другой известнейший think tank – Национальное бюро экономических ис-

[1] Среди них доктор математической статистики Р. Фриш, доктор физики Я. Тинберген, бакалавр физики П. Самуэльсон, обучавшийся математике Дж.Р. Хикс, магистр математики К. Эрроу, доктор физико-математических наук Л.В. Канторович, магистр физики и математики Т. Купманс, бакалавр математики и экономики М. Фридман.

следований [Magat, 1999, p. 54–55]. Естественно, что эти аналитические центры ориентировались преимущественно на исследование наиболее острых проблем тогдашней хозяйственной практики, для которых ИЭУ по вполне очевидным причинам не была объектом первостепенного интереса.

Однако окончательно «естественно-научный» статус экономики закрепили Вторая мировая война и последовавшее за ней изменение геоэкономического ландшафта мирового хозяйства. Данная реконфигурация вылилась в дегуманитаризацию экономического образования и вымывание из его сердцевины истории экономических учений. Здесь можно выделить несколько обстоятельств, сработавших на раскручивание «математизации» экономических знаний.

Во-первых, в годы войны экономисты начали активно привлекаться к работе над оборонной тематикой. Вместе с физиками и математиками им приходилось прорабатывать вопросы выбора оптимальных маршрутов атлантических конвоев, организации противовоздушной и противолодочной обороны, налаживания системы контроля качества военной продукции, а также заниматься решением широкого круга других тактико-стратегических задач [Weintraub, 2012]. Например, П. Самуэльсон в середине 1940-х гг. трудился в занимавшейся разработкой радаров Радиационной лаборатории Массачусетского технологического института [Weinstein, 2009], М. Фридман и Дж. Стиглер в Колумбийском университете в составе группы, возглавляемой авторитетными экономистами Г. Хоттелингом и А. Уоллисом, работали над проблемами военной тактики и конструкции оружия [Torgler & Piatti, 2013, p. 55–56], а Т. Купманс бился над решением транспортной проблемы торгового флота [Gass & Assad, 2005, p. 51]. Именно во время Второй мировой войны экономика начала стремительно сближаться с дисциплиной исследования операций и «превращаться в тайную (arcane) ветвь математики» [Lawson, 2003, p. 10]. В таком контексте гипотеза Э.Р. Вайнтрауба о том, что перевод послевоенной экономической теории на математические «рельсы» не детерминировался естественной логикой развития экономикса, а был следствием вынужденного скрещивания экономики с точными науками в годы Второй мировой войны, кажется весьма правдоподобной [Weintraub, 1997].

Во-вторых, мощный импульс математизации экономических дисциплин придало создание в ходе разработки ядерного оружия в рамках Манхэттенского проекта электронных вычислительных машин, предоставивших экономистам возможность проводить чрезвычайно сложные расчеты и активно использовать теорию игр, оптимизационные методы и другие разделы прикладной математики. В послевоенный период эти наработки, не утратив своей актуальности, все активнее стали использоваться военными в набиравшем силу биполярном конфликте. Так, Министерство обороны США всемерно поощряло формализованные направления экономического анализа, которые, «кажется, обладают потенциальной значимостью для национальной обороны и безопасности» [Fourcade, 2009, p. 87]. В подтверждение приведем пример изначально создававшейся для

конструирования ракетно-космической техники RAND Corporation, в которой доля экономистов в общем количестве сотрудников увеличилась с 3% в 1949 г. до 35% в 1950 г. [Mirowski, 2002, p. 311]. Столь же показательна поддержка американскими военными зарождавшихся центров математической экономики. Например, управление военно-морских исследований ВМФ США (Office of Naval Research) в 1947–1950 гг. финансировало 1/2 исследовательской программы Массачусетского технологического института [Mirowski, 2002, p. 200], а в 1951 г. – 1/4 бюджета так называемой Комиссии Коулза (Cowles Commission) [Mirowski, 2002, p. 220] – научного учреждения, из стен которого вышло целое созвездие экономистов-математиков, впоследствии удостоенных Нобелевской премии (Т. Купманс, К. Эрроу, Г. Беккер, Ж. Дебре, Дж. Тобин, Ф. Модильяни, Г. Саймон, Л. Клейн, Т. Хаавельмо, Л. Гурвич, Г. Марковиц и др.) [Augier & March, 2011]. Разумеется, Пентагон не собирался оплачивать изыскания, не соответствующие военно-утилитарной теме, что лишало историю экономических учений тугого военного «кошелька».

В-третьих, от коллег из Министерства обороны не отставали гражданские ведомства и бизнес, видевшие в математизированной экономической теории мощное идеологическое оружие, призванное аргументировать превосходство капиталистического уклада над социалистическим. Логику рассуждений американского истеблишмента, пожалуй, лучше всего объясняет доцент Университета штата Огайо С. Амаде. По ее мнению, математизация общественных наук в целом и экономики, в частности, при помощи «„научного“, то есть ненормативного и квантифицированного анализа» выполняла функцию доказательства преимущества традиционных западных ценностей – индивидуализма и демократии – над свойственными советскому строю авторитаризму и коллективизму. Данное утверждение, на наш взгляд, заслуживает дополнительных пояснений. Представляющим себе послевоенный накал холодной войны понятно, почему ни частный, ни государственный сектор Соединенных Штатов не жалели средств на «преодоление коммунистической теории… путем соединения индивидуализма и рационального своекорыстия [основных методологических столпов неоклассической экономической теории] и переложения этой комбинации на точный язык математики» [Amadae, 2003, p. 157–159]. Так, за 1956–1980 гг. американское правительство увеличило расходы на социальные науки в 17,5 раза – с 30 млн до 524 млн дол. [Larsen, 1992, p. 5], при этом 60% этих средств получали экономисты [Yarrow, 2013, p. 34]. Не меньшей щедростью в отношении экономикса отличались и влиятельные филантропические организации. Только в 1953 г. Rockefeller Foundation перечислила Национальному бюро экономических исследований 0,3 млн дол. для изучения экономики главного геостратегического оппонента – СССР [Brady, 2004], а экономический факультет Чикагского университета в 1956–1957 гг. получил более 0,15 млн дол. от частных структур [Emmet, 2011, p. 108–109]. Несложно догадаться, что деньги спонсоров расходовались отнюдь не на ИЭУ, а на наиболее «нужные» – в свете неослабевавшего биполярного противостояния – отрасли экономического знания.

Не случайно в середине XX столетия социальной науке вообще, в сердцевине которой размещался сакрализированный при помощи всей мощи математического аппарата принцип индивидуалистической рациональности, начала вменяться функция «стабилизации мышления о демократии, политической экономии и справедливости» [Amadae, 2003, p. 158–159]. При такой постановке вопроса нет оснований усомниться в обоснованности сложившегося в Северной Америке к началу 1960-х гг. «технико-прикладного» определения гуманитарных дисциплин как «независимых концепций или параметров, чьи коэффициенты могут быть выражены числами и которые в подходящей математической формулировке могут что-то предсказать о предельных возможностях индивидов» [Farish, 2010, p. 105–106]. Для ИЭУ математический переворот в обществоведении ознаменовал стремительное ускорение методологической изоляции от основного древа экономической науки. Теперь мейнстрим начал рассматривать эволюцию экономического знания не как процесс неких концептуальных приращений, а как постепенное улучшение техники анализа: «Я вижу прогресс… в экономической теории, – писал лауреат Нобелевской премии по экономике 1995 г. Р. Лукас, – как исключительно техническую вещь: улучшение математики, совершенствование математических формулировок, улучшение данных, оттачивание методов обработки данных…» (цит. по: [Kurz, 2013b, p. 57]). Следовательно, «сказанное Маршаллом и Найтом было больше неактуальным… и исторические аспекты начали исчезать из экономического анализа» [Weintraub, 2006], потому что, как заметил вышеупомянутый нобелиат, «экономическая теория – это математический анализ. Все остальное – просто картинки и болтовня» (цит. по: [Mirowski, 2012, p. 159]).

В-четвертых, не менее важным фактором математизации экономической науки стало распространение в послевоенном американском обществе фобий в отношении левых и либеральных идей. В конце 1940-х – начале 1950-х гг. на волне обострения антикоммунистических настроений альтернативные неоклассической теории течения экономического анализа подвергались жесткому остракизму. Так, в 1950 г. началась травля Университета Иллинойса, где в это время работали молодые кейнсианцы Р. Эйснер, Л. Гурвич, Ф. Модильяни, которые в глазах консервативно настроенной общественности выглядели разрушителями устоев капитализма и получили опасное для продолжения карьеры клеймо «розовых» [Lee, 2009, p. 38]. В 1953 г. суд отправил в тюрьму экономиста-марксиста П. Суизи [Renton, 2004, p. 125], а еще через год из-за объявленной сенатором Дж. Маккарти (1908–1957) охоты на красных из США в Великобританию уехал симпатизировавший социализму будущий Нобелевский лауреат Л. Клейн [Morgan, 2001, p. 27]. Характеризуя интеллектуальную атмосферу, царившую в Соединенных Штатах середины XX столетия, современный американский философ Б. Бабич без обиняков отмечает: «…хотя климат времен холодной войны в США не был дословной копией сталинизма, но определенно имел с ним сход-

ство[1]. Репрессии в отношении интеллектуалов, характерные для 1950-х и 1960-х гг., отражали ту же обстановку страха» (цит. по: [Tadajewski, 2006, p. 171]). При этом специалисты в области ИЭУ входили в особую группу риска, в первую очередь из-за изучения ими «антиамериканских» концепций. Вот как, например, известный специалист по истории экономической мысли Э.К. Хант описывал отношение руководства к его возможному переходу на постоянную должность: «Один из старших профессоров нашего факультета (Карл Ур) публично сделал заявление, что „любой, кто разделяет взгляды на дискуссию о капитале Робинсон – Сраффы, достоин пожизненного контракта только с сумасшедшим домом“» (цит. по: [Lee, 2009, p. 251]). В такой обстановке едва ли не единственным прибежищем для экономистов, где они могли себя ощущать в относительной безопасности от обвинений в политической неблагонадежности, стала математическая экономика, которая, с одной стороны, представлялась маккартистам дисциплиной, достаточно «лояльной» американским интересам, а с другой – позволяла исследователям маскировать свои идеологические убеждения в хитросплетениях формул и греческих букв. «Гонимые экономисты могли найти профессиональное убежище в мире символов», – объясняет причины математической революции в экономической науке Соединенных Штатов Дж. Ходжсон [Hodgson, 2004, p. 391]. По сути, политика маккартизма выступила еще одним катализатором формализации экономического анализа и выдворения ИЭУ из пантеона главных экономических дисциплин.

В-пятых, утверждение США в роли лидера послевоенного мира привело к канонизации и распространению американского, то есть математического, стандарта экономической науки в сфере политико-экономического влияния Вашингтона. Как указывает Э.Р. Вайнтрауб, «американская гегемония стабилизировала экономический дискурс, заменив различные национальные традиции [экономической теории] новоявленным каноном экономического сообщества Соединенных Штатов. Только Соединенные Штаты [в послевоенный период] обладали ресурсами для обучения, найма экономистов и публикации результатов исследований в области экономики» [Weintraub, 2012]. Слова профессора Университета Дьюка подтверждаются фактами. Так, в 1993 г. из 1 825 членов Экономического общества Республики Кореи, обладавших докторскими степенями, 43% прошли обучение в США [Choi, 1996, p. 97–98], а в 1950–1993 гг. университеты Индии посетили практически 5 тыс. американских экономистов [Ambirajan, 1996, p. 86]. На «американскую версию» экономической теории перешла и Германия. Смещение с пьедестала немецкой историко-экономической традиции, являвшейся в начале XX столетия главным конкурентом англосаксонского экономического знания, во многом предопределили ассоциация с идеями национал-социализма учения сторонников Г. Шмоллера (см. подробнее: [White, 2012, p. 160–161]), что

[1] О трагических последствиях сталинизма для советской экономической науки подробно говорится в работах известных российских специалистов по ИЭУ Д.В. Мельника и Л.Д. Широкорада. См. подробнее, например: [Мельник, 2014; Широкорад, 2010].

закрывало их последователям дорогу для продолжения научно-образовательной деятельности в денацифицирующейся Федеративной республике, а также запуск программ академических обменов между США и ФРГ (за 1950–1956 гг. 14 тыс. жителей Западной Германии побывали за океаном с учебными целями) [Junker, 2004a, p. 25], ускорявших привыкание молодого поколения немецких экономистов к «вкусу» американской теории. Символом окончательной перехода германского экономического анализа на американские рельсы стала публикация в 1949–1952 гг. написанного в самуэльсоновском духе трехтомного учебника Э. Шнайдера «Введение в экономическую теорию», который для «целого поколения немецких студентов превратился в экономическую „Библию“» [Nutzenadel, 2007, p. 240]. Переход национальных школ экономической мысли на «катакомбное» существование открыл путь окончательному доминированию математического экономикса, законы которого носят универсальный и вневременной характер, а язык одинаково понятен исследователям из любой страны и поэтому не требует знания исторического контекста. В итоге к концу 1990-х гг. под воздействием как внутренних, так и внешних факторов ИЭУ, казалось, навечно обрекалась на «окраинное» положение в рамках мейнстрима. Окончательный приговор истории экономических учений в 1999 г. вынес П. Ромер: «Я назвал бы поклонение предкам [изучение теорий прошлого]… непродуктивным занятием» (цит. по: [Laidler, 2001]).

Однако уже в начале третьего тысячелетия бесспорность этого тезиса встала под сомнение. Примечательно, что «мятеж» начался внутри самого магистрального течения, которое, как мы показали выше, относится к ИЭУ в лучшем случае как к праздному любопытству, отвлекающему «настоящего» экономиста от шлифовки техники математического анализа. Так, в 2011 г. видный эконометрист М. Тома огорошил мейнстримную общественность «открытием»: профессор Орегонского университета обнаружил, что «новое экономическое мышление означает чтение старых книг» [Thoma, 2011]. Чтобы понять смелость этой мысли при всей кажущейся ее очевидности, необходимо вспомнить высказанное таким непререкаемым авторитетом, как П. Самуэльсон, напутствие: «Работающие ученые, по правде говоря, не имеют ни времени, ни терпенья возиться с историей своего предмета, вместо этого они [должны]… творить эту историю» (цит. по: [Kurz, 2010, p. 514–515]). «Крамолу» М. Томы поддержал другой авторитетный экономист Б. Делонг, заведующий кафедрой политической экономии Калифорнийского университета в Беркли, высказавший мнение о том, что экономическая теория образца 1873 г. гораздо лучше объясняет современные проблемы мировой экономики, чем наработки макроэкономистов последних десятилетий [DeLong, 2011]. С «мятежниками» косвенно был солидарен лауреат Нобелевской премии 1998 г. А. Сен, который напрямую связал неудовлетворительное состояние современной экономической науки с «крайним пренебрежением всей профессии историей экономической мысли», ставшим «одной из главных ошибок экономистов» (цит. по: [Syll, 2012]). В 2014 г. к «раскольникам» присоединился П. Кругман, сделавший на страницах The New York Times следующее заявление: «Од-

ним из примечательных явлений продолжающегося экономического кризиса является… демонстрация значимости истории, …причем не только экономическая история показала свою исключительную актуальность, но и интеллектуальная история – история экономической мысли – также оказалась важной. Короче говоря, вы поймете гораздо лучше то, что происходит сейчас… если будете знать невеселую историю макроэкономической мысли» [Krugman, 2014].

Критика антиисторичности современной экономической теории раздается не только со стороны признанных мэтров, но и студенческой аудитории. В ноябре 2011 г. мировое мейнстримное экономическое сообщество было серьезно обеспокоено происшествием, случившимся на экономическом факультете Гарвардского университета, когда 70 студентов демонстративно покинули лекцию Г. Мэнкью. В позднее опубликованном открытом письме молодые люди выразили категорическое неприятие курса уважаемого профессора, главным образом по причине игнорирования «альтернативных подходов к экономической теории», в результате чего «Гарвард не может вооружить своих студентов широким и критическим пониманием экономики»[1] [Harvard Political Review, 2011]. За восстанием американских учащихся последовал «бунт» международного студенческого сообщества более чем из 30 стран, объединившихся в движение «Всемирная студенческая инициатива за плюрализм в экономике». В начале мая 2014 г. протестующие представили манифест, возлагавший ответственность за кризис экономикса на отсутствие или слабую представленность в расписаниях занятий будущих экономистов таких дисциплин, как ИЭУ и экономическая история[2].

Безусловно, можно относиться к подобным демаршам как к некой «болезни роста», «наивным мечтам очередной группы девятнадцатилетних изменить мир» (цит. по: [Kay, 2014]). Однако шум, поднятый студентами вокруг проблемы преподавания экономической теории, отнюдь не заглох. Еще в 2009 г. Дж. Сорос, Дж. Балсилли, Д. Рокфеллер, П. Уокер и другие известные филантропы основали Институт нового экономического мышления (Institute for New Economic Thinking), провозгласивший своей целью устранение «недостатков в наших устаревших экономических теориях»[3]. Одной из первоочередных задач Института стала разработка программы реформирования экономического образования для чего think tank сформировал британскую и американскую комиссии, возглавляемые соответственно лордом Р. Скидельски и профессором Барнард-колледжа П. Мерлингом. В 2010 г. ученые с обеих сторон Атлантики обнародовали свои первые наработки, общим знаменателем которых являлось понимание «необходимости ввести в

---

[1] An Open Letter to Greg Mankiw. URL: http://harvardpolitics.com/harvard/an-open-letter-to-greg-mankiw/

[2] An International Student Call for Pluralism in Economics. URL: http://www.isipe.net/open-letter

[3] Institute for New Economic Thinking. About the Institute. URL: http://ineteconomics.org/about

расписание исторический, философский и институциональный контексты»[1]. Впрочем, даже несмотря на созвучность требований студентов рекомендациям знаменитых исследователей, чаяния первых могли уподобиться очередному сражению с ветряными мельницами, если бы не активная поддержка курса на гуманитаризацию экономического образования крупными политическими фигурами, бизнесом и обществом. Так, магистрантам Манчестерского университета, организовавшим «Посткризисное экономическое общество» (Post-crash Economics Society), удалось заручиться протекцией руководства Банка Англии. В предисловии к подготовленному «бунтовщиками» в апреле 2014 г. проекту «Экономика, образование и потеря знаний: экономическое образование в Манчестерском университете» директор департамента финансовой стабильности Э. Холдейн написал, что всецело разделяет стремление студентов «переосмыслить экономику» и «интегрировать в нее историю, психологию, антропологию, эволюционную биологию, социологию и нейробиологию» [Haldane, 2014, p. 5]. С экспертом согласна бывший советник казначейства Соединенного Королевства Д. Койл, которая подчеркивает необходимость внедрения курсов экономической истории и ИЭУ в программы подготовки экономистов [Coyle, 2014]. Таким образом, немного перефразируя Дж. Ходжсона, можно с осторожным оптимизмом говорить о том, что «экономическая наука, возможно, начнет вспоминать историю».

Основным фактором, обусловившим активизацию дискуссии о необходимости «реабилитации» истории экономических учений, стала крайняя обеспокоенность ученых состоянием современного магистрального течения экономической теории. Казалось бы, ИЭУ абсолютно бесполезна для мейнстрима, ощущающего себя точной наукой. Однако мы попытаемся доказать обратное, что называется, «от противного», показав главные, с нашей точки зрения, последствия забвения истории экономической мысли как для теории, так и для практики.

Во-первых, закрепление за ИЭУ положения «незаконнорожденного дитя» экономической теории привело к утверждению веры в незыблемость и универсальный характер постулатов мейнстрима. Вырванные из историко-экономического контекста принципы минималистского государства, саморегулирующегося рынка и свободной торговли стали интерпретироваться как непременное условие успешного развития всех стран мира, вне зависимости от их технико-экономических, социокультурных и институциональных различий. На этой почве стало «модным» винить в хозяйственных пертурбациях «порочные» догматы неоклассики и демонизировать таких ярких представителей экономического либерализма, как М. Фридман и Ф. Хайек. Однако сторонники подобных упрощенных интерпретаций предпочитают игнорировать тот факт, что многие экономические катаклизмы последних десятилетий детерминировались не «ущербными» выводами экономической теории, а, скорее, неверным их прочтением. Так, болезненность пере-

[1] Economics of the Real World. A project of the INET Economics Curriculum Task Force. URL: https://www.ineteconomics.org/uploads/downloads/Economics_of_the_Real_World_v10.pdf

хода к рыночной экономике стран СНГ и Восточной Европы отчасти можно объяснить банальным незнанием политиками истинного смысла задействованных теоретических конструкций. «…Попытки применить теоремы Хайека к практике хозяйственных трансформаций, как это сделали Вацлав Клаус и его сторонники, оказали разрушительное воздействие [на экономику Чехии]», – утверждает профессор Пражского экономического университета Я. Павлик. Однако ученый делает важную ремарку: «…надо обязательно добавить, что вышеназванные политики не читали Хайека внимательно и не поняли его. Вместо настоящего хайекианства они предложили и отстаивали неверное его толкование» [Pavlik, 1999]. В развитых государствах историческая амнезия экономической науки совпала с ложной мифологизацией образа А. Смита как протагониста рыночного фундаментализма. Его имя с молчаливого одобрения «профессоров Гарварда, Йеля и Чикаго» все шире использовалось банковскими воротилами и «правыми политиками с Капитолийского холма» в качестве интеллектуальной поддержки дерегулирования финансовой сферы [Inman, 2011]. Эту точку зрения разделяет лауреат Нобелевской премии 1998 г. А. Сен, усматривающий корни Великой рецессии в весьма поверхностном изучении современной бизнес-элитой интеллектуального наследия А. Смита, ставшего в ее глазах отцом ультралиберализма, легитимировавшего разгосударствление хозяйственной сферы [Sen, 2009][1]. Следовательно, сохраняющаяся клиофобия основного канона чревата тем, что экономисты будут по-прежнему выдвигать претензии на создание универсалистских концепций в духе one size fits all, а политики, используя аисторические умозаключения экономической теории, делать далеко идущие выводы с непредсказуемыми последствиями.

Во-вторых, переход ИЭУ в факультативный статус осложнил задачу восприятия современными исследователями накопленного идейного багажа. Попав под обаяние виговского видения истории науки, мейнстрим твердо усвоил чеканную формулу, блестяще выведенную М. Фридманом: новые идеи – это «старое вино в новых [математических] бутылках» [Friedman, 1991a]. Экономисты оказались настолько прилежными «стеклодувами», что к середине 1980-х гг., по свидетельству специалистов, стали превращаться в «умственно дефективных лиц (idiot savant), прекрасно владеющих эзотерической математикой, но полных профанов в реальной экономической жизни» (цит. по: [Colander & Klamer, 1987, p. 95]). Более того, «виночерпии» начали отрицать необходимость контекстуализации и историческую ограниченность разливаемых ими в изысканные математические сосуды экономико-теоретических конструкций. В результате такого «бутилирова-

[1] Примечательно, что тонкий знаток истории экономической мысли П.Н. Клюкин обращает внимание на схожие метаморфозы, произошедшие с восприятием идей великого шотландского мыслителя в России. По мнению экономиста, где-то «с середины 1980-х и начала 1990-х годов наследие Смита… стало постепенно обрастать мифами и домыслами… Смит начал представать и предстает и поныне в образе этакого экономиста-фритредера, который верит в идеалы свободного рынка и конкуренции, проповедует дух эгоизма, корысти и наживы…» [Клюкин, 2016, с. 880].

ния» экономисты окончательно уверовали в то, что «они не нуждаются… даже в малейшем знании истории» [Keen, 2004, p. 2–3]. Между тем еще в 1971 г. К. Болдуинг предупреждал: «Даже если идеи экономистов прошлого сегодня вышли из моды, они, тем не менее, могут быть частью нашего „продленного настоящего“ (extended present)» (цит. по: [Boettke et al., 2014, p. 538]). Однако представители мейнстрима не услышали данный совет. В частности, изучение таких сверхактуальных и прекрасно проработанных в 1930–1940-е гг. вопросов, как последствия иррациональности экономических агентов, причины надувания финансовых пузырей, способы предотвращения кризисов, спустя семь десятилетий оказались практически полностью забыты учеными магистрального течения. Их место заняли гипотеза эффективного рынка нобелевского лауреата 2013 г. Ю. Фамы: «Мы должны отдать управление капитала нации в руки тех, кого Кейнс называл „финансовым казино“» [Krugman, 2009], и новая классическая макроэкономика, в лице одного из ее основателей Р. Лукаса провозгласившая успешное разрешение «центральной проблемы – предотвращение депрессий» [Lucas, 2003, p. 1]. Вполне закономерно, что из-за презрения к знаниям прошлых поколений исследователей кризис 2008 г. для многих представителей мейнстрима оказался полной неожиданностью, поскольку «такие кризисы не случаются в их учебниках»[1].

В-третьих, более чем полувековая дискриминация ИЭУ чревата серьезными затруднениями с выработкой «нового экономического мышления, которое может помочь найти ответы на великие вызовы XXI века»[2]. Экономисты быстро теряют свои навыки, если не интересуются старыми идеями, так как строительным материалом для возведения новых концептуальных конструкций часто являются теоретические блоки прошлого[3]. «Без Хайека, Роббинса и Пигу не было бы Кейнса; без Кейнса не было бы Фридмана…», – поясняет эту мысль М. Блауг [Blaug, 2001, p. 156]. Кроме того, потеря интереса к изучению эволюции мысли грозит исследователям очередным «открытием Америки». Здесь можно вспомнить «поздравления» П. Кругману и другим создателям «новой экономической географии» по случаю повторного изобретения давно существующего направления анализа. «У экономических географов, – с трудом сдерживая иронию, пишет профессор экономической географии Кембриджского университета Р. Мартин, – модели „новой экономической географии“ вызывают стойкое дежавю». Под видом нового слова в теории П. Кругман и его коллеги предложили старые «модели размещения в традиции Вебера, Леша, Кристаллера, Алонсо и Изарда» [Martin, 1999, p. 70, 84], завернутые в модную математическую обертку. Иными словами, без восстановления в правах гуманитарной (или, как ее назвал бы

---

[1] ‘H’ is for history of economic thought. URL: http://nzinitiative.org.nz/Media/Insights/The+A-Z+of+economic+literacy/H+is+for+history+of+economic+thought.html

[2] Institute for New Economic Thinking (New York). URL: www.complexityexplorer.org/explore/resources/132-institute-for-new-economic-thinking-new-york/

[3] ‘H’ is for history of economic thought. URL: http://nzinitiative.org.nz/Media/Insights/The+A-Z+of+economic+literacy/H+is+for+history+of+economic+thought.html

Р. Солоу, аристократической) составляющей подготовки экономистов, одно из главных мест в которой должна занимать ИЭУ, молодые исследователи будут по-прежнему толочь архаичную теоретическую субстанцию в красивой математической ступе. Одним из первых шагов, направленных на ослабление оков аисторицизма, должен стать выбор способа изучения истории мысли, для чего требуется рассмотреть основные методы исследования эволюции экономических идей. Именно этот вопрос станет предметом нашего анализа в следующем параграфе.

Подведем итоги.

1. В течение столетий история экономических учений занимала привилегированное положение среди экономических дисциплин и по праву носила титул королевы экономических наук. До середины XX столетия знание ИЭУ выступало необходимым компонентом научного теоретизирования, а специалисты по данному направлению знания входили в костяк мейнстрима. Начало девальвации статуса истории экономической мысли совпало с окончанием Второй мировой войны, после которой экономисты основного течения сменили свою дисциплинарную принадлежность, перейдя из гуманитарного лагеря в предметную область точных наук.

2. Превращение экономики в социальную физику и освобождение ее от обществоведческого «балласта» было мечтой многих исследователей. Однако до начала 1950-х гг. сциентистский настрой отдельных ученых не мог взять верх над общей гуманитарной направленностью экономической теории. Рубежным этапом стали трагические события 1940-х гг., поставившие на повестку дня воюющих сторон задачу объединения усилий экономистов и представителей физико-математических наук для решения военно-прикладных задач, что привело к формированию нового, «точного» стандарта экономического мышления.

3. Последовавшая за Второй мировой войной сорокалетняя эра «холодного» противостояния зацементировала математический характер экономической теории Запада. С одной стороны, вся мощь инструментального аппарата начала применяться для доказательства превосходства одного социального уклада над другим, с другой – с усилением в США антикоммунистических настроений математическая экономика стала казаться относительно безопасным пристанищем для исследователей, опасавшихся быть уличенными в симпатиях к левым концепциям. Превращение Соединенных Штатов в абсолютного лидера мирового хозяйства привело к универсализации самуэльсоновского экономикса в масштабах всей их сферы влияния и идейной периферизации национальных школ экономической мысли.

4. Повсеместное распространение американского математизированного канона экономической теории практически вытолкнуло ИЭУ из лона economic science, представители которой сбросили гуманитарную одежду и принялись соревноваться друг с другом в игре математическими мускулами. Сакрализация максимы П. Самуэльсона: «Кто может – делает науку, кто не может – занимается методологией, если ты знаешь математику – ты можешь делать науку» (цит. по:

[Taleb, 2010, p. 184]) зафиксировала положение истории экономических учений как второсортного предмета, отнимающего время «настоящих» ученых от совершенствования техники анализа. К началу XXI столетия закрепление за «грекопишущими экономистами» (Greek-letter economists) [Krugman, 1997, p. IX] командных высот в научно-образовательной сфере привело к сокращению притока в сферу ИЭУ молодых кадров и исчезновению публикаций по данной теме в мейнстримных журналах, что фактически поставило этот предмет на грань академического вымирания.

5. Рубеж 2000–2010-х гг. ознаменовался чередой признаний корифеев мейнстрима в опасности пренебрежения историей экономической мысли и серией студенческих протестов против клиофобии основного русла экономической теории. Осознание значимости покровительницы истории пришло в канун Великой рецессии 2007–2009 гг., оказавшейся полной неожиданностью для экономикса, отрицающего необходимость изучения прошлого. Осторожный оптимизм в отношении инициатив по возрождению ИЭУ придает стремление влиятельных исследователей создать новую теорию, отвечающую вызовам XXI столетия, что едва ли возможно без знания истории экономической науки.

1.2. Эволюция методологического ландшафта истории экономических учений[1]

Последняя треть XX – начало XXI столетия в плане развития экономической науки вошли в историю под названием «десятилетий методологических дебатов». Одна из наиболее острых дискуссий развернулась вокруг выбора способа анализа истории экономических учений. Истоки этого спора уходят корнями в середину XX века, когда история мысли начала получать методологическую самостоятельность и обретать отличный от экономической теории предмет изучения. Если до 1960-х гг. ИЭУ рассматривалась большинством исследователей как «просто историческое продолжение экономической теории» [Goodwin, 2008], то спустя десятилетие все больше экспертов полагало, что «история экономических учений должна стать автономной [от экономической теории] и изучаться сама по себе» (см. подробнее: [Backhouse, 1995, p. 45]). Вполне естественно, стремление к выделению ИЭУ из предметного поля экономической науки, о причинах которого говорилось в первом параграфе, потребовало разработки новых и модернизации существующих подходов к изучению истории экономической мысли. С нашей точки зрения, чтобы лучше ориентироваться в широком арсенале методологических средств анализа ИЭУ, следует сначала определиться с отправными вехами эволюции приемов исследования истории мысли, затем систематизировать основные современные методы интеллектуальной «археологии» и завершить разговор анализом их слабых и сильных сторон. Начать предлагаем с выявления особенно-

[1] Данный параграф базируется на статьях: [Мальцев, 2016c; Мальцев, 2015b].

стей видения идей прошлого крупными экономистами «долгого» XIX века[1], заложившими ключевые методологические традиции изучения истории экономических учений.

Прежде всего заметим, что, несмотря на значительный массив литературы по историографии экономической науки, нельзя однозначно определить точное время появления первых специальных исследований в области ИЭУ. Одни авторы связывают возникновение истории экономических учений с трудами французских политэкономов Ж.-А. Бланки и А. де Вильнева-Баржемона второй четверти XIX столетия (см. подробнее: [Stark, 1994, p. 3–4]). Другие усматривают истоки изысканий в сфере ИЭУ – в форме размышлений о системах политической экономии – в творчестве А. Смита [Almodovar & de Fátima Brandão, 2005, p. 2]. Третьи подчеркивают первостепенную важность для становления истории экономической науки работ венгерского ученого Г. Каутца (1829–1909) (см., например: [Laughlin, 1885; Howey, 1982]) и итальянского экономиста Л. Коссы (1831–1896) (см. подробнее: [Senn, 2008]). Опираясь на мнение такого бесспорного авторитета, как Й. Шумпетер, утверждавшего, что «очерки Мак-Куллоха… и Ж.-Б. Сэя… являются единственными достойными упоминания публикациями такого рода [по ИЭУ] за период до 1837 г.» [Шумпетер, 2001, т. 2, с. 500], а также точку зрения профессора Даремского университета Д.П. О'Брайна, назвавшего Мак-Куллоха и Сэя «основателями изучения истории экономической мысли» [O'Brein, 2000, p. 31], примем за нижнюю хронологическую границу начала исследований в области ИЭУ работы именно данных классиков политической экономии.

Предварим анализ специфики исследования наследия экономических идей прошлого в хронологии его развертывания следующим пояснением. Как будет показано далее, при всем многообразии методологических приемов изучения истории экономической мысли базовые позиции авторов можно разнести по принадлежности к противоположным мировоззренческим принципам, известным еще с глубокой древности, на два условных течения – абсолютистов и релятивистов. Не вдаваясь в детальную расшифровку, ограничимся кратким разъяснением принципиальной разницы между этими философскими установками.

Начнем с абсолютизма. Один из крупнейших знатоков истории экономической мысли М. Блауг дал следующую характеристику приверженцам абсолютистской методологии: «Абсолютист… следит только за строго интеллектуальным развитием предмета, которое… рассматривает как неуклонный прогресс от ошибки к истине» и высокомерно относится к авторам прошлого. Антиподом абсолютизма выступает релятивизм – комплекс убеждений, подразумевающих рассмотрение теорий прошлого «как более или менее точное отражение тогдашних условий» [Блауг, 1994, с. 1].

---

[1] С точки зрения выдающегося британского экономического историка Э. Хобсбаума, «долгий девятнадцатый век» продолжался с 1789 по 1914 г.

С этих философских позиций становится гораздо понятнее, почему в обширной галерее работ как раз труды Д.Р. Мак-Куллоха (1789–1864) и Ж.-Б. Сэя (1767–1832) можно признать колыбелью истории экономических учений. Именно их заслугой стало формирование двух основополагающих канонов исследования ИЭУ, получивших впоследствии названия релятивистского и абсолютистского подходов. В своей книге «Дискурс о подъеме, прогрессе, своеобразии предмета и значении политической экономии», вышедшей в 1824 г., Д.Р. Мак-Куллох предложил рассматривать хозяйственную среду отдельных исторических эпох в качестве поставщика прецедентов, находящих отражение в экономических представлениях прошлого. Профессор политической экономии в Университетском колледже Лондона утверждал, что для «строительства науки политической экономии на твердой основе необходимо… искать ее принципы не в каких-то… метафизических абстракциях, а в связи с различными феноменами, возникающими в ходе прогресса цивилизации» [McCulloch, 1824, p. 52]. Взяв за основу эту установку, шотландский экономист попытался объяснить причины появления политической экономии лишь в середине XVIII столетия. С точки зрения ученого, в эпоху Античности и Средневековья мыслители просто не обладали достаточным количеством фактологического материала для теоретической рефлексии и лишь с «экстраординарным развитием коммерции в пятнадцатом и шестнадцатом столетиях» в их руках стал накапливаться хозяйственный реквизит, пригодный для начала «конструирования хорошей теории политической экономии» [McCulloch, 1824, p. 20, 23]. Подобное видение развития истории экономических учений позволяет нам отнести Д.Р. Мак-Куллоха к релятивистам.

Диаметрально противоположных воззрений на эволюцию ИЭУ придерживался Ж.-Б. Сэй. Используя терминологию второй половины XX века, исследовательскую позицию «французского Адама Смита» [Skousen, 2008, p. 47] можно классифицировать как абсолютистскую. По всей видимости, именно Ж.-Б. Сэй стал первым экономистом, предельно четко сформулировавшим данную точку зрения. «…Чем больше мы знаем о какой-то науке, – писал он в 1829 г., – тем меньше возникает нужды заниматься изучением ложных и сомнительных мнений, приведших этот предмет к его сегодняшнему состоянию. Наш долг – с уважением относясь к ошибкам прошлого, не заниматься их воскрешением, а просто забыть их» (цит. по: [Hutchison, 1978, p. 213]).

Следующей важной вехой в развитии истории экономической мысли и ее метода стало появление в 1837 г. труда соотечественника и бывшего студента Ж.-Б. Сэя – Ж.-А. Бланки (1798–1854) «История политической экономии в Европе». В введении к своей работе французский политэконом специально подчеркнул, что «в отличие от Ж.-Б. Сэя, монсеньора де Сисмонди и мистера Мак-Куллоха не будет ограничиваться анализом курса политической экономии начиная с Кенэ с добавлением нескольких слов вежливости к предшествующим векам» (цит. по: [Groenewegen, 2002, p. 49–50]). Помимо глубины ретроспективы анализа, снискавшего трактату Ж.-А. Бланки славу «книги по истории экономической мысли особого рода» (цит. по: [Sigot,

2012, p. 224]), дополнительную ценность ему придавал своеобразный методологический прием. Ученик Ж.-Б. Сэя не разделял откровенно пренебрежительного отношения своего наставника к ИЭУ и провозгласил своей целью «соединить политическую экономию с общей историей и описать их взаимовлияние с древности до наших дней» (цит. по: [Groenewegen, 2002, p. 50]). Несмотря на сетования на излишние, по мнению некоторых комментаторов, симпатии Ж.-А. Бланки к релятивизму и якобы имевшую место путаницу между экономической историей и историей экономических учений, именно такой способ исследования истории мысли, базирующийся на идее поиска связи между изменениями в общественных институтах и экономическими концепциями, оказался наиболее популярным на протяжении следующего столетия.

В 1847 г. на другой стороне Ла-Манша Т. Твисс (1809–1897) опубликовал монографию «Взгляд на прогресс политической экономии в Европе с шестнадцатого века», развивавшую исследовательскую линию Д.Р. Мак-Куллоха, увязывавшего появление политической экономии со сдвигами в материальной и социальной структурах хозяйства. Новизну работе профессора Оксфордского университета придавала оценка воздействия технологических факторов, в частности, промышленной революции на развитие экономической теории. Экономист утверждал, что «последняя четверть восемнадцатого века дала обильный урожай фактов для Новой школы экономистов… Великая сила пара, прирученная гением Уатта… поддержанная открытиями Аркрайта и сочетанием парового двигателя и прядильной машины, поменяли аспекты производства так, что это явило к жизни новый класс проблем, касающихся вопросов распределения продуктов… Наука финансов, например, также получила новый импульс от выдающегося развития обрабатывающей индустрии…» [Twiss, 1847, p. 226–227].

В том же 1847 г. увидела свет «Нищета философии» К. Маркса (1818–1883), содержащая, по мнению авторитетных специалистов, исходные элементы марксистского видения логики развития экономической мысли (см., подробнее, например: [Elliot, 1991, p. 391]). Считается, что именно в этой работе мыслитель сформулировал основы своего учения, в рамках которого материальные условия жизни людей определяют характер идей и воззрений, доминирующих в обществе. «Ручная мельница, – писал экономист, – дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталистом» [Маркс и Энгельс, 1955, т. 4, с. 133]. Однако именно этот тезис стал предметом ожесточенных дискуссий, не утихающих уже более полутора столетий. В первую очередь К. Маркса обвиняют в технологическом детерминизме. Так, М. Вебер (1864–1920) утверждал, что увязка формы общественного устройства с типом мельничного оборудования наглядно свидетельствует о «неспособности Маркса четко сформулировать разницу между „экономическим“ и „технологическим“ и «ее ложность может быть легко доказана» (цит. по: [Giddens, 1995, p. 68]). Еще чаще, как это, к примеру, делал Л. фон Мизес (1881–

1973), К. Марксу ставят на вид недооценку роли идейной сферы в качестве мотора изменений в «царстве осязаемых и материальных вещей» [Мизес, 2013].

Между тем критики очень часто предпочитают не замечать того, что для К. Маркса вовсе не характерна недооценка значения идей в социально-экономическом развитии и апология технологического детерминизма. «Сознание не только отражает реальность, но также существует и обратная связь между реальным миром и деятельностью человека, между материальной реальность и сознанием», – объясняет суть марксовой философии истории профессор Манчестерского университета С. Ригби [Rigby, 1998, p. 8–9]. Еще более важной новацией, с точки зрения крупного специалиста в области ИЭУ Ф. Дин, стал анализ К. Марксом экономических концепций не просто на фоне современных им реалий, а их помещение в контекст определенной «социально-экономической модели хозяйственного развития» [Deane, 1978, p. 133]. При этом «мудрец из Трира» совсем не считал эти схемы порождением «безличных» технологических сдвигов. На самом деле для К. Маркса главным и единственным творцом истории являлись люди. Только «люди, которые устанавливают общественные отношения соответственно развитию их материального производства, – отмечал он в своей отповеди П.-Ж. Прудону, – создают также принципы, идеи и категории соответственно своим общественным отношениям». Отталкиваясь от этого положения, а также предпосылки о постоянной изменчивости общества основатель марксизма вывел релятивистский принцип, который в зависимости от теоретико-методологических предпочтений вызывает горячие одобрения или, напротив, гневные возражения вот уже нескольких поколений историков экономической мысли: «…эти [экономические] идеи, эти категории столь же мало вечны, как и выражаемые ими отношения. Они представляют собой *исторические и преходящие* продукты» [Маркс и Энгельс, 1955, т. 4, с. 133].

В определенной степени релятивистский взгляд на ИЭУ отличал и творчество венгерского эрудита Г. Каутца (1829–1909). Оправдывая статус ученика одного из основателей немецкой исторической школы В. Рошера, Г. Каутц в основном рассматривал развитие экономических идей на фоне истории хозяйственной системы. Параллельно с погружением воззрений экономистов прошлого в социально-исторический контекст профессор Университета Пешта отслеживал эволюцию аналитического аппарата экономической науки. В итоге венгерскому экономисту удалось соединить релятивистское исследование истории экономической мысли в формате «экономическая идея – продукт хозяйственной среды» с рассмотрением прогресса техники экономического анализа в абсолютистском стиле «чья теорема красивее и лучше». Кстати, Г. Каутц – один из немногих ученых, обративших внимание на работу Г.Г. Госсена (1810–1858) [Gossen, 1854], в которой закладывались основы маржинального анализа, впоследствии использованные одним из творцов «революции предельной полезности» У.С. Джевонсом [Streissler, 1990, p. 37].

Вместе с тем, несмотря на очевидное преобладание экстерналистских суждений, говорить о достижении во второй половине XIX века некого методологического консенсуса в отношении эволюции истории экономической мысли не приходилось. На фоне экономико-исторических изысканий, выдержанных преимущественно в релятивистском ключе, особо выделялась работа Е. Дюринга (1833–1921) «Критическая история национальной экономии и социализма» (1871). Е. Дюринг был сторонником философии априоризма, отрицающей представления о том, что идея отражает реальность, а знание вытекает из опыта. Априористы убеждены в существовании встроенных в сознание «врожденных принципов», отталкиваясь от которых можно постичь достоверную истину посредством логической дедукции [Che, 1972]. Этой концепции полностью отвечает попытка Е. Дюринга доказать, что в отношении ИЭУ существуют абсолютные стандарты, «по которым мы сможем решить – и решить с окончательной уверенностью – что есть хорошо и что есть плохо» (см. подробнее: [Stark, 1994, p. 21]). Используя данный прием, доцент Берлинского университета мог, к примеру, называть мальтузианско-рикардианскую теорию «случайной девиацией в развитии экономического понимания», тогда как Ф. Лист удостаивался звания автора «фундаментальной для науки идеи» за открытие «экономического принципа национальности» (цит. по: [Stark, 1994, p. 20]). Кроме того, Е. Дюринг, как и многие априористы, отстаивая неизменность человеческой природы, допускал существование экономических законов, выводы которых распространяются «не только на отдельные регионы и определенные периоды, но и на широчайшую историю и географию» (цит. по: [Stark, 1994, p. 7]).

Эхо «бунта» против релятивизма, поднятого Е. Дюрингом, отозвалось и на Апеннинском полуострове. Так, Л. Косса (1831 – 1896), отнесенный Й. Шумпетером к патриархам итальянской экономической науки [Шумпетер, 2001, т. 3, с. 1129], в своем «Путеводителе по изучению политической экономии», вышедшем в свет в 1876 г. и переведенном на английский язык в 1880 г., выступил против распространенной в то время исторической школы экономической мысли, отвергавшей возможность выработки универсальных экономических принципов и предлагавшей экономистам строить свои выводы на основе эмпирического и исторического анализа, а не математического моделирования. Профессор политической экономии Университета Павии считал, что «мы не сможем постичь экономическую науку… без идеи о существовании естественных законов, управляющих феноменом общественного богатства» [Cossa, 1880, p. 86]. Словно цитируя римских стоиков, постулировавших существование вечных правил, которые человечество может открыть, но не изобрести [Skirbekk & Gilje, 2001, p. 94–95], Л. Косса писал: «…политическая экономия не придумывает, а только описывает действия экономических законов и их основания» [Cossa, 1880, p. 67]. Такие суждения дают достаточно ясные представления о методологических пристрастиях итальянского экономиста. В свойственной абсолютистам манере Л. Косса судил об экономических теориях предшественников через призму современных ему научных стандартов и не мог обойтись

без раскрашивания идейного наследия прошлого в черные и белые цвета. Поэтому неудивительно, что целью истории экономической мысли итальянский ученый провозгласил «не просто представление в виде хронологической экспозиции различных доктрин, созданных предшествующими поколениями…», а «рассмотрение этих различных теорий поодиночке и исследование их происхождения и роста… в изолированной форме, чтобы выстроить их в виде последовательной системы» и в конечном счете «оценить их абсолютную и относительную ценность» [Cossa, 1880, p. 73–74].

Впрочем, при всей убедительности рассуждений Л. Коссы далеко не все ученые на рубеже XIX–XX столетий разделяли идею возможности анализа ИЭУ в отрыве от институционально-культурной среды. Настоящим манифестом релятивизма стала книга «История политической экономии» (1888) ирландского экономиста и поэта Дж.К. Ингрэма (1823–1907). Одним из ее наиболее интересных моментов выступило предельно лаконичное изложение сути релятивистского подхода к изучению истории экономической мысли, сформулированное в трех основных тезисах. Во-первых, «возникновение и формирование экономических доктрин в большой степени обусловливалось практической ситуацией, потребностями и тенденциями соответствующей эпохи». Во-вторых, «с каждым важным социальным изменением возникали новые экономические вопросы; теории, доминирующие в каждый данный период, обязаны своим влиянием тому, что они предлагали решения для наиболее острых проблем своей эпохи». В-третьих, «каждый мыслитель… все-таки дитя своего века и не может быть изолирован от социальной среды, в которой он живет» [Ingram, 2013, p. 3]. Аргументированность релятивистской трактовки развития ИЭУ впечатлила не только заокеанского поборника контекстуализации хозяйственных явлений Ф. Таусинга (1859–1940), давшего статье ирландского ученого в Британской энциклопедии, позднее переросшей в книгу, следующую оценку: «Это прекрасный очерк, лучший из написанных на нашем языке во всех отношениях» [Barrett, 2001, p. 14, 15], но и обычно скупого на похвалы Й. Шумпетера, аттестовавшего работу профессора Ингрэма как «единственное солидное достижение в этой области [ИЭУ] среди английской литературы» [Schumpeter, 1954, p. 4].

Как бы то ни было, к началу XX века стало понятно: в условном соревновании абсолютистов и релятивистов вперед вырвались сторонники Дж.К. Ингрэма. Их доминирование закрепила книга французских экономистов Ш. Жида (1847–1932) и Ш. Риста (1874–1955) «История экономических доктрин со времен физиократов и до наших дней» (1909), в которой основной акцент сделан на выявлении социальных истоков исследуемых теорий, а также хозяйственных предпосылок их эволюции и трансформации [Кузьминов, 1995]. Этот труд оставался одним из главных учебников по ИЭУ вплоть до середины 1950-х гг. [Deane, 1991, p. 26]. Конкуренцию ему могло составить лишь учебное пособие «История экономической мысли» (1911) профессора Техасского университета в Остине Л.Г. Хейни (1882–1969), полностью разделявшего взгляды своих французских коллег: «История экономической мысли – это важная часть всеобщей истории, которая

объясняет ее и ею же объясняется» [Haney, 1913, p. 4]. Если вспомнить, что один из главных экономистов XIX века А. Маршалл признавал невозможность изучения экономической теории вне исторического нарратива: «Бессовестно обманывают те, кто заявляет, что правильная экономика – это экономика, не замечающая историю» (цит. по: [Hart, 2013, p. 39]), то можно без большого преувеличения сказать: рубеж XIX–XX столетий стал эпохой победившего релятивизма в ИЭУ.

В чем причины триумфа данного метода? С нашей точки зрения, корни успеха релятивистского подхода надо искать во внешних по отношению к истории экономических учений обстоятельствах, вызвавших изменение интеллектуального духа времени и философской моды, что, естественно, не могло не отразиться на методологическом инструментарии экономистов. Здесь можно выделить несколько главных моментов.

Стартовавшая в конце XVIII века промышленная революция разрушила статику аграрной цивилизации, придав глобальной экономике не свойственную ей до этого динамичность. Если в 1000–1820 гг. ВВП на душу населения в мире в среднегодовом исчислении возрастал на 0,05%, то за 1820–1870 гг. скорость роста этого показателя увеличилась в 10,6 раза, достигнув 0,53% в год [Maddison, 2001, p. 265]. Несомненно, такой хозяйственный рывок не мог пройти бесследно для мироощущения человека. Во всецело зависящем от природно-климатических условий доиндустриальном обществе все воспринималось вечно заданным и не подверженным изменениям. Осознавая свою беспомощность перед окружающей средой, человек обращался за поддержкой к сверхъестественным силам как единственному и непреходящему источнику мудрости. С переходом к индустриальной эпохе люди овладели технологией, превратившейся в инструмент «игры против природы» (см. подробнее: [Mokyr, 1990, p. 155]). Иными словами, создав быстро развивающуюся искусственную среду обитания, человек резко снизил свою зависимость от природы и перестал нуждаться в опоре на какие-либо догматы (см. подробнее: [Jackson & Weller, 2001]).

Разумеется, подобному духу времени гораздо лучше философии универсализма, постулирующей существование объективного и вечного знания, соответствовал релятивизм с его девизом: «Единственный абсолютный принцип – это то, что все относительно» [Mostler, 2008, p. 7]. Калейдоскоп научных открытий рубежа XIX–XX столетий – в частности, появление теории эволюции Ч. Дарвина, теории относительности и квантовой механики А. Эйнштейна, – пошатнули квазирелигиозный образ науки, сформированный гениями Р. Декарта и И. Ньютона [Bohm & Peat, 2000, p. 24]. Дело в том, что хотя научная революция XVII века и разрушила монополию церкви на истину, но естественные дисциплины по-прежнему сохраняли свойственный теологии статично-универсалистский стиль мышления, в котором «существует одна абсолютная правда» [Gimbel, 2012, p. 97]. Эти представления, с одной стороны, вытекали из тезиса Р. Декарта о том, что «Бог создал его [наш мир] с самого начала таким, каков он на самом деле» (цит. по: [Лункевич, 1960, с. 408]), а с другой – покоились на двух основополагающих принципах И. Ньютона:

«абсолютное пространство по самой своей сущности, безотносительно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным» и «абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно и иначе называется длительностью» [Ньютон, 1989, с. 30]. Находясь в таких методологических рамках, наука XVII – первой половины XIX столетия оставалась своеобразной «формой метафизики», посредством которой люди пока лишь могли «понять окружающую среду» [Steigerwald, 1994, p. 6] или, используя удачное сравнение М. Вебера, заняться «расколдовыванием мира» (die Entzauberung der Welt).

Постепенный отход от абсолютизма ускорила так называемая вторая промышленная революция, традиционно датируемая 1870–1914 гг. В основе данного технического переворота лежали открытия в области электротехники, неорганической химии, появление которых стало возможным благодаря формированию прикладной науки. При этом, как пишет профессор Университета штата Огайо Д. Штайгервальд, «при помощи прикладной науки можно было не только манипулировать, но и создавать новую окружающую среду, в результате чего никакая „природная истина“ не могла быть постоянной или неизменной… В конечном итоге ученые второй промышленной революции начали игнорировать абсолютные принципы как помеху на пути прогресса…» [Steigerwald, 1994, p. 6].

Экономисты не остались в стороне от революционных изменений в методологии естественных дисциплин и с энтузиазмом восприняли сдвиг в сторону релятивизма в философии науки. «Примерно до середины XIX века, – объяснял Й. Шумпетер, – эволюция „науки“ рассматривалась как чисто интеллектуальный процесс… Маркс был первым, кто… показал, что наука зависит от объективных данных о социальной структуре и в особенности от социального положения научных работников, которое и определяет их взгляд на реальность… Такого рода релятивизм… означал новый вид философии науки и новое определение научной истины» [Shionoya, 1995, p. 69]. Именно эта разновидность релятивизма, метко названная немецко-британским философом К. Манхеймом (1893–1947) релэйшионизмом (relationism), не столько оспаривавшая возможность существования вечных истин, сколько доказывавшая наличие «экзистенциональной корреляции между знанием и обществом» [Shionoya, 1995, p. 68], стала крайне популярной в экономической науке рубежа XIX–XX столетий. Эту установку в равной степени разделяли и отец неоклассической теории А. Маршалл: «…любое изменение в социальных условиях, вероятно, потребует нового развития экономических доктрин» (цит. по: [Hodgson, 2001, p. 99]), и один из основателей «старой» немецкой исторической школы К. Книс (1821–1898): «Теория… живет в живом контакте со всем организмом человеческой или национальной истории» (цит. по: [Spiegel, 1991, p. 424]), а первый секретарь Американской экономической ассоциации Р. Эли (1854–1943), оказавший, по словам М. Блауга, влияние «на два поколения экономистов» [Skousen, 2015,

p. 238], и вовсе прямо декларировал свою приверженность «идее исторической релятивности» (цит. по: [Alexander, 1997, p. 317]). Неудивительно, что ИЭУ в этот период времени рассматривалась преимущественно через призму релятивистского подхода, мыслившегося экономистам belle époque 1870–1914 гг. «решением проблемы нахождения стандартов и норм для наблюдения за миром, который стал динамичным» [Nau, 2002, p. 11].

Период между двумя мировыми войнами стал по-настоящему золотым веком для истории экономических учений в целом и развития ее методологии в частности. Трагические события 1914–1918 гг. и сложности послевоенного восстановления пошатнули веру в экономическую теорию как науку, знающую ответы на все хозяйственные вопросы, что актуализировало значение поиска в экономических идеях прошлого решений наиболее жгучих проблем настоящего. Масштаб этих задач привлек в сферу ИЭУ практически всех ключевых экономистов межвоенного времени. Вполне естественно, что каждый из них пришел в историю экономических учений со своим идеологическим и доктринальным багажом, тем самым резко расширив ее методологическое своеобразие. Впрочем, при всей пестроте исследовательских подходов в работах по ИЭУ рассматриваемого периода вновь доминировали различные вариации релятивистской интерпретации происхождения и эволюции экономических идей (таблица 1).

Таблица 1 – Взгляды на природу происхождения экономических теорий крупными учеными в первой половине XX столетия

Автор	Годы жизни	Взгляд на эволюцию ИЭУ
Я. Вайнер	1892−1970	«Я исторический релятивист, возможно, особого рода. Я обдуманно и решительно выступаю против … поиска соответствия представлений восемнадцатого века твоим – и моим – стандартам социальной справедливости, свободы, красоты» [Viner & Irwin, 1991, p. 35]
М. Добб	1900−1976	«Разум не является (и никогда не будет) пассивным отражателем реальности, в знании всегда есть активный элемент» (цит. по: [Atley & McFarlane, 2001, p. 119)
Дж.М. Кейнс	1883−1946	«Экономика – это наука мышления в рамках моделей в сочетании с искусством выбора моделей, релевантных современному миру. Экономика вынуждена делать это, потому что в отличие от типичных естественных наук материал, к которому она применяется, во многих случаях неоднороден во времени» (цит. по: [Hodgson, 2001, p. 223])
У. Митчелл	1874−1948	«Главная задача этого курса [ИЭУ] не познакомить вас с историей экономической теории за последние сто пятьдесят лет. В первую очередь задача состоит в том, чтобы познакомить вас с тем, как экономическая наука развивалась в качестве элемента борьбы человечества с проблемами, порождаемыми окружающей нас социальной жизнью» (цит. по: [Hutchison, 1952, p. 293])
Г. Мюрдаль	1898−1987	«Основные повороты в экономической мысли… были ответом на изменения политических условий и возможностей» (цит. по: [Frank, 2003, p. 40])

Продолжение таблицы 1

Автор	Годы жизни	Взгляд на эволюцию ИЭУ
Ф. Найт	1885−1972	«…можно сказать, что исторические изменения никак не влияют на экономическую теорию. Она имеет дело с идеальными концепциями, которые, возможно, также универсальны для рационального разума, как обычная геометрия» (цит. по: [Emmett, 2009, p. 119])
Л. Роббинс	1898−1984	«В процессе развития науки наступает стадия, когда социальные условия уже не имеют значения и на передний край выходит чистая теория: логические умозаключения и их проверка» [Роббинс, 2013, с. 38]
Э. Ролл	1907−2005	«Экономическая структура любой эпохи и изменения, которые она претерпевает, являются первичными детерминантами экономического мышления» (цит. по: [MacRaild & Taylor, 2004, p. 11])
В. Старк	1909−1985	«Современная экономическая наука непосредственно появилась как… отражение социально-экономической реальности, в которой теория берет свое начало» [Stark, 1944, p. 2]
Дж. Хикс	1904−1989	«Могущественные идеи экономической науки приходят из рынка, „реального мира“… Теории являются продуктами определенной „концентрации внимания“» (цит. по: [Scazzieri & Zamagni, 2008, p. 1, 6])
Й. Шумпетер	1883−1950	«…экономист сам – продукт своего и предшествующего времени, экономический анализ и его результаты, безусловно, исторически ограничены, относительны…» [Шумпетер, 2001, т. 1, с. 16]

Преобладание релятивистского взгляда на ИЭУ в экономической науке 1920–1940-х гг., с нашей точки зрения, вытекало из следующих обстоятельств. Во-первых, «эра отчаяния» 1920–1940-х гг., породившая целый спектр до этого не известных хозяйственных феноменов, подтолкнула экономистов к их комплексному осмыслению и поиску сил, лежащих «в основе экономического восстановления и роста» [Hodgson, 2001, p. 222]. Важно подчеркнуть, что в этот период в общественных дисциплинах в целом наметился дрейф в сторону научного эмпиризма, а экономическая наука пыталась строить свои выводы не столько на основе абстрактного теоретизирования, сколько на базе эмпирических наблюдений [Feldman, 1997, p. 225]. При этом, как замечал Л. фон Мизес, отличительной чертой эмпиризма является «возможность выведения эмпирических законов из исторических данных» [Mises, 2003, p. 9]. Во-вторых, межвоенная эпоха вошла в историю экономической науки под названием «годы высокой теории». В это время экономистов, по образному сравнению видного посткейнсианца Дж. Шэкла (1903–1992), охватил «невообразимый творческий зуд», в результате которого появилось «шесть или семь важнейших инноваций в теории, в совокупности полностью изменивших ориентацию и характер экономической теории» [Shackle, 1967, p. 5]. Как раз в 1920–1930-х гг. берут свое начало концепции роста, экономического цикла, теории фирмы, социализма, планирования и др. [Screpanti & Zamagni, 2005, p. 3]. Решение столь сложных теоретических вопросов оказалось под силу лишь тем специалистам, которые «настаивали на дополнении традиционного экономического анализа философскими, социологическими, психологическими и историческими исследованиями» [Goodwin, 2008]. Вполне естественно, что в своем большинстве авторы таких «междисциплинарных» изысканий не разделяли абсолютистско-

го видения теорий прошлого как концептуальной рухляди, не достойной внимания современного ученого, а придерживались релятивистских воззрений, связывающих развитие ИЭУ с изменением условий хозяйствования, и бережно относились к идеям своих предшественников. Один из ярчайших выразителей подобных методологических воззрений Я. Вайнер в 1937 г. писал: «Моя цель – воскресить забытый или упущенный из виду материал… рассмотреть истоки и развитие доктрин, которые в дальнейшем стали общеизвестными» (цит. по: [Viner & Irwin, 1991, p. 14]).

Между тем всего через несколько десятилетий такие представления вышли из теоретической моды. Методологический тон в ИЭУ 1950–1980-х гг. стали задавать абсолютисты. Например, ученик профессора Я. Вайнера, нобелевский лауреат Дж. Стиглер в конце 1960-х гг. совершенно определенно говорил о том, что на интеллектуальном рынке выживают только наиболее востребованные идеи. Следовательно, «от чтения старых авторов нет никакой умственной пользы» [Boettke, 2001b, p. 120]. Абсолютистская риторика отличала раннее творчество аспиранта Дж. Стиглера, одного из крупнейших экспертов в области ИЭУ второй половины XX столетия М. Блауга. В 1994 г. мэтр опишет методологическую позицию, занятую им в своем главном труде «Экономическая мысль в ретроспективе» (1962), следующим образом: «Я объявил себя непримиримым абсолютистом и подтрунивал над релятивистами на всем протяжении книги» [Blaug, 2004, p. 79]. С не меньшим рвением, умноженным на силу могучего таланта, с релятивизмом в ИЭУ боролся другой выдающийся экономист – П. Самуэльсон, предложивший «изучать прошлое с позиции современного состояния экономической науки» (цит. по: [Kurz, 2013a, p. 4]). По мнению П. Беттке, профессора Университета Джорджа Мейсона, в своем стремлении оценивать работы ученых прошлого в виговском духе – «кто сколько внес (алгебраической) добавленной стоимости в общий дом знания» (цит. по: [Kliman, 2007, p. 10]) – нобелиат фактически дошел до «постулирования того, что практически все, достойное обсуждения в экономике, может быть найдено в его работах» [Boettke, 2001b, p. 121]. В том же абсолютистском ключе, отрицающем влияние внешней среды на интеллектуальный прогресс, рассматривал развитие ИЭУ Дж. Шпенглер (1902–1991). «Какие бы ни были эффекты от идеологии, – утверждал ученый, – по мере взросления экономической теории и получения ею научной самостоятельности они снижают свою значимость» (цит. по: [Dobb, 1973, p. 4]).

Объяснение того, почему лучшие умы экономической науки 1950–1980-х гг. в своем большинстве легко согласились с утверждением «кому нужен Смит после Самуэльсона» [Bolduing, 1971], по нашему мнению, кроется прежде всего в завершении в послевоенный период начатой еще в 1940-е гг. формалистско-позитивистской революции (см. подробнее: [Boettke, 2001a; McCloskey, 1994]). Данный методологический переворот означал следующее. Во-первых, экономисты основного русла стали ощущать себя такими же учеными, как физики и математики [Полтерович, 2011, с. 103] с их кредо «только измерение есть наука» [Boettke, 1994, p. 3] и верой в то,

что все теоретические наработки прошлого нашли отражение в трудах их современников. Во-вторых, экономисты начали применять научную методологию и технику анализа или, проще говоря, «использовать математику в качестве языка, а физику в качестве образца для подражания» [Szenberg et al., 2006, p. 1]. В-третьих, экономисты для соответствия критериям научности, принятым в точных науках, взяли курс на интеллектуальную автономию от таких «отсталых» предметов, как история и философия, которые не могут вывести «универсальные законы, как математика или механика» [Emmett, 1999, vol. 1, p. 28].

Хозяйственные и институциональные предпосылки стремительности и успешности позитивистского «мятежа» рассматривались нами в первом параграфе работы. Здесь важнее подчеркнуть, что в годы холодной войны ИЭУ, занимающаяся изучением многочисленных школ и течений экономической мысли, во многом альтернативных господствующим воззрениям, рассматривалась как «троянский конь, призванный проникнуть в западную культуру с антикапиталистическими идеями» [Roncaglia, 2014, p. 2], что не позволяло специалистам в области истории мысли претендовать на финансовую благосклонность бизнеса и правительств. На этом злоключения историков не заканчивались: «воинствующий позитивизм» [Stirk, 2000, p. 8] подавляющей части послевоенного поколения мейнстримных экономистов, почувствовавших себя прикладными математиками [Hodgson, 2001, p. 232], слабо нуждающимися, как и подобает представителям точных наук, в знании идей предшественников, обрекал историю экономических учений в лучшем случае на роль бедной родственницы экономикса, ютящейся на задворках экономических факультетов.

В этих враждебных для истории экономической мысли условиях только абсолютисты, умевшие наряжать учения Смита и Рикардо в трендовое математическое убранство и не стеснявшиеся утверждать, что читатели могут узнать обо всех лучших наработках прошлого из их щедро украшенных графиками и формулами работ, могли спасти ИЭУ от полного забвения. Не боясь переоценить вклад приверженцев абсолютистской методологии, мы полагаем, что такой, на первый взгляд, выхолощенный подход к изучению истории экономических учений в складывавшейся обстановке представлялся для нее едва ли не единственно возможной альтернативой «небытия». Безусловно, подобная исследовательская программа имеет свои серьезные изъяны, о чем речь пойдет ниже, но благодаря авторитету поддержавших ее ученых калибра П. Самуэльсона и Дж. Стиглера, великолепно разбиравшихся в ИЭУ[1] и прекрасно осознавших непростую ситуацию, в которой оказалась данная дисциплина, последняя смогла сохраниться до лучших времен.

---

[1] С. Медема и Э. Уотерман обращают внимание на нехарактерный для представителя математической экономической теории интерес П. Самуэльсона к ИЭУ: по их оценке, около 1/5 всех своих научных публикаций, вышедших в свет в 1946–2009 гг., ученый посвятил исследованию прошлого экономической науки [Medema & Waterman, 2015, p. 2]. В свою очередь, лауреат Нобелевской премии Г. Беккер (1930–2014), оценивая значение работ Дж. Стиглера для экономической науки, настаивал на том, что «главный научный вклад Стиглер внес *в историю экономических* учений (курсив наш. – *А.М.*) и микроэкономику…» [Senn, 2005, p. 700].

Об этом, в частности, говорил сам профессор П. Самуэльсон в своем вступительном слове, произнесенном в 1987 г. на ежегодном собрании Американского общества истории экономической науки. «Адаптация его метода другими историками экономической мысли давала возможность спасти эту область от профессионального запустения», – так описывают содержание основного посыла знаменитого выступления П. Самуэльсона современные специалисты С. Медема и Э. Уотерман [Medema & Waterman, 2010, p. 72].

Ирония истории заключалась в том, что спустя всего несколько лет после установления, как казалось тогда, методологического консенсуса все сильнее стали раздаваться призывы к большему плюрализму в изучении ИЭУ, вылившиеся в быстрое размывание «монополии» абсолютизма к началу третьего тысячелетия. Конечно, попытки оспорить абсолютистскую ортодоксию предпринимались и ранее (таблица 2), но бóльшая часть из них разбивалась о критику со стороны абсолютистского большинства и равнодушие к историографическим вопросам мейнстримного экономического сообщества.

Таблица 2 – Противоположные абсолютизму интерпретации развития ИЭУ в послевоенный период

Автор	Название работы	Год	Основное содержание подхода
Л. Роджин	The Meaning and Validity of Economic Theory	1956	Сдвиги в развитии истории экономической мысли рассматриваются как следствие воздействия экстерналистских факторов, прежде всего изменений в социальных интересах
Р. Блэк	Economic Thought and the Irish Question, 1817–1870	1960	Экономическая политика представлена в качестве продукта эволюции экономических идей, которые, в свою очередь, зависят от окружающего хозяйственного контекста
Дж. Робинсон	Economic Philosophy	1962	На основе изучения основных вех истории экономических учений делается вывод о том, что экономическая теория есть воплощение идеологических предпочтений того или иного автора
Дж. Эпплби	Economic Thought and Ideology in Seventeenth Century England	1978	Предпринята попытка увязать экономические воззрения со спецификой экономических вызовов и политических сил эпохи
А.К. Дасгупта	Epochs of Economic Theory	1985	Доказывается историческая и пространственно-временная ограниченность экономических доктрин, а также отрицается кумулятивный характер экономического знания

Представители альтернативных взглядов на эволюцию ИЭУ даже в начале 1980-х гг. могли лишь мечтать о том, чтобы «достучаться» до академического Олимпа, занимаемого, скажем, такими гигантами, как Р. Коуз, убежденного во вневременном, не зависящем от внешних обстоя-

тельств характере экономической науки: «Заявления о том, что развитие экономической теории не сильно зависит от текущих событий в экономическом мире и то, что работа экономтеоретика не имеет отношения к экономической политике… в значительной степени верны» [Coase, 1982, p. 22].

Однако совсем скоро натиск мятежников, дерзнувших поставить под сомнение справедливость философского абсолютизма основного русла, заставил корифеев уровня лауреата Нобелевской премии Р. Солоу не только обратить на бунтовщиков внимание, но и признать, что некоторые их них «находятся в нешуточной опасности зайти слишком далеко». Главную тревогу специалистов старой школы вызывали опасные, на их взгляд, заигрывания смутьянов с релятивизмом, подрывавшим веру в возможность нахождения истины и затруднявшим привычную для абсолютистов категоризацию чего-либо на «плохое» и «хорошее». «Я переживаю, – откровенно признавал Р. Солоу, – …что [противники абсолютизма] все больше утверждаются во мнении, будто все способы аргументации одинаково хороши. В этом случае я на стороне оруэлловских свиней: все доводы равны, но некоторые равнее других» [Solow, 1988, p. 32].

Тем не менее деликатные возражения профессора Р. Солоу не смогли остановить рост интереса исследователей конца XX столетия к релятивистскому подходу в экономической методологии и ИЭУ. Даже казавшиеся еще совсем недавно грозными обвинения релятивистов в том, что их подход рождает «отвратительную экономическую теорию» [Gordon, 1965, p. 127], больше не отпугивали ученых. Более того, некогда непоколебимые абсолютисты отказались от антирелятивистских убеждений или смягчили отношение к релятивизму. Так, в 1990–2000-е гг. произошло методологическое перерождение М. Блауга. Списав свою увлеченность абсолютизмом на ошибку молодости, экономист признал: «Абсолютизм… разрушает историческое понимание прошлого» [Blaug, 2004, p. 79] и принялся популяризировать следующий тезис: «Исторические реконструкции [рассмотрение теорий прошлого в их историческом контексте]… – единственно правильное занятие историков экономической мысли» [Blaug, 2002, p. 80].

Схожие метаморфозы произошли с другим интеллектуальным титаном – П. Самуэльсоном. Хотя нобелевский лауреат не устраивал публичных «раскаяний» в своей приверженности абсолютизму, трансформация некоторых взглядов «отца современной экономической теории» [Parker, 2002, p. 25] на склоне лет не может не броситься в глаза. Во-первых, ученый начал надеяться на то, что «при встрече со Святым Петром моим самым страшным преступлением будет поддержка виговского подхода к истории науки» [Medema & Waterman, 2010, p. 70]. Во-вторых, за полгода до своего ухода из жизни профессор сделал принципиальное заявление: «Экономика очень далека от точной науки» [Clarke, 2009]. Следовательно, к «королеве социальных дисциплин» едва ли применим характерный для естествознания и защищавшийся мэтром на протяжении всей жизни

кумулятивный взгляд на развитие науки, формирующий сердцевину самуэльсоновского подхода к историографии.

Столь радикальное изменение представлений ученых, которых при всем желании трудно заподозрить в непостоянстве и легкомыслии, с нашей точки зрения, можно объяснить лишь какими-то глубокими сдвигами в социально-экономическом климате последней трети XX столетия и очередной сменой философских настроений экономического сообщества. Многие современные обществоведы сходятся во мнении, что одним из наиболее подходящих терминов для характеристики мировоззренческой атмосферы рубежа второго и третьего тысячелетий является парадигма постмодерна. Для определения воздействия постмодернистского духа времени на методологию ИЭУ необходимо кратко обозначить хозяйственные причины возникновения постмодернизма и уточнить концептуальное содержание этого направления философии.

Материальные предпосылки становления постмодернистского типа мышления, по-видимому, уходят корнями в 1970–1980-е гг., когда в недрах индустриального строя начала все четче выкристаллизовываться новая постиндустриальная составляющая. В начале 1970-х гг. в странах ОЭСР наметился постепенный переход от стандартизированного массового производства, ориентированного на выпуск «осязаемых» ценностей, к информационной экономике, создающей иллюзию виртуализации всей человеческой деятельности, отныне лишенной связи с вещественной составляющей. Российские философы К.Н. Любутин и П.Н. Кондрашов так объясняют специфику нового хозяйственного уклада: «Наблюдая по TV за „падением голубых фишек“ или „инвестиционной политикой“, по ту сторону этих явлений не увидишь никаких действующих лиц… которые занимаются производством» [Любутин и Кондрашов, 2009, с. 116–117]. В новой экономике главенствующее значение начали играть не материальные блага сами по себе, а воплощенные в них символы, а также услуги, содержащие мощный эмоционально-эстетический контент [Lash & Urry, 2002, p. 14–15]. Теперь первостепенной задачей человека стала интерпретация и декодировка смыслов, зашифрованных в окружающих предметах и явлениях [Casey, 2002, p. 121].

Структурные сдвиги в мировой экономике 1970-х гг. имели и другие далеко идущие социокультурные последствия. Превращение информационного сектора с присущей ему гибкой занятостью, отсутствием жесткой географической локализации и децентрализацией управления в основу хозяйственных систем развитых государств вылилось в размывание характерных для промышленной эпохи практик рационализации и рутинизации всех сторон общественной жизнедеятельности, в совокупности снижавших градус неуверенности людей в будущем. Постиндустриальному социуму оказался свойствен другой набор бытийных характеристик – в первую очередь хаотичность, краткосрочность и риск [Casey, 2002, p. 120–121]. В результате предсказуемый «жизненный и трудовой путь индустриального общества уступил место фундаментальной неопределенности вокруг того, как прокладывать курс сквозь жизнь» [Silva, 2013, p. 145]. Также очевидно, что в пропитан-

ном духом сомнения мире информационной эпохи ничто не может быть предопределенным, вечным и неизменным [Jackson & Carter, 2007, p. 313].

Пожалуй, лучше других отразить изменения в хозяйственной жизни конца XX века удалось философам-постмодернистам. Таких мыслителей, как Ж. Бодрийяр (1929–2007), Ж. Деррида (1930–2004), Ж.-Ф. Лиотар (1924–1998), Р. Рорти (1931–2007), М. Фуко (1926–1984) и др., прежде всего объединяло отрицание принципов, формирующих каркас философии модернизма и Просвещения. Так, постмодернисты решительно отвергли возможность нахождения абсолютного знания, считали иллюзорным поиск правды и ставили под сомнение способность беспристрастного описания реальности [van Asselt, 2000, p. 79]. Впрочем, подробное рассмотрение философских основ этой системы взглядов не является предметом нашего изучения. В контексте настоящего исследования больший интерес представляют взгляды постмодернистов на научную деятельность, к главным из которых можно отнести следующие принципиальные моменты.

Во-первых, постмодернизм подвергает резкой критике сформировавшийся еще в XVII веке модернистский образ науки как воплощения идеологической нейтральности, рациональности и объективности. С точки зрения постмодернистов, знание является продуктом социальных условий: «Наше чувство реальности создается („конструируется“) целым рядом социальных факторов, таких как работа медиа, воздействия власти и идеологии» [Thompson, 2010, p. 25]. Отсюда сторонники данного течения философии делают вывод, что «научная объективность есть не что иное, как шарада, сконструированная обществом»[1].

Во-вторых, постмодернистские писатели попытались развенчать устоявшуюся убежденность в том, что наука может вывести некие общие законы, способные предсказывать будущее и контролировать развитие окружающего мира. Постмодернизм не приемлет использование квантифицированной, ценностно неангажированной, выводящей прогностические генерализации галилеевской модели науки в общественных дисциплинах (см. подробнее: [Rorty, 1994, p. 50–51]). Вместо этого постмодернисты предлагают воспользоваться герменевтической традицией «сопереживания» и «вжиться» в анализируемое явление, то есть интерпретировать его через призму окружающего контекста.

В-третьих, постмодернизм испытывает недоверие к метатеориям. В глазах его эпигонов концепции, претендующие на всеобъемлемость и универсализм, опасны империалистическими замашками, чреватыми исчезновением альтернативных воззрений. Выходом из положения постмодернистам видится методологический плюрализм и фрагментация рассматриваемых явлений – изучение их на микро-, а не на макроуровне [Thompson, 2010, p. 26].

Для экономической теории постмодернистский разворот также не прошел бесследно. К удивлению некоторых методологов, считающих, что мейнстримные экономисты игнорируют

[1] http://www.cram.com/flashcards/biology-in-society-lecture-3-3583881

веяния философской «моды», к концу XX века определенные проявления антимодернизма начали просматриваться и в основном русле. От наиболее внимательных экспертов не ускользнул постепенный уход магистрального течения от гипотетико-дедуктивного анализа, реализуемого в рамках модели общего равновесия [Dow, 1991, p. 83]. Это выразилось в инкорпорировании в мейнстрим таких концепций, как асимметрия информации, несовершенных рынков и пр. В плане развития методологии расшатывание строгих допущений неоклассического экономикса и плюрализация его основ заложили базис для начала плавного разворота схемы построения выводов от дедуктивной цепочки «гипотеза – наблюдение» в сторону индуктивного алгоритма «сбор фактов – построение умозаключений» [Milberg, 2007, p. 214–215]. При этом, даже сохраняя преимущественно дедуктивный характер, современная экономическая наука стала более релятивистской в своих предпосылках. Теперь «гипотезы часто основываются на простой экономической логике, интуиции и даже в качестве ответа на текущие события», – констатирует данное изменение декан Университета «Новая школа» (г. Нью-Йорк) У. Милберг [Milberg, 2007, p. 215].

Гораздо рельефнее, чем в экономической теории, признаки постмодернизма проявились в истории экономической мысли. В ИЭУ начала третьего тысячелетия резко ослабли позиции сторонников абсолютизма и, напротив, расширилось число приверженцев постмодернистских тенденций в историографии. Постмодернизм, самую суть которого крупный специалист в области истории мысли У. Самуэльс (1933–2011) определил именно как релятивизм (цит. по: [Johnson et al., 2012, p. 140]), с его неприятием какого-либо детерминизма, наложил свой отпечаток и на релятивистскую методологию. На смену релятивистам, гротескно изображенным ранним Блаугом в виде людей, пытающихся установить прямую причинно-следственную связь между изменениями в хозяйственных институтах и экономическом мышлении [Блауг, 1994, с. 2–3], пришли другие специалисты. Их методологическую позицию в целом можно охарактеризовать как интерпретивизм – стремление, избегая выделения какого-то одного фактора, воздействующего на развитие теоретических представлений, восстановить истинный смысл, вкладываемый автором изучаемого произведения в свой текст через реконструкцию контекстов, окружающих анализируемую работу. Это течение в современной историографии представлено такими субнаправлениями, как конструктивистский подход, интеллектуальная история и др. Впрочем, в полном соответствии с постмодернистским императивом толерантности в ИЭУ начала XXI века с «интерпретивистами» мирно сосуществуют идейные продолжатели Ж.-Б. Сэя, отстаивающие «право на жизнь» абсолютистского подхода, именуемого теперь методом рациональных реконструкций.

Основное содержание наиболее распространенных в настоящее время подходов к исследованию истории экономических учений мы свели в таблице 3. В качестве комментария заметим, что, как и любая другая классификация, типологизация методологии ИЭУ достаточно условна. Мало кого из специалистов по истории мысли можно однозначно отнести, скажем, к категории

стопроцентных релятивистов или абсолютистов. Более того, многие ученые даже в рамках одной работы зачастую не могут определиться в своих методологических предпочтениях. Начав изучение творчества какого-нибудь экономиста прошлого в русле абсолютизма, к концу исследования авторы подчас прибегают к релятивистской интерпретации.

Задача составления подробной типологии методов ИЭУ дополнительно осложняется созданием за последние десятилетия целого калейдоскопа подходов, сочетающих в себе элементы разнообразных научных школ, и нечеткостью концептуальных границ между отдельными направлениями изучения истории мысли. Также непросто, памятуя о том, что в течение жизни специалист способен – как это произошло, например, с М. Блаугом – изменить свои взгляды, а также из-за отсутствия во многих работах прямых указаний на используемый автором способ изучения истории экономический учений, однозначно классифицировать современных экспертов в области ИЭУ по различным исследовательским школам. Поэтому сразу оговоримся: наша систематизация не претендует на охват всей панорамы воззрений на развитие ИЭУ и представляет собой обзор наиболее распространенных способов рассмотрения истории экономической науки.

Понимая всю абстрактность выделения каких-то идейных лагерей, мы полагаем, что, несмотря на кажущееся исчезновение былой парадигмальной дуополии, за широкой палитрой новых приемов рассмотрения ИЭУ по-прежнему просматриваются устои двух великих историографических альтернатив – абсолютизма и релятивизма. Исходя из этого, предлагаем, разделив современную историографию на абсолютистский и релятивистский каноны, выделить внутри каждого из них различные течения, а также установить их отличительные черты. Отдавая себе отчет в том, что некоторые способы интерпретации ИЭУ не помещаются в прокрустово ложе дихотомии «абсолютизм – релятивизм», ряд направлений изучения истории экономических учений выведен нами в отдельную третью «внеканоническую» категорию.

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, отличия между подходами в рамках одного канона, в большинстве случаев не носят принципиального характера. Более того, по словам авторитетного специалиста в области ИЭУ Р. Бэкхауса, даже между такими, казалось бы, антагонистическими техниками изучениями истории экономической учений, как рациональные и исторические реконструкции, в современных условиях трудно провести четкую демаркационную линию [Backhouse, 2002, p. 5]. Неудивительно, что в последние годы в историко-экономическом сообществе все чаще стали говорить о необходимости преодоления бинарной оппозиции «релятивизм – абсолютизм» путем синтеза этих двух ключевых методологических традиций, а также комбинации производных от них методов анализа экономических учений прошлого (подробнее см., например: [Davis, 2013, p. 9; Ghosh, 2001, p. 15]). Попробуем выяснить, насколько реалистичны подобные представления. Для этого предлагаем сначала разобраться в достоинствах и недостатках ключевых (с нашей точки зрения) принципов исследования ИЭУ.

Таблица 3 – Краткое содержание и основные представители современных подходов к изучению ИЭУ

Канон	
Абсолютизм	Релятивизм
Интернализм (Internalism) *П. Кругман, П. Самуэльсон* Взгляд, согласно которому развитие ИЭУ представляет собой процесс, движимый внутренней логикой экономической теории, не зависящей от хозяйственной истории, в рамках которого в результате интеллектуального соперничества выживают только наиболее плодотворные теории	**Экстернализм (Externalism)** *М. Берг, М. Лаутценхайзер, Э.К. Хант, Й. Цвайнерт* Рассмотрение истории экономической мысли в тесной связи с изменениями условий хозяйствования, трансформациями идеологий и вызванными ими мировоззренческими сдвигами
«Тонкая» история /(Thin history) *К. Гувер, С. Кейтс, Дж. Крииди, И. Москати* Способ изучения ИЭУ, отличающийся исследованием аналитических конструкций, созданных мыслителями прошлого, преимущественно без учета каких-либо внешних обстоятельств, оказывающих влияние на историю мысли	**«Толстая» история (Thick history)** *Б. Бейтман, А.У.Коутс, М. Разерфорд, М. Фуркад, Р. Эмметт* Представление о том, что экономические теории следует изучать на фоне социального контекста, а также с учетом особенностей организации и противоречий внутри профессиональных сообществ, в которых приходилось работать их авторам
Рациональные реконструкции (Rational reconstructions), Виговская история (Whig history) *ранний М. Блауг, ранний Р. Бэкхаус, Т. Негиши, Ю. Ниханс* Исследовательская техника, используемая для изображения эволюции истории экономических учений как восхождения от «ложных» идей прошлого к «правильным» современным концепциям и перевода «вербальных» теоретических воззрений старых авторов на язык математики	**Исторические реконструкции (Historical reconstructions)** *А. Ронкалья, поздний М. Блауг, Д. Уинч, Г. Шпигель* Метод, нацеленный на реконструкцию изначального смысла теории через восстановление исторического, институционального и философско-культурного ландшафтов, окружающих концепции прошлых лет
Доксография (Doxography) *Г. Дикхойер, Д. Сальваторе, В.-Б. Чжан* Прием, посредством которого исследователь пропускает концепции прошлого через фильтр современной ортодоксии и разделяет их на «хорошие» и «плохие» по принципу соответствия или несоответствия актуальной в текущий период исследовательской проблематике	**Интеллектуальная история (Geistesgeschichte)** *Л. Мосс, У. Самуэлс* Историографическая традиция, в рамках которой рассматривается не столько частный вклад в развитие теории отдельных авторов, сколько вскрываются механизмы постановки исследовательской проблемы и формирования научных канонов, для чего анализируемые концепции помещаются в широкий интеллектуальный контекст

Продолжение таблицы 3

Канон	
Абсолютизм	Релятивизм
Презентизм (Presentism) *Дж. Коэн, Э.О. Райт, С. Холландер* Методологический подход, сторонники которого обсуждают экономические представления прошлого с позиций современного состояния науки с конечной целью подготовки к возведению на их основе новых теорий, использующих старые концепции для придания ореола историчности своим идеям	**Конструктивизм (Constructivism)** *Э.Р. Вайнтрауб, А. Кламер, Ю. Йонай, Д. Макклоски, Ф. Мировски, Е.-М. Сент, М. Шабас* Совокупность концепций, ориентированных на изучение дискурсов – риторического инструментария и особенностей применяемых экономистами метафор, при помощи которых ученые интерпретируют окружающий мир
Аналитическая история (Analytic history) *Д.А. Уолкер, Э. Уотерман* Разновидность интерналистской истории, сторонники которой изучают развитие экономической теории через критику научных достижений экономистов прошлого «с высоты» сегодняшнего состояния дел в экономической науке	**Деканонизационная история (Decanonizing history)** *В. Браун* Точка зрения, согласно которой ИЭУ не может рассматриваться сквозь призму какой-то одной общепринятой интерпретации, вместо этого ученым необходимо рассматривать труды-экономистов прошлого с разных позиций и пытаться поставить себя на место современников автора анализируемого произведения
«Назад в прошлое» (Back to the past) *Некоторые представители различных течений гетеродоксальной мысли* Стратегия исследований, нацеленная на доказательство преимуществ старых концепций перед новыми, очищение теорий прошлого от более поздних наслоений и представление ИЭУ как кладовой, содержащей полезные наработки для строительства новых теоретических построений	**Национально ориентированная история (National oriented history)** *Г. Джонсон, А. Доу, Ш. Доу* Трактовка истории экономических учений как набора школ экономической мысли отдельных стран, отражающих специфику национальных традиций и локальных особенностей занятия экономическими исследованиями
Вне канона	
Интеллектуальная археология (Intellectual archeology) *Э. Райнерт* Особая категория историографических исследований, нацеленных на открытие имен забытых или еще неизвестных экономистов прошлого, поиск незнакомых современным специалистам и ранее неопубликованных манускриптов, книг, писем и др.	
Популярная история (Popular history) *С. Назар, Р. Хейлбронер* Манера повествования об идеях великих экономистов прошлого, а также времени, в котором жили ученые, обыденным языком, позволяющая популяризировать историю экономических учений среди широкого круга читателей	

Начнем наше краткое знакомство с сильными и слабыми сторонами распространенных в настоящее время историографических установок с одного из наиболее популярных в абсолютистском лагере метода рациональных реконструкций (РР) [Blaug, 1997, p. XVII]. К несомненным преимуществам метода без колебаний можно отнести его психологическую органичность: даже самый последовательный приверженец рассмотрения старых теорий в историческом контексте не может полностью абстрагироваться от знания современной экономической теории и подспудно сравнивает экономические воззрения прошлого с актуальной в настоящее время исследовательской проблематикой. «Честные исторические реконструкции в буквальном смысле невозможны, хотя бы только потому, что мы не можем забыть всю современную экономическую теорию, которую мы знаем», – пояснял М. Блауг [Blaug, 2002, p. 80]. Другим немаловажным плюсом данного подхода является возможность «перевода» истории экономической мысли на универсальный язык математики и ее последующее задействование для анализа текущих вопросов и конструирования новых концепций. Формализуя ИЭУ в виде набора элегантных математических формул и моделей, исследователь может четко проследить прогресс экономической теории, а также создать надежную базу для ранжирования концепций по принципу «лучше» или «хуже». Таким образом, рассмотрение развития истории мысли в русле РР позволяет ученому утверждать, что, например, по своему аналитическому потенциалу и технической красоте «теория ценности Маршалла превосходит теорию Смита» [Автономов, 1994, с. XXI]. Венцом упражнений в искусственной модернизации старых концепций выступает превращение «великих умерших мыслителей в современников, с которыми мы можем обмениваться взглядами» [Blaug, 1990b, p. 28].

Уязвимым местом рациональных реконструкций выступает ориентированность на изучение истории *экономического анализа*, то есть логическую обработку теоретических достижений отдельных авторов и их инструментария без учета каких-либо биографических деталей, экономико-исторических экскурсов и философских предисловий. В итоге ИЭУ, рассматриваемая с позиций РР, фактически растворяется в экономической теории, становится второстепенным придатком экономикса. Из рационально реконструированной истории экономических учений исчезают важные теоретические идеи, плохо поддающиеся осовремениванию, выпадают исторические фигуры, не представляющие интереса для современных экономистов даже в математической «упаковке». Иначе говоря, основная претензия к методу РР сводится к тому, что такого рода историография ведет к потере ИЭУ дисциплинарной независимости, приводит к утрате ею самостоятельного, отличного от экономической теории предмета исследования (см. подробнее: [Майдачевский, 2012, с. 70]). Внушает тревогу и другое обстоятельство: основное русло экономикса, все более ощущающее себя естественно-научным предметом, не требует знания собственной истории для своего дальнейшего развития. Следовательно, даже подвергавшаяся рациональной реконструкции ИЭУ выглядит ненужной обузой для мейнстрима. Вполне оправдано, что в глазах неко-

торых современных экспертов РР выглядят едва ли не могильщиком истории экономических учений (см. подробнее: [Freeman et al., 2014]).

Несмотря на все недостатки рациональных реконструкций, в годы агрессивного позитивизма такая «кастрированная ИЭУ» [Finkelstein, 2000, p. 269] сыграла положительную роль, спася ее от окончательной гибели. Наверное, стоит согласиться с тем, что лучше выхолощенная история экономических учений, чем ее полное отсутствие, поскольку рациональные реконструкции все-таки «оставляют небольшое место» для ИЭУ в рамках курса современной экономической теории [Kurz, 2006]. Так, во второй половине XX столетия в условиях сокращения или полного исчезновения курсов по ИЭУ в большинстве ведущих университетов мира подрастающее поколение экономистов могло узнать – пусть и в весьма усеченной форме – об интеллектуальных гигантах прошлого из трудов таких мастеров РР, как Самуэльсон и Стиглер, изображавших идеи своих предшественников в виде своеобразных строительных лесов, по которым они осуществляли свое восхождение к теоретическим вершинам.

Косвенным индикатором успеха такого взгляда на интерпретацию истории экономических учений стала удивительная живучесть метода рациональных реконструкций. По словам профессора Лондонского университета Метрополитен А. Фримана и его соавторов, ни в одной другой социальной дисциплине РР не получили такого благожелательного приема, как в экономической теории [Freeman et al., 2014]. Невзирая на развеивание атмосферы позитивизма, безраздельно царившей в послевоенном мейнстриме, и постепенное движение современной экономической науки в сторону релятивизации ее основ (см. подробнее: [Ольсевич, 1995]), рациональные реконструкции по-прежнему имеют влиятельных сторонников, а некоторые школы экономической мысли просто не могут обойтись без них.

Например, многие представители гетеродоксального спектра продолжают придерживаться особой разновидности рационально-реконструктивистской историографии, которую можно образно назвать «назад в прошлое». Яркими выразителями подобного подхода являются посткейнсианцы, которые именуют предпринятую Дж. Хиксом и П. Самуэльсоном «модернизацию» научного наследия Дж.М. Кейнса не иначе как «ублюдочное кейнсианство». Лейтмотивом их учения является слоган «Назад, к подлинному Кейнсу» [Розмаинский, 2009, с. 32]. В этом «пуризме», борьбе за чистоту теории от «неверных» интерпретаций, на первый взгляд с трудом угадываются какие-то признаки РР. Однако не стоит спешить с выводами, поскольку одной из принципиальных особенностей рациональных реконструкций является принцип сравнения анализируемой концепции с неким эталоном. При этом не важно, где – в прошлом или настоящем – располагается данный теоретический идеал [Майдачевский, 2012, с. 67]. Поэтому историографические позиции гетеродоксов принципиально не отличаются от поборников рациональных реконструкций: если для

первых критерием ценности теории или системы взглядов является «приближенность» к современным стандартам, то для вторых – «удаленность» от старой концепции, взятой за образец.

Отрицание возможности противопоставления экономических теорий и выдачи им односторонних характеристик стало визитной карточкой «антипода» РР – метода исторических реконструкций (ИР). Дело в том, что в отличие от сторонников рациональных реконструкций, делающих акцент на изучение аналитических достижений экономистов прошлого, приверженцы ИР занимаются исследованием *экономических идей*, которые, по их мнению, являются продуктом «человеческого интеллекта во всем своем субъективном разнообразии и сложности» [Samuels et al., 2004, p. 210] и не подлежат объективной оценке, тем более делению на «плохие» и «хорошие». Специалистов, занимающихся историческими реконструкциями, не интересует поиск столь важной для абсолютистов эфемерной экономической «истины». Исторические реконструктивисты не пытаются искать в трудах мыслителей прошлого зачатки «правильных» на сегодняшний день концепций и не планирует осуществлять возвращение в утерянный золотой век. Для авторов, работающих в русле ИР, гораздо важнее показать историческую и культурную неповторимость каждой теории, для чего требуется восстановить среду, в которой возникла та или иная концепция.

Исходя из анализируемого контекста, современных релятивистов можно условно разделить на две категории: «интеллектуальных историков» – ученых, преимущественно занятых уточнением воздействия интеллектуальных веяний эпохи на воззрения экономистов, и «социологов экономической науки» – исследователей влияния социально-хозяйственной обстановки на умонастроения теоретиков [Klaes, 2003, p. 501]. Очевидно, что независимо от «модификаций» ИР выгодно отличаются от РР возможностью выведения ИЭУ из тени экономической теории, то есть наделяют историю экономических учений дисциплинарной независимостью, поскольку «объект исследования уже не ограничивается научными текстами, …объект… рассматривается как социальная реальность». Иначе говоря, благодаря ИР историк экономической мысли, как остроумно замечает Д.Я. Майдачевский, начинает оправдывать присутствие слова «история» в названии своей дисциплины [Майдачевский, 2012, с. 71–72]. Однако именно это обстоятельство, вкупе со стремлением «интеллектуальных историков» узнать предшественников как «личностей со взглядами, ценностями, чертами характера, а не только экономистов, использующих формальные модели» (цит. по: [Расков, 2015, с. XIII]), вызывает серьезные опасения сторонников рационально-реконструктивистской историографии. Во-первых, последователи РР видят в стремлении рассматривать ИЭУ в широком контексте отчетливые симптомы «сепаратизации» ИЭУ от основного древа экономической теории. Во-вторых, некоторые ученые отождествляют метод ИР, отрицающий возможность сравнения различных экономических концепций, с постмодернизмом, постулирующим отсутствие «четко определенного вектора эволюции личности и общества» [Балацкий, 2010], что, с их точки зрения, означает невозможность рассмотрения «многих важнейших вопро-

сов истории (и современной жизни)» (цит. по: [Гуди, 2015, с. 217]). В-третьих, в целом релятивистский «лагерь» обвиняется в отказе от одного из главных идеалов эпохи модерна – идеи «бесконечного поступательного приращения знания на пути к истине» и подмене его ложным принципом «конечности и фрагментированности знания, его исторической и культурной ситуативности» [Толкачев, 2015, с. 424].

В принципе, если бы существовала возможность перевода «жалоб» сторонников двух ключевых приемов современной историографии друг на друга с науковедческого языка на язык научной фантастики, то претензии приверженцев РР к своим визави из лагеря поборников ИР и наоборот, образно говоря, можно свести к манере странствовать в прошлое. Если первые используют воображаемую экономико-историческую машину времени для телепортации, скажем, Адама Смита из XVIII в XXI век с последующим переодеванием его в современный костюм и обучением разговору на понятном нам языке, то вторые, напротив, хотят сами проникнуть в XVIII столетие, пробраться в аудиторию Университета Глазго, затем незаметно проследовать с шотландским мыслителем на континент, стать свидетелем его бесед с Кенэ и Тюрго, а напоследок заглянуть в кабинет мастера и посмотреть, как шла работа над «Богатством народов». Вполне естественно, что оба подхода имеют существенные недостатки – Адаму Смиту не очень уютно в XXI столетии, а путешественники в прошлое вряд ли по возвращении в настоящее смогут беспристрастно нарисовать картину увиденного. Спорить о том, какой подход лучше, можно бесконечно. Гораздо корректнее поставить вопрос о том, какой метод больше соответствует современному «духу времени». Из вышеизложенного напрашивается ответ – будущее ИЭУ за ИР, в рамках которых происходит реконструкция теории на фоне соответствующих социально-исторических декораций. Однако не будем торопиться с выводами, пока не рассмотрены особенности еще, с нашей точки зрения, недостаточно оцененного конструктивистского подхода (КП).

Следует отметить, что выделенный нами в таблице 3 конструктивистский метод вбирает в себя сразу несколько разнообразных направлений изучения истории экономической мысли. Несмотря на некоторые разночтения, на анализе которых из-за ограниченности места мы не будем задерживаться, различные течения конструктивистской историографии имеют общий «знаменатель». Так, израильский социолог Ю. Йонай утверждает, что сердцевину КП образует идея исследовать науку «так, как она есть», то есть «наблюдать за учеными в их лабораториях, слушать их разговоры, а также тщательно следить за историческим развитием аппарата, методов, теорий и изобретений» [Yonay, 1998, p. 15]. Схожее определение конструктивизму дает известный российский специалист в области экономической методологии И.А. Болдырев, указывающий на возможность посредством КП рассматривать экономическую теорию «как социальный институт и как форму общественной деятельности сквозь призму школ, направлений, стремления к институциональной обособленности, логики академической жизни и т.д.» [Болдырев, 2011, с. 62]. Такие

дефиниции создают впечатление будто под «маской» конструктивизма скрывается некое науковедческое направление изучения истории экономических учений.

Однако экономисты, придерживающиеся конструктивистского подхода, несколько отличаются от «обычных» представителей science studies. Традиционно, науковеды и в особенности представители такого влиятельного течения в науковедческих исследованиях, как SSK (Sociology of Scientific Knowledge), всячески подчеркивают экстерналистский характер знания, зависящий от «политических и идеологических представлений, религиозных убеждений, эгоистических стремлений к славе и власти» членов общества. Напротив, экономические конструктивисты пытаются пройти между Сциллой абсолютизма и Харибдой релятивизма. С их точки зрения, «научное знание – это результат диалектического взаимодействия социальных, институциональных, концептуальных, материальных и других элементов науки в различных комбинациях» [Yonay, 1998, p. 16]. Из этого следует, что ни видение развития науки как процесса прогресса аналитического инструментария, не зависящего от воздействия на экономистов внешних факторов, ни представление экономической теории в качестве «зеркального отражения объясняемой реальности» (цит. по: [Кламер, 2015, с. 52]), не могут являться правильными взглядами на ИЭУ. Выход из положения, по мнению конструктивистов, – рассмотрение истории экономических учений в разных контекстах. Например, яркий представитель конструктивистского направления исследования ИЭУ профессор Университета Неймегена Е.-М. Сент настаивает на том, что историю мысли нужно анализировать, отталкиваясь от изучения «концептуальных, экспериментальных и социотехнических практик», оказывающих влияние на работу экономистов [Sent, 1998, p. 14].

Вне всякого сомнения, такой поликонтекстуальный подход обогащает ИЭУ, дает возможность глубже проникнуть в механизмы создания и развития экономических идей. Недостатки конструктивизма вытекают из его же достоинств. Близость позиций конструктивистов и постмодернистов, чьим едва ли не главным занятием выступает изучение дискурсов, то есть текстов в событийном контексте, характеризующихся «иррациональностью, противоречиями, …нестабильностью и постоянной изменчивостью, неизмеримостью и догадками» [Backhouse, 1992b, p. 72], делает невозможным представление истории экономических учений в виде цельной картины. Болезненная реакция на какой бы то ни было детерминизм не позволяет им рассматривать ИЭУ в форме некой системы. Вместо этого конструктивисты предлагают экономико-историческому сообществу изучать отдельные дискурсы и риторические практики экономистов. В итоге экономические учения прошлого, интерпретируемые в русле конструктивизма, выглядят не единой мозаикой, а разрозненными фрагментами, лишенными связи между собой. Это происходит из-за того, что переход от одной концепции к другой трактуется не как следствие процесса воздействия внешних и (или) внутренних факторов на экономическую науку, а в виде случайной смены доминирующих дискурсов.

Поэтому появление конструктивистского метода совсем не означает «конца истории», в чем нас хотят убедить некоторые представители этого течения методологии. Трудно поверить, скажем, в то, что конструктивизм, отрицающий существование «этапов развития экономической мысли» и заставляющий верить в наличие «лишь дискретных „систем мысли“, не связанных друг с другом отношениями преемственности» [Толкачев, 2015, с. 434], сможет полностью заменить ИР и РР. С нашей точки зрения, «классические» рациональные и исторические реконструкции отнюдь не следует отправлять в методологический «музей» древности. Гораздо более оправданной видится позиция профессора Бирмингемского университета Р. Бэкхауса: «Нам нужно много типов истории, включая не только культурные истории или исторические реконструкции… но и оценивающие истории» [Backhouse, 1995, p. 48]. Как нам представляется, будущее исследований ИЭУ заключается в прекращении бесплодных споров на тему «ИР лучше РР» или «презентизм хуже конструктивизма» и расширении методологического плюрализма предоставлением ученым возможности выбора того или иного подхода исходя из личных предпочтений.

Что касается возможности синтеза подходов, то, скорее всего, как и любое универсальное решение, сплав нескольких методов изучения ИЭУ будет уступать по своему аналитическому потенциалу взятым по отдельности исследовательским традициям. Кроме того, вопреки примирительному тону корифеев калибра М. Блауга и А.У. Коутса, отнюдь не все представители современных течений исследований ИЭУ пропитались духом «пацифизма» и готовы закопать топор методологической «войны». Трудно представить сближение позиций яркого защитника рациональных реконструкций С. Кейтса с исследователями из конструктивистского лагеря, которых он без обиняков именует «врагами истории экономического учений» [Kates, 2014]. Также маловероятно возникновение большой симпатии между любителями принаряжать ИЭУ в математическую одежду и «Марианной современной экономической науки» [Макклоски, 2015, с. XXVIII] – Д. Макклоски, однажды предельно четко обозначившей свою позицию: «Эта математическая чепуха слишком черства и бесчувственна. Дайте мне слова, чувства. Приведите немного вербальной аргументации или чуть-чуть словесной истории, или хотя бы реальные цифры, но только не очередную X- и Y-галиматью, которая вызывает у меня головную боль» [McCloskey, 2014, p. 218]. Едва ли в обозримой перспективе найдутся точки соприкосновения во взглядах на ИЭУ между виггистом П. Кругманом, испытывающим чувство облегчения от избавления современной макроэкономики от «глупостей» 1950–1960-х гг. [Krugman, 2013b] и П. Беттке, уверенным в том, что экономическая наука развивается в результате «диалога между прошлым и будущим» [Boettke, 2002, p. 354].

Впрочем, в соответствии с постмодернистским духом времени, отрицающим черно-белое дихотомичное мышление, никто не может запрещать ученым искать методологические полутона и заниматься «скрещиванием» разнообразных способов объяснения истории экономических уче-

ний. Более того, современные исследования показывают, что эклектичность мышления – все больше свойственна психике современных людей [Thompson, 2003, p. 9]. Тем не менее, с нашей точки зрения, значительно более привлекательной – пусть и крайне трудноосуществимой – видится перспектива рассмотрения ИЭУ, впрочем, равно как и любых других многогранных социально-экономических феноменов, с разных углов зрения. Механизм такого анализа видный российский экономический социолог В.В. Радаев описывает следующим образом: нужно «периодически менять методологическую позицию, то есть переходить из одной позиции в другую… и так двигаться по кругу» [Радаев, 2007]. Еще ярче суть подобной методологической полифонии сформулировала Д. Макклоски, предлагающая для более глубокого понимания экономики учиться мастерству интеллектуального переодевания и хотя бы изредка примерять на себя платье историка, философа, социолога и литературоведа [Макклоски, 2015].

В завершении отметим, что, несмотря на смещение симпатий современного экономико-исторического сообщества в сторону различных релятивистских направлений исследования истории экономической мысли, окончательный выбор способа изучения ИЭУ остается за исследователем. В свою очередь, ожесточенные методологические дебаты вокруг данной дисциплины свидетельствуют о том, что вопреки мрачным настроениям в отношении будущего истории экономических учений, этот предмет не только не перестал интересовать специалистов, но и показывает признаки динамичного развития. О том, в каком ключе идет это движение, кто его возглавляет и, вообще, нужна ли ИЭУ экономистам, будет говориться в следующем разделе работы.

Подведем итоги.

1. Начиная с появления первых специализированных трудов в начале XIX столетия, эксперты в сфере истории экономических учений работают в достаточно узком методологическом диапазоне, где на одном фланге расположились абсолютисты, предлагающие смотреть на концепции прошлого через увеличительное стекло последних достижений экономической науки, с другой – находятся релятивисты, убежденные в том, что «история экономической мысли должна быть полностью освобождена от навязываемых ей и деформирующих ее критериев „современной теории“» [Ольсевич, 1998, с. 18]. Схематично развитие методологии ИЭУ в XIX – начале XXI века можно представить в виде циклического движения, в рамках которого историографический маятник совершает регулярные колебания от абсолютистского к релятивистскому «берегу» и обратно. При этом амплитуда этих изменений всегда находится в тесной связи с технологическими, институциональными и культурно-философскими сдвигами.

2. Дилемма выбора между абсолютизмом и релятивизмом, по всей видимости, носит непреодолимый характер. Несмотря на проскальзывание отдельных черт абсолютизма и релятивизма в творчестве практически любого исследователя, в конечном итоге, специалист в области истории экономических учений примыкает к какому-то из двух полюсов методологического спектра. Даже

резкое расширение арсенала методов исследования ИЭУ, произошедшее на рубеже XX–XXI вв., не должно затмевать того обстоятельства, что за новым многокрасочным фасадом экономической историографии по-прежнему кроются старые абсолютистско-релятивистские «стены».

3. Общий интерес гуманитарных дисциплин конца XX столетия к постмодернизму не обошел стороной экономический мейнстрим, что привело к некоторой релятивизации его методологического фундамента и расшатыванию позитивистской веры в математическую точность экономических законов. В «младшей сестре» экономической теории – истории экономических учений постмодернизация интеллектуальной атмосферы вылилась в крах виговской монополии и ренессанс релятивистской историографии, среди которой особую популярность начала обретать конструктивистская методология. Вместе с тем, невзирая на несомненные преимущества, конструктивизм с его акцентом на изучение метафор и поэтики экономических текстов не свободен от недостатков, в частности, из-за отказа от выявления функциональных связей, вследствие чего ИЭУ в конструктивистской интерпретации превращается из монолитного полотна в зыбкое пространство, сотканное из несвязанных друг с другом «лингвистических игр, в которые играют экономисты» [Blaug, 2003, p. 402].

4. Одним из виновников дискриминации ИЭУ во второй половине XX столетия являлся радикально абсолютистский взгляд на развитие истории экономических учений, низводивший данный предмет до роли второстепенной прислуги, стража пыльного сундука с летописями прогресса технического инвентаря экономической теории. Релятивистский поворот в историографии, стартовавший в последней четверти XX века, дает шанс на ревитализацию ИЭУ, отброшенной на дисциплинарную периферию в годы засилья агрессивного позитивизма. Повышенное внимание специалистов к трактовкам экономических идей в релятивистском ключе вселяет надежду на постепенный выход ИЭУ из подчиненного экономиксу положения и обретение историками мысли собственной исследовательской ниши.

5. Мечты о создании некоего синтетического метода, вбирающего в себя лучшие достижения абсолютизма и релятивизма, скорее всего, останутся нереализуемыми иллюзиями. Гораздо более плодотворной представляется задача обучения ученых «быть разумными», то есть «взвешивать и учитывать все доводы, а не только те, которые какая-нибудь методология… считает остановками на единственном крестном пути к Обоснованной Истинной Вере» [Макклоски, 2015, с. 249]. Залогом успешного развития ИЭУ должно стать соблюдение методологического плюрализма и проведение политики открытых дверей для желающих приобщиться к истории экономической мысли из других разделов экономики и представителей других отраслей знания.

1.3. Анализ современного дисциплинарного статуса истории экономических учений[1]

В последние десятилетия за экономистами прочно закрепилось реноме «ужасно бесполезных» ученых [Fingleton, 2014]. Внутри экономического сообщества сомнительные лавры наиболее пустопорожних его представителей оказались присуждены экспертам в области истории экономических учений. Даже в художественной литературе, традиционно игнорирующей изображение продолжателей дела Адама Смита, единственным специалистом по историко-экономическим изысканиям, удостоенным увековечивания в литературном произведении (так утверждает крупный специалист в области ИЭУ А. Кламер [Кламер, 2015, с. 22)], оказался супруг Гедды Габлер из одноименной пьесы Г. Ибсена запечатленный в виде бесконечно занудного книгочея, хвастающегося тем, сколько он «насобирал материала в разных архивах» [Ибсен, 1972, с. 556]. Во второй половине XX столетия мейнстрим экономической науки, примеривший на себя амплуа «молодой ветви естественных дисциплин» [Cattell, 1972, p. 319], решил распрощаться со столь несимпатичными попутчиками. Лозунг «прочь, история экономической мысли!» [Кламер, 2015, с. 51] прочно зацементировался в сознании экономистов магистрального течения. Полувековые сеансы экзорцизма духа Клио воспитали в большинстве представителей основного русла твердую веру в справедливость точки зрения Ж.-Б. Сэя, еще в 1829 г. признавшего «бессмысленным и обременительным эксгумировать… нелепые мнения и дискредитированные доктрины прошлого» (цит. по: [Theocarakis, 2014, p. 12]). Студенты-экономисты, желая скорейшим образом стать «крутыми парнями, рисующими на классной доске» [McCloskey, 1980, p. 213] затейливые графики, и научиться непринужденно ориентироваться в нагромождениях формул, не собирались тратить время на лекции по истории мысли, которые вели презираемые ими «не настоящие экономисты» [Colander, 2007, p. 183].

В столь недоброжелательной обстановке наметившиеся в начале XXI столетия и описанные нами в прошлых разделах работы робкие признаки возрождения интереса к ИЭУ могут показаться случайной девиацией, не нарушающей общую тенденцию периферизации данного предмета. Однако мы попытаемся доказать обратное, в частности, на основе изучения дисциплинарной генеалогии, научной аффилиации и формата публикационной активности современных историков экономической мысли покажем, что в наши дни происходит своеобразное «второе рождение» ИЭУ. После этого определим отношение будущих экономистов к истории экономических учений и выявим наиболее предпочтительный в глазах студентов метод изучения этого предмета.

В самом деле, нескрываемая враждебность или, в лучшем случае, недоумение в связи с необходимостью чтения авторов прошлого давно превратились в одну из неотъемлемых черт

---

[1] Данный параграф базируется на статье: [Мальцев, 2015а].

«основного канона» экономической теории. Например, крупный английский экономист Ф. Хан (1925–2013), словно стараясь затмить по градусу историофобского угара Д. Юма, призывавшего сжигать книги, не содержащие «*какого-нибудь абстрактного рассуждения о величинах или числах*» (цит. по: [McCloskey, 1998, p. 144]), в начале 1990-х гг. писал: «Все ценное, сказанное покойниками, уже давно нами воспринято, а когда нам потребуется снова высказать эти же идеи, мы сможем сформулировать их лучше» (цит. по: [Hedlund, 2011, p. 212]). Авторитетный французский ученый, автор нашумевшего бестселлера «Капитал в XXI веке» Т. Пикетти без тени смущения признается в том, что «в действительности я никогда не пробовал читать его [Маркса]» [Chotiner, 2014].

На первый взгляд такая риторика, исходящая из уст людей, формирующих облик современного мейнстрима, вкупе с установленными в первом параграфе симптомами охлаждения интереса экономистов к своему прошлому должны заставить поверить исследователям, предрекающим скорое окончательное забвение ИЭУ [Häring, 2011]. Нет никаких сомнений в том, что данная дисциплина переживает трудные времена, но разучивание траурных маршей в память о ней мыслится нам чрезмерным сгущением красок. Участившиеся жалобы историков мысли на притеснения не должны затушевывать того обстоятельства, что в последние десятилетия история экономических учений демонстрирует стремительное развитие, правда, в другом дисциплинарном ключе.

В принципе, до середины XX века специалисты по ИЭУ считали себя полноправными членами «большой семьи» экономической теории. Практически все корифеи мейнстрима 1950-х гг. не только не брезговали вести исследования в данной сфере, но даже осмеливались критиковать коллег, пренебрегающих прошлым собственной науки. Скажем, Й. Шумпетер не стеснялся усовещать не очень активных в области истории мысли экономистов. Можно, например, вспомнить одну из его сентенций на этот счет: «Только поистине ленивые умы не способны расширить горизонт своих знаний, оторвавшись от работы на злобу дня и созерцая величественные горные цепи, созданные мыслью наших предшественников» [Шумпетер, 2001, т. 1, с. 5]. Очевидно, что в таких «тепличных» условиях ни о каком выделении историков в самостоятельное течение экономической науки, а тем более появлении таких атрибутов дисциплинарной независимости как специализированные журналы, ассоциации и конференции по ИЭУ не шло никакой речи.

Однако уже в 1970-е гг. после окончательной победы «позитивистской революции» [Boettke, 2001, p. 236] в экономической теории ситуация полностью изменилась. В 1974 г. образовалось Американское общество истории экономической науки, в 1981 г., Австралийское – в 1995 г. и Европейское общества истории экономической мысли[1] и др. Аналогичная картина сложилась и в сфере профессиональной периодики. Например, еще в 1960-е гг. Л. Роббинс утверждал, что его

[1] http://www.eshet.net/index.php?a=15

ученики будут публиковаться лишь в мейнстримных журналах ввиду отсутствия респектабельных изданий в сфере ИЭУ[1], но уже к первой половине 1980-х гг. появляется значительное количество периодической экономико-историографической литературы. Так, в 1969 г. вышел в свет первый профильный журнал по ИЭУ – History of Political Economy, в 1973 г. – History of Economics Review, в 1983 г. – Research in the History of Economic Thought and Methodology, в 1990 г. – Journal of the History of Economic Thought, с 1993 г. издаются European Journal of the History of Economic Thought и History of Economic Ideas [Blaug, 2001, p. 145–146].

Параллельно значительно возросло число специалистов, занимающихся исследованиями истории экономических учений. Общее количество активно работающих в зарубежных странах историков экономической мысли увеличилось с примерно 500–600 чел. в начале 1990-х гг. [Blaug, 2001, p. 146] до более 1 000 в середине 2000-х гг. [Goodwin, 2008]. О расширении публикационной активности в сфере ИЭУ свидетельствуют хотя бы такие данные: в электронном репозитарии Munich Personal RePEc Archive насчитывается 29 работ по «Истории экономической мысли, методологии и гетеродоксальным подходам», датируемых 2003 г., тогда как вышедших в свет в 2013 г. – 207[2].

Представленная выше статистика заставляет задуматься как минимум о двух вещах. С одной стороны, не совсем понятна скорбь исследователей, готовящихся к «похоронам» истории экономических учений, а с другой – не ясно, учитывая скептическое отношение мейнстрима к данной дисциплине, кто в настоящее время выступает генератором научных поисков в ИЭУ. Для прояснения ситуации с особенностями современного этапа ее эволюции предлагаем рассмотреть образовательный бэкграунд, научную аффилиацию современных историков экономической мысли и определить дисциплинарную принадлежность читателей профильных журналов в рассматриваемой области. Развернутый анализ сути поставленных вопросов заслуживает отдельного монографического по объему исследования. Поэтому ограничимся принципиальными положениями.

К сожалению, установить научную специализацию и текущее место работы нескольких сотен современных авторов в области истории экономических учений по техническим обстоятельствам крайне затруднительно. Поэтому, несколько сузив поле исследования, решили «ограничиться» участниками 40-й ежегодной конференции Американского общества истории экономической науки, проведенной в Университете Британской Колумбии 20–22 июня 2013 г., где презентовали свои наработки исследователи со всего мира. В общей сложности докладчиками, руководителями секций и организаторами этого мероприятия выступили 126 специалистов. Главным источником информации для нашего аналитического обобщения являлись CV исследователей, размещенные

[1] http://hope.econ.duke.edu/node/49/

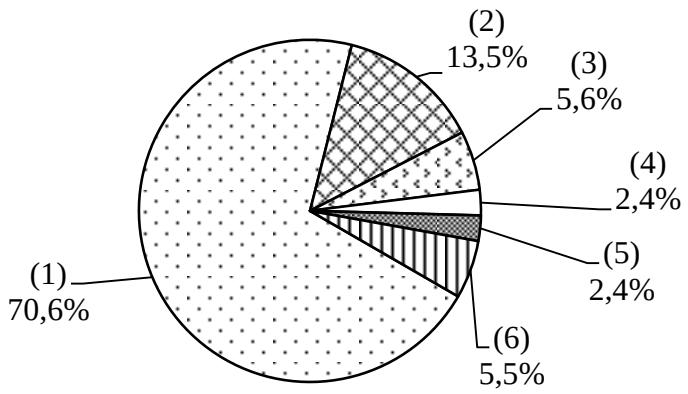
[2] Рассчитано по: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/view/subjects/B.html

на сайтах аффилированных с ними организаций. В случае отсутствия резюме или неполноты сведений поиск осуществлялся в социальной сети LinkedIn, в журнальных статьях и пр.

Проведенный анализ выявил главное: практически треть (29,4%) современных исследователей ИЭУ (в нашем конкретном примере – 37 участников конференции) обладают и (или) готовятся к получению ученых степеней *не* в сфере экономики. Почти половина из них (в нашей выборке – 17 участников) – доктора наук по философии и (или) слушатели программ PhD в данной сфере. Помимо философов, ИЭУ занимаются историки (5,6%), литературоведы и эксперты в области политологии и государственного управления (по 2,4%). Кроме того, на выбранной нами для проведения системной выборки конференции представили свои доклады по одному доктору философии в области обществоведения, педагогики, мировой экономики, медицины, урбанистики, а также магистр электротехники и обладатель двойной – экономика и международное экономическое право – степени PhD (рисунок 1). Серьезное присутствие «неэкономистов» на одном из важнейших мероприятий в области истории экономических учений указывает на то, что все больше исследователей прошлого экономической науки пересекают предметные границы, а ИЭУ становится по-настоящему междисциплинарной отраслью знания.

Еще больше тенденцию постепенного превращения ИЭУ из «просто» экономической теории «с длинным временным горизонтом» [Goodwin, 2008] в «субдисциплину интеллектуальной истории» [Christiansen, 2012] – науки, изучающей эволюцию человеческих идей через призму окружающего их контекста, подчеркивают результаты изучения мест работы ее современных представителей. Традиционно считалось, что только экономист может быть хорошим специалистом в области истории экономической мысли. Следовательно, наилучшее место для занятий ИЭУ – факультеты экономики, где историк экономических учений должен следить «только за строго интеллектуальным развитием предмета» [Блауг, 1994, с. 1].

Между тем в последние годы все бóльшую популярность набирает экстерналистский взгляд на эволюцию экономической теории, предполагающий рассмотрение «того, как экономическая наука конструируется обществом» [Backhouse, 2006, p. 219]. Вполне естественно, что подобный подход делает ИЭУ привлекательной не только для экономистов, но и для философов, социологов, историков, политологов и пр. Кроме того, творчество многих современных авторов в области ИЭУ, скорее, относится к категории science studies, экономической социологии и философии. Далеко не случайно многие видные историки экономических учений, спасаясь от свойственного мейнстриму гнета технического формализма и позитивистской риторики, нашли комфортное прибежище в департаментах философии (М. Шабас), бизнес-школах (М. Макклур), колледжах свободных искусств (Р. Эммет), в которых «по-прежнему ценится глубина и широта анализа» [Goodwin, 2008] и где к ним не относятся как к «болванам, корпящим в библиотеках» [McCloskey, 1980, p. 213].



1 – PhD (экономика), аспиранты и магистры экономики

2 – PhD (философия) и аспиранты-философы

3 – PhD (история)

4 – PhD (литературоведение)

5 – PhD (политология и государственное управление)

6 – PhD (обществоведение, педагогика, мировая экономика, медицина, урбанистика, международное экономическое право), магистр электротехники

Рисунок 1 – Распределение участников конференции Американского общества истории экономической науки 2013 г. по научным специализациям, %

Наш анализ также показал, что такого рода «миграция» отнюдь не одиночное явление. Так, 69 из 126 (54,8% от общего числа) участников рассматриваемой конференции работают отнюдь не на экономических факультетах. В частности, 17 человек (13,5%) трудятся в различных бизнес-школах; по 10 – в колледжах свободных искусств и на факультетах философии или департаментах истории науки (по 7,9%); 8 (6,3%) – на факультетах международных отношений и политологии; 7 (5,6%) – в научных учреждениях, специализирующихся на изучении ИЭУ и философии экономики; по 3 – на факультетах истории и кафедрах английского языка (по 2,4%) и т.д. Детальная декомпозиция основных мест занятости участников конференции Американского общества истории экономической науки 2013 г. представлена на рисунке 2. По всей видимости, ситуация, сложившаяся с историей экономических учений к середине 2010-х гг., подтверждает справедливость точки зрения М. Шабас и Э.Р. Вайнтрауба: «Дни [историков экономических учений] в качестве субдисциплины экономической теории сочтены, они должны искать новый дом» [Kates, 2013, p. 48].

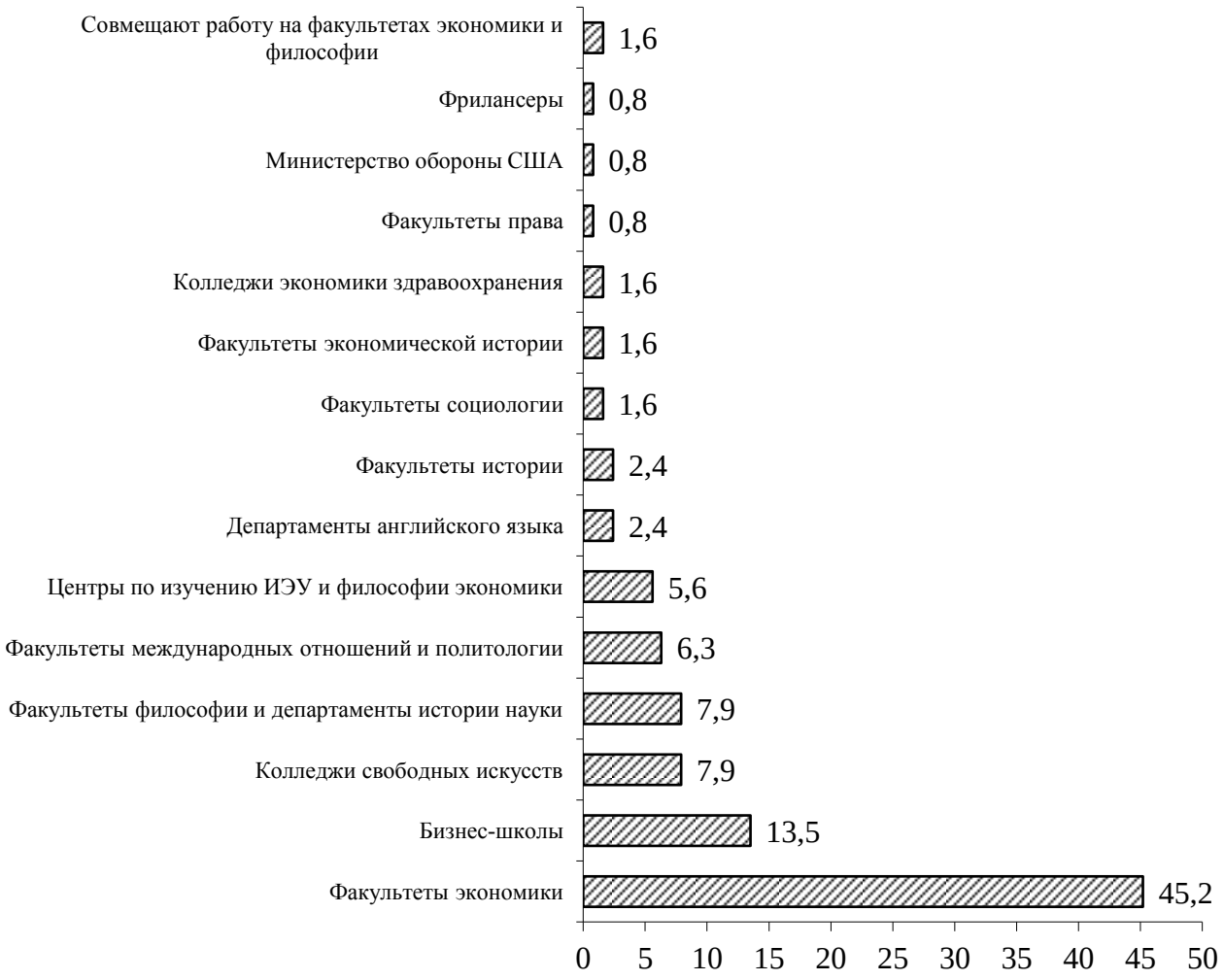


Рисунок 2 – Распределение участников конференции Американского общества истории экономической науки 2013 г. по основному месту занятости, %

Возведением нового здания историко-экономической науки, как видим, заняты отнюдь не только экономисты. Это также косвенно подтверждается результатами анализа востребованности специализированных журналов по истории экономических учений и методологии экономической науки среди представителей различных дисциплин (таблица 4). Для определения «популярности» того или иного издания по ИЭУ в различных предметных областях мы воспользовались показателями уровня значимости, рассчитываемыми исследовательской группой SCImago на основе базы данных Scopus издательства Elsevier[1]. В соответствии с различиями в показателях цитируемости журналы делятся на четыре категории (квартиля): Q1 (наиболее высокий) – Q4 (наиболее низкий)[2]. В ряде случаев SCImago указывает квартили изданий в разных предметных категориях.

[1] SJR – Journal Search. URL: http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

[2] Что такое квартиль и где его искать: навигация по базам данных Web of Science и Scopus. URL: https://okna.hse.ru/news/134100125.html

Таблица 4 – Уровень цитируемости журналов по истории экономических учений и методологии экономической науки в 2013 г.

Журнал	Квартиль журнала в предметной категории «экономика»	Квартиль журнала в прочих предметных категориях
Economics and Philosophy	**Q2**	**Q1 (философия)**
European Journal of the History of Economic Thought	Q2	Q2 (история и философия науки); Q2 (искусство и гуманитарные науки)
History of Economic Ideas	Q4	Q4 (история); Q4 (социология и политическая наука)
History of Political Economy	**Q4**	**Q2 (история)**
Journal of Economic Methodology	Q2	
Journal of the History of Economic Thought	Q2	Q2 (история и философия науки); Q2 (искусство и гуманитарные науки)
Politics, Philosophy and Economics	**Q2**	**Q1 (философия);** **Q2 (социология и политическая наука)**
Research in the History of Economic Thought and Methodology	Q4	Q4 (история и философия науки); Q4 (искусство и гуманитарные науки)

С нашей точки зрения, данные таблицы 4, помимо подтверждения едва не большего в настоящее время интереса гуманитариев к изданиям по ИЭУ (для трех журналов, выделенных полужирным шрифтом, это подкреплено более высокими «непрофильными» квартилями), фактически свидетельствуют о важных изменениях внутри самой дисциплины. Речь, главным образом, идет о смещении исследовательских предпочтений историко-экономического сообщества от изучения *идей как таковых*, то есть «выяснения, что было сказано, кто сказал это первым», к анализу *процесса создания идей*, «обретающих свой смысл в своих контекстах» [Neill, 2002]. Навыки реконструкции интеллектуальной атмосферы, институциональных структур, социального климата и исторической среды, в которых возникла та или иная концепция, больше свойственны философам, социологам и историкам. Поэтому трудно не согласиться с Э.Р. Вайнтраубом, утверждающим, что в наши дни изучение истории экономических учений требует компетенций, характерных для представителей вышеназванных профессий, в первую очередь историков науки, а отнюдь не экономистов [Weintraub, 1996]. Наверное, это во многом объясняет повышенное внимание гуманитариев, казалось бы, к достаточно далекой от них проблематике и изучению формально «непрофильной» периодики.

Массированное «вторжение» обществоведов в сферу исследований прошлого экономической теории вкупе с всплеском интереса специалистов в области ИЭУ к философии науки, заимствование ими интерпретативного инструментария из работ Т. Куна и И. Лакатоса заставило говорить о появлении отдельной дисциплины – history of economics (истории экономической науки). Ее принципиальное отличие от «истории экономической мысли, …осуществляющей…

реконструкцию старых идей (их (ре)интерпретацию), результаты которой кладутся в основание текущих исследований», кроется в появлении собственного предмета исследования – восстановление «подлинного смысла научной идеи или концепции… с учетом исторического контекста, задаваемого принадлежностью экономической мысли миру экономики, миру науки… и миру идеологии» [Майдачевский, 2012, с. 71, 72]. Хотя значительная часть экспертного сообщества достаточно критично встретила этот подход, тем не менее можно говорить о формировании принципиального иного раздела ИЭУ.

«Новая» история экономических учений стараниями Э.Р. Вайнтрауба, А. Кламера, Д. Макклоски, Ф. Мировски, Е.-М. Сента, У. Хэндса, М. Шабас и их последователей, пишущих об ИЭУ и философии экономики с позиции science studies, обрела интеллектуальную автономию от экономической теории. Заключив «альянс» с историками и философами науки, ИЭУ резко расширила свои исследовательские горизонты. Сохранив способность выполнять функции «служанки и раздражителя экономической теории», ей удалось получить возможность «показывать релятивность и субъективность экономических истин» [Neill, 2002], в результате чего «механизмы рождения и распространения идей… рассматриваются как социальная реальность, подверженная влиянию многообразных факторов» [Майдачевский, 2012, с. 72]. Такие широкие научные рамки, несомненно, будут и дальше притягивать в сферу ИЭУ ученых из смежных отраслей знания, а также экономистов, ищущих в ней прибежище от утомления присущей основному канону математической абстракции, и «беженцев» из гетеродоксальных школ экономической теории. Это вселяет надежды и придает уверенность в том, что, примкнув к «эклектичному сообществу исследователей науки» [Weintraub, 2007] и обогатившись идеями и наработками философов, историков и социологов, история экономических учений не только сможет выжить, но и будет успешно развиваться дальше.

Со всем тем, приходится признать: противники видения будущего ИЭУ как history of economics имеют, на первый взгляд, достаточно сильные аргументы. Так, доцент Университета Инсумбрии И. Москати критикует историков экономических учений, работающих в жанре science studies, за изучение, преимущественно, культурного, академического и социально-политического фона, окружающего теоретические построения экономистов, в то время как непосредственно экономические идеи в рамках данного подхода анализируются ими крайне поверхностно. С точки зрения И. Москати, речь, по сути, идет о полной потере связи историков мысли с экономической теорией [Moscati, 2008]. Эту идею развивает преподаватель Мельбурнского университета С. Кейтс. В его трактовке сторонники превращения истории экономических учений в историю экономической науки забывают о специфике ИЭУ, которая «не является изучением истории, также как не является философией, социологией или культурологией. Это часть изучения эконо-

мики, которая не может изучаться никем, кроме экономистов, и в целом никому, кроме экономистов, не интересна» [Kates, 2013, p. 50].

Такого рода утверждения, с нашей точки зрения, лишены достаточных оснований. Как показано выше, в наши дни история экономической мысли выступает исследовательской площадкой, где смыкаются интересы ученых едва ли не всего спектра гуманитарных наук. Достаточно отметить труды в области ИЭУ социологов Ю. Йонайя, М. Фуркад, политолога С. Амадей, журналиста С. Назар, историков К. Веннерлинда, П. Кларка, Х. Пирсона, Ф. Штерна, и многих других специалистов. Современная ИЭУ удивительно гостеприимна для «визитеров», в ней нет места дисциплинарному «эгоизму». Нужно особо подчеркнуть, что разработчики программы изучения ИЭУ как истории науки не являются «раскольниками», ратующими за полный разрыв с миром экономики. «Я думаю, нам удастся разжечь интерес [в экономистах к ИЭУ], если получим некоторую автономию от экономической профессии, где сможем раскрыть себя наиболее полно», – объясняет суть своей позиции один из ее основоположников М. Шабас [Schabas, 2013]. Стремление данной группы исследователей находиться рядом, но не внутри экономической ортодоксии, стало защитной реакцией на клиофобию мейнстрима, позволяющей сохранить богатейшее наследие истории экономической мысли для следующих поколений ученых.

Памятуя о необходимости передачи следующим поколениям накопленного интеллектуального багажа, оставленного учеными прошлого, следует выяснить отношение будущих экономистов к ИЭУ и наиболее предпочтительным в их глазах способам изучения данной дисциплины. К сожалению, невзирая на всю остроту методологической полемики (из 1 236 статей, опубликованных в 1993–2006 гг. в трех ведущих журналах по истории экономической мысли – History of Political Economy, Journal of the History of Economic Thought и European Journal of the History of Economic Thought, 1/5 публикаций посвящены методологии) [Palma, 2007, p. 8], в литературе крайне редко встречаются работы, рассматривающие отношение учащихся экономических вузов к той или иной дисциплине. Между тем высшая школа, как абсолютно верно заметил профессор Миддлберийского колледжа Д. Коландер, «играет бóльшую роль в определении методологии и подходов экономистов, чем мириады работ, написанных о методологии» [Colander, 2005, p. 175]. Мы решили заполнить данный пробел, проанкетировав бакалавров, магистров и аспирантов ведущих российских экономических вузов на предмет их видения значимости ИЭУ для профессионального роста. Обобщение итогов предварим кратким пояснением методики и особенностей анкетирования.

В ведущих странах мира ИЭУ не входит в число наиболее популярных предметов среди студентов экономических специальностей. Этому в немалой степени способствует царящая на экономических факультетах атмосфера, которая «принижает чтение литературы и изучение вопросов, находящихся за пределами формально-модельного подхода» [Colander, 2007, p. 12]. Зако-

номерно, что по итогам опроса аспирантов-экономистов лучших американских университетов, проведенного Д. Коландером в 2002–2003 гг., к третьему году обучения лишь 3% проявляли интерес к ИЭУ и только 10% считали очень важным «широкое знание экономической литературы» для профессионального успеха.

К сожалению, нам не знакомы аналогичные исследования применительно к студенческой аудитории России. Встречаются лишь отдельные экспертные суждения, показывающие, что российские студенты не сильно отличаются от заокеанских коллег. Например, один из наиболее авторитетных отечественных специалистов по ИЭУ, профессор НИУ ВШЭ О.И. Ананьин констатирует: «Что же касается области, в которой я работаю, – истории экономической мысли, методологии экономической науки, то главная ее проблема – относительно невысокая ее популярность среди нынешних прагматически настроенных студентов» [Ананьин, 2013, с. 259]. Эту позицию разделяют многие другие видные эксперты. Вместе с тем совершенно очевидно, что только «первичная» информация, полученная от самих обучающихся, позволит оценить, насколько студенты-экономисты РФ (не) стали приверженцами «антиисторической школы, …экспертами, знающими как обращаться с компьютерами, строить корреляции и регрессии», при этом относящимися к истории мысли «как извращенному развлечению, подходящему только людям, по-настоящему любящим средневековую латынь» [Blaug, 2001, p. 149], и сделать соответствующие выводы для корректировки методики преподавания.

Для получения этой информации в ноябре – декабре 2014 г. мы провели очное анкетирование 179 бакалавров факультета экономики НИУ ВШЭ, 146 бакалавров и 16 магистров факультета международных экономических отношений МГИМО(У) МИД РФ, 118 бакалавров экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 42 аспирантов РЭУ им. Г.В. Плеханова, 125 бакалавров и 35 магистров экономического факультета СПбГУ и 70 бакалавров высшей школы экономики и менеджмента УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, которые прошли или завершают прохождения курса по истории экономических учений. В общей сложности удалось получить 731 анкету. Опросный лист состоял из 7 пунктов, уточняющих отношение аудитории к различным тенденциям в развитии ИЭУ и роли истории экономических учений в системе выработки профессиональных навыков экономиста.

Подведение итогов анкетирования нужно начать с главного: в среднем свыше 4/5 опрошенных считают ИЭУ в той или иной степени важной для современного экономиста дисциплиной. Причем по мере перехода от бакалавриата к магистратуре и аспирантуре значимость ИЭУ в глазах респондентов возрастает. Например, если в НИУ ВШЭ 30,7% бакалавров ставит под сомнение значимость истории экономических учений, то среди аспирантов РЭУ удельный вес «ИЭУ-скептиков» вдвое меньший (14,3%). В СПбГУ 85,7% магистров считают ИЭУ необходимой дисциплиной, тогда как среди студентов бакалавриата этого университета разную степень «симпа-

тии» к истории экономических учений испытывают 76,8% опрошенных. Единственным исключением из закономерности «чем выше ступень образования, тем выше оценивается ИЭУ» стал МГИМО, где доля бакалавров, «лояльных» к истории экономической мысли (84,9%), оказалась в 1,2 раза больше, чем среди магистров (68,8%). Впрочем, это, скорее всего, связано с большей практической «заточенностью» программ данного университета, представители которого были охвачены анкетированием. В целом наиболее ценящие данный предмет студенты обучаются в бакалавриате МГУ (88,1%), УрФУ (87,2%), а также магистратуре СПбГУ (85,7%) (таблица 5).

Таблица 5 – Необходимость ИЭУ для современного экономиста

Отношение	ВШЭ		МГИМО		МГИМО (магистры)		МГУ		РЭУ (аспиранты)		СПбГУ		СПбГУ (магистры)		УрФУ		В среднем (от общего числа анкет)	
	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.
Очень высокая	12,8	23	21,9	32	18,8	3	20,3	24	19,0	8	23,2	29	20,0	7	17,2	12	18,8	138
Высокая	56,5	101	63,0	92	50,0	8	67,8	80	66,7	28	53,6	67	65,7	23	70,0	49	61,3	448
Не очень высокая	24,0	43	14,4	21	25,0	4	11,1	13	14,3	6	17,6	22	11,4	4	11,4	8	16,6	121
Низкая	6,7	12	0,7	1	6,2	1	0,8	1	0,0	0	5,6	7	2,9	1	1,4	1	3,3	24

Большинство участников опроса отвергают популярную идею перевода ИЭУ в ранг факультативной дисциплины. В среднем 54% бакалавров, магистрантов и аспирантов отрицательно или скорее отрицательно относятся к элективизации истории экономических учений. Наиболее решительно против статуса ИЭУ как факультатива выступают бакалавры МГУ (61%) и СПбГУ (63,2%). Единственным университетом, в котором число сторонников исключения ИЭУ из числа обязательных предметов для экономистов превысило количество противников, стал УрФУ, среди бакалавров которого это мнение поддержал каждый третий. Таким образом, российские студенты и молодые ученые не очень похожи на стереотипные карикатуры, часто изображающие экономистов как математических фриков, полностью игнорирующих историю (таблица 6).

Правда, высокая оценка значимости ИЭУ не мешает респондентам ставить хорошую осведомленность в области ИЭУ на последнее по значимости место среди компетенций экономиста. Так, только 10% бакалавров УрФУ и 8% бакалавров СПбГУ назвали знание истории экономической мысли важным навыком, а наименьшая доля считающих ИЭУ полезной для профессиональной деятельности зафиксирована среди аспирантов РЭУ – всего 4,8%. По всей видимости, знание истории экономических учений рассматривается студентами и начинающими учеными важной составляющей гуманитарной подготовки, а не сугубо экономическим знанием.

Таблица 6 – Отношение к переходу ИЭУ в статус факультатива

Университет	Положительное		Скорее положительное		Нейтральное		Скорее отрицательное		Отрицательное	
	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.
НИУ ВШЭ	16,8	30	12,8	23	15,6	28	29,1	52	25,7	46
МГИМО	8,2	12	14,4	21	22,6	33	31,5	46	23,3	34
МГИМО (магистры)	6,2	1	12,5	2	25,0	4	25,0	4	31,3	5
МГУ	6,8	8	11,0	13	21,2	25	31,3	37	29,7	35
РЭУ (аспиранты)	4,8	2	23,8	10	28,6	12	28,6	12	14,2	6
СПбГУ	8,0	10	9,6	12	19,2	24	37,6	47	25,6	32
СПбГУ (магистры)	11,4	4	11,4	4	22,9	8	37,2	13	17,1	6
УрФУ	8,6	6	24,3	17	38,6	27	21,4	15	7,1	5
В среднем (от общего числа анкет)	10,0	73	14,0	102	22,0	161	30,9	226	23,1	169

Как удачно заметил профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе А. Лейонхуфвуд, «курсы по ИЭУ расцениваются экономистами так же, как курсы по этикету в военных академиях. Офицер, конечно, должен быть джентльменом, но его манеры никак не связаны с его тактическими навыками на поле боя» (цит. по: [Theocarakis, 2014, p. 13]). Поэтому, наверное, нет ничего удивительного в том, что участники анкетирования рассматривают ИЭУ как некий элемент интеллектуального досуга, не способный конкурировать с владением математическим аппаратом в иерархии профессиональных навыков. Так, математическое мастерство считают ключевой компетенцией 16,1% опрошенных, в то время как доля ставящих на первое место в структуре профессиональных навыков ИЭУ не превышает 7,2% (таблица 7).

Таблица 7 – Главные навыки экономиста

Компетенция		НИУ ВШЭ	МГИМО	МГИМО (магистры)	МГУ	РЭУ (аспиранты)	СПбГУ	СПбГУ (магистры)	УрФУ	В среднем (от общего числа анкет)
Владение математическим аппаратом	%	20,1	11,0	12,5	8,5	19,0	20,0	22,9	17,1	16,1
	чел.	36	16	2	10	8	25	8	12	117
Знание микро- и макроэкономики	%	27,4	45,2	37,5	38,1	40,5	35,2	22,9	42,9	36,3
	чел.	49	66	6	45	17	44	8	30	265
Хорошая осведомленность в области ИЭУ	%	8,9	6,1	6,2	5,9	4,8	8,0	2,8	10,0	7,2
	чел.	16	9	1	7	2	10	1	7	53
Навыки эмпирических исследований	%	20,1	10,3	12,5	16,1	14,3	12,8	20,0	8,5	14,6
	чел.	36	15	2	19	6	16	7	6	107
Широкий кругозор в сфере экономико-исторических прецедентов и психологии	%	23,5	27,4	31,3	31,4	21,4	24,0	31,4	21,6	25,9
	чел.	42	40	5	37	9	30	11	15	189

При столь высоком градусе симпатий к королеве наук вполне объяснимо по большей части положительное отношение респондентов к математизации ИЭУ (таблица 8). Скорее всего, желание молодых экономистов видеть историю экономических учений одетой в математический наряд вызвано потребностью адаптации идейного багажа экономической теории к более понятному им языку графиков и греческих букв. По сути, указывая на целесообразность математической формализации ИЭУ, они признают те же трудности, что и именитый ученый П. Ромер: «…по правде говоря, очень сложно возвращаться к старым текстам, в которых экономические идеи излагаются чисто вербальными способами» (цит. по: [Laidler, 2001]).

Таблица 8 – Отношение к математизации истории экономических учений

Университет	Положительно		Скорее положительно		Нейтрально		Скорее отрицательно		Отрицательно	
	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.
НИУ ВШЭ	11,2	20	31,8	57	31,8	57	18,4	33	6,8	12
МГИМО	15,1	22	32,8	48	29,5	43	19,2	28	3,4	5
МГИМО (магистры)	0	0	25,0	4	43,8	7	25,0	4	6,2	1
МГУ	9,3	11	23,7	28	28,0	33	31,4	37	7,6	9
РЭУ (аспиранты)	16,7	7	42,8	18	28,6	12	9,5	4	2,4	1
СПбГУ	8,0	10	20,0	25	36,8	46	23,2	29	12,0	15
СПбГУ (магистры)	11,4	4	40,0	14	22,9	8	20,0	7	5,7	2
УрФУ	5,7	4	40,0	28	30,0	21	17,1	12	7,2	5
В среднем от общего числа анкет	10,7	78	30,4	222	31,0	227	21,1	154	6,8	50

Впрочем, потребность в математических «костылях» не мешает осознавать большинству студентов и аспирантов значимость произведений, написанных задолго до придания экономической науке «точного» характера во второй половине XX столетия. Участников опроса пока не очень привлекает напутствие Дж. Стиглера: «Молодой теоретик [экономист] будет очень редко принимать в расчет даже работы экономистов конца XIX века» [Stigler, 1982, p. 107]. Ни в одном вузе и ни на одной образовательной ступени удельный вес желающих свести изучение ИЭУ к рассмотрению концепций максимум полувековой давности не превысил долю представляющих себе ценность рассмотрения теорий более ранних периодов (таблица 9).

Похоже, анкетируемые интуитивно ощущают, что поддерживать кумулятивный рост экономического знания гораздо сложнее, чем в естественных науках. Лишь 1/3 опрошенных разделяет так называемый виговский взгляд на эволюцию ИЭУ, согласно которому все полезные и «правильные» теоретические наработки прошлого уже описаны в последних трудах, а прогресс в экономической науке носит линейный характер «от ошибочных идей к истинным».

Таблица 9 – Отношение к ограничению изучения ИЭУ рассмотрением концепций 30–50-летней давности

Университет	Положительно		Скорее положительно		Нейтрально		Скорее отрицательно		Отрицательно	
	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.
НИУ ВШЭ	11,7	21	13,4	24	20,7	37	36,3	65	17,9	32
МГИМО	3,4	5	11,6	17	19,2	28	48,6	71	17,2	25
МГИМО (магистры)	0,0	0	6,2	1	25,0	4	43,8	7	25,0	4
МГУ	5,1	6	8,5	10	14,4	17	41,5	49	30,5	36
РЭУ (аспиранты)	7,1	3	11,9	5	16,7	7	38,1	16	26,2	11
СПбГУ	8,0	10	16,8	21	19,2	24	32,8	41	23,2	29
СПбГУ (магистры)	5,7	2	25,7	9	22,9	8	40,0	14	5,7	2
УрФУ	8,6	6	20,0	14	32,8	23	32,8	23	5,8	4
В среднем (от общего числа анкет)	7,3	53	13,8	101	20,2	148	39,1	286	19,6	143

Напротив, 2/3 участников анкетирования придерживаются противоположных – антивиговских – воззрений. По их мнению, учения минувших дней не следует сравнивать с современными концепциями, они заслуживают самостоятельного анализа в свете исторических реалий, явивших их на свет. Это означает, что в стенах российских университетов учатся, преимущественно, сторонники «исторических реконструкций» ИЭУ, не стремящиеся абстрагироваться от социально-экономического окружения исследованиями прогресса техники и методов экономического анализа (таблица 10).

Таблица 10 – Распределение востребованности подходов к изучению ИЭУ, %

Способы реконструирования прошлого экономической науки		НИУ ВШЭ	МГИМО	МГИМО (магистры)	МГУ	РЭУ (аспиранты)	СПбГУ	СПбГУ (магистры)	УрФУ	В среднем (от общего числа анкет)
В качестве неуклонного процесса перехода от «ошибочных» теорий прошлого к более современным и «правильным» концепциям	%	45,8	24,0	31,2	18,6	28,6	19,2	28,6	41,4	30,0
	чел.	82	35	5	22	12	24	10	29	219
По принципу «каждая теория хороша для своего времени»	%	54,2	76,0	68,8	81,4	71,4	80,8	71,4	58,6	70,0
	чел.	97	111	11	96	30	101	25	41	512

Неудивительно, что 94,8% участников опроса нуждаются в контекстуализации истории экономических учений (таблица 11). Несмотря на доминирующую в современной историографии установку на анализ ИЭУ с высоты сегодняшнего дня, подавляющее большинство опрошенных настаивает на необходимости рассмотрения экономических концепций прошлого на фоне совре-

менного им социально-исторического ландшафта. Иными словами, российские студенты и аспиранты готовы к изучению ИЭУ как интеллектуальной истории, то есть с учетом воздействия на экономическую мысль «духа времени, социальной обстановки, экономических институтов и философских течений» (цит. по: [Samuels et al., 2004, p. 256]).

Таблица 11 – Необходимость рассмотрения социально-исторического контекста, в котором возникла та или иная экономическая концепция для изучения ИЭУ

Университет	Очень высокая		Высокая		Не очень высокая		Низкая	
	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.
НИУ ВШЭ	48,6	87	43,0	77	5,0	9	3,4	6
МГИМО	56,8	83	39,7	58	3,5	5	0,0	0
МГИМО (магистры)	68,8	11	31,5	5	0,0	0	0,0	0
МГУ	61,1	72	35,6	42	2,5	3	0,8	1
РЭУ (аспиранты)	69,0	29	28,6	12	2,4	1	0,0	0
СПбГУ	59,2	74	36,8	46	4,0	5	0,0	0
СПбГУ (магистры)	45,7	16	51,4	18	2,9	1	0,0	0
УрФУ	40,0	28	50,0	35	10,0	7	0,0	0
В среднем (от общего числа анкет)	54,7	400	40,1	293	4,2	31	1,0	7

Как видим, участники опроса подспудно соглашаются с Дж.К. Гэлбрейтом, утверждавшим, что «экономические идеи всегда являются продуктом своего времени и места, поэтому не могут рассматриваться отдельно от среды, которую интерпретируют» [Galbraith, 1987, p. 1]. Другими словами, ИЭУ выступает своеобразным гуманитарным «оазисом», где можно узнать не только о концепциях ученых прошлого, но и через знакомство с историей экономической мысли приобщиться к богатству и многообразию контекстов, окутывающих экономические идеи. Поэтому преподавателям не стоит идти на поводу стремления студентов и аспирантов смотреть на ИЭУ через математические «очки». Историю экономических учений нужно рассматривать как путешествие в прошлое, а не как лекцию по математике, где «концепция роста Адама Смита изображена в виде системы трех уравнений, а мальтузианская теория народонаселения выражена двумя дифференциальными уравнениями» [Blaug, 2001, p. 151]. Современным экономистам, говорящим на языке царицы наук, безусловно, сложно дается чтение текстов, не содержащих математических символов и графиков. Отсюда вытекает новая важная задача ИЭУ – вооружить студентов-экономистов вторыми, гуманитарными «линзами». Для этого преподавателю, как метко заметил профессор Гриннеллского колледжа Б. Бэйтман, надо посадить студента «на одно бревно с Адамом Смитом», то есть «поместить слова Смита в контекст» [Bateman, 2002].

Результаты проведенного нами анкетирования позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы решения этой задачи в России. На положительный исход «работает» прежде всего

практически единодушная готовность студенческой и аспирантской аудитории рассматривать ИЭУ именно под «контекстуальным» углом зрения. Кроме того, в нескольких случаях участники опроса на полях анкеты напротив пункта о необходимости анализа контекста для изучения ИЭУ оставили комментарии: «нас так и учат», «по-другому будет непонятно». Это говорит о том, что российские специалисты умеют усаживать студентов на одно «бревно» с мыслителями прошлого. Примечательно, что все эти «заметки» принадлежат студентам экономического факультета МГУ, обучающимся в группе повышенной академической нагрузки, которой в рамках эксперимента читается специальный курс, вбирающий в себя историю экономических учений и экономическую историю. Представляется, что такой «синтез», где ИЭУ рассматривается на фоне эволюции хозяйственной системы, можно считать крайне удачным. Такого рода контекстуализированная история экономической мысли сможет выступить в роли прививки от превращения студента/аспиранта в экономиста-саванта – специалиста с блестящими и крайне необходимыми математическими способностями, но дилетанта в сфере истории и философии.

Отталкиваясь от полученных данных, в следующем разделе работы мы попробуем определиться с контекстом, через который, с нашей точки зрения, следует изучать историю экономических учений. После этого будет изложен наш подход к исследованию истории экономических учений, направленный на предотвращение дальнейшей дискриминации и ревитализацию ИЭУ. Однако прежде чем перейти к процедуре выбора исследовательской оптики и конструированию авторского методологического инструментария изучения истории экономических учений, необходимо подвести некоторые итоги анализа изменения дисциплинарного статуса ИЭУ и отношения к ней будущих экономистов.

Подведем итоги.

1. В конце XX столетия открытое пренебрежение мейнстримом знанием прошлого своей дисциплины и плохо маскируемая враждебность к историкам мысли вынудили группу специалистов в области истории экономической мысли запустить программу «выхода» (‘exit’ strategy) из лона экономики. Данный «исход» следует признать достаточно успешным. За считанные десятилетия подвижникам удалось создать «новую» историю экономических учений, тесно связанную с science studies, философией и социологией, которая привлекла в сферу ИЭУ массу сторонников из гуманитарных наук.

2. Благодаря стараниям энтузиастов, отважившихся на гуманитаризацию ИЭУ, история экономической мысли перестала быть чуланом, куда экономтеоретик изредка заглядывал в поисках исторических специй к своему изысканному математическому блюду. Распрощавшись с ролью падчерицы экономикса, сблизившись с историками науки, философами и социологами, ИЭУ XXI столетия предлагает совершить увлекательное путешествие в прошлое истории, реконструировать экономическую концепцию в современных ей институциональных, исторических, идейно-

политических реалиях. Методологический плюрализм вкупе с мультидисциплинарностью анализируемых контекстов, в которых появляются экономические идеи, выступает залогом притока в ИЭУ новых кадров, как «эмигрантов» из неортодоксальных течений экономической теории, так и «гостей» из других дисциплин, позволяя с оптимизмом смотреть в ее будущее.

3. Результаты нашего анкетирования студентов и аспирантов ведущих экономических факультетов и вузов РФ опровергают традиционное представление об экономистах как специалистах, интересующихся, в лучшем случае, историей экономического анализа, то есть очищенным от контекстуальной «шелухи» описанием эволюции технических средств и приемов изучения хозяйственной системы. Практически 95% участников опроса солидарны во мнении – историю экономических учений следует рассматривать неразрывно от окружающего контекста. Данные цифры со всей очевидностью говорят о том, что именно такой «гуманитарный» взгляд на ИЭУ представляется наиболее перспективным.

Глава 2. Теоретико-методологические особенности взаимодействия хозяйственной среды и экономической мысли

2.1. Специфика эволюции истории экономических учений в контексте трансформации технико-экономического ландшафта глобального хозяйства[1]

Начало XXI столетия стало важной вехой в дисциплинарной истории ИЭУ. Расставшись с образом «сторожа», охраняющего для редких ценителей «кладбище теоретической рухляди», историки экономической мысли пополнили ряды многоликого сообщества философов и социологов науки. Параллельно произошло дружественное «вторжение» в ИЭУ пестрой «гурьбы» литературоведов, политологов и даже журналистов. Интенсификация междисциплинарного взаимообогащения привела к серьезному пересмотру методологических ориентиров и стандартов, используемых современными экспертами в области истории экономической мысли. Все большую популярность в ИЭУ стали набирать исследования, в которых идеи прошлого помещаются в разноплановые контексты. Красочные описания культурно-исторических условий, в которых генерировали свои идеи экономисты прошлого, нетипичные для загроможденных графиками и формулами трудов в области *истории экономического анализа*, сделали контекстуализированную ИЭУ привлекательной для многих гуманитариев и тем самым «закрыли» еще недавно казавшуюся неразрешимой проблему кадрового голода. Появление новых специализированных журналов, регулярное проведение тематических конференций и съездов профильных ассоциаций вкупе с практически поголовным, как показало наше исследование, стремлением студентов-экономистов рассматривать ИЭУ «с учетом обстоятельств времени и места» [Weintraub, 2001, p. 280] наводит на мысли о том, что будущее «новой» истории экономической мысли, насыщенной богатым гуманитарным контекстом, выстлано розами.

Впору воскликнуть: «Rex mortuus est, vivat rex». Однако, с нашей точки зрения, за кажущимся наконец-то безоблачным теоретико-методологическим горизонтом кроются опасные подводные камни. Всецело поддерживая контекстуальный поворот в ИЭУ, мы тем не менее полагаем, что некоторые распространенные в современном историко-экономическом дискурсе подходы, при некритическом восприятии, ведут к измельчанию объекта изучения, а их методологического арсенала недостаточно для полнокровного развития истории экономических учений. Поэтому полагаем крайне важным определиться с контекстом, сквозь увеличительное стекло которого предстоит рассматривать экономические воззрения прошлых лет. Отталкиваясь от критического ана-

---

[1] Данный параграф базируется на статье: [Мальцев, 2016b] и авторских разделах статьи: [Татаркин и Мальцев, 2016].

лиза отдельных популярных в настоящее время контекстуальных подходов к постижению ИЭУ, будет предложена авторская концепция изучения истории экономических учений.

Пожалуй, в последние годы одной из наиболее популярных среди специалистов по ИЭУ стала конструктивистская методология, редуцирующая факторы, воздействующие на появление новых экономических идей, к явлениям, влияющим на функционирование научного сообщества, трансформации внутри которого служат импульсом к переменам в теоретических представлениях ученых. Вот как описывает примерный круг вопросов, занимающих умы ученых-конструктивистов один из ярчайших их представителей А. Кламер: «Мы пытаемся выяснить, почему сохраняются разногласия, почему английский Кембридж проиграл в так называемой полемике о капитале американскому Кембриджу… какое влияния оказали на развитие экономической теории в пятидесятые годы военные ведомства и что происходит в аспирантуре» [Кламер, 2015, с. 159]. Нет никаких сомнений в том, что исследования формирования и изменения этоса экономистов выглядят исключительно привлекательным и нужным мероприятием, выгодно отличающимся от «классических» абсолютистских штудий по выяснению того, кто из мыслителей древности наиболее близко подошел к созданию теории предельной полезности.

Однако загвоздка кроется в нюансах. Как известно, приверженцы конструктивизма в целом разделяют мизесовское видение истории, которое, предельно упрощая, можно свести к следующим основным принципам: во-первых, «подлинная история человечества суть история идей»; во-вторых, «идеи являются главной темой изучения истории»; в-третьих, «любая идея зародилась в определенной точке времени и пространства в голове индивида» [Мизес, 2013, с. 167, 201], а следовательно, нельзя абстрагироваться от личности человека, времени и места создания его мысли. Отсюда вытекает вполне релятивистский тезис об индивидуальности каждой исторической ситуации и невозможности «выставлять что-либо как некий образец совершенного состояния и с ним сопоставлять реальное положение вещей и ход истории» [Заостровцев, 2014, с. 179]. Казалось бы, перед нами оптимальная концепция, позволяющая наконец-то взглянуть на ИЭУ не как на «соус к современному экономическому анализу, …предназначенный для придания исторического „привкуса“ моделям» [Marcuzzo, 2008, p. 110] и вернуться к великой традиции Й. Шумпетера предпосылать «истории [экономического] анализа изложение ее чрезвычайно широко понимаемого контекста» [Автономов, 2001, с. X]. В самом деле, что может быть увлекательнее установления влияния идей Ньютона на творчество А. Смита, сила которого, если верить знаменосцу конструктивизма Д. Макклоски, помогла раздуть пламя индустриальной революции [McCloskey, 2011]. Не менее захватывающим представляется изучение того, как очарованные открытиями в области термодинамики У. Джевонс, Л. Вальрас, а позднее В. Парето, Ф. Эджуорт и И. Фишер уподобили экономику физике, что привело к рождению неоклассического экономикса (см., например: [Mirowski, 1989; Burley & Foster, 1994]), ставшего, по мнению некоторых исследовате-

лей, одним из главных виновников Великой рецессии [Harvey, 2012]. В поистине приключенческо-детективном духе разворачивается сюжет работ, в которых повествуется о воздействии холодной войны и роли всесильных силовых структур в усилении математического характера экономической науки стран Запада.

Возможно, именно так и надо изучать ИЭУ. Ведь такая история экономической мысли, сплетающая в единую канву детали биографии великих экономистов, грандиозные научные открытия и важнейшие события эпохи, не должна вызвать приступа скуки даже у самого пылкого позитивиста, чьим жизненным кредо является девиз «наука есть измерение». Однако чем ярче солнце, тем контрастнее на нем видны тени. Как мы уже отмечали в предыдущих разделах работы, антипатия к предопределенности и взаимосвязанности изменений в сфере ИЭУ объединяет конструктивистов и постмодернистов. Это означает, что из прекрасно обработанных конструктивистских «блоков» нельзя построить сколько-нибудь надежное «здание», поскольку это противоречит убеждению сторонников конструктивистской методологии в ИЭУ в неприемлемости нанесения «клея» между отдельными «кирпичами» экономических воззрений.

При этом некоторые конструктивисты даже не озадачиваются вопросом о происхождении этих «кирпичей». Вместо этого вслед за Дж.М. Кейнсом повторяется тезис о том, что экономические идеи нисходят на общество в виде голоса с небес. Однако ни великий интеллектуал, ни отдельные современные конструктивисты не объясняют причины случайных вспышек озарения экономистов.

Например, Д. Макклоски именует экономические идеи «темной материей истории» [McCloskey, 2010, p. 447][1]. Впрочем, трактовка профессором Иллинойского университета зарождения новых направлений мысли как чего-то непознаваемого отнюдь не оригинальна и во многом перекликается с представлениями Л. фон Мизеса. Так, в 1957 г. австрийский мыслитель высказался на этот счет следующим образом: «Об идеях можно сказать только то, что они появились… Безосновательно предполагать, что они обязаны появиться и что если бы их не породил *A*, то это сделали бы *B* или *C*» [Мизес, 2013, с. 167].

Впрочем, большинство сторонников конструктивизма все-таки пытается найти «земные» корни экономических концепций. Важной предпосылкой их поиска является представление ИЭУ не в качестве хроники открытий отдельных гениев, а в виде продукта совместных действий многих ученых. Очевидно, что для анализа истории экономической мысли под этим углом зрения требуется рассмотрение специфики функционирования научных сообществ. Для такого рода изысканий конструктивисты прибегают к популярным среди современных историков науки приемам «микроистории», ориентированной на изучение феноменов «малого масштаба и иногда да-

[1] Более подробно о воззрениях Д. Макклоски на логику экономико-исторического процесса см.: [Заостровцев, 2014, с. 224–227].

же одиночного явления» (цит. по: [Lamoreaux, 2006, p. 555]). Вдохновившись афоризмом Г. Флобера: «Бог – в деталях», последователи конструктивизма берутся за методологический «скальпель» и приступают к рассечению научного контекста, окружающего экономические воззрения прошлых лет, на бесчисленное количество мини-эпизодов. После этой препарации конструктивисты обычно выносят вердикт: экономические теории есть порождение определенных научных культур и переговоров между их носителями. Не приходится сомневаться, что полученные результаты в виде, скажем, конструктивистской реконструкции теории общего равновесия (Э.Р. Вайнтрауб) или процесса превращения физики в научный идеал для экономистов неоклассиков (Ф. Мировски) выполнены с огромным мастерством и высвечивают крайне важную процедуру строительства экономических концепций изнутри самой науки.

Тем не менее трудно поверить в то, что мир за пределами стен научных учреждений не влияет на создание новых и обновление старых экономических идей. Между тем именно эту мысль упорно продвигают любители формулировать главную задачу исследования истории экономической науки в терминах расшифровки языков, на которых общаются разные коллективы экономистов. При этом «конструктивисты… утверждают, что знание может обсуждаться только применительно к определенным сообществам», за границей которых оно попросту не существует и не будет никому понятно [Backhouse, 1992a, p. 60]. По сути, конструктивисты стоят в шаге от отрицания существования реальных материальных явлений, поскольку для них «вне дискурса [языка, текста] ничто не имеет значения» (цит. по: [Hall, 1998, p. 273]). Кроме того, наделение языка статусом уникального феномена, специфичного для каждой исследовательской группы, предопределяет необходимость расщепления кажущегося на первый взгляд единым научного контекста, в котором существует ИЭУ, на множество никак не связанных друг с другом сюжетов. Высокая дробность объекта изучения позволяет конструктивистам взглянуть на известные теории под «большим увеличением», в результате чего они могут предстать в абсолютно ином свете, что, несомненно, является достоинством конструктивистской методологии. Велик потенциал использования конструктивистской «оптики» в деле выхватывания из тьмы времен забытых имен и преданных забвению экономических концепций.

Со всем прочим, с нашей точки зрения, стремление конструктивистов под прикрытием более глубокого проникновения в тайны экономических разговоров все больше фрагментировать историю экономической мысли выливается в погоню за глубиной исследования, при которой жертвой становится его широта. На этом фоне тезис великого экономиста А. Гершенкрона (1904–1978): «Качество нашего понимания проблем современности существенно зависит от широты исторического контекста, в котором мы их рассматриваем» [Гершенкрон, 2015, с. 60] мыслится нам нисколько не утратившим своей актуальности и полностью применимым к ИЭУ. В довершение всего складывается впечатление, что непосредственно сама история экономической мысли не

очень-то сильно интересует конструктивистов. Больше самой ИЭУ их заботит процедура создания экономической науки. Ее специфика, как выясняется, рождается из ритуалов сдачи экзаменов; светской болтовни и сплетен на конференциях; церемоний защит диссертаций; архитектурной ауры университетских кампусов; особенностей научно-этических стандартов и сетей неформальных контактов, а также художественной литературы, стоящей в шкафах домашних библиотек экономистов (см. подробнее: [Кламер, 2015]).

Такая забота о «мелочах», изумительное описание важных деталей генезиса и эволюции экономических теорий «изнутри» профессии, до которых «классическим» специалистам по ИЭУ обычно просто нет никакого дела, обеспечивают конструктивистским интерпретациям экономических идей как продукта «разговоров» внутри научных сообществ большое будущее. С одной стороны, эту тенденцию следует всячески приветствовать, поскольку она пробуждает интерес к истории экономической мысли, с другой – конструктивистская ИЭУ выглядит исключительно неустойчивой структурой, составляющие элементы которой изолированы друг от друга. Последствия этого изъяна конструктивизма легче всего объяснить, словами Г.В.Ф. Гегеля: «Собрание разрозненных знаний не составляет науки» [Гегель, 1932, с. 35]. Поэтому у нас есть веские основания сомневаться, что такая композиционно рыхлая, «бесстержневая» история экономической мысли, чьи эпигоны с трудом скрывают восторги относительно постмодернистской теории познания, характеризующейся дефундаментализмом, то есть «„несвязанностью“ с фактами мира „как он есть“» и обрывочностью или, иначе говоря, «интерпретацией реальности… как комплекса не связанных друг с другом образов, событий» [Толкачев, 2015, с. 424], может быть тем самым увеличительным стеклом, через который только и нужно рассматривать ИЭУ. Мы убеждены, что одного изучения научной среды для понимания логики развития истории экономических учений недостаточно, и оно должно вписываться в более широкую текстуру.

Поиски этого контекста нередко приводят в сферу культуры. Изображение экономической мысли в качестве сгустка определенных культурологических традиций отдельных эпох и народов кажется весьма заманчивым историографическим занятием. Лишь безнадежных позитивистов могут оставить равнодушными написанные прекрасным литературным языком работы лорда Р. Скидельски, показывающие как климат духовно-культурного обновления эдвардианской Британии повлиял на мироощущение Дж.М. Кейнса и отпечатался в его экономических воззрениях (см., например: [Skidelsky, 1992]). Культурологические трактовки ИЭУ могут не только доставлять эстетическое удовольствие, но и, в хорошем смысле слова, шокировать профессиональное сообщество. Скажем, помещение творчества Л. Вальраса в контекст эпохи позднего романтизма привело голландского ученого А. Йолинка к выводу о том, что лозаннский ученый на самом деле являлся эволюционным экономистом [Jolink, 1996].

Особо отметим распространение исследований, демонстрирующих влияние духовной культуры отдельных народов на возникновение новых экономических школ и направлений. Например, Е.Г. Уэйл высказал гипотезу о том, что одной из возможных причин квантификации экономической теории стала иммиграция в США на рубеже XIX–XX столетий восточноевропейских евреев, которых слабо затронули традиции Хаскалы (еврейского Просвещения). Начавшееся во второй половине XVIII века, движение Хаскалы исходило из принципа, согласно которому главным способом улучшения жизни евреев является преодоление культурно-религиозной обособленности еврейского народа через приобщение к достижениям европейской науки и образования. Однако, как утверждает доцент Чикагского университета, ссылаясь на книгу Д. Пенслара [Penslar, 2001], «еврейское обучение во время Хаскалы в подавляющем большинстве случаев ориентировалось на естественные науки и пренебрегало науками социальными, поскольку евреи не влияли и мало интересовались политикой принявших их иноверных обществ». Особо прочно эти установки закрепились в среде более дискриминируемого восточноевропейского еврейства. Только эмигрировав в демократичные США, евреи Восточной Европы с их «выдающимся рвением и подготовкой к изучению естественно научного метода» смогли приступить «к применению этого инструментария к решению социальных проблем через науку экономики» [Weyl, 2012, p. XLVI]. Отсюда Е.Г. Уэйл делает крайне любопытное предположение: «возможно, когда-нибудь погромы, великая волна еврейской иммиграции в начале двадцатого века… смогут составить конкуренцию Великой депрессии в деле формирования современной экономической теории» [Weyl, 2012, p. XLVII].

Даже невооруженным взглядом легко заметить, что «культурологические» историки экономической мысли по широте контекста, в котором они рассматривают экономическую теорию, превосходят конструктивистов. Благодаря их стараниям ИЭУ шагнула за пределы университетской аудитории и кулуаров конференции, куда ее «заточили» сторонники конструктивизма. Блестящая передача духа времени, демонстрация влияния доминирующих в социуме мыслительных традиций на этос экономистов, выявление влияния своеобразия национальной культуры на экономическую теорию превращают культурологическую ИЭУ в своеобразную пещеру Алладина, наполненную историографическими сокровищами, которую историку мысли не хочется покидать. Однако блеск драгоценностей не делает реконструкции ИЭУ в культурном контексте свободными от недостатков. Более того, нам представляется, что по числу Ахиллесовых пят «культурологи» ничуть не уступают конструктивистам.

Во-первых, несопоставимость и уникальность культур, определяющих в глазах данной группы исследователей специфику экономических теорий, вынуждает их отказаться от единой ИЭУ, скрепленной общими принципами эволюции. Следовательно, как и в случае с конструктивизмом, мы имеем дело лишь с расширенными версиями микроисторий. Кроме того, «культуро-

логи» не скрывают, что ИЭУ для них вторична, а первично изучение культуры, породившей ту или иную экономическую концепцию. Во-вторых, сторонники поиска родословной экономических концепций в сфере культуры, как правило, не утруждают себя детальным описанием механизмов кристаллизации новых или обновления старых экономических идей. Чаще всего их вполне устраивают объяснения в духе Дж.М. Кейнса, который уподобил экономические концепции ниспосылаемым свыше божественным откровениям.

В такой постановке вопроса становится понятным, почему после знакомства с трудами некоторых «культурологов» трудно отделаться от ощущения того, что идеи возникают на историографической сцене, словно Deus ex machina, появляющийся из-за кулис в самый неожиданный момент и волшебным образом решающий (иногда и, наоборот, усугубляющий) все социально-экономические проблемы. Типичным примером подобных представлений является увязка отмены хлебных законов с их критикой Д. Рикардо. Не менее распространены обвинения К. Маркса в создании теории, якобы воодушевившей Сталина и Мао на чудовищные социальные эксперименты. Еще популярнее рисовать вокруг Дж.М. Кейнса ореол спасителя капитализма и сокрушителя Великой депрессии. Тогда как М. Фридмана нередко изображают в роли Мефистофеля, искусившего западный истеблишмент коварной идеей разрушения велферизма.

Истоки подобных воззрений, по видимому, восходят к «Общей теории» Дж.М. Кейнса, в которой ученый назвал политиков «рабами какого-нибудь экономиста прошлого», извлекающих «свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад» [Кейнс, 2012, с. 349]. Вместе с тем далеко не все специалисты согласились со столь лестной и явно преувеличенной оценкой значимости их профессии. Наблюдательнейший П. Самуэльсон и вовсе иронизировал над теми, кто наделял экономистов функциями мессии: «безумцы от власти могут *самостоятельно генерировать* свое сумасшествие без помощи со стороны как усопших, так и ныне здравствующих экономистов» [Samuelson, 2007, p. X].

Как видим, переход от конструктивистских микроисторий к культурологическим мезоисториям хоть и расширяет контекст историографических исследований, но не только не избавляет от недостатков, свойственных конструктивистской ИЭУ, но и добавляет новые проблемы. Главная из них – игнорирование вопроса, почему развивается культура, оказывающая столь значительное влияние на экономистов, которые, в свою очередь, становятся новыми пророками. Для ответа на него, с нашей точки зрения, требуется выйти за пределы науковедческого и национально-культурного контекста и рассмотреть воздействие на ИЭУ социально-экономической среды. Впрочем, это вовсе не означает, что достоинства конструктивистских и культурологических программ исследования истории экономических учений (признание релятивности экономического знания, отрицание возможности подгонки воззрений прошлого под современные теоретические «выкройки», учет воздействия культурологических факторов и др.) несовместимы с анализом

влияния на ИЭУ изменения глобального хозяйственного ландшафта. Один из возможных набросков сценария такого «союза» можно отыскать в трудах Н.Г. Чернышевского, полагавшего, что, дополнив справедливый тезис английского историка Т. Бокля – «история движется развитием знания» принципом, «по которому и умственное развитие, как политическое, и всякое другое зависят от обстоятельств экономической жизни», можно получить «полную истину: развитие двигалось успехами знания, которое преимущественно обусловливалось развитием трудовой жизни и средств материального существования» (цит. по: [Семенов, 2013, с. 329–330]).

Конечно, велик соблазн наклеить на подобные рассуждения ярлык «ультрамарксизма» с его признанием первичности материи и вторичности сознания. Однако в ряды безоглядных сторонников учения Маркса вряд ли можно записать президента Американской экономической ассоциации в 1902–1903 гг. Э. Селигмена, настаивавшего на том, что «история человечества есть история его умственного развития; но жизнь человеческая зависит от того отношения, которое существует между индивидуумом и окружающей его средой» [Селигмен, 2015, с. 94]. Точно не был марксистом крупный идеолог новой исторической школы, немецкий экономист Г. Шмоллер (1838–1917), писавший о зависимости существующего «в данное время состояния техники» от «умственного развития», которое «состоит однако в тесной связи и с внешними явлениями, со строем естественного порядка всей хозяйственной жизни» [Шмоллер, 2012, с. 76–77]. Едва ли с большой теплотой к марксизму относился один из сотворцов американского институционализма К. Эйрс (1891–1972), начавший свою «Теорию экономического прогресса» с такого пассажа: «В любой науке новые способы мышления есть результат общего социального процесса, в котором участвует все сообщество» [Ayres, 1962]. Разуверившийся в марксизме профессор Хартфордширского университета Дж. Ходжсон согласен с тем, что «различные социально-экономические феномены могут потребовать теории, которые в некоторых аспектах отличаются друг от друга» [Hodgson, 2001].

Как видим, всех этих авторов, представляющих разные эпохи и страны, объединяет не столько постулирование приоритета материальных факторов над духовными, сколько убежденность в относительном характере экономического знания. «Научна всякая теория, отражающая существо конкретно-исторической хозяйственной системы», – поясняет суть такого рода воззрений известный российский экономист Ю.Я. Ольсевич [Ольсевич, 1995, с. 8]. Это замечание, с нашей точки зрения, принципиально важно для возрождения истории экономической мысли. Мы полагаем, что помимо расширения историографического контекста исследований одним из ключевых способов восстановления позиций ИЭУ должно стать развенчание представлений о вневременной сущности экономических теорий. К сожалению, в современном мейнстриме пользуется популярностью мнение, будто бы с момента выхода в свет «Богатства народов» никаких концептуальных изменений в экономической науке не происходило, а хозяйственная история всегда соответствовала «абстрактным идеалам совершенного рынка» [Ольсевич, 1998, с. 18].

Светила магистрального течения не упускают возможностей использовать высокие академические трибуны для распространения подобных аисторических заблуждений. «Базовый взгляд на экономику… мы взяли у Смита и Рикардо, и больше не было никаких новых парадигм или парадигмальных изменений или сдвигов. Вероятно, они будут, но за две сотни лет их не произошло…», – утверждал Р. Лукас в 2003 г. в своем пленарном докладе на конференции, организованной авторитетным журналом History of Political Economy [Lucas, 2013, p. 513]. Другой нобелевский лауреат Дж. Стиглер использовал свой многотиражный учебник «Теория цены» в качестве рупора для трансляции весьма спорного с исторической точки зрения тезиса: «закон спроса, действительно, верен для всех потребителей, всех времен, всех товаров» (цит. по: [Hodgson, 2001, p. 236]). Настолько открытое пренебрежение историей не одобряют даже отдельные представители основного русла. Так, Р. Солоу, испытывая сожаление по поводу утраты мейнстримными исследователями чувства пространственно-исторической ограниченности их умозаключений, сделал очень точное сравнение: «Вы можете высадить современного экономиста из машины времени… в любом времени, в любом месте, одного вместе с его или ее персональным компьютером; он или она смогут начать свою работу, даже не удосужившись спросить, в каком времени и месте они находятся» (цит. по: [Faber & Proops, 1990, p. 69]). Тем не менее экономисты магистрального течения, невзирая на участившуюся критику игнорирования фактора времени и даже воззвания знаменитостей уровня П. Самуэльсона «с очень большим уважением относиться к экономической истории, потому что она является сырьем, на котором вы [экономисты] строите ваш анализ или догадки» [Clarke, 2009], пока не горят желанием принять покровительство музы Клио.

Такое надменное отношение к истории может выглядеть безобидной бравадой неофитов, желающих своим аисторическим рвением оправдать претензии на принадлежность экономики к точным наукам с их кажущимися универсальными и вечными законами. Однако если продолжать следовать за Р. Лукасом, предлагающим рассматривать развитие экономической теории в качестве движения по линии «улучшения абстрактных аналоговых моделей, но не улучшения вербальных описаний реального мира» (цит. по: [Tabb, 1999, p. 168]), то какие бы усилия ни предпринимались, ИЭУ все равно будет выглядеть независящей от изменений хозяйственной жизни. Разжать тиски этого ложного посыла, сдерживающего развитие истории экономической мысли, с нашей точки зрения, способны следующие изменения в восприятии эволюции экономических идей.

Во-первых, возрождению ИЭУ должно поспособствовать переосмысление основного предназначения данного предмета. Если еще в 1980-е гг. главная функция историка экономических учений заключалась в украшении историческим орнаментом математического «торта» мейнстримных «поваров», то теперь будущее истории экономической мысли все больше видится не в роли малополезного аксессуара на кухне основного течения, а в виде мощного орудия междис-

цплинарного анализа. Иначе говоря, ИЭУ должна превратиться в инструмент изучения «экономики как социальной конструкции, среды, созданной руками человека» [Boldizzoni, 2013, p. 10].

Во-вторых, специалистам по ИЭУ следует укреплять сотрудничество с другими гуманитариями, прежде всего с экономическими историками[1]. Скорее всего, во многом из-за «разлучения» двух «сестер» – истории хозяйства и истории экономической мысли – последняя начала дрейфовать в сторону внеисторических аболютистских интерпретаций. Отторгнув экономическую историю, ИЭУ лишила себя возможности «подсвечивать» идеи прошлого окружающим их хозяйственным фоном, в результате чего стало складываться впечатление, будто идеи возникают из ниоткуда, появляясь на теоретическом небосводе в результате случайных искр озарения или в виде продуктов неких «бесед» внутри научного сообщества. Между тем в последние годы все больше ученых склоняются к мнению о том, что «трансформация теорий отражает трансформацию экономических систем» [Ольсевич, 1998, с. 24]. Например, такой точки зрения придерживается известный кембриджский экономист Х.-Д. Чанг: «Какой бы великой ни была экономическая теория, она отражает свое время и окружающую среду» [Чанг, 2015, с. 31]. С ним солидарен крупный итальянский экономический историк Ф. Болдиццони: «Каждое поколение [историографов] конструирует и реконструирует прошлое, руководствуясь остротой момента» [Boldizzoni, 2011, p. 8]. Исходя из этого, мы полагаем, что возрождение былого единства экспертного сообщества знатоков в области экономической мысли с историками экономики является неотъемлемым элементом дальнейшего развития ИЭУ.

В-третьих, историкам мысли стоит большее внимание уделять изучению механизмов создания экономических идей и оценке воздействия на их эволюцию различных детерминант. Как уже говорилось выше, в настоящее время среди специалистов по ИЭУ набирает популярность точка зрения, согласно которой новые воззрения рождаются в ходе диалогов между учеными, после чего воодушевленные результатом этого общения политики, якобы, слепо бросаются претворять их в жизнь. Признавая важность для хозяйственного развития теоретических концепций, мы

---

[1] Ряд авторитетных специалистов утверждает, что экономическая история в настоящий момент переживает не лучшие времена. Засилье агрессивных клиометристов, занимающихся «манипуляцией статистикой и моделями с целью доказательства спорных исторических моментов или даже в большинстве случаев ради опровержения уже сказанного другими» [Kindleberger, 1990, p. 3], привело к тому, что экономическая история постепенно вырождается в «прикладную форму неоклассической экономической теории» (цит. по: [Boldizzoni, 2011, p. 10]). В ответ на клиометрическую революцию среди ученых, не поддавшихся «гипнозу» математической эквилибристики, начала набирать популярность идея необходимости «вступления экономики и истории в новый брак». Основным пунктом нового «брачного договора» является представление о том, что «история должна корректировать теорию, а не наоборот» [Boldizzoni, 2011, p. 5, 6] или, как говорил великий экономический историк П. Байрош (1930–1999), «различные (исторические) структуры означают различные типы эволюции и различные (экономические) законы» (цит. по: [Turk, 2016, p. 3]). Именно с такой экономической историей, с нашей точки зрения, специалисты по ИЭУ могут заключить органичный союз.

тем не менее полагаем, что идеи становятся разрушительной или, напротив, созидающей силой только при определенном стечении материальных и организационных условий.

В-четвертых, история экономических учений в наши дни нуждается в максимально широком контексте рассмотрения. Принимая во внимание значимость изучения малоизвестных историко-экономических жемчужин и высокую увлекательность реконструкций эволюции профессии академических экономистов, мы тем не менее полагаем, что избыточная тяга современных специалистов к жанру «мини-», в крайнем случае «мезо-» историй чревата для ИЭУ Вавилонским столпотворением. Сегодняшние историки мысли зачастую настолько углубили разделение труда в рамках своей специальности, что иногда не понимают, чем занимаются их коллеги. Такая узкая специализация, безусловно, имеет свои достоинства и, по всей видимости, является нормальной стадией развития любой дисциплины. Однако в конечном счете это выливается в замену *«истории историями»* [Breisach, 2003, p. 137] и потерю навыков работы с метатеоретическим контекстом.

В-пятых, такого рода «деквалификация» чревата тем, что все богатство ИЭУ может превратиться в «не более чем камерные пьесы, работы без широкой значимости» [Steele, 2005]. К слову, какими бы недостатками ни обладала та же марксистская историография, она предоставляла некую канву для анализа истории экономической мысли с глубокой древности до современности. В настоящее время такие широкие методологические исследовательские матрицы вышли из моды. Историки экономических учений, стесняясь любых попыток историографических генерализаций, убеждают себя и других в ненужности «большой» ИЭУ. Примечательно, что многие современные гуманитарные предметы давно не испытывают постмодернистских неловкостей в отношении всеобъемлющих нарративов. Скажем, макросоциология, занимающаяся «исследованием механизмов и моделей крупных, долгосрочных исторических процессов и феноменов», с начала 1990-х гг. занимает вполне респектабельную нишу в рамках социологии [Rozov, 2009]. Среди историков набирает силу движение «Большая история» (Big History), представители которой занимаются изучением истории в полидисциплинарном ключе, начиная со времени Большого взрыва, заканчивая сегодняшним днем (см. подробнее: [Christian, 2004]).

Нам представляется, что историкам экономической мысли пора расстаться с ненужным чувством стыдливости в отношении большого контекста и приступить к крупным макроисторическим исследованиям. Это ни в коем случае, еще раз повторимся, не означает того, что мы принижаем значимость конструктивистских или культурологических подходов к изучению истории экономической мысли. С нашей точки зрения, ценные наработки конструктивистов и культурологов необходимо вписать в более обширный контекст, который должен обеспечивать непрерывность анализа ИЭУ; сплетать единой аналитической нитью изменения в области экономики, институциональных образований и культуры; проливать свет на причины изменений в облике экономической мысли и природу происхождения новых элементов экономического знания.

Возьмем на себя смелость предположить, что таким фоном для рассмотрения ИЭУ может стать не просто хозяйственная история, а эволюция технико-экономического ландшафта глобального хозяйства. Однако «технологизация» истории экономических учений может натолкнуться на целый частокол предубеждений. Главным препоном здесь является «технофобия», свойственная современному обществоведению (см. подробнее: [Оганесян, 2009]).

Как точно заметил в 1932 г. Л. Роббинс, «экономисты не интересуются техникой как таковой» [Robbins, 1932, p. 36–37]. Увы, в наши дни ситуация практически не изменилась: большинство экономистов по-прежнему «игнорирует технологию как фактор производства и как главный мотор экономических изменений» [Bunge, 1999, p. 253]. Симптоматично, что столь прозорливого ученого, как В.В. Леонтьев, среди всех изъянов экономической теории едва ли не больше всего тревожил «недостаточный интерес сегодняшних экономистов к институциональным изменениям, вызванным появлением новых технологий», которые нобелевский лауреат «однозначно считал движущей силой» [Foley, 2007, p. 28]. Впрочем, в своей недооценке роли технологии экономисты не одиноки: социологи, по мнению профессора Университета Париж-Эст в Марн-ля-Валле П. Флиши, вообще рассматривают технологию «в качестве черного ящика». Даже историки «изучают историю техники и технологии, не обращая внимания на общественные сдвиги» [Flichy, 2007, p. 3].

Причины «технобоязни» обществоведов коренятся в нескольких обстоятельствах. Во-первых, этому немало поспособствовали сами сторонники объяснения всех социальных явлений изменением производительных сил. Чего стоят только бескомпромиссные заявления французского технофилософа Ж. Эллюля (1912–1994): «Экономика может быть… одним из условий технологического прогресса или, наоборот, препятствием на его пути, но она никогда не оказывает на него доминирующего воздействия и не является его причиной» (цит. по: [Оганесян, 2009]). Столь плохо замаскированный технорадикализм надолго исключил технологию из сферы научных интересов гуманитариев. Во-вторых, начиная с третьей четверти XX столетия, технология стала казаться многим обществоведам рудиментом ушедшей эпохи модерна с ее механицизмом, упорядоченностью и структурированностью. В пришедшей ей на смену эре постмодернизма вместо фетишизации научной рациональности появился новый культ эмоций и чувств [Chapman, 2010, p. 438]. Многим обществоведам рубежа второго и третьего тысячелетий даже сам термин «технология» начал резать слух своим «холодом и математичностью» [Marx & Smith, 1994, p. IX], а попытки видеть в технологии предпосылку общественного развития и вовсе теперь именуются образцом отвратительного детерминизма, своеобразной отрыжки модерна, вызывающей у «просвещенных» специалистов лишь гримасу отвращения.

Получается, что попытки «технологизировать» ИЭУ оказываются между позитивистской наковальней и постмодернистским молотом. С одной стороны, этому препятствует все еще сильная инерция позитивистского мышления, в рамках которой экономические законы кажутся неру-

шимыми и независящими от воздействия какого-либо влияния. С другой стороны, постмодернистская мода диктует отказ от какой бы то ни было предопределенности и подогревает антипатии к причинно-следственным связям. В таких условиях попытки привнести в изучение ИЭУ технологический фактор могут показаться обреченными на неудачу. Однако мы попробуем пройти между этих двух огней. Предлагаем для этого трактовать ИЭУ как *историю экономической мысли*, показывающей, что «реальные исторические изменения существенным образом влияли на то, какими вопросами в первую очередь задавались ученые-экономисты» [Цвайнерт, 2008, с. 21], а не в качестве *истории экономического анализа*, которая, в самом деле, гораздо менее чувствительна к влиянию хозяйственно-исторического процесса[1]. Вот почему в нашей работе не будет описаний в духе того, куда наклонена кривая краткосрочного предложения труда у Ф. Найта, или как, скажем, Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн измеряли предельную полезность денежного дохода.

Вместо этого нас, прежде всего, интересует то, что Й. Шумпетер называл «историей становления и смены общественных воззрений по экономическим вопросам», безусловно зависящей, по мнению великого австрийского экономиста, от «окружающей обстановки, в которой протекала работа аналитика» [Шумпетер, 2001, т. 1, с. 46–47]. Другими словами, в центре нашего внимания оказываются вопросы влияния изменений хозяйственной обстановки на постановку ключевых проблем, изучаемых экономистами. Разделяя тезис одного из знаменитейших умов XX столетия Д. Белла: «Чтобы понять современное общество и то, как оно трансформировалось… требуется выяснить эволюцию техники» [Bell, 1999, p. XXXII], мы считаем, что периодические технологические сдвиги революционизируют «весь набор экономических, социальных и политических структур общества» [Lipsey et al., 2005, p. 3] и, тем самым, неизбежно влекут за собой изменения в экономических воззрениях. Опираясь на данную гипотезу, постараемся представить широкую ретроспективную картину взаимодействия технологических преобразований и экономической мысли, доказывающую «эволюционную соотнесенность духа и общества». Попутно перед нами открывается возможность найти подтверждение гипотезы профессора Университета Хитоцубаши Ю. Шионоя о наличии ясной параллели между «длинными волнами в истории экономики и экономической теории» [Shionoya, 2012, p. 590–591][2].

Отдельно подчеркнем, что, считая технологию одним из важнейших источников периодических трансформаций глобального хозяйства, мы тем не менее не являемся технологическими детерминистами. Технологический прогресс не оказывает непосредственного влияния на эконо-

---

[1] Различать историю экономической мысли и историю экономического анализа предлогал еще Й. Шумпетер. В России о большом потенциале для анализа ИЭУ этого методологического открытия неоднократно писал член-корреспондент РАН В.С. Автономов (подробнее см., например: [Автономов, 2003]).

[2] Еще изящнее эту гипотезу сформулировал российский экономист В.Н. Черковец: «…большие волны конъюнктуры как бы „посредничают“ между процессами в сфере проиводства и событиями, разыгрывающимися на сцене экономической науки» [Черковец, 2014].

мическую мысль. Каналом, связывающим мир идей с технологической сферой, выступает общество и его интеллектуально-идеологические обыкновения, сдвиги в которых, возникающие под воздействием развития технологий, помогают популяризировать новые экономические концепции и (или) модернизировать старые воззрения. Нам представляется, что технико-экономическая среда, вбирающая в себя социально-организационные институты и культуру, является одним из тех искомых широких контекстов, на фоне эволюции которых можно рассматривать ИЭУ. Подробный анализ развития истории экономической мысли сквозь призму изменений технико-экономической сферы будет представлен в третьей – пятой главах настоящей работы.

Предваряя выводы, кратко сформулируем основные теоретико-методологические установки, составившие основу авторского подхода к изучению эволюции экономических идей, направленного на «интеграцию экономической мысли в историю экономических и социальных изменений» [Berg, 1980, p. 6]. Его концептуальное ядро формируют пять основных принципов. Во-первых, с глубокой древности экономические взгляды формируются и модифицируются обществом, которое, в свою очередь, меняется под воздействием появляющихся технологических новшеств. Во-вторых, крупные сдвиги в экономических воззрениях совпадают с активным внедрением в хозяйственный оборот очередной технологии широкого применения (ТШП)[1], революционизирующей все аспекты жизни социума. В-третьих, страны, лидирующие в освоении технико-организационных нововведений, в период своего технологического доминирования становятся законодателями экономико-теоретической «моды». В-четвертых, периодические «кризисы» в развитии экономического знания возникают во время «инновационной паузы»[2], когда происходит запаздывание в замещении устаревшего набора сопряженных технологий более современным, что инициирует процесс трансформации культурно-институциональной среды, высвечивающий накопившиеся несоответствия концептуальных постулатов прошлого современным хозяйственным реалиям. В-пятых, по мере роста посткризисной технико-экономической парадигмы[3] формируется новая экономическая ортодоксия, инкорпорирующая в себя теоретические анома-

---

[1] Эту концепцию впервые предложили Т. Бреснахан и М. Трайтенберг [Bresnahan & Trajtenberg, 1992]. Наиболее распространенными примерами технологий широкого применения являются доместикация растений и одомашивание животных, колесо, письменность, паровой двигатель, электрический привод, двигатель внутреннего сгорания, ЭВМ и пр., каждая из этих ТШП знаменует начало нового этапа в развитии человечества. Технологии широкого применения порождают целый спектр сопряженных с ними инноваций в других отраслях, модифицирующих облик экономической системы и препятствующих убыванию отдачи факторов производства, а следовательно, «подстегивающих» экономический рост (подробнее см., например: [Дементьев, 2012; Полтерович, 2009]).

[2] Данное понятие ввел в научный оборот известный российский экономист, академик РАН В.М. Полтерович. По его мнению, «инновационная пауза» возникает тогда, когда «действующие ТШП… уже в основном исчерпали свои возможности как мотор экономического роста, а новые ТШП запоздали и пока не готовы взять на себя эту роль» [Полтерович, 2009, с. 9].

[3] В настоящей работе мы отождествляем понятия «технологический уклад» и «технико-экономическая парадигма».

лии предшествующей эпохи, которая лучше предшествующей отвечает вызовам времени и изменившейся интеллектуальной атмосфере.

Общий алгоритм развития экономической мысли в русле нашего подхода представлен на рисунке 3. Аналитические пояснения заключаются в следующем.

Рисунок 3 – Эволюция экономических учений в контексте трансформации технико-экономической сферы

Первое. Нам представляется целесообразным разделить основные этапы развития общественно-экономической мысли на три крупных блока: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный[1]. Деление ИЭУ на хронологические отрезки не вызывает большого энтузи-

[1] Мы отдаем себе отчет в том, что хронологические рамки каждого из перечисленных социальных порядков весьма размыты. Кроме того, разделяя замечание Д. Белла о том, что «постиндустриальное общество не замещает индустриальное и даже аграрное… а просто добавляет к ним новое измерение», мы полагаем, что появление на очередной стадии развития глобальной экономики новых экономических идей не ведет к автоматическому отнесению концепций прошлого к числу антикварных и прекращению их использования [Bell, 1976, p. 198].

азма экспертного сообщества, поскольку в нем все еще сильны позиции историков экономического анализа [Цвайнерт, 2008, с. 25]. К примеру, трудно, изучая историю применения кривых безразличий, однозначно сказать, что стало новым этапом в развитии этого инструментария: открытия Е.Е. Слуцкого или работа Дж. Хикса и Р.Г.Д. Аллена. Совсем иная ситуация складывается при рассмотрении истории экономической мысли. Как раз здесь выделение определенных этапов кажется нам абсолютно оправданным, поскольку общая проблематика экономических исследований, как правило, зависит от «реальных исторических изменений» [Цвайнерт, 2008, с. 25]. Трудно не заметить, что глубокие сдвиги в экономической мысли совпадают с крупными изменениями в материальных условиях хозяйствования. Например, появление целого созвездия работ авторов, впоследствии названных классиками политической экономии, «стыкуется» по времени с началом перехода хозяйственных систем стран Западной Европы из аграрного в промышленное состояние, а монетаристская контрреволюция совпадает с началом вызревания в недрах индустриального строя ведущих государств ОЭСР постиндустриальной составляющей.

Второе. На первый взгляд, экономическая мысль аграрной эпохи едва ли претерпевала изменения под воздействием модификации технологического ландшафта. Безусловно, ТШП вплоть до начала XIX столетия редко нарушали статичность аграрной цивилизации. Если с IX тысячелетия до н.э. по середину XVIII века в мире появилось лишь 11 технологий широкого применения, то с конца XVIII по начало XXI столетия целых 13 (рассчитано по: [Lipsey et al., 2005, p. 132]). Однако это вовсе не означает, что в перемене проблематики хозяйственных вопросов, занимавших мыслителей древности и Средневековья, не просматривается трансформирующая роль технологии. Как будет показано в третьей главе, даже в доиндустриальных обществах изменение представлений об основных экономических проблемах совпадало с появлением технологических новшеств и усовершенствований, пусть даже не всегда подходящих под определение ТШП. Как несложно догадаться, важной особенностью данных инноваций являлась их выраженная «сельскохозяйственная» направленность. К числу таких технологических нововведений можно отнести подковы, хомуты, трехполье, водяное колесо и пр. При этом определенный параллелизм между началом использования этих открытий и ревизией экономических воззрений не может не броситься в глаза. Например, в Высокое Средневековье рост городов и сферы обмена, последовавший за увеличением аграрного производства, возникшего, в том числе, благодаря внедрению «агроинноваций», дал импульс к переосмыслению схоластами прежде в основном негативного отношения к торговле, кредитным операциям и личному обогащению. В Англии XVI–XVII столетий совершенствование аграрных технологий обеспечило надежный продовольственный «тыл» коммерческой и финансовой революции, чьими концептуализаторами стали меркантилисты.

Третье. Глубокие сдвиги в экономической мысли возникают не только в ходе изменения общественного строя, но и в результате появления новых ТШП. При этом внедрению крупных

технологических новшеств, как правило, сопутствуют социально-экономические кризисы, порождаемые завершением жизненного цикла предшествующей технико-экономической парадигмы. Параллельно с обострением хозяйственных проблем растет неудовлетворенность «текущей версией» основного течения экономической науки. Например, нарастание депрессивных тенденций в экономическом климате Великобритании второй половины XVIII столетия совпало с началом отторжения меркантилизма, «долгая депрессия» 1873–1896 гг. ознаменовалась обострением критики классической политической экономии, Великая депрессия стала холодным душем для приверженцев неоклассической экономической доктрины, а энергетические шоки 1970-х гг. обнажили беспомощность «хиксианского кейнсианства» (С. Вайнтрауб). Выход экономик развитых стран из кризисного штопора, опирающийся на перестройку их хозяйственных систем на основе последних завоеваний технологического прогресса, знаменуется созданием некого синтетического труда, кодифицирующего основные наработки в области экономической мысли, созданные в предшествующие годы, и устраняющего наиболее острые несоответствия между теорией и практикой. Яркими примерами авторов таких работ являются А. Смит, А. Маршалл и П. Самуэльсон. Эти замечания наталкивают на два вывода. Во-первых, новаторские идеи окончательно закрепляются в сознании профессионального сообщества после кризисов, вызванных процессом замещения ТШП. Во-вторых, периодические хозяйственные потрясения являются триггером кризисов экономической мысли, образующих неотъемлемый элемент развития ИЭУ. Функция последних двояка: с одной стороны, они высвечивают застойные моменты в экономическом знании, с другой – выступают в роли мощного катализатора восприятия старых-новых экономических концепций.

Четвертое. Посредством нашего подхода предстоит проверить гипотезу о периодической смене доминирующих систем экономических взглядов, совпадающих с появлением новых стран – хозяйственных гегемонов. Данная идея озвучивалась в работах [Гловели, 2014; Латов, 2007], но, пожалуй, наиболее лаконично суть этой концепции изложил М.Г. Покидченко: «Научное лидерство [в мировой экономической науке] отражало реальный уровень развития соответствующих стран» [Покидченко, 2012, с. 11]. Это важное замечание нуждается в дополнительных уточнениях. Экономическая мысль действительно «отражает идеологию конкретной страны и конкретной эпохи» [Шумпетер, 2001, т. 1, с. 46], но главным фактором, определяющим ее специфику, выступают не столько «корневые особенности менталитета населения страны, его ценностные традиции, своеобразие духовной и мыслительной практики» [Рязанов, 2011, с. 30], сколько характерные черты социально-экономических отношений, сложившихся в том или ином государстве. Профессор Сассекского университета Д. Уинч поясняет эту идею на примере английской экономической мысли рубежа XVIII–XIX вв.: «Британские способы экономического мышления – научные, популярные или официальные – образуют неотъемлемую часть летописи „реальной экономики“… процессы, сделавшие Британию „первой промышленной нацией“, даровали поли-

тической экономии титул „английской науки“» [Winch, 2002, p. 4]. Если немного предаться контрфактическим соображениям, может статься, что английская классическая политэкономия вполне могла именоваться итальянской или, скажем, голландской классической политической экономией, если бы на Апеннинах или берегах Шельды наличествовали необходимые технико-институциональные предпосылки для теоретизирования. Таким образом, Великобритания, став пионером в освоении изобретений, относящихся к первому-второму технологическим укладам, обеспечила своей экономической мысли статус мейнстрима на протяжении практически всего XIX столетия. Однако утрата к началу XX века Соединенным Королевством технологического доминирования и переход США в 1930–1950-е гг. в ранг инновационного лидера глобальной экономики[1] привели к изменению расклада сил на экономико-теоретической арене, что вылилось в сохраняющуюся и по сей день «американоцентричность» экономического дискурса. Отсюда напрашивается вывод, что восхождение нового государства на вершину мирового научно-технического пьедестала сопровождается сменой вех в экономическом знании. В ходе дальнейшего анализа мы попытаемся доказать, что направление движения основного концептуального течения экономической мысли (пусть даже в опосредованной форме) всегда стыковалось с развитием технологического базиса и отвечало практическим задачам стран-лидеров.

Пятое. В такой постановке вопроса становится объяснимым, почему мы достаточно осторожно относимся к набирающему сейчас популярность в литературе тренду на реактуализацию «национально ориентированного подхода в экономической теории» (см. подробнее: [Кульков, 2013]). Объяснение специфики тех или иных экономических взглядов преимущественно своеобразием «особенностей цивилизационного устройства, …накопленным духовным и мыслительным опытом наций» [Рязанов, 2010а, с. 70] напоминает рассуждения В. Зомбарта, писавшего о предрасположенности – по сути, говоря современным языком, о генетической склонности – народов к различным линиям хозяйственного поведения (см. подробнее: [Ольсевич, 2010, с. 337]) и, соответственно, к несходным типам экономического мышления. Подобные умозаключения приводят к выводу о статичности экономических учений, так как получается, что, будучи продолжением культуры, вырастающей из «генетических корней» [Ольсевич, 2010, с. 337], экономическая мысль должна всегда сохранять некий неизменный во времени комплект «ген»-постулатов. Выходит, что ИЭУ может развиваться лишь путем добавления незначительных новых элементов к существующему набору предпосылок, но ни в коем случае не противореча ему. В такой трактовке остается загадкой, почему, скажем, в США всего за одно XX столетие сначала кейнсианцы вытеснили старую институциональную школу, а затем «монетаристы победили са-

[1] О взаимосвязи между освоением новых ТШП и экономическим лидерством, а также потерей технологического первенства и утратой доминирования в глобальном хозяйстве подробнее говорится в статье: [Мальцев, 2014а].

муэльсоновское кейнсианство» [Davidson, 2008]. Кроме того, сторонники «цивилизационной» ИЭУ в своем большинстве абсолютизируют значение культуры и ее производной – экономической науки для хозяйственного прогресса. В итоге вместо поиска ответов на вопрос о факторах, обусловливающих лидерство той или иной школы экономической мысли, активизируются разговоры о том, «чья национальная экономическая теория „лучше“».

Представляется, что авторский подход к анализу ИЭУ позволит снизить остроту малопродуктивных дискуссий о том, какая парадигма экономической мысли более нравственна и моральна. Базируясь на нем, можно попытаться выйти на определенные закономерности движения всемирной экономической мысли[1], выявлению которых будут посвящены следующие главы настоящего исследования. Их предварит анализ отношения экспертного сообщества к двум главным слагаемым, предлагаемого нами подхода: влиянию технико-экономических сдвигов на проблематику исследований экономистов и воздействию хозяйственных кризисов на ИЭУ. В следующем параграфе мы сосредоточимся на эволюции восприятия этих проблем в трудах отечественных и зарубежных специалистов.

В заключение подытожим основные причины, обусловившие необходимость разработки авторского подхода к изучению ИЭУ.

1. В 1990–2010-е гг. «контекстуальная революция» и общая плюрализация методологии ИЭУ привели к росту популярности конструктивистского и культурологического подходов к изучению экономической мысли. В глазах многих экспертов данные методологические приемы исследования истории экономических учений выглядят чуть ли не панацеей от всех невзгод, с которыми столкнулась ИЭУ в последние десятилетия. Признавая колоссальный потенциал конструктивистских и культурологических способов анализа ИЭУ, особенно в части привлечения новых кадров из гуманитарных дисциплин, мы возражаем против слабо закамуфлированных притязаний конструктивистов и «культурологов» на методологическую монополию.

2. Попадание историко-экономического сообщества в сети «чар» конструктивистско-культурологической методологии, со свойственной ей трактовкой идей в качестве продукта определенных академических традиций и национальных культур, вывело «широкие» исследования ИЭУ в разряд архаики. Сообразно постмодернистскому духу времени, яростно противящемуся любому метанарративу и видящему едва ли не в каждой попытке найти причинно-следственные связи стремление к «ложной универсальности» (см. подробнее: [Woods, 1999, p. 21]), современным экспертам в области истории экономической мысли гораздо более перспективным представляется жанр «мини-историй», в рамках которых изучаются «небольшие практи-

[1] В числе первых с гипотезой о существовании общих законов развития истории экономических учений выступил один из крупнейших российских специалистов по ИЭУ, профессор, заведующий кафедрой истории народного хозяйства и экономических учений МГУ им. М.В. Ломоносова А.Г. Худокормов. См. подробнее: [Худокормов, 2005].

ки, локальные события, а не крупномасштабные глобальные явления» [Klages, 2006, p. 169]. Между тем коллеги специалистов в сфере ИЭУ по обществоведческому цеху постепенно избавляются от постмодернистского наваждения и осознают необходимость «возрождения „великих нарративов“» [Pinar, 2013, p. 50], позволяющих ученому «отойти от мозаики отдельных элементов и увидеть всю картину или, по крайней мере, ее бóльшую часть» (цит. по: [Friis, 2013]).

3. С целью предотвращения отставания от актуальных теоретико-методологических тенденций историкам экономической мысли следует преодолеть инерцию постмодернистских табу на рассмотрение идей в широком контексте и взяться за расширение исследовательских горизонтов, открывающих возможность для новых историографических генерализаций. Однако это вовсе не означает, что богатые заделы, созданные представителями конструктивистского и культурологического подходов к изучению ИЭУ, утратили свою злободневность. Экспертам следует научиться пользоваться «бифокальными линзами», предоставляющими возможность, с одной стороны, рассматривать мельчайшие нюансы строения анализируемых концепций, с другой – видеть всю панораму эволюции экономической мысли.

4. Если по проблеме выбора инструментария для изучения небольших эпизодов развития ИЭУ все больше экспертов склоняется в сторону конструктивистской методологии, то в арсенале приемов анализа долгосрочных тенденций развития экономических учений еще трудно выделить метод-фаворит. Поэтому вопрос о том, какую исследовательскую оптику предпочтут для решения этой задачи историки мысли, остается открытым. Пока лишь можно предположить, что, судя по набирающему обороты в смежных отраслях знания тренду на усиление мультидисциплинарности, одним из элементов новой программы исследований эволюции ИЭУ, возможно, станет сближение истории экономики с историей экономических учений.

5. С нашей точки зрения, одной из нитей, связывающей между собой экономическую историю и ИЭУ, может стать технико-экономический фактор, взятый в социально-историческом контексте. Предлагаемая нами трактовка рассмотрения истории экономической мысли позволяет проследить взаимовлияние технологических сдвигов, общественных изменений и перемен в экономическом знании начиная с глубокой древности и до наших дней. Представляется, что она способна уберечь ИЭУ от постмодернистской расхлябанности и одновременно с этим продемонстрировать историческую относительность экономических учений, тем самым предотвратив ложное деление экономических воззрений прошлых лет на «правильные» и «ошибочные».

2.2. Ретроспектива теоретических воззрений на роль материальных факторов в развитии экономической мысли[1]

Вопросы воздействия порождаемых социально-экономическими кризисами сдвигов в материальном производстве на историю экономических учений неоднократно поднимались в литературе. Плоды дискуссии о том, каким – революционным или кумулятивно-эволюционным – путем развивается экономическая мысль, материализованы в виде внушительной библиотеки работ. Проблематика влияния технического прогресса на ИЭУ также неоднократно освещалась в трудах различных исследователей. На первый взгляд, может показаться, что если основной концептуальный элемент предлагаемого нами подхода к изучению ИЭУ – увязка технологических перемен с культурно-институциональными трансформациями и вызванными этими пертурбациями изменениями в истории экономических учений – получил настолько всестороннюю проработку, то его следует принять за данность и по факту просто признать одной из базовых точек отсчета настоящего исследования. Наша позиция в этом вопросе заключается в следующем. С одной стороны, при создании авторской схемы изучения ИЭУ мы шли по тропе, хорошо проторенной несколькими поколениями ученых, что при всем при том нисколько не умаляет необходимости осмысления того, кто и каким образом до нас рассматривал различные аспекты влияния преобразований технологических условий хозяйствования на умонастроения экономистов. С другой стороны, несмотря на многие десятилетия научных изысканий, обширные по историческому охвату исследования, посвященные рассмотрению влияния появления новых технологий широкого применения на изменение экономико-теоретических представлений, пока, к сожалению, не получили распространения.

Вот почему данный раздел преследует двоякую цель. Во-первых, как говорил французский неоплатоник XII столетия Бернард из Шатра, следует поведать о тех, «кто поднял нас ввысь собственным авторитетом» [Jeauneau, 2009, p. 38]. Иными словами, прежде всего предстоит отдать дань уважения тем ученым, чьи идеи послужили «строительными лесами» для возведения нашего подхода к анализу истории экономической мысли. Во-вторых, требуется проследить эволюцию воззрений экспертного сообщества на проблему зависимости ИЭУ от реорганизации технологического ландшафта глобального хозяйства, а также на функцию кризисов в развитии экономического знания. Это, с нашей точки зрения, позволит высветить ряд «белых пятен» в этих принципиально важных историографических проблемах и наметить возможные способы их заполнения.

---

[1] Данный параграф базируется на статье: [Мальцев, 2016d], а также принятой к публикации статье: Мальцев А.А. Есть ли будущее у экстерналистской трактовки изучения истории экономической мысли? // Известия Уральского государственного экономического университета. 2017 (в печати).

Структура параграфа выглядит следующим образом. Сначала мы остановимся на рассмотрении особенностей видения представителями различных течений экономической мысли значения изменений в технологической сфере для ИЭУ. Затем будет предложено авторское объяснение причин, обусловивших непопулярность исследований влияния материального прогресса на историю экономических учений. После этого разберем аргументы приверженцев трактовки развития ИЭУ в «революционном» и «линейно-поступательном» ключе. При этом особый акцент сделаем на выявлении специфики восприятия кризисов в качестве детонаторов «переворотов» в экономическом знании российскими учеными.

За исходный посыл для последующего разговора возьмем, в принципе, доказанный выше тезис: попытки установления зависимости между вызреванием новых экономических идей и материальными условиями существования их носителей уходят корнями в далекое прошлое. В его развитие заметим, что, помимо упоминавшегося в разделе 1.2 английского ученого Т. Твисса, писавшего в 1847 г. о наличии взаимосвязи между индустриальной революцией и зарождением классической политической экономии (см. подробнее: [Twiss, 1847]), схожим образом природу возникновения экономического учения А. Смита объяснял А. Тойнби-старший (1852–1883). По мнению оксфордского профессора и родного дяди автора «Постижения истории» А. Тойнби-младшего (1889–1975), своему появлению на свет «Богатство народов» обязано подъему духа предпринимательства и экономической свободы, расцветшего в атмосфере «индустриального улья» Глазго, где читал лекции шотландский политэконом [Toynbee, 1884, p. 14]. «Архиепископ экономической теории» (цит. по: [Coase, 1996, p. 354]) А. Маршалл (1842–1924) связывал невысокую до конца XIX столетия популярность профессии академического экономиста с недостатком эмпирического материала для анализа, появившегося только после завершения промышленного переворота. «Но еще более важная причина такого отставания [малого количества ученых-экономистов на фоне огромного числа хозяйственных проблем] кроется в том факте, что многие из тех условий индустриальной жизни, …которыми занимается современная экономическая наука, возникли лишь в самое последнее время», – писал один из основателей неоклассического направления экономической мысли [Маршалл, 2008, с. 61]. Техноцентричной интерпретации причин кристаллизации экономических знаний на рубеже XVIII–XIX столетий придерживалась и культовая фигура постмодернизма – Ж. Бодрийяр (1929–2007). Несмотря на идиосинкразию постмодернистов к причинно-следственным схемам, французский социолог недвусмысленно указывал на то, что именно «промышленная революция ознаменовала рождение политической экономии – системной и рациональной теории материального производства…» [Baudrillard, 1981, p. 186].

В ворохе схожих казуальных рассуждений особо выделяется позиция американской школы «старого» институционализма, представители которой не просто сосредоточили внимание на некоем коротком эпизоде воздействия технологических новшеств на умонастроения экономистов, а

наделяли технологию функцией главного фермента трансформации экономического мышления на всем протяжении существования человечества. «Развитие и внедрение новых технологий, в конечном счете, может кумулятивно или непреднамеренно повлечь за собой изменение общей модели жизнеустройства и экономической среды, приведя, в конце концов, к развитию новой манеры мышления и возможной смене существующих систем мысли», – описывает логику рассуждений одного из главных институционалистов первой волны Т. Веблена (1857–1929) профессор Бременского университета К. Кордес [Cordes, 2005]. Настоящим гимном техноцентрическому взгляду на эволюцию ИЭУ стали труды позднего классика «старого» институционализма К.Э. Эйрса (1891–1972). В частности, профессору Техасского университета в Остине принадлежат следующие слова: «всякая теория, экономическая или какая-то другая, должна иметь некую нефальсифицируемую (absolute) базу… технологический прогресс, действительно, дает такую базу, которая является нефальсифицируемой, в том смысле, что она никоим образом не зависит ни от каких-то моральных сущностей, ни от каких бы то ни было нравственных традиций» (цит. по: [Coats, 1992, vol. 1, p. 369]). Освободив эту мысль от излишней философичности, Р. Хейлбронер (1919–2005), крупный эксперт по ИЭУ, работавший в староинституциональной традиции, сформулировал принцип, согласно которому специалист должен начинать процесс изучения незнакомого ему общества с «постижения его материальной жизни» [Heilbroner, 1994, p. 69].

По-видимому, технологический императив настолько глубоко проник в сознание экспертов, что даже несмотря на наметившееся к концу XX столетия сближение институционального дискурса с технофобной неоклассикой, материалистический нарратив не полностью выветрился из работ современных институционалистов. Например, в трудах нобелевского лауреата Д. Норта (1920–2015) все еще проступают отдельные отголоски свойственных его предшественникам техноцентричных воззрений на проблему генезиса переворотов в экономической науке. В частности, основатель «нового» институционализма считал главной причиной, «сделавшей важнейшие предпосылки неоклассического экономикс реальными», «вторую экономическую революцию» конца XIX в. [North, 1991, p. 209].

Представление экономической науки в виде слепка, фиксирующего важнейшие технико-организационные сдвиги разных эпох, распространено не только в различных течениях институционализма, но и в современных марксистских и посткейнсианских концепциях. «Не нужно быть технологическим детерминистом, – рассуждает в духе К. Каутского[1] профессор Лондонского университета Г. Стэндинг, – чтобы понять, что технологический ландшафт определяет наше [экономическое] мышление и поведение» [Стэндинг, 2014, с. 39]. Развивая этот тезис, один из ветеранов посткейнсианского движения Ф. Ли (1949–2014) добавил к нему классовый аспект.

[1] Крупный теоретик марксизма К. Каутский (1854–1938) настаивал на том, что «технический прогресс составляет основу всего развития рода человеческого» (цит. по: [Kiely, 1995, p. 17]).

Наиболее выпукло этот синтез проявился при поиске профессором Университета штата Миссури в Канзас-Сити истоков политической экономии. Результирующей стал однозначный вывод: «изменения в социальной структуре, вызванные промышленной революцией, породили классическую теорию, …ставшую теоретической платформой классовых врагов владельцев крупной собственности (и земельной, и промышленной)» [Lee, 2013, p. 117].

В отечественной историографии отношение к воздействию материальных условий хозяйствования на появление экономических доктрин также получило глубокую проработку. Например, А.Г. Худокормов вопреки популярной гипотезе, связывающей успех неоконсервативной революции 1980-х гг. исключительно с опутыванием британских и американских политиков дурманом метафизической красоты праволиберального крыла экономикса, предлагает искать источники этой победы, в том числе, и в изменениях отраслевой структуры экономик развитых государств, в которых начала оформляться все более заметная постиндустриальная составляющая, плохо поддающаяся регулированию традиционными для 1940–1970-х гг. кейнсианскими способами. «Очевидно, – пишет А.Г. Худокормов, – в самом экономическом строе развитых стран произошло нечто такое, что способствовало успеху неоконсерваторов… мировая экономическая мысль оказалась перед дилеммой: или держаться за прежние модели руководства экономикой… или попытаться создать модели иного, более современного порядка, отвечающие закономерностям развития производительных сил» [Худокормов, 2013, с. 74, 76].

В схожем ключе трактует историю экономической мысли другой крупный российский экономист Я.С. Ядгаров. «*Предметом изучения* этой дисциплины, – утверждает ученый, – является исторический процесс возникновения, развития и смены экономических идей и воззрений, который по мере происходящих изменений в экономике, науке, технике и социальной сфере находит свое отражение в теориях отдельных экономистов, теоретических школах, течениях и направлениях» [Ядгаров, 2009, с. 12]. Стремление преодолеть разрыв между историей экономических учений и экономической историей характерно для петербургских специалистов Г.Г. Богомазова и И.А. Благих. Основную цель своего учебника «История экономики и экономической мысли России» профессора СПбГУ формулируют следующим образом: «[Мы] стремились увязать общезначимые события и процессы отечественного социально-экономического развития с развитием экономической идеологии, понимая их достаточно тесную связь и обусловленность» (цит. по: [Газизуллин, 2012]). Уральский ученый Е.П. Дятел, ратуя за устранение чрезмерного перекоса в сторону изучения истории аналитического инструментария, сложившегося в современной ИЭУ, предлагает не забывать о неразрывной связи той или иной экономической концепции с хозяйственной оболочкой, ставшей питательной средой для ее вызревания: «их [экономических концепций] возникновение неотделимо от духа времени, экономического строя общества…» [Дятел, 2012, с. 5]. Материалистический подтекст легко читается в работах по ИЭУ одного из известней-

ших российских институционалистов Р.М. Нуреева. Его, к примеру, нетрудно уловить в проводимой ординарным профессором НИУ ВШЭ крайне любопытной параллели между оживлением промышленности в Западной Европе XIV–XV столетий и проблесками протоинституциональных идей в произведениях теоретиков реформации М. Лютера и Ж. Кальвина (см. подробнее: [Нуреев, 2010, с. 36–46]).

Такое количество изысканий, поднимающих тему экзогенного воздействия на развитие экономической мысли, к тому же принадлежащих перу целого иконостаса авторитетов, со всей очевидностью подтверждает целесообразность дальнейшего анализа реакции ИЭУ на технологические сдвиги. Это принципиально важное обстоятельство, так как, на первый взгляд, может показаться, что за столетия научных поисков неизученных аспектов влияния какого-либо фактора на экономическую мысль не осталось. Вообще представляется маловероятным, что из поля зрения столь компетентных экспертов мог ускользнуть сколько-нибудь важный эпизод воздействия эволюции производительных сил на экономические учения.

Как бы это ни показалось парадоксальным, но «широкоформатных» исследований цепочки: «технологические сдвиги – изменения социальной организации общества – трансформация экономических учений» пока не проводилось. Даже в вышеперечисленных работах, в основном, анализируются единичные фрагменты воздействия появления новых технических инноваций на модификацию институциональной среды и вызванные этими преобразованиями перемены в экономической мысли. Кроме того, подавляющее большинство попыток демонстрации влияния изменений в материальной культуре на появление новых или ревизию старых экономических воззрений ограничивается временным промежутком от начала появления первых зачатков экономического знания в Древнем мире до формирования классической политической экономии в годы Промышленной революции. На этот пробел одним из первых обратил внимание М. Блауг, расценив его как наглядное свидетельство фиаско релятивизма. «Ни один релятивист, – не без удовольствия замечал английский экономист, – не оказался в состоянии осуществить институциональную или историческую трактовку развития теории после классической эры, которая завершилась около 1870 г.» [Блауг, 1994, с. 3]. Несмотря на замалчивание М. Блаугом отдельных вполне успешных попыток исторических реконструкций развития ИЭУ в «постклассический» период, нельзя не признать очевидного. Подавляющее большинство релятивистов при анализе развития экономической мысли конца XIX – начала XXI века действительно не идут дальше элементарной фиксации определенной зависимости ИЭУ от перестройки технико-организационного ландшафта мирового хозяйства.

Дать однозначную интерпретацию этому феномену сложно. Отчасти подсказку можно найти в марксистском пророчестве, обещающем по достижении определенного уровня развития производительных сил разворот базисно-надстроечного комплекса на 360 градусов. «С момента

появления „научного знания“ оно „воспаряет“ над материей и движется к тому, чтобы господствовать над ней… по существу [знание] сливается с материей, придавая материи новое качество», – поясняет суть этого грациозного диалектического трюка Ю.Я. Ольсевич [Ольсевич, 2010, с. 17]. Это предсказание начало сбываться уже в конце XIX столетия. В 1870-е гг. стартовала Вторая промышленная революция, одной из сущностных черт которой как раз выступил переход от случайных инноваций к систематическим научным открытиям, то есть «наука… перестала принадлежать исключительно к надстройке, …став материальным базисом общества» [Stehr & Ericson, 1992, p. 11–12]. Параллельно на волне всеобщей сциентизации экономисты начали приобщаться к моде расхаживать в кафтане, сшитом по лекалам естественно-научных дисциплин. Убедив самих себя в кровном родстве с превратившейся в главный двигатель общественного прогресса «большой» наукой, экономисты смогли обосновать свою независимость от влияния внешней среды и, как приличествует настоящим ученым, утверждать, что «Вселенная управляется надежными, неизменными, абсолютными, универсальными математическими законами» [Davies, 2015, p. 192], которые «объясняют вещь или события *вне культурного исторического контекста*» [Готлиб, 2014, с. 33].

Наверное, именно распространение представления будто экономика, перевоплотившись в последней трети XIX века из Золушки в императрицу общественных наук, утвердилась в роли социальной физики и, следовательно, получила надежные латы, оберегающие ее от воздействия внешних условий, обусловило непопулярность исторических реконструкций экономических идей, возникавших после 1870-х гг. О глубине проникновения данного внеисторического нарратива в сознание представителей мейнстрима красноречиво говорят слова Дж. Стиглера: «Главное влияние на экономических теоретиков оказывают внутренние ценности и давление самой дисциплины… Ни популярные экономические проблемы, ни героические события не оказывают большого влияния на развитие экономической теории» (цит. по: [Coase, 1994, p. 202]). Более того, как отмечается в исследовании А.У. Коутса, стиглеровское видение эволюции экономической теории как продукта сугубо внутреннего развития сообщества экономистов стало общим местом во всем науковедении: «со времен Второй мировой войны попытки объяснить содержание и научные теории на основе социальных условий практически исчезли» [Coats, 1993, vol. 2, p. 35].

Только в последние годы на фоне потускнения былой веры в могущество науки и общую демократизацию интеллектуальной атмосферы неоспоримость интернализма в science studies стала не столь очевидна. Серьезный скепсис современного обществоведения в отношении обобщающих метатеорий, учитывающих внешние факторы социальных изменений, общеизвестен. Тем не менее прогрессирующая усталость от чрезмерного упрощения обществоведческого дискурса «микроисториками», зацикливающимися на изучении «биографий малозначимых людей и трудностей небольших сообществ» (цит. по: [Burke, 2005, p. 40]), реактуализирует потребность в

«макроисториях», фокусирующихся на выявлении этапов развития общественных систем и поиске законов их эволюции [Galtung, 1997, p. 2–3]. В этом контексте небезынтересно поинтересоваться мнением современных специалистов о необходимости возвращения, воспользуемся термином Ф. Броделя, «тотальной истории», «скрепляющей прошлое и настоящее в одно неделимое целое» (цит. по: [Christian, 2004, p. 1]). Для начала заметим, что против чрезмерной фрагментации всей системы знаний активно выступают не только обществоведы. «Существует, – заявляет лауреат Нобелевской премии по физике 1969 г. М. Гелл-Ман, – потребность в дополнении растущей специализации [физики] ее интеграцией. Дело в том, что ни одна комплексная, нелинейная система не может быть адекватно описана путем деления ее на подсистемы… В этом плане в старой поговорке: „Целое есть нечто большее, чем сумма его частей“ кроется глубокая правда» (цит. по: [Christian, 2005, p. 25]). С гуманитарного фланга ему вторит известный историк, профессор Университета Маккуори (Австралия) Д. Кристиан: «В течение следующих пятидесяти лет мы увидим возвращение древней традиции – универсальной истории…» [Christian, 2010, p. 6].

Близкие идеи неоднократно высказывали авторитетные российские экономисты. Так, например, академик В.М. Полтерович выступил с гипотезой о становлении «общего социального анализа», представляющего собой сплав всех социальных дисциплин, спаянных общностью объекта исследования – «функционирование и развитие общественных институтов», а также единством аналитического аппарата, опирающегося на эконометрику и теорию игр [Полтерович, 2011, с. 108–109]. Академик Л.И. Абалкин и вовсе предлагал объединить разрозненный конгломерат социальных дисциплин в одну эклектичную науку под названием «обществоведение» (см. подробнее: [Столбов, 2009]).

Отзвуки движения обществоведов в сторону расширения контекста своих исследований и преодоления дисциплинарной замкнутости также раздаются в лагере специалистов по ИЭУ. Многих ее представителей перестает устраивать до сих пор популярная манера рассмотрения развития экономической мысли в виде несвязанных друг с другом историй жизни и творчества великих экономистов прошлого. Они больше не хотят задаваться безответными вопросами на тему «кто внес больший вклад в развитие экономической теории», предпочитая вместо этого заниматься исследованиями «интеллектуальной истории капитализма в контексте социальной и политической мысли». Значительная часть историко-экономического сообщества стремится перейти от изучения коллекции разрозненных стоп-кадров, на которых запечатлены своеобразные житийные иконы «экономических святых», к рассмотрению «экономических идей в контексте экономической, религиозной, правовой и прочих историй». Как верно замечает доцент Орхусского университета (Дания) К.О. Кристиансен, по сути, речь идет о постепенном замещении «истории экономической теории и мысли историей экономической *жизни*» [Christiansen, 2012, p. 25, 28]. Концентрированным выражением этих чаяний стал запущенный в 2004 г. совместный проект

Гарвардского и Кембриджского университетов «Обмен экономическими, правовыми и политическими идеями» (Exchanges of Economic, Legal and Political Ideas), который объединил собой таких исследователей, как Г.С. Джонс, Э. Ротшильд, Д. Тодд и др.[1]. Своей главной целью эксперты провозгласили развитие «освобожденной от господства национальной истории и национальной культуры… новой истории экономически идей, …обеспечивающей пространство для сотрудничества между историками экономической мысли, экономическими историками, а также историками бизнеса и предпринимательства»[2].

Безусловно, точно предугадать дальнейшую траекторию развития общественных наук в целом и ИЭУ в частности не под силу даже столь незаурядным интеллектуалам. Однако думается, что общий вектор движения определен учеными верно. Социальные дисциплины будут нащупывать путь к преодолению чрезмерной специализации и, возможно, в перспективе мы станем свидетелями формирования некой синтетической науки об обществе, в которой история экономических учений займет свое достойное место. Переиначивая изречение одного из основателей квантовой механики Э. Шредингера (1887–1961), можно сказать, что человечество наработало достаточное количество фактологического материала «для сведения воедино всего известного нам до сих пор» [Schrödinger, 1944]. Иначе говоря, методологическая эклектичность и мультидисциплинарность должны стать не девиацией, которую стараются игнорировать сторонники сохранения межпредметных границ, а нормой обществоведческих исследований. Кроме того, крепнет уверенность в том, что внутри «новой истории экономических учений» среди прочих факторов, влияющих на развитие экономической мысли, будет учитываться роль технологий. Шансы на это увеличивает рост интереса современного обществоведения к «культурологическому материализму» (см., например: [Jackson, 1996; Higgins, 1999; Kuznar & Sanderson, 2007]), устанавливающему «зависимость эволюции культур от возможностей и проблем, формулируемых материальным миром» [Jackson, 2009, p. 118], одним из главных факторов развития которого выступает технология [Peoples & Bailey, 2012, p. 106].

Постараемся доказать, что наш подход к анализу ИЭУ хорошо стыкуется с этими тенденциями. Во-первых, посредством его можно если не преодолеть, то сократить разрыв между двумя дисциплинами-«сестрами» – экономической историей и ИЭУ. Во-вторых, он открывает возможность для применения метода исторических реконструкций в отношении ИЭУ «постклассического» периода, плохо поддающейся анализу в рамках релятивистской историографии. В-третьих, с его помощью в ИЭУ интегрируется пока находивший лишь спорадическое отражение в трудах историков мысли технологический фактор, позволяющий, с одной стороны, рассматривать историю экономических учений как единый и нечленимый процесс, с другой – показать ситуатив-

[1] http://www.fas.harvard.edu/~histecon/exel/
[2] http://www.fas.harvard.edu/~histecon/exel/objective.html

ность экономического знания и, таким образом, избежать ловушки стигматизации, иными словами, субъективного присвоения теориям ушедших эпох ярлыков «хорошая» или «плохая». Спектр решаемых предлагаемым нами подходом к исследованию ИЭУ проблем будет подробнее рассмотрен в следующем параграфе. Его необходимо предварить анализом аргументации исследователей, отстаивающих справедливость положения о «кризисной» природе изменений в экономической науке и – на противоходе – их критиков. Этот вопрос представляет для нас принципиальный интерес, так как неотъемлемым слагаемым авторской схемы изучения истории мысли выступает положение о наличии определенной связи между процессами внедрения в хозяйственный оборот новых технологий, сопровождающимися крупными, зачастую проходящими в кризисной форме социально-экономическими переменами, и изменениями в магистральном направлении экономических учений.

Вне всяких сомнений одной из наиболее прославленных концепций, рассматривающих развитие научной деятельности под кризисно-революционным углом, является «теория научных революций» Т. Куна (1922–1996). В ставшей уже классической концепции американского философа нас больше всего интересуют причины, по которым наука развивается путем регулярных переворотов. Рассмотрим их детальнее. Как известно, сердцевиной куновской модели является понятие парадигм – «признанных всеми научных достижений, на время обеспечивающих ученому сообществу модель постановки и решения проблем» [Kuhn, 2012, p. XIII]. На этапе становления парадигмы академическое сообщество абсорбирует социальные и культурные особенности окружающего мира. Однако по мере ее укоренения внешние факторы перестают оказывать решающее влияние на ученых. Вместо этого зрелая наука движется вперед под давлением «внутренних вызовов, повышающих масштаб и точность соответствия между существующей теорией и природой» [Kuhn, 1977, p. 119]. Как раз этот период, названный Куном «нормальной наукой», становится золотым веком для ученого. Исследователь, таким образом, оказывается под охраной парадигмы – ему не надо тратить время на защиту своего мировоззрения. При этом используемый им набор методологических предпосылок и допущений практически неуязвим для стрел критики.

Однако такое интерналистское развитие имеет свои недостатки. Ученые, укрывшись за парадигмальным щитом, отсекают факты и явления, не вписывающиеся в их систему мышления. Одновременно в этом изъяне кроется пружина последующих научных революций [Olasky, 1989, p. 92]. Нежелание замечать растущие расхождения между теорией и меняющимися фактами, в лучшем случае, косметический ремонт здания парадигмы приводят к накоплению критического числа «аномалий» – несоответствий науки и практики, «ставящих под вопрос исходно не оставлявшие сомнений фундаментальные обобщения парадигмы» [Kuhn, 2012, p. 82]. Именно лавина аномалий, наваливающаяся на старую парадигму, запускает механизм ее кризиса и вынуждает интегрировать в новую «дисциплинарную матрицу» ученых-революционеров, еще недавно не

пускаемых на порог «нормальной науки», силами которых происходит сближение концептуальных схем с внешней средой.

Заметим, что науковедческие схемы Т. Куна предназначались в первую очередь для описания развития точных дисциплин. Однако представители общественных наук, как это часто случается, тоже поспешили примерить теоретико-методологические новинки, созданные для «старших братьев» – естественников. Впрочем, с нашей точки зрения, в этом случае предметы чужого «гардероба» пришлись к месту. Скажем, историки мысли не без успеха использовали идеи Т. Куна для интерпретации эволюции экономических учений. Важным результатом приложения концепции научных парадигм к ИЭУ выступило формирование серьезной альтернативы виговскому представлению развития экономической теории как безостановочного пути от мнимых к истинно верным концепциям. Заручившись авторитетом одного из «самых влиятельных философов науки XX века» [Boumans & Davis, 2010, p. 93], релятивистам стало легче обосновывать свою позицию, во многом пересекающуюся с воззрениями Т. Куна, утверждавшего, что «ни одна парадигма не лучше и не может быть лучше какой-то другой» [Rothbard, 2006, vol. 1, p. IX]. К числу ученых, применивших куновскую «кризисную» философию науки к анализу ИЭУ, можно отнести таких знаменитостей, как А.У. Коутс [Coats, 1969], Р. Стэнфилд [Stanfield, 1974], М. де Вруэй [de Vroey, 1975], А. Айхнер и Я. Кергель [Eichner & Kergel, 1975], Ш. Доу [Dow, 1981], М. Шабас [Schabas, 1990], У. Дольфсма и П. Уэлч [Dolfsma & Welch, 2009] и др.

Изображение развития экономической теории в революционном свете сразу встретило отпор со стороны приверженцев маршаллианского тезиса «Natura non facit saltus» («Природа не делает скачков»). Резкую отповедь критиков вызвали два момента. Во-первых, терминологическая многомысленность и неопределенность затрудняют использование куновских идей в экономике, претендующей на звание точной науки. «Моя главная претензия к Куну заключается в его неспособности достаточно подробно прояснить природу парадигмы, для того чтобы его центральный тезис мог быть протестирован эмпирически», – с досадой писал Дж. Стиглер (цит. по: [Drakopoulos & Karayiannis, 2005, p. 10]). Во-вторых, концепция Т. Куна, якобы, мало пригодна для описания ИЭУ, поскольку в экономике не наблюдается подлинных революций: в отличие от естествознания следы отжившего концептуального каркаса никогда полностью не растворяются в идущей ему на смену дисциплинарной матрице. Отсюда следует рекомендация историкам экономических учений попросту вычеркнуть термин «парадигма» из своего профессионального лексикона. Со всей ясностью этот тезис сформулировал и последовательно пропагандировал М. Блауг, ревностный поборник учения К. Поппера (1902–1994), философского антагониста Т. Куна: «Слово „парадигма“ должно быть изгнано из экономической литературы» [Blaug, 1994, p. 349].

Нельзя отрицать, что возражения противников «кунизации» ИЭУ – с поправкой на, возможно, излишнюю категоричность – не лишены определенного смысла и достаточно хорошо ар-

гументированы. Мы согласны с тем, что кумулятивный взгляд на ИЭУ, свойственный ученым, использующим философию ученика Поппера – И. Лакатоса (1922–1974), обладает серьезными достоинствами. В самом деле, применительно к ИЭУ уместно говорить о постепенных изменениях, используя лакатосовскую терминологию, «защитных поясов» (вспомогательных концепций), окружающих «твердые ядра» (неизменные сущности различных исследовательских программ). В целом ряде современных работ показано, что даже те экономисты, которые давно заслужили реноме радикальных «революционеров», на самом деле не сжигали полностью интеллектуальных мостов, связывающих их со своими предшественниками. Так, Р. Хейлбронер привел убедительные свидетельства, доказывающие приверженность А. Смита, обычно рисуемого в образе разрушителя отжившего свой век меркантилизма, одному из главных меркантилистских принципов – «поддержке полномасштабного, а не минималистского вмешательства государства в экономику» (см. подробнее: [Dunn, 2015, p. 33]). Итальянские специалисты М. Дарди и М. Галлегати развеяли сложившееся вокруг Дж.М. Кейнса клише ученого, полностью порвавшего с идеями своего учителя А. Маршалла. «Создается впечатление, что между формулировками Маршалла и Кейнса не существует полного разрыва, а имеются лишь различия в культурном фоне эпох, когда они занимались писательством», – замечают эксперты [Dardi & Gallegati, 1996, p. 255–256].

Таким образом, нелепо утверждать, что в ИЭУ техника сооружения очередной теории всегда сводится лишь к «сносу» устаревшего корпуса знаний и возведению на расчищенной от обломков старой парадигмы площадке полностью нового концептуального строения. Достаточно правдоподобной, как справедливо указывают оппоненты «кунианцев», выглядит другая схема. «Бунтовщики» чаще всего занимаются капитальным ремонтом, но не демонтажем старой постройки, сохраняя за обновленным внешним видом прежний несущий каркас.

При этом нам представляется, что и критиков, и сторонников приложения идей Куна к анализу ИЭУ сближает общая неспособность разглядеть за тонкими деревьями густой лес. По нашему мнению, концепция научных парадигм обладает несколькими недооцененными преимуществами. Во-первых, в схеме Куна установлено соотношение воздействия внутренних и внешних факторов на разных этапах научной деятельности: в фазе зрелости наука развивается эндогенно, а в эпоху кризиса на творчество ученых значительное воздействие оказывают экзогенные факторы. Во-вторых, концепции Куна показывают, что дорога новых идей на пути к превращению в очередную парадигму проходит через «чистилище» кризиса. К сожалению, вместо более глубокой проработки этих граней наследия Куна последователи его философии из лагеря экономистов предпочли сосредоточить усилия на доказательстве наличия парадигм в экономической теории. Равным образом от их противников-«антикунианцев» ускользнуло фактическое игнорирование сторонниками Куна анализа внешних условий, обусловливающих или, по крайней мере, «сопровождающих» периодические кризисы экономической мысли. Вместо этого они

предпочли смакование понятийной расплывчатости своих визави и с трудом скрывали злорадство в отношении их затруднений с поисками в истории экономических учений парадигм, отвечающих критериям, принятым в естественных науках.

Ожесточенные казуистические споры вокруг вопроса о применимости термина «парадигма» к ИЭУ заслонили собой слабую изученность природы кризисов в экономическом знании. Многочисленные тексты, посвященные тематике упадка экономической теории, чаще всего, представляют собой длинный список претензий экономистов-гетеродоксов к текущей ортодоксии, содержащий предсказание ее скорого краха. Гораздо реже в литературе встречаются картины азартного самобичевания внезапно прозревших и пришедших в ужас от текущего состояния дел в основном русле представителей мейнстрима. Однако и те, и другие ученые, растратив силы на яркое обличение «главного течения» или искреннюю самокритику, крайне редко занимаются осмыслением причин столь неудовлетворительного состояния дел в их науке. В лучшем случае, эксперты усматривают корень проблем в самой теории или ошибках научного сообщества, тогда как на увязку периодических «сбоев» в экономической теории с хозяйственными явлениями наложено негласное табу, нарушить которое решались лишь немногие смельчаки.

Одним из таких храбрецов оказался М. Фридман, который прямо говорил о том, что «изменение в состоянии общественного мнения осуществляется практикой, а не теорией или философией». Кульминацией этого пассажа стало знаменитое заявление чикагского экономиста о катализирующем эффекте социально-экономических катаклизмов на изменения в мире экономических идей. «Только кризис… – утверждал в 1982 г. нобелевский лауреат, – производит реальные изменения. Когда случается такой кризис, предпринимаемые действия зависят от идей, которые лежат вокруг. В этом, я думаю, и заключается наша [экономистов] главная функция: развивать альтернативы существующей политике, сохранять и поддерживать эти идеи, пока политически невозможное не станет политически неизбежным» [Friedman, 2002, p. XIII–XIV]. Еще острее эту мысль отточил соратник Фридмана по монетаристскому лагерю А. Мельцер. Продолжая фридмановскую линию рассуждений, автор афоризма «Капитализм без провалов – это как религия без греха» (цит. по: [Clift, 2003]) сформулировал следующее предположение: «Идеи – это альтернативы, которые ждут, чтобы кризис стал катализатором изменений» (цит. по: [Кляйн, 2011, с. 189]).

Вопреки тому, что подобные идеи распространялись богоподными фигурами с самой вершины экономического Олимпа, они нашли мало последователей в мейнстриме. По-видимому, ученых основного русла отпугнула опасная провокационность выводов монетаристов. Ведь если согласиться с тем, что над дверью, через которую новые концепции входят в храм экономической науки, висит вывеска «социально-экономический кризис», то окажется, что экономическая мысль лишена темпоральной стабильности и зависит от циклических колебаний хозяйственной систе-

мы. Следовательно, законы экономической теории, тщащейся надеждой не уступать физике в своем прогностическом потенциале, вовсе не универсальны и уж тем более не «имеют одинаковой силы во все времена» [Tieben & Keizer, 1997, p. 4]. То есть, допустив отсутствие в экономике вневременных «закономерностей, аналогичных тем, которые найдены в естествознании», мы надламываем веру мейнстримных экономистов в то, что их дисциплина «есть наука, …способная опираться на те же общие принципы и методы классической термодинамики и в целом физики» (цит. по: [Faggini & Parziale, 2012, p. 1]).

Разумеется, большого количества желающих покуситься на сциентистскую химеру мейнстрима не нашлось, но некоторое смягчение отношения к восприятию развития ИЭУ сквозь кризисную парадигму наметилось в 1970-е гг., когда на фоне стагнации в государствах ОЭСР экономическое сообщество заново открыло для себя Шумпетера, а циклично-волновая концепция волновала умы не только редких знатоков наследия Н.Д. Кондратьева. Однако вспышка энтузиазма оказалась весьма короткой. Уже в конце 1980-х гг. после появления работ С. Соломоу [Solomou, 1987; Solomou, 1990], на основе статистического анализа показавшего отсутствие в истории мировой экономики четко идентифицируемых длинных волн конъюнктуры, такого рода попытки и вовсе сошли на нет, став уделом лишь небольшой группы гетеродоксальных экономистов.

Тем не менее некоторые исследователи отказались следовать диктату методологической моды и по-прежнему настаивали на необходимости обязательного учета воздействия кризисных явлений в мировом хозяйстве на появление новых экономических теорий. Так, О.И. Ананьин, обосновывая в 1997 г. вместе с американскими учеными Н. Гудвин, Ф. Аккерманом и Т. Вайскопфом актуальность написания учебника «Микроэкономика в контексте», среди прочих особенностей планируемого к изданию учебного пособия особо отмечал его нацеленность на «анализ способов развития экономической теории в ответ на экономические проблемы реального мира» [Goodwin et al., 1997, p. 6]. Израильский социолог науки Ю. Йонай в своей нашумевшей книге «Битва за душу экономики», вышедшей в свет в 1998 г., приложил немало усилий для дезавуирования «смехотворного утверждения, будто великие события, такие как Великая депрессия или высокая инфляция 1970-х гг. не оказывают эффекта на экономическую мысль» [Yonay, 1998, p. 212]. Невзирая на эти яркие работы, вышедшие из-под пера настоящих мастеров своего дела, в историографии экономической науки 1990-х гг. бал правили сторонники Л. Роббинса, известного, среди прочего, своей достаточно однозначной позицией: изменения «технической и социальных сред… не важны для экономиста» [Robbins, 1932, p. 37]. В такой логике даже после революционных изменений социально-экономического ландшафта экономист не должен усомниться в правильности нетленных экономических законов. Немного иронизируя, приведем следующую аналогию: в глазах коллег по мейнстримному цеху, ученый, призывающий к корректировке принципов Ее Величества экономики вслед за некими хозяйственными кризисами, подобен метеорологу,

предлагающему всякий раз переписывать законы физики в зависимости от изменения погоды. Понятно, что им обоим будет отказано в возможности подвизаться на их профессиональной ниве.

Однако циклический характер развития мирового хозяйства в очередной раз преподнес неприятный сюрприз экономистам, отрицающим релятивистскую сущность экономического знания. «Великая рецессия» 2007–2009 гг. заставила говорить о хозяйственных неурядицах как моторе потенциальных изменений в экономической науке даже тех ученых, которые сделали имя на конструировании утонченных экономико-математических концепций, имеющих весьма отдаленное отношение к реальности, и, наверное, в глубине души считающих, что «если мир не соответствует теории, то тем хуже для мира» [Christodoulakis, 2015, p. 14]. Так, К. Эрроу, создавший совместно с Ж. Дебре в 1954 г. модель, математически доказывающую возможность достижения общего равновесия, в 2008 г. усмотрел в «текущем финансовом кризисе… вызов для стандартной экономической теории» [Arrow, 2008]. Профессор Массачусетского технологического института О. Бланшар за месяц до краха инвестиционного банка Leman Brothers, запустившего финансовое цунами 2008–2009 гг., торжественно объявил о том, что «макроэкономика переживает период великого прогресса и энтузиазма» и в целом «находится в хорошем состоянии» [Blanchard, 2008, p. 2, 26]. Правда, уже спустя три года ученый, занявший пост главного экономиста МВФ (на период 2008–2015 гг.), вместо продолжения сочинения панегирических од экономиксу обратился к ученым-экономистам с призывом «переписать основные принципы работы макроэкономистов» [Blanchard, 2011]. Любопытно, что на столь радикальное переосмысление своего видения ситуации в экономической теории маститого эксперта сподвиг кризис. Как оказалось, до событий 2008–2009 гг. профессор Бланшар, равно и как подавляющая часть «узников» экономико-математического формализма, попросту жили в блаженном неведении, «думая, что мир становится все лучше и лучше», а «крупные экономические кризисы – финансовый кризис, экономический кризис – стали достоянием прошлого» [Wessel, 2013], и только Великая рецессия открыла им глаза на необходимость ревизии основных устоев макроэкономики.

Столь откровенные раскаяния в своих заблуждениях, конечно, украшают ученого, но у экономистов гетеродоксального спектра могут вызвать лишь улыбку. Специалисты-гетеродоксы, свободные от позитивистских иллюзий и навязчивых интенций сравняться по степени научности с физико-математическими дисциплинами, редко ставили под сомнение принцип релятивности экономических догм, справедливо сомневаясь в возможности бескризисного развития глобального хозяйства. Неудивительно, что кризис 2007–2009 гг. альтернативные мейнстриму течения экономической мысли встретили «во всеоружии». В частности, в глубинах этих теоретических «рек» родились крайне интересные, на наш взгляд, работы, в которых рассматривается связь революций в ИЭУ с социальными катаклизмами. За ограниченностью места остановимся на наиболее заметных из них.

Для начала отведем от себя подозрения в превозношении неортодоксальной экономической мысли. Поэтому, справедливости ради, отметим, что отдельные ее представители интерпретировали сложности, с которыми столкнулся мейнстрим в конце 2000-х гг., лишь как подтверждение справедливости своей критики «основного канона» и начали праздновать «победу» над временно споткнувшимися оппонентами. Немногим в дыму праздничных салютов удалось рассмотреть в кризисе 2007–2009 гг. нечто большее, чем просто «банкротство» неоклассического экономикса.

Одним из таких дальновидных специалистов оказался Н. Кристодулакис, министр экономики и финансов Греции в 2001–2004 гг., а ныне академический ученый, читающий курс по ИЭУ в Афинском университете экономики и бизнеса. Отношение этого исследователя к воздействию кризисов на экономическую теорию сразу становится понятным из названия его книги «Как кризисы формируют экономические идеи и политику: мудреем ли мы после них?» (2015). Нельзя сказать, что в центральном посыле профессора Кристодулакиса: «На самом деле, большинство экономических теорий возникали в качестве ответа на кризис, отодвигая в сторону прежние ортодоксии, оказавшиеся неспособными предсказать или справиться с кризисом» [Christodoulakis, 2015, p. 14], кроется какая-то принципиальная новизна. Скрепя сердце, с этим утверждением после отрезвления Великой рецессии согласились даже отдельные деятели из мейнстримной когорты. Главная изюминка монографии греческого экономиста заключается в широте исторической панорамы охвата влияния кризисов на ИЭУ. Все дело в том, что до появления книги Кристодулакиса близкие тезисы в основном иллюстрировались на достаточно узком хронологическом горизонте – от кейнсианской революции 1940-х гг. до монетаристской контрреволюции 1970-х гг. В работе греческого специалиста раскрывается специфика воздействия кризисных явлений на экономическую мысль начиная с Древнего мира и заканчивая финансовым штормом 2008 г.

Основатель ассоциации «Другой канон»[1], объединяющей многих экономистов гетеродоксального фланга, Э. Райнерт воспользовался концепцией «дестабилизирующей стабильности» посткейнсианца Х. Мински (1919–1996) для формулирования гипотезы о наличии взаимосвязи между эпохами длительной макроэкономической стабильности в крупнейших странах глобального хозяйства с периодами доминирования в экономическом дискурсе «ужасного упрощения» – высокоабстрактной экономической теории. Имманентно присущей фазам хозяйственного «покоя» чертой является их свойство завершаться крайне болезненным кризисом. По мнению норвежского экономиста, в истории мировой экономики можно выделить четыре подобные кризисные «точки»: французскую революцию 1789 г., революционные события 1848 г. в Европе, Великую депрессию 1929–1933 гг. и финансово-экономический кризис 2007–2009 гг. Такого рода шоки приводят экономическую теорию к так называемому «моменту 1848», то есть периодическому

[1] http://www.othercanon.org/

кризису, вынуждающему «экономическую профессию… рассматривать экономику в новом свете, менее абстрактно и более прочно основываться на эмпирических наблюдениях» [Reinert, 2009, p. 6]. Результатом сближения науки и практики является переодевание экономикса – королевы социальных наук в новые одежды, в которых самодержица щеголяет до следующего кризиса, становясь – по мере перехода хозяйственной системы в стадию «дестабилизирующей стабильности» – все более оторванной от реальности. К важным достоинствам подхода профессора Райнерта относится демонстрация неразрывной связи экономической истории и ИЭУ. К числу слабых мест – отсутствие четкого объяснения причин, по которым экономическая теория одинаково реагирует на столь разные события, как революция во Франции конца XVIII столетия и биржевой крах на Уолл-стрит в октябре 1929 г., а также выделение всего лишь четырех революций в экономическом знании.

Отчасти эти пробелы заполняют работы некоторых российских авторов. Так, А.Г. Худокормов, поставив задачу выявить общие принципы эволюции экономической теории в XX века, высказал крайне плодотворную идею о совпадении периодических кризисов в экономическом мейнстриме с понижательными волнами большого цикла Н.Д. Кондратьева [Худокормов, 2012]. Если воспользоваться предложенной профессором Худокормовым схемой, то окажется, что по крайней мере ряд отмеченных Э. Райнертом революций в экономической теории отнюдь не случаен и вызван завершением длинной кондратьевской волны. В.А. Мау и А.В. Улюкаев также выделяют в качестве одной из главных черт всякого серьезного кризиса «фундаментальные институциональные и технологические изменения», опосредующие кризис старой и выработку новой «экономической доктрины, …становящейся новой ортодоксией в мышлении» [Mau & Ulyukaev, 2015, p. 5–6]. С этой точкой зрения солидарен В.С. Автономов: «Экономические кризисы большого масштаба представляют собой вызов для очередного мейнстрима» [Автономов, 2012, с. 376]. В свою очередь, Н.А. Макашева пишет о том, что «экономические кризисы воспринимаются как вызов не только политикам, но и экономистам, экономической науке в целом» [Макашева, 2012, с. 74].

Такое консенсусное восприятие кризисов в роли триггера изменений ИЭУ указывает на обоснованность позиции М.Г. Покидченко, утверждающего, что одним из «основополагающих принципов в российской экономической науке» является интерпретация возникновения новых экономических концепций в логике ответа на изменения условий хозяйствования на определенном историческом этапе развития [Покидченко, 2016, с. 350]. События 2007–2009 гг. стали дополнительным подтверждением этого наблюдения: для отечественных исследователей весьма характерно представление о запуске процессов обновления экономической теории социально-экономическими переменами. Помимо вышеупомянутых ученых к числу таких экспертов можно отнести целую группу специалистов, взгляды которых мы для краткости сгруппировали в таблице 12.

Таблица 12 – Воздействие кризисов на экономическую мысль в оценках некоторых российских авторов

Автор	Год	Влияние внешних вызовов на экономическую теорию
С.Б. Авдашева, Л.А. Тутов, А.Е. Шаститко	2009	«Экономические кризисы … сыграли немаловажную роль в появлении таких классиков, как, например, Джон Мейнард Кейнс или Василий Леонтьев» [Авдашева и др., 2009, с. 108]
О.И. Ананьин	2012	«…кризис [2007–2009 гг.] выявил или подчеркнул реальные слабые точки в корпусе современного экономического знания… Несомненно, кризис дал мощный импульс активизации альтернативных мейнстриму научных школ» [Ананьин, 2012, с. 374]
Е.В. Балацкий	2008	«Новые тенденции и явления ставят под сомнение многие прописные истины экономической науки, что, в свою очередь, предполагает пересмотр базовых понятий экономики… дух времени XXI века совсем не тот, что в XX столетии. И экономической науке придется с этим считаться… Изменяется контекст – должна корректироваться и теория» [Балацкий, 2008]
А.В. Бузгалин	2013	«Эволюция экономических теорий и школ взаимосвязана с этапами генезиса, развития и заката… рыночной экономической системы» [Бузгалин, 2013, с. 88]
Р.С. Дзарасов	2011	«История экономической мысли свидетельствует, что появление новых школ происходило не в результате бесстрастных исследований, а в результате стремления защитить какую-то систему ценностей перед лицом исторического вызова» [Дзарасов, 2011]
А.Д. Некипелов	2013	«Проблемы экономической практики XXI века… поставили перед экономической теорией широкий спектр принципиально значимых вопросов, императивов обновления» [Некипелов, 2013, с. 7]
А.Я. Рубинштейн	2009	«Кризис экономической теории возник именно из-за финансового кризиса» (цит. по: [Лагунина, 2009])
В.Т. Рязанов	2010	«Любой масштабный экономический кризис – это всегда серьезный повод для очередного… переосмысления теоретических шаблонов» [Рязанов, 2010b, с. 155]

Даже столь краткий обзор литературы свидетельствует о многократности описания влияния кризисов на развитие экономической теории и непроизвольно подводит к вопросу о новизне одной из составляющих авторского подхода к исследованию ИЭУ. Нам представляется, что здесь нет никаких «передержек». Как показал проведенный анализ, большинство авторов лишь слегка поцарапали исследовательским плугом научную целину под названием «воздействие кризисов на ИЭУ». За исключением трудов А.Г. Худокормова и Н. Кристодулакиса нам не удалось найти работы, чьи создатели идут дальше упоминания связи между хозяйственными спадами и спровоцированными ими изменениями облика экономической науки. Таким образом, задача сведения ИЭУ и экономической истории в одно исследовательское поле (профессор Университета Хитоцубаши Ю. Шионоя формулирует ее как комбинацию «Бизнес-циклов» Й. Шумпетера с его же «Историей экономического анализа») по-прежнему ждет решения. Надеемся, что посредством нашего подхода можно будет хотя бы заложить первые камни на подступах к ее осуществлению.

Однако прежде чем приступить к разворачиванию «строительных работ», предстоит разобраться в причинах, препятствующих популяризации рассмотрения ИЭУ в контексте развития мировой экономики. Как нам представляется, помеха заключается не только в «инспирированном» постмодернистами отвращении к макроисториям. Здесь одновременно проявляется целый спектр историографических трудностей, сопутствующих анализу истории экономической мысли на фоне эволюции глобального хозяйства. Рассмотрению этих проблем и тому, как предлагаемая нами схема изучения эволюции экономических учений способна поспособствовать их преодолению или по крайней мере снижению остроты, будет посвящен следующий параграф работы.

Подведем итоги.

1. Один из главных концептуальных элементов авторского подхода к исследованию истории экономической мысли – нахождение взаимосвязи между развитием ИЭУ и изменениями технологического ландшафта или, шире, материальной жизни общества – многократно освещался в литературе. Наиболее часто данный вопрос поднимался представителями «старого» институционализма и учеными, работавшими в рамках различных направлений марксизма. Вместе с тем, несмотря на десятилетия научных изысканий, большинство исследователей по-прежнему ограничивается лишь констатацией существования некой корреляции между технико-экономическими сдвигами и переменами в экономической мысли.

2. Найти однозначное объяснение подобной концептуальной недосказанности сложно. Определенная доля «вины» лежит на самих сторонниках рассмотрения истории экономических учений в свете исторического контекста, зачастую преувеличивающих значение политической составляющей в определении облика и характера развития экономической мысли, в результате чего в их интерпретации ИЭУ выглядит не более чем идеологическим слепком тех или иных классовых интересов. Другие ученые, протестующие против изображения экономической науки в виде прислужницы определенных социальных групп, представляют экономические идеи абсолютно независимыми от каких-либо воздействий внешней среды и, тем самым, впадают в другую крайность, теряя при этом из виду необходимость анализа связки «технологические сдвиги – перемены в истории экономических учений».

3. Иностранная историография небогата на работы, авторы которых осмеливались поддержать «крамольную» мысль о том, что экономическая наука движима не только логикой внутридисциплинарного развития, но и зависит от хозяйственных пертурбаций, открывающих дорогу новым концепциям и течениям мысли. Частичное избавление от свойственных основному руслу сциентистских притязаний произошло в годы Великой рецессии, вынудившей даже самых последовательных поборников идеи «автономного» роста экономического знания признать мощное воздействие подобных потрясений на их экономическое мироощущение. Если за рубежом проведением параллелей между социально-экономическими катаклизмами и периодической ревизией

доминирующих систем экономической мысли преимущественно заняты ученые, не входящие в магистральное течение, то среди российского экспертного сообщества восприятие кризисов в качестве спускового механизма преобразований в мышлении экономистов стало консенсусом, объединившим исследователей, работающих как в мейнстримной, так и гетеродоксальных традициях.

4. Многолетние споры между сторонниками видения развития ИЭУ «по Куну» и «по Лакатосу», на наш взгляд, не принесли больших историографических «дивидендов». Дело в том, что острие данной дискуссии направлено на изобличение оппонентов в терминологической путанице, вызванной желанием втиснуть ИЭУ в науковедческие шаблоны, разработанные для анализа точных и естественных наук. Хотя данная полемика стимулировала изучение ИЭУ, она вылилась в недостаточную проработанность гораздо более важного вопроса – выявление причин периодических кризисов в экономическом знании и роли внешних факторов в их генезисе.

5. Надежду на более глубокое изучение влияния хозяйственных спадов, а также технологических сдвигов на ИЭУ вселяет ширящееся в последнее годы желание многих обществоведов расширить контекст своих исследований и избавиться от привитого постмодернистами ложного чувства отвращения к изучению «долгосрочных явлений во времени и пространстве» [Thompson, 2004, p. 25]. В области истории экономических учений данное явление, получившее название «макроразворот», пока носит зачаточный характер, тем самым актуализируя задачу выработки новых методов изучения «широкой» ИЭУ. Представляется, что разрабатываемый нами подход может послужить одним из способов «вспашки» данного исследовательского поля.

2.3. Препятствия для рассмотрения истории экономических учений на фоне развития мировой экономики[1]

Исторические корни идеи о том, что «экономическая мысль тесным образом связана с хозяйственной средой», уходят в далекое прошлое. Как показал наш анализ, проведенный в предыдущем параграфе, в анналах историографии истории экономических учений накоплено немало работ, авторы которых пытались рассматривать «рост экономической науки на фоне усложнения мировой экономики». С определенными оговорками с этим тезисом во все времена соглашались многие специалисты в области ИЭУ. Несмотря на то, что такие воззрения из поколения в поколение разделял целый ряд блистательных ученых, мысль о зависимости «экономического теоретизирования от… определенного хозяйственного контекста» [Bhatia, 2004, p. 5] не смогла преодо-

[1] Данный параграф базируется на статье: [Мальцев, 2016b], авторских разделах статьи: [Татаркин и Мальцев, 2016], а также принятой к публикации статье: Мальцев А.А. Феномен «национальной диспропорциональности» в развитии истории экономической мысли: в поисках альтернативной интерпретации // Общественные науки и совремменность. 2018. (в печати).

леть стену предубеждений и стать по-настоящему популярной в среде историографов и методологов экономической науки. Причины подобной предвзятости отнюдь не кажутся надуманными и имеют под собой серьезные основания.

С одной стороны, популяризации подобных воззрений препятствуют позитивистские устремления значительной части экономистов, занимающихся поиском незыблемых законов, «релевантных и применимых в любых условиях» [Rodrik, 2015, p. 6], что, естественно, плохо вяжется с идеей о взаимосвязи изменений в экономической мысли с трансформацией хозяйственного контекста. С другой стороны, существует несколько крупных, сугубо историографических препятствий, затрудняющих проведение параллелей между сдвигами в ИЭУ и переменами в окружающей действительности. В данном параграфе мы сначала сформулируем суть этих затруднений, затем кратко остановимся на предшествующих попытках их разрешения, а после продемонстрируем, как и в какой мере наша схема изучения ИЭУ может поспособствовать смягчению данных противоречий.

В современной литературе, посвященной методологии экономической мысли, основной вектор дискуссии, как справедливо замечает профессор Университета Святого Джона Ч. Кларк, чаще всего направлен на обсуждение так называемых «трех центральных проблем»: «происхождение экономической теории как науки, развитие экономической теории в рамках школ или в рамках исторических эпох, …отделение настоящих теоретиков от бездарностей» [Clark, 1994, p. XX]. Признавая безусловную значимость прений вокруг этих вопросов, нельзя не заметить, что в пылу полемики специалисты нередко не замечают не менее значимые теоретико-методологические трудности. К числу главных из них, с нашей точки зрения, можно отнести три следующих историко-экономических парадокса, особенно остро стоящих перед учеными, примкнувшими к вновь набирающему популярность релятивистскому флангу историко-экономической методологии.

Во-первых, наделяя социально-экономическую среду функцией значимого «теоретикообразующего» фактора, как это делают многие релятивисты, крайне непросто отвергнуть обвинения в произвольном жонглировании фактами. Дело в том, что ИЭУ щедра на примеры, когда, на первый взгляд, происходила ее «расстыковка» с хозяйственной практикой. Чаще всего, как замечал А. Гершенкрон, «научная мысль отставала от развития экономики», но иногда происходила и обратная ситуация, когда ИЭУ опережала ход экономической жизни. Характерным примером «отставания» является кейнсианская революция, о которой даже один из ее апостолов Д. Робинсон отзывалась как о запоздалой реакции на социально-экономическую катастрофу 1930-х гг. [Robinson, 1978, p. 10]. В свою очередь, яркой иллюстрацией «опережения» экономической мыслью повседневной реальности стало открытие Г.Г. Госсеном теории предельной полезности в середине XIX века, «остававшееся полностью незамеченным еще четверть века» [Kurz, 2016, p. 67]. В начале XX столетия таким же пришельцем из интеллектуального будущего, пусть и с несрав-

нимо более благополучной научной судьбой, казался Й. Шумпетер с его эволюционным подходом к экономической теории, опередивший, по словам некоторых современных экспертов, «свое время более чем на 70 лет» [Vass, 2014]. Как видим, подобная идейно-хозяйственная «асинхронность» едва ли способна добавить очков сторонникам рассмотрения взаимосвязи «интеллектуальной истории… с экономической историей» [Гершенкрон, 2015, с. 317, 392].

Во-вторых, занимая позицию «нет „плохих“ или „хороших“ экономических теорий – все они продукты своего времени и места», сложно дать убедительную трактовку причин, в силу которых в течение последних столетий в экономической науке доминируют теоретико-методологические стандарты, вызревавшие в недрах академических культур всего нескольких держав мира. Ведь если исходить из этой релятивистской предпосылки, то в золотом фонде экономической мысли идеи экономистов из разных государств должны быть представлены сравнительно одинаково. Между тем трудно не обратить внимание на серьезный «национальный» перекос в развитии ИЭУ. Если окинуть ретроспективным взглядом картину развития экономической науки в XVIII – начале XXI столетия, то окажется, что «сначала знаменитые экономические теории создаются как бы конкурирующими англо- и немецкоязычными учеными, затем на авансцене остаются одни лишь англоговорящие экономисты. Заслуги экономической науки всех других стран мира… могут уместиться едва ли не в подстрочных сносках к перечню достижений англо-американцев и австро-немцев» [Латов, 2007, с. 45].

В-третьих, солидаризируясь с тезисом о том, что одним из генераторов прогресса экономической науки являются хозяйственные катаклизмы, очень сложно объяснить, почему такие крупные изменения в ИЭУ, как, скажем, маржиналистский «переворот» или закрепление за самуэльсоновским кейнсианством статуса мейнстрима с точки зрения хронологической формалистики не предварялись крупными социально-экономическими потрясениями.

Разумеется, поиски некоей методологической «панацеи», способной полностью разрешить вышеобозначенные историографические парадоксы, представляются мнимой задачей, напоминающей тщетные попытки создания вечного двигателя. Однако нахождение способов ослабить данные противоречия и тем самым укрепить связь ИЭУ с экономической историей видится нам исключительно важным мероприятием. К сожалению, экономическая наука пока не очень преуспела в разгадывании этих историографических головоломок.

Зачастую отдельные экономисты признаются лишь в том, что скорость изменения экономической реальности опережает их способность к ее осмыслению. Как пишет известный польский экономист Г. Колодко, «экономическая теория отстает от экономической реальности» [Kolodko, 2013, p. 466]. Иногда подобные бунтарские (в глазах мейнстримной общественности, убежденной в «возможности объяснения Вселенной посредством экономической теории» [Paraschiv, 2011]) высказывания поддерживают эксперты в ранге лауреатов Нобелевской премии.

Например, Р. Фогель в 1999 г. шокировал участников 111-й встречи Американской экономической ассоциации заявлением о том, что «во многих отношениях дисциплина [экономическая теория] остается позади экономики» [Fogel, 1999, p. 15]. И это не единичный пример.

Однако данные замечания не приближают нас к пониманию причин отставания теории от практики. Как правило, специалисты списывают эту расстыковку на привычку экономистов основного русла жить в башне из слоновой кости, стены которой надежно оберегают ее обитателей, занятых высоким теоретизированием, от контактов с прозой хозяйственной жизни. Так, профессор Университета штата Массачусетс в Лоуэлле У. Лазоник утверждает, что «проблема [отрыва теории от реальности] вызвана созданием запутанных и эзотерических моделей экономической деятельности, которые уместны в среде *экономистов*, но не имеют смысла для *экономики*» [Lazonick, 1991, p. 303–304]. В такой трактовке основная причина «рассоединения» экономической мысли и реальности кроется лишь в концептуальной ограниченности представителей современного мейнстрима. К тому же, оставаясь на этой позиции, невозможно понять, почему в ИЭУ периодически возникают такого рода «нестыковки» и как все-таки происходит сближение науки и практики.

Проблема «национальной диспропорциональности»[1] ИЭУ получила несколько более подробное освещение в литературе. Фокус внимания исследователей в основном сосредоточен на изучении факторов, обусловивших американизацию экономического дискурса во второй половине XX столетия. Чаще всего эксперты связывают торжество «американской исследовательской повестки» с эмиграцией в 1920–1940-е гг. в США звездной команды европейских экономистов, вынужденных покинуть сползавший в пучину тоталитарной диктатуры Старый Свет [Groenewegen, 1996, p. 65]. В статье профессора Гогенгеймского университета Х. Хагеманна приводятся данные, подтверждающие, что в предвоенные десятилетия экономическая наука Соединенных Штатов получила колоссальное интеллектуальное обогащение за счет европейских эмигрантов. Например, только с территории Российской империи в США уехали 24 из 36 «наиболее выдающихся экономистов», чьи имена впоследствии украсили сборник М. Блауга «Кто есть кто в экономике», включающий в себя данные о более 1 300 ученых, живших в 1700–1986 гг. Из государств, некогда составлявших Австро-Венгрию, в США перебрались 36 из 50 авторитетных исследователей, а «всего Соединенные Штаты обрели 161 экономиста-мигранта, что составило примерно 30% от общего числа [знаменитых] экономистов, рожденных в данной стране» [Hagemann, 2011, p. 644]. В этом контексте становятся понятными слова П. Самуэльсона: «Триумфальный подъем американской экономической теории после 1940 г. был чрезвычайно ускорен приездом ученых из гитлеровской Европы» [Samuelson, 1988, p. 319].

---

[1] Термин предложен Ю.В. Латовым (см. подробнее: [Латов, 2007]).

Помимо чисто имиджевых дивидендов, столь масштабный трансфер интеллектуального капитала привел к «становлению „американской экономической теории“, то есть признанных во всем мире аналитических и методологических стандартов экономической профессии». Как нетрудно догадаться, учитывая образовательный бэкграунд, а также увлеченность многих эмигрантов математическими методами анализа, «эти стандарты определялись растущей значимостью использования математической экономики и эконометрики, превратившихся в „отличительную черту современной экономической мысли“» [Gualerzi & Cibils, 2014, p. 139]. Таким образом, важнейшей особенностью привнесения на североамериканскую почву зерен континентальной «ортодоксальной математической неоклассической теории» [Rosser et al., 2010, p. 7] постулируется вызревание к началу 1950-х гг. всеобщего математического языка, «обеспечивавшего взаимное понимание среди исследователей, принадлежащих к разным культурным традициям» [Kawamata, 2000, p. 120]. «Универсальность математики позволила людям, не владеющим английским языком, работать и соревноваться в мировой экономической науке», – утверждают американские профессора Дж.Б. Россер, Р. Хольт и Д. Коландер [Rosser et al., 2010, p. 6]. Иными словами, триумф США на экономико-теоретическом «поле» второй половины XX столетия в такой интерпретации объясняется завершением своеобразного Вавилонского столпотворения в стане экономистов в результате появления интернационального и всем доступного lingua franca, быстро вытеснившего прочие способы занятия экономической теорией в разряд развлечения для редких оригиналов.

Вне всяких сомнений, такая интерпретация перехода переднего фланга экономической науки под американские знамена имеет право на существование. Трудно усомниться в том, что лишенный ценностной окраски математизированный экономикс, завернутый в привлекательную для мирового научного сообщества, только что избавившегося от фашистских кошмаров, обертку «мультикультурной науки», неплохо подходил для распространения за пределами США. Удобство преподавания формализованной экономической теории, ставшее еще одним немаловажным аргументом в пользу роста популярности американского типа экономического мышления среди значительной части экономистов по всему миру, также не подлежит сомнению (см. подробнее: [Автономов, 2006, с. 204]).

Между тем специалисты, связывающие победу американских экономико-методологических стандартов в битве за умы и сердца послевоенных исследователей с красивой историей о волшебном превращении математической экономики в теоретический камертон, едва ли способны ответить на следующие вопросы. Во-первых, неясно, что мешало математизации экономической теории до наступления трагических событий Второй мировой войны, если многие действующие лица будущей «количественной революции» (quantitative revolution) к этому времени не только появились на свет, но и уже зарекомендовали себя достаточно известными учеными. Во-вторых, в такой постановке вопроса остается неясным, почему США, а не Британия, встали в

авангарде экономикса. Ведь экономисты, работавшие в Соединенном Королевстве, в равной степени со своими американскими коллегами заслуживают звания архитекторов здания экономической науки XX столетия. Если вспомнить, что именно в британских университетах в 1930–1940-е гг. творили Р. Аллен, М. Добб, Н. Калдор, Р. Кан, К. Кларк, А. Льюис, Дж. Мид, Л. Роббинс, Д. Робертсон, Дж. Робинсон, П. Сраффа, Р. Стоун, Р. Харрод, Дж. Хикс, Дж. Шэкл, не говоря уже о таких легендах, как Дж.М. Кейнс и Ф. фон Хайек, то ситуация с победой экономической «сборной» Соединенных Штатах становится еще более запутанной.

Не меньше загадок таит и встречающееся в литературе толкование увязки периодических сдвигов в развитии экономической мысли с решительными переменами в хозяйственной жизни. Казалось бы, в такой трактовке наткнуться на какие-то трудности историографического толка практически невозможно. В рядах специалистов по ИЭУ найдется мало желающих отрицать связь между вознесением кейнсианства на экономико-теоретический Олимп и драматическими страницами мировой истории 1930–1940-х гг., завершившихся переходом экономик ведущих стран мировой экономики на фордистскую траекторию социально-экономического развития. Редкие интерналисты будут оспаривать то, что тень Великой депрессии, брошенная на экономики стран ОЭСР в 1970-е гг. и ознаменовавшая начало заката позднеиндустриальной эры хозяйствования, помогла монетаристам примерить лавровый венок предводителей мейнстрима. Со всем тем, некоторые крутые виражи истории экономических учений плохо укладываются в канву этой объяснительной схемы.

Пожалуй, наибольшие проблемы возникают тогда, когда с ее помощью стараются пролить свет на природу маржиналистской революции, положившей начало неоклассической экономической теории. Наверное, первую в историографии попытку «энвайронменталистской реконструкции» [Coats, 1993, vol. 2, p. 39] событий 1870-х гг. предпринял советский политический деятель Н.И. Бухарин, пытавшийся, как известно, связать происхождение «теории ценности и прибыли австрийской школы» с возникновением «психологии потребителя» «рантьерской буржуазии», чьим «научным орудием» против «все более грозного рабочего движения» как раз и стало учение «австрийцев» [Бухарин, 1988, с. 19–20, 27–28]. Логично было бы отыскать в книге большевистского вождя оговорку о том, что де теория предельной полезности создавалась в ответ на обострение каких-то противоречий внутри капиталистического строя. Однако из «Политической экономии рантье» следует, что маржинализм возник, скорее, под давлением эволюционной логики развития общественных отношений, став «продуктом» политического заказа со стороны роста числа «бесполезных элементов» – слоя рантье [Бухарин, 1988, с. 18], нежели вследствие какой-то коренной ломки материального базиса. «Точку опоры „новым“ [теоретическим] веяниям», – утверждал большевистский теоретик, – обеспечили «быстрое развитие капитализма, сдвиг общественных группировок и рост рантье», создавшие «в последние десятилетия XIX века все *соци-*

ально-психологические предпосылки (курсив наш. – *А.М.*) для того, чтобы превратить слабые ростки в махровые цветы» [Бухарин, 1988, с. 27–28].

Другая известная попытка толкования маржиналистского переворота в духе Бухарина принадлежит известному социологу В. Старку (1909–1985). Апеллируя к тому, что сердцевину маржинализма формирует концепция рыночного равновесия, для достижения которого необходима максимально возможная рыночная свобода, ученый прочертил прямую связь между «достижением в вальрасовы дни… экономиками ведущих стран состояния, как никогда до этого и никогда после близкого к достижению свободного, автоматически функционирующего рынка…» (цит. по: [Coats, 1993, vol. 2, p. 38]) и рождением неоклассики. Несмотря на подкрепление данного заявления достаточно солидной фактологией, такого рода интерпретация маржиналистской революции получила весьма скептическую оценку в среде историографов. Возможность растопить лед непонимания могла обеспечить попытка вскрыть глубинные хозяйственные предпосылки, сделавшие идеи «трио предельной полезности» актуальными именно в тот период, а не простое перечисление эмпирических подтверждений существования условий для достижения рыночного равновесия в 1870-е гг. Впрочем, вряд ли корректно постфактум винить профессора в чрезмерном акцентировании внимания на второстепенных деталях, идущем в ущерб рассмотрению сути проблемы.

В отличие от «эры катастроф» 1910–1940-х гг. или болезненного социально-экономического «анабиоза» 1970-х гг., высветивших многочисленные изъяны в экономико-теоретических концепциях, созданных до начала этих кризисных времен, «прекрасная эпоха» 1870–1913 гг., на первый взгляд, не располагает к тому, чтобы видеть в ней триггер перемен в экономической мысли. Скажем, даже авторы, ставящие перед собой задачу «рассмотреть то, как экономические теории реагировали на ключевые экономические кризисы прошлого», обходятся острожными замечаниями о том, что генезис неоклассической теории совпал с необходимостью осмысления участившихся к концу XIX столетия сбоев в работе закона Сэя [Christodoulakis, 2015, p. V, 134–135]. В то же время некоторые хронологически близкие к маржиналистскому перевороту сдвиги в развитии ИЭУ нередко объясняются революциями в хозяйственной среде с куда большей уверенностью. Так, отдельные авторитетные экономисты убеждены в том, что причиной «выхода из моды» аналитических схем Д. Рикардо во второй половине XIX столетия являлось разрушение промышленной революцией «объекта теоретизирования» ранних классиков английской политической экономии. «За 1810–1860-е гг. экономика Великобритании трансформировалась из преимущественно сельскохозяйственной капиталистической рыночной экономики, которая окружала Рикардо, в преимущественно промышленную капиталистическую рыночную экономику, окружавшую Кэрнса… Одинаковая теоретическая база не могла дать адекватный анализ хозяйственных систем разных периодов», – писал в 1982 г. будущий помощник заместителя министра финансов США в 1993–1995 гг. Б. Делонг [DeLong, 1982, p. 2].

Естественно, определенная непоследовательность, когда исследователи, в целом разделяющие тезис – «динамика экономической эволюции является одним из главных факторов развития и изменения экономической теории» [Clark, 2001, p. 302], считают, что одни изменения в экономической теории протекают в ходе глубоких социально-экономических сдвигов, а другие происходят практически в полной изоляции от перестройки хозяйственного ландшафта, не упрочняет их репутацию в рядах историко-экономического сообщества. Очевидно, что данная позиция нуждается в уточнениях и расшивке «узких мест». В ходе дальнейшего повествования мы обязательно вернемся к этому вопросу, но перед этим предлагаем сначала рассмотреть, как при помощи разработанного нами подхода к изучению ИЭУ можно объяснить парадокс периодического отставания или, напротив, опережения экономической мыслью хозяйственной практики.

Как известно, одним из главных недостатков релятивистской трактовки развития ИЭУ является представление, будто экономическая мысль являет собой матрицу, впитывающую в себя буквально все изменения хозяйственной среды. Вне всяких сомнений, социально-экономический контекст оказывает колоссальное влияние на экономистов. Вместе с тем уподоблять экономическую теорию нитке, неотступно идущей за иголкой-практикой, будет некоторым преувеличением. Как уже неоднократно говорилось, «швейные принадлежности» имеют свойство достаточно часто терять друг друга из виду. При этом вдевание историографической «нитки» в мирохозяйственную «иголку» бывает настолько сложной задачей, что многие исследователи попросту отказываются от подобных упражнений.

Однако сложная задача совсем не значит невыполнимая. Помочь в ее решении может magna opus Й. Шумпетера – «История экономического анализа». Как известно, великий экономист предложил различать историю экономической мысли (ИЭМ), раскрывающую «влияние общественных воззрений на выбор проблем, которые интересуют аналитиков в каждый данный период, и на общий подход к этим проблемам», и историю экономического анализа (ИЭА), изучающую «средства анализа», используемые экономистами прошлого [Шумпетер, 2001, т. 1, с. 45–47]. При этом ИЭА имеет стойкий «иммунитет» к влиянию хозяйственно-исторического процесса. К примеру, трудно сказать, что на открытия Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна повлияли какие-то внешние причины, равно как, наверное, бесполезно искать некий хозяйственный подтекст в аналитических находках «протомаржиналистов» А.О. Курно и Ж. Дюпюи. Другими словами, «чистая экономическая теория», как и всякая «настоящая» наука, обладает значительной автономией от воздействия внешних факторов. Как отмечает известный физик М.В. Садовский, «она [фундаментальная наука] развивается по своим внутренним законам, плохо поддается прямому планированию и почти не прислушивается к указаниям руководства любого уровня» [Садовский, 2016, с. 52].

Противоположная картина вырисовывается при изучении развития ИЭМ, которая имеет дело с совокупностью «всех мнений и пожеланий по экономическим вопросам… присутствующих в общественном сознании в данное время и в данном месте» [Шумпетер, 2001, с. 46]. В отличие от истории экономического анализа, где открытия носят, скорее, разновременный характер, «сдвиги в воззрениях по экономическим вопросам» [Шумпетер, 2001, с. 46–47] происходят на удивление синхронно. Так, по какой-то причине практически одновременно в ведущих западноевропейских странах во второй половине XVIII века начался отказ от меркантилизма, в последней четверти XIX столетия наметился рост недовольства классической политэкономией, 1930–1940-е гг. стали достаточно неуютным временем для приверженцев неоклассики, а в 1970-е «одеваться» по стандартам кейнсианской моды стало считаться моветоном и др. Очевидно, что эти важные события из сферы ИЭМ наслаиваются на зигзаги, выделываемые глобальной экономической историей. Недаром Й. Шумпетер, прекрасно зная данную особенность истории экономической мысли, недвусмысленно предупреждал: «Экономическая мысль… принадлежит, скорее, экономической истории, чем истории экономической науки…» [Шумпетер, 2001, с. 63].

Казалось бы, ИЭА и ИЭМ представляют собой две отдельные ветви историко-экономической науки, которые никогда не должны соприкасаться. Однако нельзя отрицать того, что время от времени аналитические находки так или иначе покидают полумрак кабинетов ученых и пополняют копилку экономической мысли. Примеры подобной «конверсии» достаточно многочисленны. Скажем, такие контринтуитивные выводы, пришедшие из области ИЭА, как идея о том, что если все экономические агенты будут преследовать свои личные интересы, то это приведет к коллективной выгоде, или принцип, согласно которому международная торговля выгодна всем участникам внешнеэкономической деятельности, с течением времени стали восприниматься чуть ли не проявлением здравого смысла. Отсюда возникает два вопроса. Во-первых, когда и под воздействием каких факторов происходит проникновение ИЭА в ИЭМ. Во-вторых, почему история экономических учений якобы часто отстает, но иногда опережает практику.

Для ответа на них воспользуемся некоторыми принципами авторской схемы рассмотрения эволюции ИЭУ. Одно из положений нашего подхода говорит о том, что смена взглядов «по экономическим вопросам, которые преобладают в любое данное время в любом обществе» [Шумпетер, 2001, с. 63], происходит под влиянием значительных изменений «окружающей обстановки», создающих спрос на новые направления экономического анализа. Мы вовсе не хотим изобразить экономтеоретиков в шаржированном образе сумасбродов, спешно берущихся за перо и бумагу, как только за окном начинают сгущаться тучи очередного кризиса. Просто, с нашей точки зрения, без определенного взаимоналожения материальных и организационных условий достижения из сферы инструментария изучения экономических явлений могут десятилетиями игнорироваться мейнстримом научного сообщества. Проиллюстрируем данный тезис на следующих примерах.

В частности, такая ситуация сложилась в 1950–1960-е гг. вокруг фридмановской версии монетаризма, в которой находившиеся в зените своей интеллектуальной славы кейнсианцы видели едва ли не концептуальную некрофилию и эксгумацию давно отжившей своей век количественной теории денег Д. Юма. Для изменения подобных представлений потребовался затяжной кризис 1970-х гг. Именно после этих событий монетаристы, ранее имевшие реноме «чудаков из Чикагского университета, занятых безобидными интеллектуальными упражнениями» [Mehrling, 1982, p. 62], превратились в передний край экономической науки. «Для убеждения в том, что что-то не так с кейнсианской экономической теорией, что вам нужна политика поддержки предложения и все такое, инфляция и стагфляция 1970-х гг. сделали больше, чем все эмпирические данные из эконометрических исследований, осуществленных противниками кейнсианской экономической теории» (цит. по: [Haltom, 2011, p. 14]), – утверждал в 1998 г. М. Блауг. Без перестройки хозяйственного ландшафта последней трети XIX столетия открытия «маржиналистской троицы», вероятно, могли повторить судьбу аналитических схем Г.Г. Госсена и остаться пылиться на полках библиотек. Недаром вторая промышленная революция, стартовавшая в последней трети XX века, воспринимается многими современными специалистами в качестве катализатора трансформации классической политической экономии в неоклассический экономикс. Так, по мнению профессора Университета Оклахомы Р. Шлейфера, товарное «изобилие, созданное вторым индустриальным переворотом», заставило переосмыслить главную задачу экономической науки – перейти от изучения проблемы «производства богатства», являвшейся центральной темой классиков политэкономии, к осмыслению способов потребления и распределения продуктов, ставших сердцевиной научных интересов «неоклассических теоретиков» [Schleifer, 2000, p. 47–48].

Таким образом, получается, что крупные хозяйственные сдвиги актуализируют те или иные направления экономического анализа, делая их по-настоящему популярными. Это замечание, впрочем, может навести на ложную мысль, будто экономисты являются аналогами «собаки Павлова», реагирующей только на внешние раздражители. В самом деле, в таком контексте невозможно объяснить, почему маржиналистская революция не случилась, скажем, в годину кризиса 1848–1852 гг., ведь работы таких авторов – предтеч маржинализма 1870-х гг., как А. Сэй (брат Ж.-Б. Сэя), О. Вальрас (отец Л. Вальраса), У.Ф. Ллойд, Н. Сениор к этому времени уже вышли в свет.

На наш взгляд, причина впечатления, что теория опередила практику, коренится в том, что открытия в сфере экономического анализа, как правило, сложны для понимания широкой аудитории. Даже коллеги новаторов по научному цеху далеко не сразу воспринимают их теоретические находки. Поэтому настоящие аналитические жемчужины часто остаются незамеченными современниками, а сами ученые, увлеченные научным поиском и распаляемые творческим вдохновением, не всегда оглядываются по сторонам для соотнесения своих изысканий с практикой. По всей видимости, чтобы оригинальная аналитическая новинка стала восприниматься учеными, а впо-

следствии политиками и обществом (т.е. превратилась в «мысль»), требуется некое достаточно глубокое преобразование социально-экономического ландшафта. Правда, далеко не всякая социально-экономическая пертурбация гарантирует, что передовой идее будет включен зеленый свет на теоретической «улице». Так, события 1848–1852 гг. не привели к началу маржиналистской эры в экономическом анализе, а закрепили доминирование классической политэкономии. Следовательно, можно заключить, что любая новаторская идея ИЭА ждет своего часа, до этого проходя невидимые глазу большинства современников «сеансы» концептуальной шлифовки.

Немного прояснив природу «опережения» экономической теорией практики, перейдем к проблеме ее «отставания», которую часто иллюстрируют на примере кейнсианской революции. Действительно, даже не обладая энциклопедическими знаниями в области ИЭУ, трудно не заметить, что «Общая теория» Дж.М. Кейнса появилась через три года после завершения острой фазы Великой депрессии, а статус мейнстрима кейнсианство обрело и вовсе только после Второй мировой войны. Некоторым экспертам, такая «нерасторопность» кембриджского ученого и его последователей, не спешивших предложить миру новые идеи в условиях, когда от быстрого осмысления причин попадания мировой экономики в пучину «Великого кризиса» и способов ее вызволения из депрессивного омута во многом зависело спасение капитализма, представляется наглядным свидетельством запаздывания ученых с выработкой концепций, адекватных веяниям времени. Со всем тем, такую точку зрения можно объяснить лишь поверхностным знанием ИЭУ. Как прекрасно показано в работе О.И. Ананьина, теоретики стокгольмской школы в 1920–1930-е гг. по многим позициям предвосхитили кейнсианскую теорию. В свою очередь, истоки их идей обнаруживаются в труде «Исследование природы и действия бумажного кредита Великобритании» (1802) лондонского банкира Г. Торнтона (1760–1815) [Ананьин, 2012, с. 371–372]. Однако в отличие от учения Дж.М. Кейнса ни английскому мыслителю, ни шведским экономистам не удалось привлечь к своим идеям достаточного внимания.

Причины успеха кейнсианства многогранны, их подробный анализ выходит за рамки данного раздела, но одно можно сказать достаточно определенно. Если бы не глубина и продолжительность Великой депрессии, то кейнсианские идеи едва ли смогли пробить мощные «оборонительные редуты» предшествующей маржиналистской парадигмы и превратиться в концепцию, «обратившую практически всех экономистов западного мира в новый стиль экономического мышления…» и заставившую «правительства повсеместно использовать политику, рекомендованную Кейнсом или, по крайней мере, ассоциировавшуюся с именем Кейнса» [Blaug, 1990a, p. 1]. Характер протекания кейнсианского переворота в контексте нашего разговора позволяет отметить три момента.

Во-первых, процесс превращения экономических представлений, ранее казавшихся уделом экстравагантных фантазеров, в разряд общепринятых концепций происходит на фоне хозяйствен-

ных сдвигов. При этом чем глубже и продолжительнее социально-экономические потрясения, тем больше накапливается аномалий, не вписывающихся в объяснительные схемы существующей ортодоксии и повышающих шансы новаторов на превращение в «царей» экономико-теоретической «горы». Во-вторых, хозяйственные трудности не всегда являются толчком к рождению новых идей, а, скорее, выступают в роли катализаторов восприятия зачастую существующих воззрений, не пользующихся популярностью в научной среде. В-третьих, проблема опережения/отставания экономической теории от практики, на наш взгляд, преувеличена. ИЭУ практически всегда развивается параллельно хозяйственной реальности. Однако в периоды крупных структурных трансформаций или кризисных явлений происходит временная «расстыковка» интеллектуальной истории с окружающей действительностью, в ходе которой начинается кристаллизация контуров нового мейнстрима, лучше предшествующего отвечающего изменившемуся духу времени. В свою очередь, в посткризисную эпоху систематизированные во времена хозяйственных перемен аналитические идеи окончательно закрепляются в роли общепринятой парадигмы, известность которой выходит далеко за пределы когорты профессиональных экономистов.

Данные замечания предлагаем продемонстрировать на примере важных революций в экономическом знании (таблица 13). В порядке комментария к данной таблице еще раз подчеркнем, что расхожие рассуждения на тему «ИЭУ опережает реальность или отстает от нее» во многом вызваны игнорированием влияния хозяйственных трансформаций на историю экономических учений. Вот почему наш подход, показывающий соосность изменений в ИЭУ и экономической истории, служит еще одним напоминанием о справедливости, к сожалению, оставляемого без должного внимания предупреждения Й. Шумпетера о том, что «история и институты хозяйства совершенно необходимы истории экономического анализа» [Shionoya, 1997, p. 83].

Выяснив, что проблема опережения/отставания экономической мысли от практики в большинстве случаев порождена рассмотрением истории экономических учений в изоляции от социально-экономического контекста, перейдем к обсуждению вопроса о «национальной диспропорциональности» развития экономической теории. Следует заметить, что дискуссия о причинах господства той или иной национальной экономической традиции приобрела особую остроту в последние полвека, когда преобладание «американского стиля в экономической науке» [Choi, 1996, p. 105] стало носить форму теоретико-методологической монополии. Существующие объяснения этого феномена миграцией в США плеяды блестящих интеллектуалов в первой половине XX века, щедрыми ассигнованиями американских силовых ведомств и бизнеса, видевших в формализованной экономической теории мощное идеологическое оружие холодной войны, при всей их привлекательности не могут ответить на главный вопрос: как объяснить причины доминирования экономико-теоретических канонов других стран на «своих» временных отрезках и их низвержения с концептуального пьедестала.

Таблица 13 – Алгоритм протекания маржиналистской и кейнсианской революции в контексте авторского подхода к рассмотрению ИЭУ

Событие в ИЭУ	Этап становления			
	Генезис идеи	Начальная концептуализация теории	Окончательная концептуализация теории	Превращение в мейнстрим экономической мысли
Маржиналистская революция	**XVIII – начало XIX века** *Д. Бернулли, Ф. Галиани, Э.Б. Кондильяк и др.* Начало зарождения раннеиндустриальной эпохи, в которой «производство богатства важнее потребления богатства» [Schleifer, 2000, p. 47], делало вопрос редкости ресурсов, являвшийся важным элементом аналитических построений предшественников маржиналистов, второстепенным для практики	**Середина XIX века** *О. Вальрас, Г. Госсен, Ж. Дюпюи, А.О. Курно, У.Ф. Ллойд, Н. Сениор и др.* Кульминация первой промышленной революции в ведущих странах Западной Европы обострила проблемы, вызванные вытеснением ручного труда машинным, поставив на повестку дня задачу осмысления способов снижения градуса социального антагонизма, но отнюдь не маржиналистского «производства удовлетворений» (цит. по: [Schleifer, 2000, p. 137])	**1870-е гг.** *Л. Вальрас, У.С. Джевонс, К. Менгер* Стартовавшая в последней трети XIX века вторая индустриальная революция актуализировала задачу сбыта резко возросших объемов продукции, упрощая тем самым восприятие маржиналистской теории ценности, выводящей стоимость из субъективных оценок блага потребителем	**1880–1900-е гг.** *А. Маршалл, В. Парето и др.* Начало трансформации экономик ключевых государств мира в спросозависимые хозяйственные системы превращало одну из основных сфер интересов «поздних маржиналистов» – удовлетворение потребностей человека и изучение поведения потребителей – в краеугольный камень экономической жизни времен belle époque
Кейнсианская революция	**Начало XIX века** *Г. Торнтон* Последствия монетарного кризиса 1797 г. оказались недостаточными, чтобы отринуть юмовско-смитовское представление о банковском секторе как саморегулирующейся системе	**Конец XIX века** *К. Виксель* Относительно безоблачные хозяйственные реалии «прекрасной эпохи» 1870–1913 гг. не благоволили протокейнсианским идеям проведения активной монетарной политики, направленной на «улучшение функционирования реальной экономики посредством монетарных инструментов» [Arnon, 2011, p. 208]	**Вторая половина 1930-х гг.** *Дж.М. Кейнс* Продолжительность Великой депрессии вынудила правительства развитых стран инициировать политику государственного стимулирования спроса еще до официального появления кейнсианства, что резко повысило престиж «новорожденной» доктрины	**Середина XX века** *П. Самуэльсон* Стремление не допустить рецидивов Великой депрессии вкупе с необходимостью поддержания высоких социальных расходов, свойственных послевоенным обществам всеобщего благоденствия, предопределяло значимость кейнсианцев в качестве легитиматоров активистской роли государства в экономике

Составлено по: [Ананьин, 2012, с. 373; Arnon, 2011], а также URL: http://cruel.org/econthought/essays/margrev/phases.html

На наш взгляд, одной из возможных интерпретаций парадокса неравномерной представленности в мировой экономической науке учений разных стран может стать объяснение, предлагаемое в рамках авторского подхода, нацеленного на сближение ИЭУ и экономической истории, согласно которому доминирование тех или иных экономических воззрений связывается с лидерством в глобальном хозяйстве отдельных стран, чьи традиции производства и распространения экономического знания становятся на период мирохозяйственного преобладания данных экономик своеобразным эталоном занятия экономической наукой. При этом высокое место государства в геоэкономической иерархии предопределяется прежде всего технологическим превосходством, выступающим важным индикатором работоспособности общественных институтов, степени гражданских и религиозных свобод, высокого уровня благосостояния жителей и пр. В свою очередь, обострение борьбы за лидерство в мировой экономике часто сопровождается активизацией противоборства и на экономико-теоретическом «фронте». Типичным примером подобного состязания является выход во второй половине XIX столетия на авансцену мировой истории объединявшейся Германии с ее исторической школой экономической теории, бросившей вызов Великобритании, которая являлась цитаделью классической политэкономии, а чуть позднее стала одним из центров зарождавшегося неоклассического экономикса.

Развернутый анализ данных гипотез заслуживает отдельного исследования. Сейчас предлагаем кратко остановиться на следующем положении нашей схемы анализа истории экономической мысли, призванной прояснить природу национальной неравномерности развития ИЭУ, а именно – увязке главенства страны в мировом хозяйстве с технологическим лидерством и отражении этой гегемонии в экономической теории. Для проверки данного предположения мы воспользуемся книгами «100 великих экономистов до Кейнса» и «100 великих экономистов после Кейнса», систематизирующими биографические данные о самых значимых, на взгляд М. Блауга, экономистах, живших в XVII–XX столетиях; знаменитым трудом А. Мэддисона «Мировая экономика: тысячелетняя перспектива», в котором сведены основные статистические показатели развития мировой экономики за 0–1998 гг.; списком крупнейших инноваций за период с X века до начала 1930-х гг., составленным Л. Мамфордом, а также перечнем научно-технологических открытий 1955 г.– начала 2000-х гг., предложенным американским журналом Popular Mechanics.

Если наша догадка окажется верна, то эпоха доминирования отдельных стран в мировой экономике должна как-то соотноситься с количеством «местных» экономистов, попавших в топлист крупнейших ученых по версии Блауга и числом технологических новшеств, созданных на территории данных государств. Проверим данное соображение на примере Великобритании и США, занимавших, соответственно, в XIX и XX вв. лидирующие позиции в глобальной экономике. Кроме того, протестируем его работоспособность на «кейсе» Германии, боровшейся в 1870–1940-е гг. за доминирование в мировом хозяйстве, но потерпевшей неудачу, а также Британии,

окончательно распрощавшейся после Второй мировой войны с короной глобального лидера. Исходя из нашего подхода, следует ожидать, что эти события должны сказаться на положении немецких и британских экономистов в глобальном «табели о рангах». Основные результаты анализа мы свели в таблице 14.

Таблица 14 – Взаимосоответствие лидерства отдельных стран в мировой экономике с технологическими достижениями и положением в глобальной экономической науке

Страна	Период	Место в глобальном хозяйстве	Позиция государства в глобальном фонде важнейших технологических и технико-организационных инноваций	Представительство данной страны в списке наиболее известных ученых по версии М. Блауга
Великобритания	≈ **1750–1950** Эпоха доминирования – «долгий XIX век»[1]	В зените своей экономической мощи в 1870 г. на долю Соединенного Королевства приходилось 9,1% мирового ВВП, что превышало аналогичный показатель ближайшего преследователя США (8,9%) и суммарный результат Австрии, Бельгии и Франции (8,5%)	Из 279 инноваций, созданных за 1755–1933 гг., и вошедших в список Л. Мамфорда, 33% новинок появилось на территории Британских островов	33 из 100 великих экономистов, занимавшихся наукой примерно с середины XVIII по середину XX столетия, творили в Британии
	1950–2000 Адаптация к постимперскому состоянию и постиндустриальная трансформация	За 1950–1998 гг. доля Соединенного Королевства в мировом ВВП упала с 6,5 до 3,3%	Доля британских инноваций в топ-листе из 50 крупнейших открытий за 1955–2002 гг. составила лишь 6%	Число представителей Великобритании в списке 100 величайших экономистов второй половины XX века снизилось до 12[2]
Германия	**1850–1913** Объединение и индустриальный подъем	К 1913 г. удельный вес Германии в мировом ВВП достиг самой высокой отметки за всю историю страны – 8,8%	Немецкие ученые в 1755–1933 гг. создали 12,5% всех технологических изобретений, систематизированных в реестре Л. Мамфорда (35 инноваций)	Среди 100 выдающихся экономистов докейнсианской эпохи доля немецких экономистов составила 15%

[1] В последние годы ученые все чаще раздвигают хронологические границы впервые предложенного Э. Хобсбаумом «долгого XIX века» с 1789–1914 гг. до 1750–1950 гг. См. подробнее: [Burke, 2000].

[2] Если воспользоваться «формальным» списком крупных экономистов, составленным М. Блаугом и Г. Вейном на основе частоты цитирования научных работ, опубликованных в 1990–2000-х гг., то ситуация с присутствием в нем британских экономистов окажется еще более драматичной: всего 5,5% самых упоминаемых экономистов современности (64 из 1 168) были резидентами Соединенного Королевства (рассчитано по: [Blaug & Vane, 2003, p. VIII–IX, 933–934]).

Продолжение таблицы 14

Страна	Период	Место в глобальном хозяйстве	Позиция государства в глобальном фонде важнейших технологических и технико-организационных инноваций	Представительство данной страны в списке наиболее известных ученых по версии М. Блауга
Германия	**1950–1990** От хозяйственного восстановления к второму объединению	Доля ФРГ в глобальной экономике снизилась с 5% в 1950 г. до 4,3% в 1998 г.	В перечне из 50 важнейших инноваций 1955–2002 гг. не нашлось места ни единому открытию немецких ученых	В реестре ста великих современных экономистов нет ни одной фамилии ученого из ФРГ
США	**1950–2000** Американизация глобального хозяйства	В конце XX века удельный вес США в мировом хозяйстве превышал 1/5 глобального ВВП	Во второй половине XX века доля американских изобретений в общемировом объеме технологических инноваций достигла отметки в 72% (36 из 50)	После окончания Второй мировой войны экономисты из США закрепили за собой лидирующее положение в экономической науке, заняв 73 места из 100 в списке М. Блауга

Составлено по: [Блауг, 2005a; Блауг, 2005b; Maddison, 2001, p. 263; Mumford, 1955, p. 438–446; Hutchison, 2005].

К информации, представленной в таблице 14, уместно добавить следующие соображения. В первую очередь отметим, что сформулированная нами в разделе 2.1 гипотеза о взаимосвязи между достижением страной экономического могущества в масштабах глобального хозяйства и доминированием (или по крайней мере высокой значимостью) экономической науки данного государства нашла свое подтверждение. Пока Великобритания последовательно переходила из ранга пионера промышленной революции в «мастерскую мира», а затем в «глобальную империю, над которой никогда не заходит солнце» [Reinert, 1994, p. 8], именно британские политэкономы определяли облик мировой экономической мысли. Таким образом, учитывая, что 1/3 всех великих экономистов «долгого XIX столетия» трудились на территории Британии, известное утверждение «политическая экономия – это английская наука» [Wood, 1994, p. 1] принимает совсем не пафосно-банальное звучание. Пожалуй, только немецкие ученые могли как-то оспорить монополию британцев на экономическое знание в XIX веке. К 1913 г. Германия стала крупнейшей экономикой Европы, обогнав своего главного конкурента – Соединенное Королевство. Стремительное превращение рыхлого скопления разрозненных государств в грозную индустриальную державу сопровождалось не менее впечатляющими успехами немецкой экономической теории. Из 100 наиболее влиятельных экономистов докейнсианской эры 15 были представителями Германии, а если учесть, что среди 16 американских исследователей, чьи фамилии включены в этот же

список, четверо (Дж.Б. Кларк, Э. Селигмен, Ф. Феттер, Р. Эли) продолжительное время учились или получали докторские степени в германских университетах, то след, оставленный «немцами» в ИЭУ XIX столетия, становится еще более заметным. О доминировании США в мировой экономике рубежа второго и третьего тысячелетий, а также в современном экономиксе сказано уже немало. Наш анализ лишь подтверждает эти наблюдения. Небывалая со времен цинского Китая экономическая мощь Соединенных Штатов корреспондирует с поразительным превосходством на экономико-теоретическом «поприще». 73 из 100 экономистов, относимых М. Блаугом к числу наиболее авторитетных послевоенных ученых, работали в США, причем 32,9% (24 чел.) из них оказались удостоены Нобелевской премии[1].

Впрочем, следует признать, что пока наш анализ только подкрепил цифрами интуитивно чувствующуюся взаимосвязь между первенством страны в мировой экономике и успехами экономистов данного государства. Гораздо более значимый результат заключается в том, что данные таблицы 14 свидетельствуют в пользу справедливости и обратного утверждения – выход державы из борьбы за лидерство оборачивается если не превращением ее экономической науки в аутсайдера, то приводит к серьезной утрате позиций в глобальной экономико-теоретической иерархии. В самом деле, если немецкий «провал», когда страна, подарившая миру А. Вебера, Г. Госсена, В. Зомбарта, К. Маркса, Г. Шмоллера, к концу XX столетия оказалась вообще не представлена в списке Блауга, а доля немецких экономистов в рейтинге 1 168 наиболее цитируемых специалистов 1990–2000 гг. составила мизерные 0,4% (рассчитано по: [Blaug & Vane, 2003, p. VIII–IX, 933]), еще как-то можно списать на миграцию в эпоху нацизма лучших кадров за океан, то дать объяснение практически трехкратному снижению представленности британцев в числе «100 великих экономистов после Кейнса» крайне затруднительно. Как известно, Великобританию в первой половине XX века, к счастью, обошли стороной вихри тоталитаризма и пожары кровавых революций, охватившие континентальную Европу. Именно в Соединенном Королевстве находили себе пристанище американские экономисты, спасавшиеся в 1950-е гг. от маккартистских гонений, а в британских университетах, как и прежде, трудились великие ученые, продолжая лучшие традиции экономической мысли. Тем не менее нельзя не заметить, что в послевоенные годы Британия и вместе с ней ее главный конкурент на континенте – ФРГ больше «не являлись глобальными державами» [Henderson, 1979]. Теперь европейцы переключились на строительство государств всеобщего благоденствия и компенсировали утрату «глобального богатства и престижа после коллапса колониальных империй европейской интеграцией» [Gerrits, 2016, p. 43].

Впрочем, отказ от претензий на глобальное лидерство вовсе не привел к катастрофическому удару по позициям Британии, равно как и Германии, в мировом ВВП. Это по-прежнему круп-

---

[1] Рассчитано по: http://seinst.ru/page446; https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/

ные экономики, обеспечивающие жителям высокий уровень жизни. Скорее всего, одного снижения доли страны в глобальной экономике явно недостаточно для утраты главенства в экономической теории. Если мы обратим внимание на четвертый столбец таблицы 14, то сможем увидеть достаточно любопытную картину: лидерство государства в экономической теории и доминирование в глобальном хозяйстве всегда сопровождалось крупными достижениями в технологической сфере и наоборот. Здесь следует отметить важное замечание, сделанное Ю.В. Латовым относительно причин хозяйственной гегемонии отдельных стран. По мнению ученого, государство-лидер эпохи не просто почивает на лаврах, а постоянно «мобилизует свои способности по повышению эффективности использования ресурсов» [Латов, 2007, с. 47] для борьбы с конкурентами. В современной литературе, как представляется, на этот счет сложился определенный консенсус: лучшим способом отражения данных «атак» является создание максимально благоприятной среды для творчества людей, которое рано или поздно выльется в инновационное изобилие, обеспечивающее государству доминирование в мировых делах.

Хорошо известно, что по меркам своего времени Британия XIX века и Германия рубежа XIX–XX столетий неплохо вписывались в шумпетерианский образ идеальных инновационных площадок, «открытых для новейших идей, инноваций и практик, а также толерантных к провокационному или иногда бунтарскому поведению» [Acemoglu, 2013]. Однако отказ от крупных экономических амбиций и превращение, по словам З. Бжезинского, Европы «в де-факто военный протекторат Соединенных Штатов» [Brzezinski, 2001, p. 31] вылилось в снижение конкурентного давления на европейские государства. Это обстоятельство вкупе со становлением в Старом Свете смешанного типа экономики, в котором заинтересованное в поддержании занятости государство старается оберегать хозяйственную систему от ветров «созидательного разрушения», освобождающего капитал от оков «умирающих» фирм, переносящих его в новые сектора экономики, привело к тому, что европейские страны стали специализироваться, преимущественно, на создании не прорывных, а улучшающих инноваций (см. подробнее, например: [Hall & Soskice, 2001]). Главное различие между двумя типами технологических новинок кроется в следующем. Радикальные инновации обеспечивают «основные сдвиги в продуктовых линейках и производственных процессах», тогда как улучшающие нацелены на «немасштабные улучшения в существующих линиях продуктов и производственных процессах» [Taylor, 2016, p. 113].

В чем же связь между типами открытий и степенью влиятельности экономической теории? Настало время вспомнить, что ИЭА, действительно, мало зависит от хозяйственных «декораций». Подлинные аналитические сокровища, как мы уже говорили выше, могут появляться без какой-либо связи с социально-экономической реальностью. Правда, популярными открытия в области экономического анализа делает их применимость к рассмотрению насущных проблем эпохи. Несложно догадаться, что в стране, сделавшей ставку на прорывные инновации, скорее всего, будут

чаще, чем в государствах «улучшающего типа» инновационных систем, происходить структурные изменения, в приоритетном порядке, что называется «от первоисточника» обеспечивающие местных экономистов, находящихся ближе к «эпицентру» разворачивающихся технико-экономических сдвигов, стабильными «поступлениями» фактологического материла для тестирования новых аналитических схем. Кроме того, постоянные штормы «созидательного разрушения», порождаемые внедрением радикальных технологий, формируют спрос на постижение этих процессов со стороны бизнеса и правительства, обычно не скупящихся на финансирование научных изысканий, нацеленных на изучение данных проблем. Наконец, восхождение страны, не боящейся прорывных инноваций, на вершину мирового хозяйства вызывает желание «отстающих» государств заимствовать экономическую теорию победителя технологической гонки, тем самым усиливая ее престиж, как и, от обратного, стимулирует государство-триумфатор к активизации распространения своих экономико-теоретических стандартов, усматривая в их экспорте способ упрочения своего идеологического лидерства (см. подробнее, например: [Morgan, 2001, p. 34–35]).

В этом схематичном описании легко читается образ, например, сегодняшних США, но пока плохо угадываются черты, скажем, современного Китая, превзошедшего Соединенные Штаты по паритетному ВВП, однако при этом остающегося гигантской догоняющей державой, ориентированной на заимствования технологий и обремененной обширным анамнезом институциональных недугов[1], препятствующих запуску «промышленной мутации, …беспрестанно уничтожающей старую хозяйственную структуру и непрерывно создающей новую» [Schumpeter, 1994, p. 83]. Осмысливая опыт государств-лидеров мирового хозяйства на «своих» исторических этапах, можно сделать вывод, что пока экономика страны не страшится шумпетерианских бурь, не перестает быть привлекательным местом для миграции талантов со всего мира, остается родником радикальных инноваций и поощряет креативность своих граждан, ее экономическая мысль будет править «теоретический» бал. Таким образом, с нашей точки зрения, истоки «национальной диспропорциональности» в ИЭУ следует искать в неравномерности социально-экономического развития стран мировой экономики, которая во многом обусловливается их различиями в технико-институциональной сфере.

Более того, на наш взгляд, именно игнорированием значения влияния технико-экономических сдвигов на развитие ИЭУ вызван и третий историографический парадокс, когда одни эпохальные изменения в истории экономической мысли совпадают с какими-нибудь кризисными явлениями, а какие-то нет. Как правило, когда речь заходит об экономических кризисах, то их взаимосвязь с процессами технико-экономических изменений афишируется нечасто, а разговоры о том, что технологические изменения неким образом пересекаются с переменами в экономико-

[1] Перспективы социально-экономического развития КНР более подробно рассмотрены в статье: [Мальцев, 2014b].

теоретической сфере, и вовсе едва ли не считаются вздором. Мы же, напротив, пытаемся озвучить «крамольную» мысль: новые-старые экономические идеи (вспомним, Г. Торнтона, Г. Госсена) проникают в общественное сознание после кризисов, вероятно, связанных с замещением технологий широкого применения (ТШП). Для доказательства этого дискуссионного тезиса предлагаем, помня о гипотезе «инновационной паузы» В.М. Полтеровича, возникающей в ходе запаздывания с передачей «эстафеты» от одной ТШП другой, соотнести примерную хронологию появления «трансформирующих ТШП» [Lipsey et al., 2005, p. 132] с крупными социально-экономическими неурядицами и совместить полученные результаты с основными вехами в развитии ИЭУ. Итоги полученного взаимоналожения сведены в таблице 15.

Таблица 15 – Соотнесение хозяйственных кризисов, замещения технологий широкого применения и сдвигов в экономическом знании[1]

Экономический кризис	Период	Вытесняемые ТШП	Перспективные ТШП	Перемены в экономической мысли
Коллапс бронзового века	≈ 1200–800 гг. до н.э.	Бронза	Железо	Кристаллизация первых экономических идей в древнееврейских и древнегреческих текстах
Стагнация Римской империи	III–V вв.	Железо	Водяное колесо	Появление в трудах раннехристианских богословов экономической проблематики
Кризис позднего Средневековья	XIV–XV вв.	Водяное колесо	Трехмачтовый корабль, книгопечатание	Генезис меркантилистской экономической мысли
Экономический спад	1762−1790	Трехмачтовый корабль, книгопечатание	Паровой двигатель, фабричная система	Закат меркантилизма и популяризация либерального экономического мышления
Финансовый кризис	1847–1848	Паровой двигатель, фабричная система	Железные дороги, металлические пароходы	Закрепление за классической школой экономической теории статуса мейнстрима
«Долгая депрессия»	1873–1896	Железные дороги, металлические пароходы	Двигатель внутреннего сгорания и электричество	Трансформация классической политической экономии в неоклассический экономикс
Великая депрессия	1929–1933	Двигатель внутреннего сгорания и электричество	Система массового производства, автомобили, самолеты	Рождение кейнсианской макроэкономики

[1] Разумеется, до наступления индустриальной эры и появления политической экономии можно говорить лишь о донаучных и крайне медленных изменениях экономического мышления.

Продолжение таблицы 15

Экономический кризис	Период	Вытесняемые ТШП	Перспективные ТШП	Перемены в экономической мысли
Структурный экономический кризис	1970–1980	Система массового производства, автомобили, самолеты	Компьютеры, бережливое производство, Интернет, биотехнологии	Монетаристское «восстание» против кейнсианства
Великая рецессия	2007–2009	Компьютеры, бережливое производство, Интернет, биотехнологии	3D-печать, робототехника, искусственный интеллект, нанотехнологии[1]	Рост интереса к альтернативным направлениям экономической теории, некоторая плюрализация мейнстрима и углубление междисциплинарных связей

Как видим, в эту схему неплохо укладываются и маржиналистская революция, и более ранние перемены в ИЭУ. Очень похоже, что запуск практически всех крупных изменений в области истории экономических учений сопрягается с экзогенными шоками. На наш взгляд, впечатление, будто одни кризисы становятся детонатором изменений в экономической науке, а другие проходят для ИЭУ бесследно, порождены интерпретацией кейнсианской революции как молниеносного переворота в экономическом знании, возникшего в результате воздействия Великой депрессии (см., например: [Johnson, 1975, p. 90]). Такое восприятие влияния кризисов на историю экономической мысли стало своеобразным «эталоном», с которым сверяют другие эпизоды из развития ИЭУ. Естественно, такая трактовка непригодна для описания многих других знаковых событий в истории экономической мысли.

Дело в том, что кризис, возникающий в ходе процессов замещения ТШП, делает своеобразную пробоину в корпусе текущей экономико-теоретической ортодоксии и открывает дорогу «вирусам» идей, ранее не способных самостоятельно пробить толстую броню парадигмы. Однако дальнейший темп изменений в экономической мысли во многом зависит от скорости внедрения новых технологий широкого применения, оказывающих революционизирующее воздействие на хозяйственный ландшафт и вместе с этим высвечивающих все большее несоответствие старой системы экономического мышления новым реалиям, под грузом которых и происходит ее трансформация. Проблема кроется в том, что динамика распространения ТШП разнится от эпохи к эпохе. Скажем, Вторая мировая война стала мощным ускорителем роста таких ТШП, как системы массового производства, автомобили, самолеты. Неудивительно, что к концу 1940-х гг. в от-

[1] В списке Р. Липсея, К. Карлоу и К. Бекара 3D-печать, робототехника и искусственный интеллект не фигурируют в качестве ТШП, но в последнее время все чаще говорится о том, что данные новшества обладают свойствами технологий широкого применения. См., например: http://www.pwc.com/us/en/technology-forecast/2014/3d-printing/features/materials-3d-printing-transformation.html; https://www.brookings.edu/2015/04/27/robots-are-infiltrating-the-growth-statistics; http://www.crassh.cam.ac.uk/blog/post/blog-the-future-of-artificial-intelligence/

раслевых структурах развитых стран окончательно начали доминировать материало- и капиталоемкие отрасли, нуждающиеся в организации постоянной «подкачки» спроса, актуализируя тем самым кейнсианские «рецепты» и ускоряя канонизацию кейнсианства в роли мейнстрима. Более медленная хозяйственная перестройка конца XVIII – середины XIX столетия несколько затянула процесс парадигмализации классической политэкономии. Если от начала завершающей концептуализации кейнсианской теории в «Общей теории занятости, процента и денег» (1936) до ее достижения статуса парадигмы в «Экономике» П. Самуэльсона (1948) прошло 12 лет, то между выходом в свет «Богатства народов» (1776) и «Основ политической экономии» Дж.С. Милля (1848) – 72 года (см. подробнее: [Ананьин, 2012]).

Необходимо также отметить, что кризисы, сопровождающие распространение новых ТШП, не всегда разворачиваются по сценарию катастрофического спада, подобного Великой депрессии, а могут проходить в виде продолжительных рецессий, как это случилось, например, в 1873–1896 гг. Скорее всего, «незаметность» на фоне краха 1929–1933 гг. «долгой депрессии» XIX столетия стала дополнительным аргументом сторонников игнорирования влияния внешних факторов на начало маржиналистской революции. По всей видимости, похожая ситуация случилась и в начале XXI столетия. Спустя почти десятилетие после завершения острой фазы Великой рецессии резонно задаться вопросом о последствиях данного кризиса для экономической теории. Если руководствоваться опытом той же кейнсианской революции, экспертное сообщество должно уже почувствовать признаки каких-то перемен. Чаще всего в этом плане специалисты указывают на все большую дифференциацию мнений представителей мейнстрима по важным теоретическим вопросам и размывание докризисной «монолитности» макроэкономики и финансов [Blanchard, 2014]. Очевиден также рост интереса общественности к гетеродоксальным течениям экономической мысли. Артикулировавшиеся и до событий 2007–2009 гг. призывы переосмыслить экономическую теорию с непременным учетом факторов неопределенности, информационной асимметрии и ограниченной рациональности превратились в достаточно громкий хор голосов, ставящих под сомнение ключевые допущения неоклассического мейнстрима и требующих более реалистичной прорисовки поведения человека. Видные экономисты стали активнее настаивать на необходимости углубления междисциплинарности исследований в области общественных наук. К примеру, «рок-звезда экономической теории» [Moore, 2014] Т. Пикетти утверждает: «Если мы хотим понять базовые факты, которые наблюдаем, необходим подход, который будет тотальным – одновременно экономическим, политическим, социальным, культурным» [Кирчик, 2016].

Все эти изменения можно только приветствовать, тем не менее нельзя не признать, что происходящее в настоящее время некоторое смягчение исходных предпосылок ортодоксального экономикса явно несопоставимо по масштабу с монетаристским «восстанием» 1970-х гг., не говоря уже о маржиналистской или кейнсианской революциях. Робкое движение в сторону «психологи-

зации» неоклассики также не может претендовать на какую-то прорывную новизну[1]. Неудивительно, что у некоторых экспертов по-прежнему сохраняется стойкое чувство неудовлетворенности по поводу состояния дел в «посткризисной» экономической теории. При этом причину явной «недореформированности» экономикса они видят прежде всего в специфике протекания кризиса 2007–2009 гг. Как пишут Д. Коландер и К. Ротшильд, в канун Великой рецессии многие академические экономисты полагали, что «если другая Великая депрессия ударит по мировой экономике, экономическая педагогика изменится точно так же, как она изменилась в 1930-е гг.». Однако этим надеждам не удалось сбыться: по мнению ученых из Миддлберийского колледжа, глубина кризиса конца 2000-х гг. оказалась несопоставима с последствиями Великой депрессии 1929–1933 гг., поэтому экономикс смог «отделаться» лишь косметическими изменениями и избежать более глубокой перестройки [Colander & Rothschild, 2010]. В ответ на такие заявления американским экономистам хочется ответить: «всему свое время». Новые ТШП только начинают трансформацию экономического ландшафта. Учитывая целый ворох проблем, накопившихся в мировом хозяйстве, этот процесс не обещает быть быстрым. Можно лишь предположить, что развитие таких технологий, как, скажем, Big Data откроет новые перспективы для экономического анализа (см. подробнее: [Einav & Levin, 2014]), а реконфигурация глобальной экономики под воздействием внедрения робототехники, 3D-печати и нанотехнологий снабдит экономистов роскошным набором эмпирики для последующего осмысления.

Впрочем, не будем увлекаться футурологией, поскольку, как справедливо говорил английский политик XVII века С.Д. Галифакс, «лучшая черта предсказателя – хорошая память». Поэтому в следующих главах нашего исследования мы, памятуя о главной целевой миссии нашего подхода – воссоединении хозяйственной истории и ИЭУ, как раз сконцентрируемся на рассмотрении эволюции экономической мысли на фоне технико-экономических сдвигов, начиная от Древнего мира и заканчивая событиями 2007–2009 гг. Однако перед этим кратко подведем итоги рассмотрения некоторых проблем историографии экономической науки через призму нашего подхода.

1. Рассмотрению коэволюции ИЭУ и экономической истории помимо инерции позитивистского мышления, отрицающего саму идею исторической изменчивости законов экономики, а также постмодернистских негодований относительно поисков причинно-следственных связей между какими бы то ни было явлениями препятствует ряд крупных историографических преград. К числу главных из них можно отнести проблему асинхронности развития истории экономических учений и хозяйственной реальности, феномен неравномерного представительства ученых разных стран в ИЭУ, парадокс «иммунитета» одних эпохальных перемен в экономической мысли

[1] Ряд специалистов полагает, что поведенческая экономика вовсе не является альтернативой неоклассике, а представляет собой «продолжение или приложение к теориям мейнстримной economics» [Diacon & Calance, 2014, p. 75].

к влиянию кризисов и подверженность их влиянию других. Существующие попытки решения данных противоречий, как правило, сосредоточены на изучении особенностей проявления этих загадок применительно к отдельным эпизодам в развитии ИЭУ и не могут дать удовлетворительное объяснение их глубинной природе.

2. Доминирующее к настоящему времени объяснение проблемы «рассогласованности» экономической теории и практики представлением экономистов в виде не рефлексирующих о действительности лунатиков, блуждающих по лабиринтам математических замков, вряд ли может помочь пониманию причин «опоздания» Дж.М. Кейнса с написанием «Общей теории» к началу Великой депрессии или, напротив, мотивов «преждевременного» открытия Г. Госсеном основных положений теории предельной полезности. Красивая и во многом верная интерпретация американизации экономической теории XX века миграцией в США сливок европейского сообщества экономистов, разработавших за океаном удивительно привлекательный экономико-математический язык, очаровавший послевоенное поколение ученых, не способна дать объяснение факторам, обусловившим окрашивание политической экономии XIX столетия в цвета «Юнион Джек». Попытки, абстрагируясь от хозяйственного контекста, мерить аршином «быстрой» кейнсианской революции другие судьбоносные перемены в экономическом знании, приводят к неверным заключениям о независимости важнейших изменений в ИЭУ от хозяйственных перемен.

3. Предлагаемый нами подход позволяет по-другому взглянуть на проблему разноскоростности развития экономической мысли и социально-экономической практики, которая, в первую очередь, вызвана отсутствием четкого понимания различий между мало связанной с социально-экономическими вызовами ИЭА и контекстуально наполняемой ИЭМ. Проведенный анализ показал прочную связь между ИЭМ и хозяйственной средой, прерываемую только в ходе достаточно крупных экзогенных шоков, когда на их фоне в докризисную экономическую науку начинают проникать прежде игнорируемые в течение многих десятилетий аналитические открытия. По мере нормализации хозяйственной обстановки происходит канонизация обновленной парадигмы экономического мышления, инкорпорирующей в себя «новые-старые» открытия в области ИЭА, которая вновь сопрягается с реальностью.

4. «Национальная диспропорциональность» ИЭУ, с нашей точки зрения, является не следствием превосходства экономического «языка» некой страны, а порождением ее технико-экономической мощи, находящем отражение в постоянной генерации большого количества радикальных инноваций, запускающих мотор регулярных структурных изменений. Необходимость постижения последних создает крупный социальный заказ на их осмысление экономистам, тем самым, являясь мощным ускорителем развития экономических исследований. Это обстоятельство вкупе с активной пропагандой «своих» достижений в сфере экономической мысли, а также стремлением «догоняющих» стран приобщиться к экономико-теоретическим наработкам лидера

глобального хозяйства в еще большей степени упрочняет авторитет экономического учения государства-гегемона.

5. Встраивание в историю экономической мысли технико-экономического фактора, взятого в историческом контексте, дало возможность установить, что детонатором большинства крупных изменений в ИЭУ являлись кризисы, вызванные промедлением с вытеснением морально устаревших технологий широкого применения новыми ТШП. Такого рода хозяйственные расстройства выступают в качестве ключа, отпирающего ранее закрытую дверь в здание прежней экономико-теоретической парадигмы для не вписывающихся в данную ортодоксию экономических идей. Последующая динамика трансформации экономической науки во многом зависит от интенсивности распространения новых ТШП, преображающих все стороны жизнедеятельности общества и одновременно вскрывающих растущее количество противоречий между «докризисной» системой экономических взглядов и меняющейся хозяйственной средой, тем самым способствуя формированию новой теории.

Глава 3. Особенности изменения экономических представлений в доиндустриальном и раннеиндустриальном мире

3.1. Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья в контексте изменений технико-экономических условий хозяйствования[1]

В принципе, в современной экономической литературе устоялось представление о том, что экономическая наука возникла в XVIII столетии. По мнению многих известных специалистов, приобретением статуса «признанной области научного знания» экономическая наука обязана работам Адама Смита (см., например: [Hunt, 2002, p. 3]). Разделяя эту позицию, Й. Шумпетер одновременно указывал на то, что «…зачатки экономического анализа… оставили прародители нашей культуры – древние греки… Их экономическая наука является ключом ко всем последующим трудам» [Шумпетер, 2001, т. 1, с. 64, 181]. Итак, попытаемся для начала кратко восстановить историческую канву, обратившись к истокам.

Прежде всего уточним ключевые характеристики тогдашней хозяйственной среды. Пожалуй, главная ее особенность заключалась в том, что устойчивое развитие древнегреческого хозяйства сдерживалось низким естественным плодородием почв, не обеспечивавшим потребностей быстро увеличивавшегося населения [Bryant, 1996, p. 27]. Так, за VIII–IV вв. до н.э. население Греции возросло с 0,8 млн до 10–13 млн чел.[2], в то время как производство зерна в Аттике обеспечивало лишь 25% внутренней потребности самого густонаселенного полиса данного региона – Афин [Ober, 1985, p. 25]. Закономерно, что древнегреческим полисам приходилось прибегать к массированным закупкам продовольствия в Египте, Крыме и Сицилии [Fine, 1983, p. 95]. Например, доля импорта в структуре потребления зерна Афин варьировала от 50 до 80% [Duiker & Spielvogel, 2008, p. 88]. В этих условиях обеспечение продовольственной безопасности превратилось в краеугольный камень хозяйственно-политической жизни Древней Греции. Реализация соответствующей политики осуществлялась в ходе начавшейся в VIII веке до н.э. «агроколонизации» территорий современной Италии, Черноморского региона, позднее – Северной Африки и подкреплялась стимулированием внутреннего производства продовольствия и наращивания экспорта оливкового масла и различных вин.

Естественно, что экономическая мысль эпохи античности концентрировалась вокруг решения этих стратегических задач. Одним из первых греческих ученых, затронувших хозяйственные

---

[1] Данный параграф базируется на отдельных разделах монографии: [Мальцев, 2014g]. Некоторые части этого раздела вошли в статью: [Мальцев, 2011a].

[2] http://upge.wn.com/?t=ancientgreece/index2.txt

вопросы, стал Гесиод (VIII–VII вв. до н.э.). В его поэме «Труды и дни» основным, говоря современным языком, гарантом обеспечения продовольственной безопасности рассматривалось среднее домашнее хозяйство, которое, помимо удовлетворения потребностей семьи в пище должно производить прибавочный продукт, а залог достижения самообеспеченности – идеал хозяйствования на неплодородных землях Аттики – автор видел в утверждении незыблемости частной собственности земледельца [Rehmke, 1997, p. 1–3] и развитии конкуренции между частными хозяйствами, которая «способна понудить к труду и ленивого даже…» (цит по: [Павленко, 2014, с. 241]).

Эти теоретические изыскания преломились в практике. Дело в том, что в начале V столетия до н.э. бóльшая часть домашних хозяйств имела скромный размер в 3,6–5,2 га, тогда как минимальной площадью земельного участка, делавшей экономически целесообразным использование, например, тягловых животных, по расчетам современных авторов, могли считаться 4,3 га (рассчитано по: [Ober, 1985, p. 21–22]). На отставании «продовольственной» динамики от темпов роста населения элементарно сказывалась нехватка пахотнопригодных земель. Другой, характерный для эпохи античности экстенсивный источник расширения производства – покупка рабов – для среднего домохозяйства представлялся обременительным по ценовому фактору. Например, в IV веке до н.э. стоимость одного раба равнялась расходам среднего домохозяйства на пшеницу за 19 месяцев, или цене 16–20 овец, «не требовавших» пропитания [Gallant, 1991, p. 33]. Поэтому для повышения производительности афинского сельского хозяйства Солон (ок. 638–558 до н.э.) аннулировал долги небольших домохозяйств, наложил запрет на долговое рабство, ввел специальные законы, препятствовавшие вывозу всех продуктов питания, за исключением оливкового масла [Molina, 1998]. Эти меры своим острием направлялись на создание слоя средних землевладельцев, способных гарантировать надежный продовольственный «тыл» и, соответственно, сдержать монополизм крупных землевладельцев, форсированным экспортом зерна обострявших дефицит внутри полиса и создававших предпосылки для взвинчивания цен [Engen, 2004].

Дальнейшее обоснование приоритетности развития частных хозяйств как базы самодостаточности городов-полисов и утверждения их средиземноморского могущества получило в трудах Демокрита (460–370 до н.э.), Сократа (469–399 до н.э.), Ксенофонта (444–356 до н.э.), Платона (430–347 до н.э.) и Аристотеля (384–322 до н.э.). Однако их работы выгодно отличались уходом от идеи ортодоксальной автаркии домашнего хозяйства и его самообеспеченности к интуитивному осознанию преимуществ разделения труда, которое «вызвано разными физическими данными и навыками людей… и, следовательно, …разные люди должны делать качественно разную работу» [Michaelides et al., 2005, p. 12]. Эти размышления привели Демокрита к принципиальному выводу о том, что «человек не должен заниматься всеми занятиями, а только теми из них, которым он соответствует» [Karayiannis, 1988]. В свою очередь, Сократ говорил: «Специализация выгодна,

мы все не одинаковы, среди нас много людей с разными физическими способностями, которые подходят к разным занятиям» [Evers, 1980, p. 45]. Его ученик Ксенофонт высказал гипотезу, согласно которой крупный полис отличается от малого тем, что предоставляет своим жителям больший спектр выбора рода занятий, что «придает продуктам как лучшее качество, так и увеличивает их количество». Еще один последователь Сократа Платон предположил, что появление городов-полисов связано с процессами последовательного разделения труда и экономии на торговых издержках [Guan-Zheng, 2005, vol. 1, p. 5–6]. Более того, он первым экстраполировал свой анализ на «меж-городской» уровень, справедливо отмечая, что «из-за географических различий в природе… найти место, где ничего не надо импортировать, почти невозможно» (цит. по: [Evers, 1980, p. 46]). Несколько иной точки зрения придерживался Аристотель, считая, что реализация основной задачи хозяйственной политики – обеспечение самодостаточности полиса – возможно лишь через «разделение труда [правда, в рамках полиса] в соответствии с человеческими навыками и способностями»[1].

Эволюция взглядов античных философов коррелировала с изменением хозяйственных реалий. Быстрый рост населения Древней Греции делал невозможным решение задачи самообеспечения по зерну, не прибегая к импорту. Выход из сложившейся ситуации удалось найти в Малой Азии, откуда в V–IV вв. до н.э. в Грецию завезли улучшенные сорта оливковых деревьев и винограда, что вкупе с освоением технологии окулировки позволило путем селекции вывести наиболее стойкие сорта плодовых деревьев, пригодных к выращиванию в более жестком климате Пелопонесского полуострова. При этом содержание масла в оливке с одомашненного дерева превосходило содержание масла с дикого – в 10 раз [Moreno, 2007, p. 66]. Быстро воспользовавшись плодами данной «агроинновации», древние греки смогли наращивать импорт пшеницы, компенсируя его прирост увеличением экспорта оливок и вина. Но главное заключалось в том, что отстаивавшаяся мыслителями античности идея разделения труда обернулась конкретными взаимосвязанными практическими результатами: «выращивание винограда и оливковых деревьев простимулировало [фактически стало причиной появления] класс торговцев… усилить свое присутствие… по всему Восточному Средиземноморью» [Lockard, 2008, vol. 1, p. 163]. Необходимость транспортировки все возраставших объемов масла и вина, что называется, «по цепочке» потребовала опережающего развития кораблестроения, а также гончарного дела (в среднем на борту торгового судна находилась 1 тыс. амфор, используемых для транспортировки зерна, масла и вина[2]). Вот почему трудно не согласиться с К. Мюндлигером: «Греция при помощи этой торговли и экс-

[1] Aristotle’s Politics Book II Summary and Analysis. URL: http://www.gradesaver.com/aristotles-politics/study-guide/section2/

[2] http://www.mlahanas.de/Greeks/Pottery.htm

порта [оливкового масла] стала главной сверхдержавой Средиземноморского региона…» [Mundliger, 2002].

Поразительно, но экономическая составляющая трудов древнегреческих философов во многом повторялась в рассуждениях их китайских современников. Особенно примечательно созвучие с идеями конфуцианской и легистской научных школ. Так, одной из отличительных черт экономической составляющей конфуцианского учения выступала увязка процветания государства с благосостоянием собственного народа, которое, в свою очередь, основывается на опережающем развитии земледелия [Long, 2003, p. 44]. На эту особенность одним из первых обратил внимание древнекитайский государственный деятель Фан Ли (р. 517 г. до н.э.) в своей работе «Об обогащении государства», предложивший на основе взаимодействия и борьбы противоположностей инь и ян, следования календарю и наблюдения за природными явлениями набор мер, призванных помочь крестьянам повысить урожайность и, тем самым, увеличить богатство государства. Представители конфуцианской школы – Мэн-цзы (390–305 гг. до н.э.), а позднее Ксун Дзи (312–230 гг. до н.э.), по аналогии с Демокритом и Платоном, обнаружили преимущества разделения труда. «Это просто невозможно, – указывал Мэн-цзы, – делать и выращивать все, что нужно каждому» [Birdwhistell, 2007, p. 48]. Ксун Дзи выделил две разновидности труда – интеллектуальный и физический [Guan-Zheng, 2005, vol. 1, p. 6], и при этом указал на то, что подобная «иерархия не только совместима с хозяйственной эффективностью, она необходима для нее» [Goldin, 1999, p. 76].

В отличие от конфуцианцев, ратовавших за «дозированное» государственное вмешательство в хозяйственные вопросы, легисты настаивали на необходимости укрепления роли государства во всех областях общественной жизни. Впрочем, обе философские школы придавали особое значение развитию земледелия. «От чего зависит возвышение стран?» – задавался вопросом один из основателей легизма Шан Ян (390–338 гг. до н.э.) и сам отвечал на него следующим образом: «от победы в земледельческой борьбе» [Wen-Hsin, 2007, p. 223]. В целом последователи данной научной школы выступали сторонниками аграрных преобразований – приватизации государственных земель и создания небольших семейных ферм, признанных, как и в Древней Греции, основой продовольственной безопасности.

Кажущаяся невероятной, на первый взгляд, синхронизация воззрений древнегреческих и древнекитайских мыслителей во многом объясняется общностью социально-экономических вызовов. Так, в китайской истории период с 770 по 221 г. до н.э., получивший название «Весны и осени» (770–476 гг. до н.э.) и эпохи Сражающихся царств (475–221 гг. до н.э.), характеризовался чередой перманентных междоусобных войн между древнекитайскими царствами и необходимостью постоянного отражения набегов варварских племен. В этих условиях перед властями царств, претендовавших на лидерство, вставала двуединая стратегическая задача: с одной стороны, согласно известной конфуцианской максиме «еда – Бог человека», обеспечить достаточное количе-

ство продовольствия с целью предотвратить вооруженные восстания внутри страны, а с другой – реализовать легистскую идею трансформации крестьянства в разряд землепользователей как источник налогообложения и рекруто-обеспечения государства [Gang, 1999, p. 125, 140]. Реализация данных целеустановок решалась, естественно, разными методами. Можно привести в пример Гуан Чонга (730–645 гг. до н.э.), главного министра царства Ци, который в 685 г. до н.э. ввел принципиально новую систему налогообложения, где отчисления в казну дифференцировались в зависимости от плодородия почв, что, по мнению экспертов, стало первым шагом на пути к феодальной земельной ренте [Killion, 2006, p 31]. Эту хозяйственную практику продолжил Шан Ян, сочетавший занятия философией с работой в должности политического советника правителя царства Цинь. В 359–358 гг. до н.э. им проведена серия реформ, направленных на стимулирование наращивания сельскохозяйственной продукции через демонтаж системы общинной собственности на землю и превращение небольшого семейного земельного надела в основной объект налогообложения, освобождение от податей «сельскохозяйственных» мигрантов, переселявшихся в Цинь из других регионов, укрепление института частной собственности. Кроме того, на вновь завоеванных территориях власти создавали особые военно-крестьянские колонии, которые за государственный счет снабжались семенами, животными и инвентарем. По мере дальнейшего расширения территории царства их зачастую передавали в собственность выходившим в отставку солдатам [Deng, 2003]. Результатом последовательных преобразований стало появление государственно-крестьянского альянса – так называемой агрократии [Gerlach, 2005, p. 28], обеспечившей объединение Китая под эгидой царства Цинь в 221 г. до н.э.

Следующей рубежной точкой в развитии экономической мысли стал V век нашей эры, вобравший в себя зарождение раннефеодального строя и падение Западной Римской империи.

Последствия этих крупных социальных катаклизмов нашли отражение в работах раннехристианских мыслителей. Среди них особое место занимают труды Иоанна Златоуста, Василия Великого, Святого Иеронима, Немесия Эмесского, Тита Бострийского, Григория Нисского, Святого Августина и др.

Здесь, правда, резонно задать напрашивающийся вопрос о выпадающем из канвы разговора без малого 800-летнем периоде расцвета и угасания Древнего Рима. Однако все вполне объяснимо. С точки зрения институциональных новшеств, равно как и в плане появления технико-технологических инноваций, принципиальных сдвигов по сравнению с древнегреческим периодом не наблюдалось (подробнее см., например: [Spiegel, 1991, p. 39]). Наверное, лучшую характеристику состоянию экономической мысли древнеримского периода дал Й. Шумпетер: «…достойные правители и плеяда блестящих генералов и администраторов вокруг них могли бы найти применение своим умственным способностям. Но ничего подобного не происходило – ничего, помимо выры-

вавшихся время от времени стонов о плохом торговом балансе империи или о том, что latifundia predidere Italiam (латифундии погубили Италию)» [Шумпетер, 2001, т. 1, с. 83].

Перейдем к характеристике хозяйственной среды раннего средневековья. Как известно, крах Западной Римской империи и появление в V–VIII столетиях на ее обломках варварских королевств положили конец господству сердцевины античного общества – рабовладельческого типа хозяйства. Данный социально-экономический переворот произошел под воздействием захвата территории Римской империи варварскими племенами с последующей раздачей вождями племен завоеванных земель дружинникам и, соответственно, усилением позиций землевладельческой знати. С точки зрения специалистов, именно появление новой социальной иерархии, когда за военную службу вассал получал от сеньора земельный надел с прикрепленными к данным участкам крестьянами, принципиально отличало эпоху феодализма от Античности [Anderson, 1996, p. 147]. Как итог, «мелкое свободное земледелие, мирно просуществовавшее в течение восьми веков со времен Цезаря и Тацита, …было почти без остатка поглощено вновь возникшими крупными поместьями» [Кулишер, 2004, кн. 1, с. 77].

Причины, заставившие элиту варварских государств пойти на этот шаг, лежали на поверхности. Например, на рубеже VII–VIII столетий королевству франков приходилось практически одновременно отражать атаки фризов и саксов, а также вести междоусобные войны с алеманами, баварцами и аквитанцами. Необходимость иметь под рукой достаточное количество хорошо вооруженных воинов вынудила Пипина Геристальского (635–714), а позднее его сына Карла Мартелла (686–741) начать передачу земель своим вассалам, требуя взамен от одаряемых несения армейской службы в войсках в течение примерно 40 дней в году [Ganshof, 1964, p. 16; Duiker & Spielvogel, 2008, p. 339]. В свою очередь, появление института вассалитета совпало с выходом на авансцену тяжеловооруженной кавалерии, оснащенной стременем, постепенно вытеснившей пехоту в качестве основной ударной силы раннесредневековой армии [Оганесян, 2009, с. 11–12]. Однако быстро разраставшиеся кавалерийские части требовали для своего обеспечения все бóльших ресурсов. Например, в середине VIII века стоимость полного военного обмундирования рыцаря равнялась 20 быкам, а боевой конь и меч обменивались на целое поместье с обитателями [White, 1962, p. 29].

Здесь необходимо сделать важное уточнение. Де-юре на вершине феодальной лестницы находился король, которому подчинялись светские и духовные феодалы. Де-факто крупные землевладельцы существовали автономно от монарха, имея право объявлять войну, вершить суд и даже чеканить собственные деньги [Всемирная история, т. 3, с. 167]. В такой конфигурации единственным институтом, способным скрепить рыхлую социально-экономическую структуру средневековой Европы, стала церковь, которая за V–X столетия с распространением системы монастырей на все пространство Западной Европы не только укрепила свои мировоззренческие пози-

ции в обществе, но и мобилизацией земель «через привлечение под свою защиту разоряемых феодальными войнами и захватами крестьян» [БСЭ, т. 44, т. 96] превратилась в крупнейшего феодала, контролировавшего около 1/3 всей европейской пахотной земли [Всемирная история, т. 3, с. 271]. Став крупным землевладельцем и обретя «практически полную монополию на знания» [Шумпетер, 2001, т. 1, с. 94], церковь начала закладывать теоретический фундамент под процессы «первоначального накопления земель» [БСЭ, т. 31, с. 771] и отстраивать хозяйственно-политическую доктрину, способную поддержать хрупкое социальное равновесие в средневековом обществе.

В принципе, в литературе прочно укоренилось представление о том, что экономические воззрения представителей первых столетий нашей эры концентрировались вокруг единственной идеи осуждения богатства и стремления к обогащению. Чаще всего сторонники подобной аргументации апеллируют к известному высказыванию апостола Павла: «Корень всех зол есть сребролюбие», получившему окончательное оформление в последующих трудах средневековых богословов. В самом деле, при прочтении работ идеологов раннего христианства не может не привлечь внимание странная, на первый взгляд, неприязнь к любой деятельности, нацеленной на извлечение прибыли. «Источник всех бед, – писал известный теолог Иоанн Златоуст (ок. 349–407), – избыток и желание иметь больше, чем нам необходимо». Ему вторил Василий Великий (ок. 330–379): «Ваши алчные желания делают вас бедными». Схожие идеи отстаивали Григорий Нисский (ок. 335–394) и Тит Бострийский (ок. 362–378), подчеркивавшие, что накопление богатства «связано с алчным поведением, которое является причиной несправедливости и греха». Эту мысль заострил другой христианский философ Немесий Эмесский (р. 390), утверждавший, что «человек должен гнаться за целомудрием, а не богатством, которое безнравственно».

Вместе с тем, с нашей точки зрения, опрометчиво отождествлять проповедь отцов церкви против богатства с идеями уравнительности и тем более его отрицания. Впрочем, сам Иоанн Златоуст предостерегал от такой упрощенной трактовки: «…я порицаю не богатых, а жадных: богатство это одна вещь, а скупость – совсем другая. Учитесь различать явления и не смешивать то, что не должно быть смешано» [Karayiannis, 1994, p. 40, 41, 43]. Примечательно, что не меньшему порицанию, чем накопительство, предавалась бедность, которая, с точки зрения отцов церкви, выступала непреодолимым барьером для нравственного совершенствования человека [Lowry & Gordon, 1998, p. 185]. Однако за философскими рассуждениями о необходимости перераспределении доходов через благотворительность и пропаганду альтруистического поведения вновь стояли насущные политико-экономические задачи Средневековья. Дело в том, что среднедушевой ВВД в Европе снизился с 633 дол. (Римская империя, 14 г. н.э.) до 533 дол. (Византия, 1000 г.) [Milanovic et al., 2011, p. 261], а коэффициент Джини, напротив, превысил отметку 0,4 [Scheidel, 2017, p. 448]. В условиях нараставшей социальной поляризации, наслаивавшейся на скудность

располагаемых ресурсов, первостепенное значение приобретал вопрос разграничения «праведных» и «неправедных» доходов.

Диалектика развития научной мысли рассматриваемого подэтапа заключалась в следующем. С одной стороны, жесткой обструкции подвергалась практически любая попытка спекуляции и завышения цен на сельскохозяйственные продукты. «Не ждите дефицита пшеницы, чтобы открыть свои житницы, – писал Василий Великий. Не наживайте золота на голоде, также как не пользуйтесь повсеместной нищетой, чтобы копить богатство» [Karayiannis, 1994, p. 42]. С другой стороны, тем, кто занимался накоплением и приумножением богатства, противопоставлялись те, кто тратил его на благотворительность и жертвовал в пользу церкви. К примеру, монах-бенедектинец Амвросий Аутперский (ок. 730–784) задался следующим вопросом: «Что может быть более ценным для нашего Создателя, чем наша душа? Возможно, наши дары (dona)?» [Angenendt, 2008, p. 132–133]. Спустя столетие эта гипотеза получила свое теологическое оформление в наиболее распространенной епитимии Excarpsus Cummeani, подразумевавшей в качестве основной нравственно-исправительной меры, налагавшейся на христианина, передачу земли церкви [Davis & McCormick, 2008, p. 139; Oakley, 1923, p. 202]. Кроме того, несмотря на запрет на кредитные операции – «деньги не могут производить деньги» [Moshenskyi, 2008, p. 76], католическая церковь нашла элегантный способ обойти данное препятствие. В обмен на предоставление денежных средств феодалам вместо взимания процента церковь и монастыри брали в залог земельные участки и недвижимость по специальным договорам – mort-gage и vif-gage, по условиям которых заимодавец становился обладателем всей сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на участках заемщика, и собственно недвижимости [Kibler & Zinn, 1995, p. 380]. Как итог, церковь сконцентрировала в своих руках колоссальные экономические ресурсы. Для более полного представления особенностей социально-экономического развития в период раннего Средневековья следует учитывать важнейшую его отличительную черту – расстройство денежного хозяйства. Это в еще большей степени увеличивало ценность земли, превратив ее в основной источник хозяйственной мощи и политического могущества.

При этом было бы неверно интерпретировать процессы «первоначального накопления земель» церковью как исключительно экстенсивный процесс. Напротив, монастыри, сконцентрировав в своих руках мощный земельный кулак, выступали активными проводниками технологических инноваций. Уже на рубеже IX–X столетий по инициативе монастырей началось активное внедрение водяных мельниц для производства муки, а также приведения в движение водяного молота и выпуска бумаги [White, 2008, p. 19; Malanima, 2010, p. 13]. Именно церковные феодалы одними из первых начали использовать и расширять применение новой системы сельскохозяйственного производства, вызванной изобретением в VI столетии тяжелого плуга, исключившего поперечную вспашку, внедрением в VIII веке трехпольного севооборота, началом использования

на стыке IX–X вв. подков и хомутов, увеличивших тяговое усилие лошади на 300–400% и появлением двойной упряжи, позволившей впрягать в упряжку большее количество животных [White, 2008, p. 15, 19, 32].

Оценить кумулятивный эффект от данных агротехнических инноваций достаточно сложно. Можно, в частности, отметить, что только постепенная замена быков подкованными лошадьми в качестве тяговых животных позволила увеличить произодство сельскохозяйственной продукции на 30% [Butler, 2007a]. Гораздо важнее, на наш взгляд, указать на то, что в полном соответствии с теорией П. Байроша, объяснявшей генезис городов ростом сельскохозяйственного производства [Bairoch P, 1988, p. 94], в Средневековой Европе начинают появляться первые торговые города. Но и эти процессы происходили при непосредственном участии церкви. Несмотря на устоявшуюся в средневековой общественно-экономической мысли взаимосвязь между торговлей и обманом: «торговля опасна для души, – писал Иероним Стридонский (342–419), – ибо едва ли обходится без обмана», церковь фактически монополизировала ведение торговых операций. Именно под ее покровительством, в увязке с религиозными праздниками и паломничествами к христианским святыням возникают первые ярмарки и рынки. Например, по данным И.М. Кулишера, в Германии вплоть до конца XII столетия 90% всех грамот, санкционировавших организацию рынков, предоставлялись духовенству.

В таком контексте нет ничего удивительного в том, что «важнейшие торговые города Средневековья… приобрели свое торговое значение благодаря тем святым, которые там почитались и вызывали пилигримство из отдаленных мест в находившиеся здесь монастыри» [Кулишер, 2004, кн. 1, с. 127, 128]. Среди них особое место занимали северо-итальянские города, которым удалось открыть такие дополнительные источники обогащения, как снабжение Крестовых походов продовольствием и оружием, а также перевозка крестоносцев на Святую землю [Lane, 1973, p. 36, 37]. Коммерческие успехи Северной Италии опирались на соответствующее технологическое обеспечение. В частности, венецианцам удалось значительно усовершенствовать конструкцию морских кораблей, начав в XI–XII вв. строительство весельных галер, оснащенных компасом и песочными часами, что позволило наладить круглогодичную навигацию и первыми завезти с Востока технологии переработки шелка, хлопка и варки стекла [Maddison, 2001, p. 19, 23]. В своей совокупности технико-технологические новшества дали импульс развитию банков и кредитных операций в итальянских городах, но, главное, способствовали углублению разделения труда, выразившемуся в появлении кустарной промышленности и возникновении ремесленных цехов.

Таким образом, те хозяйственные «пороки» – торговля, процентные операции, накопление, с которыми пыталась бороться раннесредневековая экономическая мысль, к XIII веку стали принимать все бóльшие размеры. Самое примечательное, что хозяйственная деятельность самой церкви начала противоречить собственным догматам. Например, появившийся в XII столетии

монашествующий орден тамплиеров стал едва ли «не крупнейшим банковским учреждением Европы» – кредитором Крестовых походов и управляющим королевской казной и поместьями Франции. Стремительное развитие товарообменных операций Европы с исламским миром противоречило формальному запрету католической церкви на торговлю с «сарацинами» [Кулишер, 2004, кн. 2, с. 398, 305–306]. В довершение всему «налоговая система, которую римская курия развивала в особенности начиная с XIII столетия, послужила причиной выделения итальянского купечества в качестве верхнего слоя группы могущественных международных банкиров» [Зомбарт, 1994, с. 181–182].

Естественно, что общественно-экономической мысли в очередной раз пришлось адаптироваться к изменяющимся хозяйственным реалиям. Так, в XI–XII столетиях в рамках католического теолого-философского канона в доминирующее направление постепенно выделилась схоластическая школа. «Экономическая» составляющая данной доктрины базировалась на идее поощрения прилежания (industry), бережливости (frugality) и честности в ведении дел (honesty). Например, святой Антонин Флорентийский (1389–1459) писал: «Праздношатающийся грешит, потому что он расточает время, это драгоценнейшее благо…» (цит. по: [Зомбарт, 1994, с. 185]).

Одновременно схоласты ушли от раннесредневековой трактовки частной собственности как уклонения от естественного состояния агарного коммунизма. Так, авторитетный представитель поздней схоластики Луис де Молина (1535–1600) выдвигал следующие аргументы в пользу частной собственности: «Если вещи будут общими, …они будут плохо возделываться и управляться. Добродетели милосердия, щедрости, радушия и великодушия будут невозможны в мире, лишенном частной собственности». Ему вторил профессор теологии из Лувена Леонард Лессий (1554–1623): «Разделение земель не только допустимо, но и выгодно для человечества. Без частной собственности… о вещах (things) будут плохо заботиться и мир между людьми будет невозможен» (цит. по: [Chaufen, 2003, p. 36, 37]).

Для канвы нашего разговора принципиальное значение имеет еще одно наблюдение. Если в раннем Средневековье идеалом мироустройства и основной хозяйственной единицей выступало замкнутое поместье, то начиная с XIII столетия хозяйственная жизнь перерастает его рамки и сосредоточивается в городе. Параллельно происходит постепенное отделение ремесла от земледелия и сращивание с торговлей в пределах городского округа. Естественно, что такое развитие событий потребовало от общественно-экономической мысли кардинальной ревизии отношения общества к торговле и личному обогащению. Скажем, один из крупнейших представителей схоластической школы Фома Аквинский (1225–1274) не только не выявил ничего греховного в торговой прибыли, но и указал, что «едва ли можно найти город, который в состоянии обойтись без привоза съестных припасов, …торговля нужна и для продажи тех товаров, которые имеются в городе в избытке» (цит. по: [Кулишер, 2004, кн. 2, с. 406]). Испанский теолог-иезуит Хуан де Ма-

риана (1536–1624), развивая эти мысли, доказал, что «личная заинтересованность естественна для всех живых существ. Если обмен товарами будет отменен, …общество не сможет существовать, и все мы будем жить в нищете и страданиях» (цит. по: [Chaufen, 2003, p. 35]).

К концу средних веков претерпело изменение и учение церкви о кредите. Хотя формально положение о недопустимости взимания ссудного процента по-прежнему оставалось в силе, оно получило серьезную корректировку. Так, схоласты выделили два вида процентных операций: денежная ссуда (ratio mutui) и помещение капитала (ratio capitalis). Если первый из них не допускался – «человек не должен продавать того, что не получил» (цит. по: [Кулишер, 2004, кн. 2, с. 407]), то второй, напротив, получал одобрение со стороны церковных авторитетов. «Прибыль на капитал во всяком виде дозволена, – указывал Антонин Флорентийский, – вытекает ли она из торговых дел, или она извлекается из транспортного страхования, или путем участия в предприятии, или как-нибудь еще». В такой трактовке можно согласиться с В. Зомбартом, полагавшим, что основной целью схоластов выступала необходимость «возбудить предприимчивость… Деньги одни, понятно, бесплодны, но „industria“, предпринимательский дух оплодотворяет их, и они приносят тогда правомерную прибыль» [Зомбарт, 1994, с. 191].

Наконец, схоласты, отображая жизнь средневекового города с его социальной иерархией, постепенно отказались от прежнего учения о всеобщем равенстве. Так, идее Фомы Аквинского – «подняться выше своего сословия грешно, ибо разделение на сословия установлено Богом» – позднее оппонировал известный богослов кардинал Томмазо де Вио (1469–1534): «Тем людям, которые выделяются из массы благодаря особым дарам, …по праву подобает господство над другими, хотя они и не господа» (цит. по: [Зомбарт, 1994, с. 191, 189]). В переводе на экономический язык это означало, что отныне лица, стремившиеся к обогащению благодаря своему труду, интеллектуальным способностям и предпринимательским навыкам, могли заниматься накоплением капитала без опаски получения церковного порицания. Неудивительно, что столь разные ученые, как В. Зомбарт, Й. Шумпетер, К. Маркс [Ebner, 2006], тем не менее сходились в том, что истоки капитализма берут начало в XII–XIV вв.

Подведем итоги.

1. Анализ развития экономической мысли античного общества указывает на ее «практико-ориентированный» характер, нацеленный на решение задачи наращивания производства и надежного снабжения необходимым продовольствием населения. Древнегреческие философы одними из первых обратили внимание на необходимость стимулирования разделения труда, поддержания конкуренции и гарантии прав собственности как наиболее надежных механизмов обеспечения аграрной безопасности.

2. Определенное сходство экономических идей древнекитайских и древнегреческих мыслителей объясняется единством представления о тождественности благополучия государства благо-

состоянию населения, зиждущемуся на опережающем развитии земледелия. Стремление предотвратить перебои в снабжении продовольствием в условиях постоянных междоусобных войн, а также потребность в стабильных фискальных поступлениях предопределили институционализацию особой формы «дружелюбного к крестьянам» (peasantry friendly) строя, предполагающего «обмен» продуктов питания и налогов, необходимых для продолжения «внутренней колонизации» на частное землевладение, проложившего дорогу объединению Китая [Deng, 2003, p. 488–490].

3. За фасадом проповеди нестяжательства, проходящей сквозной нитью через работы отцов церкви, стояли насущные хозяйственные задачи Средневековья, прежде всего поддержание хрупкого социального мира в условиях нарастающего имущественного неравенства и снижения уровня жизни подавляющей части общества. Вопреки расхожему утверждению о политико-экономической ретроградности церкви именно она стала одним из основных распространителей технологических новшеств и создателем теоретических конструкций, легитимирующих запуск процессов накопления капитала, вытолкнувшего Западную Европу с аграрной на торговую стадию роста.

3.2. Формирование доктрины меркантилизма в зеркале перехода европейских стран на торгово-промышленную траекторию роста[1]

Новый хозяйственный уклад XVI–XVIII столетий, зарождавшийся в Европе, с нашей точки зрения, характеризовали следующие сущностные черты. Во-первых, становление городской промышленности, стимулировавшее активизацию межгородского товарообмена и формирование внутреннего рынка, захватывавшего всю территорию страны. Во-вторых, всеохватная регламентация государством хозяйственной деятельности, нацеленная прежде всего на форсированное развитие национальной промышленности и поощрение торговли. В-третьих, утверждение нового хозяйственного «идеала» самодостаточного государства в результате смены модели «замкнутого города» на «замкнутое государство». Согласуясь с этими реалиями, экономическая мысль данного периода начала освобождаться от теолого-философской «опеки» и вырабатывать конкретные политико-экономические рекомендации для управления страной.

В чем же заключались практические предписания европейской экономической мысли XVI–XVIII столетий? Для начала отметим, что этот этап в истории экономических учений, получивший название меркантилизма, совпал с началом формирования в Западной Европе национальных государств. Неудивительно, что Э. Хекшер определил меркантилизм как «систему власти или

[1] Данный параграф базируется на отдельных разделах монографии: [Мальцев, 2014g]. Некоторые части этого раздела вошли в статью: [Мальцев, 2011b].

государственного строительства», а М. Ротбард и вовсе охарактеризовал как «государственный монополистический капитализм» [Rothbard, 2010a]. Опорной точкой новой экономической доктрины стал принцип строгого баланса доходов и расходов, а его сердцевина – поддержание активного торгового баланса – провозглашалось обязательным условием процветания государства. Основным способом претворения в жизнь данной хозяйственной максимы стали призывы к наращиванию экспорта с аккумулированием в государственной казне получаемых в оплату драгоценных металлов, минимизации импорта и концентрации всех усилий государства на достижении максимально возможной самообеспеченности страны последовательным развитием собственных производительных сил.

В принципе, в истории меркантилистской экономической мысли можно выделить два этапа, водораздел между которыми приходится на XVII столетие. Так, доминировавшая в XVI–XVII вв. ранняя «версия» меркантилизма – буллионизм – заостряла внимание, преимущественно, на торгово-финансовых аспектах экономической политики. Именно в трудах буллионистов золото и серебро часто отождествлялись с национальным богатством, а экспорт рассматривался как канал притока драгоценных металлов, способствующий, в конечном счете, укреплению позиций страны на мировой арене. Предельно четко эту идею выразил английский меркантилист Дж. Чайлд в 1693 г.: «Внешняя торговля создает сокровища, те создают силу, сила оберегает нашу торговлю и религию» (цит. по: [Mukherjee, 2005, p. 974]). Спустя год Т. Ман, директор Ост-Индской компании, концептуализировал данную мысль в своем знаменитом трактате «Богатство Англии во внешней торговле» в виде так называемой меркантилистской системы: «…чтобы процветать, страна должна больше экспортировать, чем импортировать, что вызывает приток денег, …который увеличивает капитал нации» (цит. по: [Magnusson, 1995, p. 23]).

Конечно, при толковании данных тезисов вне увязки с контекстом времени велик соблазн последовать примеру А. Смита и навесить на всю экономическую литературу эпохи меркантилизма ярлык «сплетения протекционистских ошибок». Однако, с нашей точки зрения, научные изыскания буллионистов вовсе не были «гигантским теоретическим пузырем» [Blaug, 1997, p. 10–11]. По-видимому, меркантилисты на интуитивном уровне выявили взаимосвязь между количеством денег в обращении и уровнем ставок по кредиту. Так, английский меркантилист Ж. де Малин (1586–1626) еще в 1622 г. пришел к выводу, что «изобилие денег сокращает ростовщичество, снижая цену или ставку процента». Эту позицию разделял другой видный представитель меркантилистской мысли XVII столетия Э. Мисселден (1608–1654), полагавший, что «лекарством от ростовщичества может быть изобилие денег» (цит. по: [Keynes, 2006, p. 311, 313]).

С развитием внешней торговли в конце XVII – начале XVIII века основной предмет научно-практических интересов меркантилистов сместился от чисто внешнеторгового протекционизма к стимулированию создания внутренних экспортно ориентированных производств. Министр

финансов Франции в период правления короля Людовика XIV, Ж.-Б. Кольбер (1619–1683), наиболее ярко выражая интересы поздних меркантилистов, подчеркивал, что «посредством внешней торговли, с одной стороны, и промышленности, производящей для вывоза, с другой стороны, – промыслы, работающие для внутреннего рынка, имеют мало значения – увеличивается богатство страны и облегчается существование большего количества населения» (цит. по: [Кулишер, 2004, кн. 3, с. 447]). В практическое русло эти теоретические рассуждения направил австрийский меркантилист Ф.В. фон Хорник (1638–1712), сформулировавший базовые принципы рациональной экономической политики, в частности: «все сырые материалы, найденные в стране, которые не могут быть использованы в необработанном состоянии, следует перерабатывать внутри страны, ибо стоимость обработанной продукции превышает стоимость сырья в два, три… и даже сто раз; …иностранные товары следует импортировать в необработанной форме и обрабатывать внутри страны, оставляя доходы от переработки внутри страны; день и ночь надо искать возможность продать излишек обработанных товаров иностранцам, в каких угодно объемах за золото и серебро» и др. [Reinert, 2009, p. 54–55].

Для претворения рекомендаций поздних меркантилистов в жизнь английское правительство с конца XVII столетия ввело премии за вывоз из страны обработанной продукции, в частности, изделий изо льна и шелка, парусины, просуществовавшие вплоть до XIX века [Viner, 1965]. Многие европейские государства, копируя опыт средневековых цеховых привилегий, предоставляли новым отраслям промышленности монопольное право на выпуск и сбыт товаров в определенных регионах страны. Более того, эти стартапы освобождались от уплаты налогов, их руководству выделялись значительные денежные ссуды и даже присваивались дворянские звания.

Поддерживая «своих» производителей, государство просто не могло обойти вниманием сферу личного потребления сограждан. Например, практически во всех европейских странах купцы обязывались покупать изделия с вновь созданных местных мануфактур. От австрийских крестьян требовалось носить шерстяные ткани, изготавливавшиеся в стране. Актом английского парламента 1666 г., просуществовавшим 120 лет, предписывалось облачать покойных в шерстяной саван и хоронить в гробах, обитых английским сукном и др. [Roche, 1995, p. 5]. Таким образом, стимулируя внутреннее производство и форсируя экспорт готовых изделий, меркантилисты, «с одной стороны, освобождали страну от нежелательного избытка товаров, который вел к безработице, а с другой, – обеспечивали увеличение общего запаса денег в стране» [Keynes, 2006, p. 316].

Критически важным звеном, связующим взгляды «буллионистов» и поздних меркантилистов, стало активное поборничество использованию науки в целях наращивания производства обработанных изделий и генерации доходов. Так, лорд-канцлер Англии Ф. Бэкон (1561–1626) писал: «Чем больших успехов достигает научное знание, тем более многочисленными будут новые

изобретения, которые будут сберегать труд и сырые материалы и вести к появлению новых продуктов и способов обработки» [Reinert & Daastøl, 2004, p. 28, 29]. Более того, в своем основном труде «Новый Органон» (1620) Ф. Бэкон справедливо указывал на то, что «господство человека над вещами полностью зависит от искусств и наук» (цит. по: [Jardine, 2011]). При этом слова английского мыслителя и политического деятеля не расходились с делом. Именно в этот период Англия ввела либеральную миграционную политику, направленную на привлечение в страну «иностранцев с превосходными навыками и знаниями» [Manz et al., 2007, p. 22]. Например, Елизавета I (1533–1603) в 1565 г. санкционировала переезд в Норвич 30 валлонских и фламандских производителей сукна, а к 1583 г. количество нидерландских ткачей, работавших в Англии, достигло 5 тысяч [Кулишер, 2004, кн. 2, с. 168]. Важную роль в превращении Англии в мощную экономическую державу сыграли французские гугеноты, перенесшие в Англию технологии производства бумаги, мебели, дубления кож, обработки серебра и др.[1]

Кроме того, меркантилистская экономическая мысль XVII столетия едва ли не первой обратила внимание государства на увязку роста доходов населения с наращиванием темпов экономического развития страны. Пожалуй, в наиболее концентрированном виде эту закономерность выразил в 1728 г. Д. Дефо (1660–1731): «Если заработная плата – низкая и жалкая, такой же будет и жизнь; если люди получают мало, они смогут мало и тратить, и это сразу же скажется на торговле; от того, становятся ли доходы выше или ниже, будут расти или падать богатство и мощь всего королевства» (цит. по: [Ананьин, 2010, с. 36–37]). Следуя советам автора «Робинзона Крузо», Англия за XVII–XVIII века поднялась в мировом рейтинге по показателю ВВП на душу населения с четвертой (974 дол.) на вторую позицию (1 250 дол.). Подкрепляя внутригосударственное обустройство практическими шагами по реализации «внешних» рекомендаций меркантилистов из лондонского Сити (например, введя в 1651 г. Навигационный акт, запрещавший вход в английские порты судам из третьих стран), Англия вывела своего главного конкурента Голландию из игры за экономическое лидерство в Старом Свете и казалась готовой «подхватить скипетр мирового господства» [Бродель, 1992, с. 263]. Дальнейшее продвижение во многом зависело от переосмысления ряда новых политико-экономических реалий, порожденных наметившимся противоречием набиравших силу технико-институциональных сдвигов с базовыми постулатами концепции меркантилизма.

Во-первых, все более очевидным становилось «тормозящее» влияние отдельных элементов меркантилистской экономической системы, сыгравших важную роль в становлении промышленного базиса английской экономики. Например, исключительные привилегии наделяли отдельного ремесленника, цех или купца монопольными привилегиями на производство и сбыт оговоренных товаров. Законы об ученичестве ограничивали число подмастерьев, которые мог взять к себе ма-

[1] The Huguenot Role in Industrial England. URL: http://www.bearne.com/files/HugPaper.pdf

стер, устанавливали семилетний срок обучения учеников и вводили единую для всей территории Англии максимальную ставку их заработной платы [Rothbard, 2010b]. Закон о поселениях 1662 г. (The Settlement and Removal Act) налагал запрет на перемещение рабочей силы из одного графства в другое[Bloy, 2002]. Сохранение данных институциональных анахронизмов в условиях нараставшей конкуренции с континентальной Европой и Индией удорожало труд. В начале XVIII века заработная плата лондонского ремесленника превышала размер жалования его амстердамского «коллеги» в 1,2, парижского – в 1,8, а размер оплаты труда ланкаширского хлопкопрядильщика в 1680 г. превосходил жалованье индийского рабочего на 400% (рассчитано по: [Allen, 2001, p. 416; Broadberry & Gupta, 2005]) со всеми вытекавшими из этого обстоятельства последствиями в виде снижения конкурентоспособности английской готовой продукции. В результате среднегодовые темпы промышленного производства в Англии за период с 1650–1659 по 1691–1700 гг. снизились до 0,64% против 0,78% в «золотой полувек» меркантилизма в период с 1553–1559 по 1600–1609 гг. [Broadberry et al., 2010, p. 45].

Во-вторых, «феодальная, или цеховая организация» [Маркс и Энгельс, 1848] производства, защищавшая «своего» производителя на ранних стадиях развития капитализма, начала наносить все больший ущерб основе английской промышленности – шерстяной отрасли, снизившей за 1663–1701 гг. отгрузки на экспорт с 2,6 млн до 2,2 млн фунтов [Brown, 1991, p P. 94–95]. Казалось бы, очевидный шаг на пути восстановления ее позиций – внедрение технико-технологических улучшений – наталкивался именно на сопротивление со стороны прочно укоренившегося в ее хозяйственном комплексе замкнутого, трудозатратного цехового уклада. В это несложно поверить, если учесть высокий социальный вес последнего, когда, к примеру, в конце XVII века 70 гильдий обеспечивали работой 50% взрослого мужского населения Лондона [Goose, 2003]. Рост благосостояния жителей Туманного Альбиона параллельно «разгонял» импорт таких товаров, как перец, чай, сахар и табак, чей суммарный удельный вес в структуре импорта Англии в 1699–1701 гг. достиг 17%, а в денежном – 990 тыс. фунтов – в 8,7 раза превышал экспорт готовых изделий из металла [Harley, 2004]. В таком контексте не удивительны сетования Т. Мана: «Результатом наших… празднеств и мод, траты драгоценного времени в безделии и удовольствиях стали ослабление наших тел, слабость наших знаний, недостаток богатств, упадок нашего могущества, неудачи наших предприятий и презрение со стороны наших врагов» [Mun, 1775, p. 102].

В-третьих, поиск новых источников накопления вовне, соответствовавших меркантилистским воззрениям, фактически оправдывал активизацию участия в колониальной «гонке», торговлю африканскими невольниками, контрабандные операции с товарами испанских и португальских владений в Америке, все более заметную специализацию на реэкспорте азиатских специй, текстиля и фарфора. Однако попытки усиления английского «коммерческого преобладания» наталкивались на активное противодействие со стороны других европейских держав. Достаточно

отметить, что за 1641–1790 гг. Англия 66 лет провела в войнах, «направленных к уничтожению конкурентов в торговле» [Кулишер, 2004, кн. 2, с. 204]. Естественно, что ведение регулярных военных кампаний требовало значительных ассигнований, достигших к середине 1710-х гг. практически 20% ВВП[1].

В сложившихся хозяйственно-политических условиях лучшим умам XVII – начала XVIII столетия предстояло сосредоточиться прежде всего на поиске приемов «созидательного разрушения», позволявших демонтировать отжившую институциональную оболочку и расчистить дорогу новому технико-экономическому укладу. Концептуально предлагавшийся алгоритм, получивший название «либерального меркантилизма»[2], можно изложить следующим образом. Его ядро составляла триада: демонополизация внутренней экономики; «разноплановое» укрепление внешних позиций страны; закладка отстраивавшегося на принципах демократизации политической среды фундамента независимой финансовой системы, способной запустить маховик промышленной революции.

Острие вектора научных изысканий ученых данного периода оказалось сфокусировано на критике монополий, отныне трактуемых как «недопустимые злоупотребления», стеснявшие конкуренцию и тем самым сужавшие потенциал использования внутреннего рынка. В частности, Т. Гоббс в своем основном труде «Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651) сравнивал монополии с тяжелыми заболеваниями, поразившими английскую экономику: «Болезнью является наличие большого числа корпораций [монополий], представляющих собой как бы много маленьких государств в недрах одного большого, как черви во внутренностях живого человека»[3]. Другой известный английский философ Дж. Локк (1632–1704) выдвинул гипотезу, согласно которой собственность не «даруется» индивиду государством, а создается его собственным трудом и «никто не имеет права распоряжаться ею, кроме ее создателя» (цит. по: [Holcombe, 2002, p. 410]). Поэтому, обличая монополизм, мыслитель подчеркивал, что «…любой королевский дар [привилегия] нарушает сложившийся порядок и коммерцию» (цит. по: [Hughes, 2006, p. 563]).

Напротив, внешняя торговля в теоретических построениях современников оставалась оплотом протекционизма и объектом пристального внимания со стороны государства. Например, Т. Гоббс мотивировал необходимость сохранения государственной монополии на определение мест и объектов внешней торговли тем, что «если бы частным лицам было предоставлено действовать в этом отношении по своему усмотрению, то некоторые из них, соблазненные перспективой барышей, могли нанести вред или государству, снабжая врага необходимыми ему продук-

---

[1] Military Spending. URL: https://ourworldindata.org/military-spending/

[2] The Mercantilists. URL: http://www.econlinks.uma.es/Escuelas/mercant.htm

[3] Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. http://lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt

тами, или самим себе, ввозя такие вещи, которые удовлетворяют потребности людей, но тем не менее вредны или по крайней мере невыгодны им»[1]. Кроме того, политические реалии конца XVII века требовали подвести идеологический базис под процессы внешней экспансии и выработать практические рекомендации для управления колониальными владениями. Так, Дж. Чайлд, доказывая необходимость всемерной поддержки английских бизнес-интересов в Индии, в частности, писал, что «обеспечение безопасности и выгоды этого направления внешней торговли Англии возможно только при наличии заботы о нем государства, поскольку в Индии много правителей и правительств, чем пользуются представители тех европейских государств, торговые фактории которых есть в Ост-Индии, пытаясь найти, как обратить местные власти против англичан…» (цит. по: [Савенкова, 2010]). В этих условиях привилегированное положение Ост-Индской компании Дж. Чайлд, по «совместительству» ее директор и член парламента, не мог интерпретировать иначе как «важный, законный и великий вклад в общественное благосостояние» (цит. по: [Letwin, 2003, p. 39]).

Дальнейшее расширение торговой деятельности, что оставалось краеугольным камнем меркантилизма, в свою очередь, требовало удешевления кредита. Данный вопрос не остался без внимания Парламента, принявшего в 1624 г. Закон против ростовщичества (Act Against Usury of 1624), снизивший максимальную ставку по кредиту, равнявшуюся с 1571 г. 10%, до 8%[2]. Однако конкуренты англичан – амстердамские купцы – в то же время кредитовались под 4% годовых [Butler, 2007b]. В таком контексте не вызывает удивления «реанимация» Ж. де Малиным «антипроцентной» доктрины: «Процент делает стоимость кредита неестественной и не дает развиваться предприятию»[3]. Практически той же позиции придерживался Дж. Локк, утверждавший, что «высокий процент расстраивает торговлю, так как заставляет богатых купцов бросать торговлю и класть свои капиталы под процент, а мелких купцов ведет к банкротству» (цит. по: [Keynes, 2006, p. 313]).

Данные рассуждения не расходились с изменениями в хозяйственной политике, призванных обеспечить укрепление позиций Альбиона на мировой арене. Приоритетом номер один становилось завершение демонополизации внутренней экономики, начало которой положил Закон о монополиях 1624 г., запрещавший монарху предоставлять отдельным лицам монопольные права на производство, продажу или управление в обмен за вознаграждение или ренту. Правда, лазейки в законе позволяли королю успешно обходить данные запреты. Например, Карл I (1600–1649) в обмен на предоставление монополии на сбыт и возможность повышения цен получал от Компании виноторговцев 40 шиллингов с тонны вина, 6 фунтов с тонны мыла, проданного Обществом

[1] Гоббс Т. Указ. соч.
[2] https://eh.net/encyclopedia/usury/
[3] http://www.econlinks.uma.es/Escuelas/mercant.htm

Вестминстерских мыловаров, 50% прибыли от продаж Королевской монополии по производству игральных карт и костей [Gregg, 1984, p. 215–218]. По расчетам Д. Лоадза, ежегодный доход Карла I от предоставления корпорациям различного рода привилегий к концу 1630-х гг. достигал 100 тыс. фунтов, или 17% суммарных доходов монарха [Loades, 1999]. Естественно, что набиравшее хозяйственный и политический вес третье сословие не собиралось мириться с подобной ситуацией. Например, в 1640 г. 10 тыс. лондонцев подписали петицию о произволе монополий [Sauer, 2005, p. 24]. Однако полномасштабная борьба с монополиями развернулась только в конце XVII столетия, когда взошедший в 1688 г. на английский престол Вильгельм III лишился права раздачи привилегий без одобрения парламента. Как итог, уже в начале XVIII веке Англия оказалась полностью свободной от монополий в области производства и торговли внутри страны [Кулишер, 2004, кн. 3, с. 445]. Английская экономика отреагировала на данные преобразования удвоением темпов роста производительности труда (0,4% ежегодного прироста в 1670–1700 гг. против 0,2% в 1600–1670 гг. [Overton, 2004, p. 85]) и 11-кратным увеличением темпов прироста среднедушевого ВВП (0,57% в период с 1650–1659 по 1691–1700 гг. в сравнении с 0,05% в период с 1600–1609 по 1650–1659 гг.).

На ускорение темпов роста английской экономики во многом также повлияла начавшаяся в XVII веке аграрная революция. При сокращении доли сельского хозяйства в структуре ВВП за период с 1600–1609 по 1700–1709 гг. с 41,8 до 28% урожаи пшеницы – возросли в 1,2, производство молока, баранины и шерсти – в 1,3 раза [Broadberry et al., 2010, p. 36, 41, 52, 55]. Рост производства продуктов питания обеспечил демографический бум (1600 г. – 4,8 млн; 1700 г. – 6 млн жителей[1]), запустил процессы урбанизации (удельный вес городского населения в Англии за 1600–1700 гг. увеличился с 6,0 до 13,2% [Malanima, 2007, p. 13–14]), заложил сырьевую базу для грядущей текстильной революции.

Закрепление структурной трансформации требовало соответствующего финансового обеспечения. Ввиду ограниченности внутренних инвестиционных ресурсов «дополнительным» источником наполнения фонда накопления выступала активизация внешней экспансии. Расширение внешнего присутствия английским государством реализовывалось по трем главным направлениям – международно-договорное «прикрытие», организационно-институциональное отстраивание частно-государственного формата монополии на внешнюю торговлю, «силовое» приращение колониальных владений, – заслуживающими отдельного рассмотрения.

Разберем важнейшие проявления законотворческой деятельности. Так, период 1650–1750 гг. ознаменовался подписанием международных договоров и изданием ряда протекционистских законов, усиливавших «коммерческое» преобладание Англии. Например, в 1654 г. заключен англо-португальский договор, действовавший до 1810 г. и закреплявший «великую хартию английских

[1] http://www.tacitus.nu/historical-atlas/population/british.htm

прав и привилегий в Португалии». Именно на этой основе англичане получили равный с португальцами доступ ко всем португальским колониям, включая Бразилию и Вест-Индию, португальским купцам для торговли со своими заокеанскими владениями вменялось фрахтовать лишь английские суда, а в случае предоставления Португалией режима наибольшего благоприятствования или иных льгот третьей стране последние автоматически распространялись и на Англию [Кулишер, 2004, кн. 3, с. 226]. Не меньшее значение для укрепления внешних позиций Англии сыграли Навигационные акты 1660 и 1663 гг. Аналогичный закон от 1651 г. дополнили положения о предоставлении права осуществления каботажного плавания только английским судам с командой, насчитывавшей не менее 3/4 английских подданных, а также отгрузке европейских товаров в Америку и другие английские колонии только после предварительного ввоза и уплаты пошлин на территории британских островов с последующей отправкой в заморские владения Англии на ее судах и др.[1] По Метуенскому договору 1703 г. Англия получила целый ряд новых уступок от Португалии, самой значительной из которых выступало разрешение на беспошлинный ввоз изделий английской шерстяной промышленности [Francis, 1966, p. 196], принесшее Британии за 1710–1780-е гг. 45 млн фунтов чистого дохода [Кулишер, 2004, кн. 3, с. 429]. Еще большее количество привилегий Англии удалось выторговать у Испании по результатам Утрехтского мира (1713), включая право на монопольную перевозку рабов в испанские колонии [БСЭ, т. 9, с. 443]. Этот ряд примеров может быть продолжен. Неудивительно, что в начале XVIII столетия Англия стала «владычицей морей, омывающих Пиренейский полуостров» [Кулишер, 2004, кн. 3, с. 227, 429].

В организационном плане в дополнение к основанной в 1600 г. Ост-Индской компании (только одно ее судно приносило английской казне 10 тыс. фунтов налоговых поступлений [Bohum, 1993, p. 67]) во второй половине XVII века добавились Королевская африканская компания (1660), получившая монопольные права на торговлю английскими товарами в Африке и вывоз черных невольников на Антильские острова; Компания Гудзонова залива (1670), наделенная монополией на торговлю мехами на территории современной Канады и др. Именно монополистическая форма организации данных акционерных обществ, по мнению К. Карсона, гарантировала им высочайшую доходность, значительно превышавшую отдачу от вложений внутри страны и обеспечившую тем самым последовательное накопление финансовых ресурсов для развертывания промышленной революции во второй половине XVIII века [Carson, 2004]. Конечно, оценить кумулятивный вклад «внешних» монополий в формирование инвестиционного рычага достаточно сложно. Можно разве что привести расчеты экспертов, согласно которым в XVII столетии только работорговля обеспечивала 1/3 валового накопления капитала страны [Henwood, 2003].

В области внешней политики Англия последовательно проводила политику расширения колониальных владений. Например, в Новом Свете в 1655 г. ей удалось отнять Ямайку у Испании.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Navigation_Acts#cite_note-5

В 1664 г. к английским владениям в Северной Америке присоединена бывшая голландская колония Новые Нидерланды. В 1713 г. под британским контролем оказалась французская колония Новая Шотландия (провинция Nova Scotia в современной Канаде). Еще бóльших успехов англичане достигли в Индии, где силами Ост-Индской компании им удалось постепенно вытеснить голландцев, португальцев и французов, закрепиться на Индостане, основав в 1690 г. Калькутту.

Однако односторонняя зависимость от внешних источников накопления создавала угрозу для реализации планов модернизации английской экономики. На первый план постепенно выдвигалась задача поиска стабильных источников «длинных» денег. С возрастающей самоочевидностью напрашивался ответ: их могла предоставить только развитая финансово-банковская система. Спусковым крючком, высветившим всю остроту положения дел, стала Девятилетняя война 1688–1697 гг., обострившая проблему покрытия дефицита бюджета и вскрывшая неспособность частных английских банков прокредитовать правительство [Quinn, 1994, p. 40–41]. Впрочем, английские банкиры, помня о последствиях отказа Карла II (1630–1685) от уплаты по долгам государственного казначейства (1672), вызвавшего сворачивание торговых операций, разорение вкладчиков и пятилетнюю отсрочку в выплате процентов по государственным ценным бумагам, не спешили выделять правительству кредитные ресурсы [Allen, 2009, p. 135]. Ситуацию дополнительно усугубляло то, что государственный долг, и без того перевалившй за 5,9 млн фунтов, или 155% доходов казны, представляли краткосрочные долговые обязательства [Quinn, 2006]. Институционально проблема разрешилась приглашением на английский престол голландского статхаудера Вильгельма Оранского (1650–1702), установлением конституционной монархии (1688–1689) и утверждением парламентского контроля за всеми сторонами экономической жизни [Quinn, 2003]. В хозяйственной плоскости этот кардинальный сдвиг нашел отражение в переходе к политике долгосрочных долгов, выплата процентов по которым обеспечивалась фискальными поступлениями плюс будущими налоговыми доходами государственного бюджета и контролировалась независимым от монарха парламентом. Восстановление доверия к государству во многом объясняет, почему созданный в 1694 г. частный Банк Англии в том же году предоставил правительству кредит в 1,2 млн фунтов, начал выкупать краткосрочные долговые обязательства и уже к 1696 г. являлся держателем 16% совокупного государственного долга Англии [Quinn, 2006, p. 28], при этом пользовавшегося большим спросом у иностранных инвесторов (к 1750 г. голландцы контролировали 26% британского национального долга [Ingraham, 2008]). Создав подобный механизм, Англия уже безбоязненно наращивала свой внешний долг, превратив его в эффективный инструмент экономического строительства.

На основе изложенного можно сделать следующие основные выводы.

1. Сущностной чертой меркантилистской экономической мысли стал выход из-под религиозного «присмотра» и приобретение выраженного практико-ориентированного характера,

нашедшего отражение в выработке конкретных действий, нацеленных на перевод хозяйственных систем европейских стран с аграрных на торгово-промышленные «рельсы» развития. Сердцевину новой доктрины составляла гибкая и подстраивающаяся под условия меняющейся бизнес-среды всемерная поддержка государством национальных экспортеров готовой продукции и «начинающих расти» мануфактур.

2. XVI–XVIII столетия ознаменовались утверждением нового хозяйственного идеала – «самодостаточного государства», способного за счет развития национальной экономики выстоять в жестком геоэкономическом соревновании с конкурентами, проповедующими схожие принципы экономической политики. Успехов в условиях обостряющейся конкуренции могла достичь лишь та страна, которая наиболее последовательно реализовывала стратегию «разори соседа», наращивала вывоз обработанных изделий, участвовала в колониальной гонке и создавала благоприятные условия для ведения бизнеса внутри страны, в совокупности обеспечивая аккумуляцию инвестиционных ресурсов для развития обрабатывающего сектора.

3. Меркантилизм не являлся статичным учением, зацикленным, как это часто принято считать, на поддержании положительного сальдо торгового баланса, а претерпел серьезную эволюцию, трансформировавшись из, преимущественно, доктрины, отражающей потребности крупных монополистов в концепцию, защищающую интересы широкого класса хозяйствующих субъектов. Отличительной чертой второго, «либерального» этапа развития меркантилизма, стало решение триединой задачи: продолжения наращивания присутствия страны на мировых рынках, борьбы с монополистическими перегибами и отладка работы надежной финансовой системы, обеспечивающей экономических агентов длинными и дешевыми деньгами.

4. Меркантилистские идеи являются своеобразным теоретическим слепком масштабных преобразований, позволивших ряду европейских государств менее чем за 200 лет вырваться из состояния периферийной отсталости. Это во многом объясняет, почему целый ряд современных ученых (см., например: [Reinert, 2000]) проводит прямые параллели между меркантилизмом XVI–XVIII веков и теорией развития (development theory) второй половины XX века, а также концепцией конкурентных преимуществ М. Портера, возникшей к 1990-м гг., отмечая единство их методологии, «заточенной» на выработку приемов жесткой индустриальной политики и укрепление позиций национальной экономики в международном разделении труда: «Меркантилистский инструментарий государства развития, намеревающегося перешагнуть из бедности в богатство, практически не изменился, …начиная с Англии в 1485 г. и заканчивая Южной Кореей в 1980-е гг.», – пишут Э. и С. Райнерты [Reinert & Reinert, 2005, p. 2].

3.3. Эволюция взглядов представителей классической школы политической экономии в условиях промышленной революции[1]

Принципиальное отличие периода 1750–1850-х гг. от предшествующих эпох заключалось в начавшемся активном внедрении в производственный процесс целой совокупности технологических инноваций, коренным образом изменивших облик сначала английской, а затем и всей мировой экономики. Наиболее активно технические новшества прокладывали себе дорогу в текстильной промышленности, остававшейся «локомотивом» хозяйственного роста экономики Британии. Так, изобретение в 1764 г. прядильной машины (spinning jenny) увеличило производительность труда ткача в 8 раз[2], а появление механического ткацкого станка в 1785 г. заменило собой труд 40 рабочих [Кулишер, 2004, кн. 3, с. 485]. Некоторые технологические инновации, наряду с эффектом трудосбережения, стимулировали процессы концентрации производства и способствовали возникновению новой, фабричной формы организации труда. Например, запатентованная Р. Аркрайтом в 1769 г. кольцепрядильная машина, приводимая в действие водой, требовала для своего функционирования создания крупных цехов с численностью занятых не менее 1 тыс. чел.[3]. Параллельное усовершенствование Дж. Уаттом в 1769 г. парового двигателя позволило строить новые фабрики без «привязки» к крупным рекам.

Революционизирующая роль парового двигателя в процессах развертывания промышленной революции проявилась проявилась практически во всех секторах британской экономики, но, в первую очередь, затронула металлургию, угледобычу и транспорт. Форсированное развитие металлоемкого текстильного производства стимулировало наращивание выплавки чугуна с 22 тыс. до 156 тыс. т за 1750–1800 гг. [Алексеев и Гаврилов, 2008, с. 354]. Однако из-за быстрой вырубки лесов (если в средневековой Англии на одного жителя приходился 1 га лесных угодий, то к 1850-м гг. этот показатель снизился до 0,02 га [Saito, 2009, p. 386]) дальнейшее расширение английской металлургии требовало ускоренного перехода на минеральное топливо. Вместе с тем в качестве основного энергетического источника уголь еще не мог окончательно вытеснить древесное топливо ввиду примитивного состояния средств сообщения внутри страны, представленных преимущественно гужевым транспортом. Выход был найден в развертывании строительства сети водных путей, позволявших связать между собой промышленные центры и места добычи минерального сырья, а также снизить транспортные издержки. Например, только за 1790–1794 гг. британский парламент принял 80 актов о возведении каналов [Jacks, 2011, p. 280]. В результате за

---

[1] Данный параграф базируется на отдельных разделах монографии: [Мальцев, 2014g]. Некоторые части этого раздела вошли в статью: [Мальцев, 2012a].

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Textile_manufacture_during_the_Industrial_Revolution#cite_note-10

[3] https://quizlet.com/37198192/chapter-22-revolution-in-industry-energy-flash-cards/

период так называемой «каналомании» (1770–1830 гг.) протяженность каналов возросла с 10 до 4 000 миль[1], а стоимость перевозки 1 т груза снизилась в 4 раза [Голубович, 1997, с. 117]. Пожалуй, еще большее значение для промышленного взлета английской экономики имел железнодорожный бум 1830–1850-х гг., когда в отстройку национальной сети железных дорог ежегодно инвестировалось до 7% национального дохода, а их длина за 1833–1852 гг. увеличилась фактически с нуля до 7,5 тыс. миль. Столь активное железнодорожное строительство оказало колоссальный мультипликативный эффект на английскую металлургию (в 1850-е гг. на производство рельсов, металлических частей для локомотивов и подвижного состава «уходило» 18% общего объема выплавки чугуна в стране), но, главное, привело к созданию транспортного машиностроения, обеспечивавшего к 1851 г. 20% промышленного производства Великобритании[2].

Завершение промышленного переворота, создание единой транспортной сети, формирование разветвленной банковской системы [Quinn, 2008] превратили английскую экономику в единое целое и упростили встраивание отдельных ее регионов в мировое хозяйство. К концу 1870-х гг. по удельному весу в мировом промышленном производстве (22,9%), торговле продукцией обрабатывающей промышленности (37,8%) [Crafts, 2003] Великобритания утвердилась на первом месте в мире. Параллельно модифицировалась и товарная структура английского экспорта, где доля полуфабрикатов и обработанных изделий к 1854/1856 г. достигла 94% [Jong, 2003, p. 103].

В таком раскладе перед британской экономикой вставала задача наращивания вывоза промышленных товаров не только в свои колонии и страны третьего мира, но и в развитые в промышленном отношении страны Северной Америки и Европы и подконтрольные им территории. Однако открытие для английского экспорта рынков других стран требовало взаимных уступок и прежде всего упрощения доступа иностранцев к британским колониям. Кроме того, ускорение темпов развития промышленности обострило проблему сырьевого обеспечения английского индустриального преобладания, когда необходимость импорта все возрастающих объемов сырья и полуфабрикатов [Jong, 2003, p. 103] ставила на повестку дня задачу постепенного снижения ставок ввозных пошлин. Иными словами, Великобритании требовалось демонтировать последний бастион меркантилизма – внешнеторговый протекционизм – и осуществить переход к системе свободной торговли, позволявшей с выгодой для своей экономики налаживать экономические связи с другими государствами. В свою очередь, переход от системы меркантилизма к политике фритредерства, значившей для Британии, по словам Й. Шумпетера, «нечто значительно большее, чем особый способ решения вопросов внешней торговли» [Шумпетер, 2001, т. 2, с. 523] не прошел бесследно для экономической мысли конца XVIII – первой половины XIX столетия.

---

[1] http://www.withnature.co.uk/waterways/uk_canals_history.php

[2] Economic Expansion after 1830: Railways. URL: http://www.calday.wirral.sch.uk/sites/default/files/Social%20&%20Economic%20Effects%20of%20Railways.pdf

Открытие новой страницы в истории экономических учений также происходило под воздействием открытий в области естествознания, в результате чего центр научных интересов общественной мысли западноевропейских стран начал смещаться от традиционной духовно-политической проблематики к экономическим аспектам развития общества. Подобная перестановка акцентов трансформировала метод познания окружающей реальности: социальную метафизику с ее «неопределенностью и двусмысленным характером» [Badiou, 2000, p. 179], «вещами в себе, где теряют свое значение все законы этого мира явлений»[1] постепенно вытеснил позитивизм, доказывающий несовершенство «естественного порядка, беспрерывно требующего человеческого вмешательства» [Конт, 1994, с. 21] и постулирующий приоритет опирающегося на эмпирическое обоснование научного знания над всеми другими его формами.

Обоснование необходимости освобождения зарождавшейся рыночной экономики от позднефеодального патернализма началось с трудов представителей «либерального меркантилизма» и французских просветителей-физиократов. Мыслителям шотландского возрождения и философам-утилитаристам удалось соединить воедино социально-этическую проблематику с задачами экономического строительства, интегрировав их в прорыночную политико-экономическую программу [Dow & Dow, 2007]. Ее философское содержание заключалось в вытеснении холистского учения меркантилистов с его приоритетом общественных интересов над частными [Parker, 2006], индивидуалистическим подходом, утверждавшим, что «высшая точка зрения, которой регулируются все отношения в обществе, – это интересы частных лиц» [Зомбарт, 2005, с. 129]. Отсюда вытекал принципиальный вывод экономического характера: основной пружиной, приводящей в движение хозяйственный механизм, становится конкуренция между индивидами, движимыми эгоистическими мотивами поведения, «приумножающая», тем самым, богатства общества. Соответственно, роль государства в новых условиях хозяйствования перенастраивалась на максимально оперативное блокирование попыток ограничения свободной конкуренции, то есть поддержание в работоспособном состоянии рыночного механизма, объединяющего «разрозненно действующих эгоистов в упорядоченную систему, обеспечивающую общее благо» [Автономов, 1993, с. 12].

Вместе с тем реализация подобной теоретической схемы представлялась возможной только в условиях «зачистки» институциональной системы от рудиментов феодализма. Распутать тугой узел методологических проблем, «заточив» теоретико-концептуальный каркас под практические нужды складывавшегося хозяйственного уклада, удалось А. Смиту в его знаменитом «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776). Не задерживаясь на социально-философских аспектах творчества шотландского ученого, попытаемся выяснить, какие инструменты приращения «богатства наций» предложил классик политической экономии.

---

[1] http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/704/МЕТАФИЗИКА

Во-первых, основным фактором роста общественного благосостояния, с точки зрения А. Смита, объявлялся труд, создающий новые материальные продукты: «…труд рабочего мануфактуры обычно увеличивает стоимость материалов, которые он перерабатывает…» [Смит, 2009, с. 339]. Примечательно, что подобная трактовка источника богатства сближала шотландского экономиста, скорее, с поздними меркантилистами, чем с, казалось бы, гораздо более близкими ему в идейно-политическом отношении физиократами, противопоставлявшими «производительный класс» земельных собственников – «стерильному», или непроизводительному классу ремесленников, финансистов и купцов [Spiegel, 1991, p. 187]. Во-вторых, по аналогии с большей частью меркантилистов, отстаивавших идеи бережливости, а не со своим идейным вдохновителем Д. Юмом, оправдывавшим роскошное потребление [Brewer, 1998], А. Смит усматривал ключ к процветанию в накоплении: «бережливость, увеличивая фонд, предназначенный на содержание производительных работников, ведет к увеличению числа тех рабочих, труд которых увеличивает стоимость предметов, к которым он прилагается…» [Смит, 2009, с. 345]. В-третьих, важнейшим источником богатства народов, по А. Смиту, выступало разделение труда, концепция которого пронизывала все творчество шотландского ученого. Однако именно здесь классик сделал принципиальную оговорку, предположив, что прогресс в разделении труда может быть реализован лишь при наличии соответствующих рынков сбыта: если «возможность обмена ведет к разделению труда, то степень последнего всегда должна ограничиваться пределами этой возможности, или, другими словами, размерами рынка» [Смит, 2009, с. 79]. Помимо этого, А. Смит раздвинул границы разделения труда с национального на международный уровень, доказав, что благодаря внешней торговле «ограниченность [внутреннего] рынка не препятствует разделению труда в любой отрасли ремесел или мануфактур… Открывая более обширный рынок для той доли продукта их труда, которая превышает потребности внутреннего потребления, она [внешняя торговля] поощряет их развивать свои производительные силы и увеличивать до максимальных размеров свой годовой продукт и таким образом увеличивать действительный доход и богатство общества» [Смит, 2009, с. 435]. Для Великобритании, обладавшей абсолютными преимуществами в индустриальной сфере, единственным просматривавшимся вариантом расширения рынков представлялся «экспорт своих промышленных товаров в обмен на сырье без меркантилистских ограничений на торговлю» [Frank, 1976, p. 171].

Однако устоявшееся в современной экономической литературе мнение, выставляющее А. Смита жестким антагонистом меркантилистской системы, с нашей точки зрения, представляется не совсем корректным. Скорее, шотландский экономист пытался донести до современников идею о том, что меркантилистская политика, полностью отвечавшая задачам прошлого, в новых условиях начала оказывать на британскую экономику «подтормаживающее» влияние. Так, А. Смит одобрял Навигационные акты, введенные для защиты «молодой» английской промыш-

ленности от голландской конкуренции, квалифицируя их как «пожалуй, одно из самых мудрых мероприятий Англии по регулированию торговли» [Смит, 2009, с. 451]. При этом к концу XVIII столетия сохранение «духа монополий» и «меркантилистической зависти» вступало в противоречие с выявленной классиком закономерностью: «Подобно тому, как свобода внутренней торговли между различными провинциями одного большого государства представляется не только лучшим средством против дороговизны, но и самым действенным средством для предотвращения голода, так подобное же значение имела бы свобода вывозной торговли между различными странами…» [Смит, 2009, с. 476, 478, 515]. Таким образом, если не выдергивать рассуждения шотландского ученого из контекста времени, то трудно не согласиться с современными исследователями, характеризующими А. Смита как «непонятого меркантилиста» [Kattel et al., 2009, p. 23] и «поборника протекционизма, стандартной политической меры государств развития», рекомендовавшего «…полагаться на «невидимую руку рынка» только тогда, когда это не противоречит главной государственной задаче в сфере экономики – индустриализации» [Райнерт, 2011, с. 59].

Свидетелем каких изменений в хозяйственной жизни Англии стал А. Смит? Обеспечив высокие темпы роста экспорта промышленной продукции (по расчетам современных экспертов, в 1780–1801 гг. экспорт давал 46,2% прироста английского валового промышленного производства [O'Rourke & Williamson, 2002, p. 24]), Британия опередила конкурентов в решении задачи встраивания в первый технологический уклад (см. подробнее: [Глазьев, 2007, с. 100]), захватив к 1830 г. лидерство в Европе по объему промышленного производства (9,5% мирового итога [Kennedy, 1987, p. 149]). Однако его дальнейшее наращивание все больше наталкивалось на ограничения внешнего и внутреннего порядка.

С одной стороны, континентальная блокада, установленная в 1806 г. наполеоновской Францией, закрыла для британских судов практически все европейские порты, а в 1807 г. власти США ввели эмбарго не только на ввоз английских изделий, но и вывоз американских товаров в Соединенное Королевство. В довершение ко всему последовавший за наполеоновскими войнами экономический спад в большинстве европейских стран и Северной Америке привел к сокращению спроса на английские изделия: в 1826 г. объем британского экспорта, равный 35,3 млн фунтов [Heckscher, 2006, p. 245], уступал результату 1805 г. – 41,1 млн фунтов [Neal, 1991, p. 62].

С другой стороны, конкурентоспособность английского экспорта подрывала высокая зарплатоемкость промышленной продукции. К 1800 г. зарплата квалифицированного рабочего в Лондоне превышала аналогичный показатель в Париже в 1,8, в Амстердаме – в 2,2 раза (рассчитано по: [Allen, 2001, p. 416]). Решение проблемы повышением уровня механизации труда, естественным образом оборачивавшееся высвобождением трудовых ресурсов, все чаще сопровождалось всплеском «восстаний против машфин», как это произошло в 1812 г., когда луддиты уничтожили 10% трикотажных машин (stocking frame), имевшихся в стране [Grint & Woolgar, 1997, p. 53].

Возможный вариант купирования негативных последствий удешевлением продовольствия, на которое приходилось 75% расходов английского рабочего класса [Martin, 1996, p. 244], блокировался активным противодействием английских лендлордов, сконцентрировавших в своих руках к началу XIX столетия 25% земельного фонда в Англии и Уэльсе [Overton, 1996, p. 168], 50% – в Шотландии [Devine, 2000]. Воспользовавшись прекращением поставок пшеницы из Европы в годы наполеоновских войн, латифундисты за 1807–1812 гг. подняли цены на зерно внутри страны с 66 до 126 шиллингов за квартер [Bloy, 2016b]. В 1814 г. снятие континентальной блокады вернуло цены на довоенный уровень в 65 шиллингов [Bloy, 2016a], вызвав серьезную озабоченность земельной аристократии возможным ужесточением конкуренции и потерей монопольного положения на внутреннем рынке. Поэтому используя особенности британской избирательной системы, когда право голоса определялось имущественным цензом, латифундисты в 1815 г. пролоббировали принятие Хлебных законов, просуществовавшего (с поправками) до 1846 г. Данные законы устанавливали по сути запретительные пошлины на импортные продукты питания [Schonhardt-Bailey, 1995].

Несложно догадаться, что принятие подобных откровенно протекционистских и «антииндустриальных» законодательных актов не могло не вызвать негодование промышленников. Набиравшие силу представители нового времени опасались, что «рост цен на продукты питания потребует увеличения расходов на заработную плату рабочим, а это будет мешать… конкурировать с производителями из Франции, Швейцарии, Германии и Нидерландов, обладавшими решающим преимуществом в дешевизне труда…» [Prentice, 1851, p. 68–70]. Столкновение экономических интересов двух институциональных укладов не обошло стороной и академическую среду.

Одним из главных защитников экономических интересов лендлордов стал Т. Мальтус (1766–1834), выдвинувший в противовес «про-индустриальным» концепциям А. Смита о приоритете производства над обращением и закону рынков Ж.-Б. Сэя (1767–1832), по которому производство само генерирует себе спрос, свою доктрину недопотребления. Ее исходный посыл: совокупный спрос со стороны большинства потребителей – крестьян и рабочих всегда недостаточен для приобретения всех произведенных ими продуктов, что, несомненно, ведет к увеличению уровня бедности и росту социального недовольства. Поэтому для сокращения дефицита совокупного спроса и смягчения последствий кризисов перепроизводства необходимы «люди благородного происхождения», не производящие дополнительные единицы продукции, но обладающие доходами и создающие спрос на «предметы роскоши, искусства, а также культуру и образование…»[1]. Именно эту функцию Т. Мальтус отводил латифундистам, источником доходов которых выступала земельная рента, якобы снижавшаяся из-за того, что под воздействием роста населения, опережавшего динамику производства в сельском хозяйстве, землевладельцам приходилось

[1] http://www.economictheories.org/2008/06/malthus-economic-theory-principle-of.html

вовлекать в обработку все менее плодородные почвы. Поэтому единственным вариантом компенсации земельной аристократии увеличивавшихся затрат, с точки зрения Т. Мальтуса, выступало поддержание монопольно высоких цен на сельскохозяйственную продукцию, в том числе и введением хлебных законов: «стимулирующее воздействие данных законов, дополненное другими благоприятными обстоятельствами, послужит причиной такого избыточного производства [зерна], что средняя цена на зерно не будет зависеть от импортных цен» [Malthus, 1814].

Впрочем, далеко не все даже близкие друзья Т. Мальтуса разделяли подобные доводы. Так, Д. Рикардо (1772–1823) исходил из противоположного предположения, согласно которому «роли рабочего и капиталиста в рыночной системе являются легитимными», тогда как лендлорд представлялся ему «злодеем» (villain) [Snodgrass, 1990, p. 19], чьи интересы «всегда противоположны интересам остальной части общества» [Шумпетер, 2001, т. 2, с. 725]. В обоснование этого тезиса Д. Рикардо выстроил стройную и логичную концепцию: рост народонаселения, стимулируя спрос на зерно, в условиях концентрации земельной собственности в руках крупных землевладельцев и отсутствия конкуренции с иностранными производителями ввиду ограничений на ввоз продовольствия позволял латифундистам безбоязненно взвинчивать цены. Отсюда, что называется «по цепочке», страдали интересы промышленников, вынужденных увеличивать заработную плату рабочим, с вытекавшим удорожанием промышленных товаров, затруднявшим их распространение внутри страны и за ее пределами. Разделяя идею Т. Мальтуса об убывающей отдаче в сельском хозяйстве, автор «Начал политической экономии и налогового обложения» усматривал в нехватке плодородных земель главный риск увеличения «аппетитов» земельной аристократии, грозивший еще большим перекосом в распределении доходов в пользу лендлордов, снижением нормы прибыли в других секторах экономики, останавливавшим всякое накопление, когда «весь продукт страны, за вычетом платы рабочим, станет собственностью землевладельцев и сборщиков десятины и налогов» [Рикардо, 2009, с. 148] и в конечном счете торможением общеэкономического роста.

Защищая экономические интересы представителей нового хозяйственного уклада, Д. Рикардо настаивал на отмене как высоких ввозных пошлин на зерно и промышленные изделия, так и экспортных премий, являвшихся, по его мнению, причиной «отлива капитала в такие отрасли производства, в которые он при естественном ходе вещей не направился бы…» [Рикардо, 2009, с. 280]. Экономист доказывал необходимость введения системы свободной торговли тем, что, «утилизируя наиболее действительным образом все те силы, которые дает нам природа, этот принцип приводит к самому эффективному разделению труда между разными нациями, определяя, что вино должно производиться во Франции и Португалии, а различные металлические изделия и другие товары… – в Англии». Развивая идеи А. Смита, Д. Риккардо обосновывал взаимовыгодность уже не просто налаживания внешнеэкономических связей между различными госу-

дарствами, а более глубокой межстрановой кооперации, призванной связать «узами общей выгоды и постоянных сношений все цивилизованные нации в одну всемирную общину» [Рикардо, 2009, с. 157]. Соответственно, менялась целевая функция внешней торговли. А. Смит видел ее в придании стоимости «излишкам, обменивая их на продукты, которые могут удовлетворить часть потребностей и увеличить наслаждения» [Смит, 2009, с. 435]. Спустя 40 лет продолжатель его дела рассматривал внешнеторговый обмен как основной способ недопущения остановки маховика экономического роста повышением нормы прибыли в промышленности вследствие удешевления стоимости продуктов питания и одежды для рабочего класса: «если, вместо того чтобы возделывать свой собственный хлеб или изготавливать платье и другие предметы потребления рабочего, мы откроем новый рынок, откуда можно получать эти товары по более дешевой цене, то заработная плата упадет и прибыль повысится» [Рикардо, 2009, с. 156]. Наверное, лучше всего основную идею теории сравнительных преимуществ сформулировал К. Маркс: «…вместо того, чтобы тратить свой капитал и свой труд на обработку совершенно бесплодной почвы, …Англия образовала бы один большой фабричный город, а вся остальная Европа превратилась бы в ее сельскую провинцию» [Маркс, 1848].

С нашей точки зрения, несмотря на ряд различий в теоретических подходах и политических убеждениях, учения А. Смита, Т. Мальтуса и Д. Рикардо объединяет достаточно пессимистичный взгляд на будущее развитие общества, согласно которому экономическая система рано или поздно достигнет состояния «вечной стагнации» (см. подробнее: [Alvey, 2003]). Подобная «неоптимистичная» концепция строилась на следующих аргументах. Во-первых, поступательное развитие экономики наталкивается на сокращение количества плодородных земель, исчерпание запасов полезных ископаемых или нехватку капитала, вызванную снижением стимулов к его накоплению со стороны хозяйствующих субъектов. Во-вторых, по мере роста производительных сил в условиях сокращения мест прибыльного помещения сбережений, равно как внутри национальной экономики, так и за ее пределами, происходит перенакопление капитала, вызывающее снижение нормы прибыли, что вводит экономику страны в «стационарное состояние», то есть ставит ее на грань экономического застоя. В-третьих, тенденция к снижению нормы прибыли является объективной чертой развития любой экономики, которую можно замедлить, но невозможно преодолеть до конца, в результате чего «прогресс общества должен „прекратиться, наталкиваясь на мель нищеты“» [Милль, 2007, с. 764].

В современной экономической литературе подобные «апокалиптические» представления классиков традиционно объясняют их недооценкой такого мощного фактора противодействия стагнационному состоянию как технологические инновации. «Технологический прогресс, – отмечает Х.Д. Курц, – определенно не был [для А. Смита и его последователей] выгодным для всех групп общества» [Kurz, 2010, p. 1192]. Не менее жесткой критике за свою «технофобию» подвер-

гается Д. Рикардо, за которым прочно закрепилась репутация «технологического пессимиста» (см. подробнее: [Kurz, 2015, p. 549]). Э. Райнерт вообще полагает, что «для… английской теории, формировавшей свои гипотезы исходя из предположения, что люди являются только покупателями и продавцами, а не производителями, …технологические изменения были манной небесной» [Reinert, 1996, p. 8, 9]. Между тем критики классиков зачастую игнорируют тот факт, что значимый социально-экономический эффект от процессов промышленного переворота, стал проявляться лишь во второй половине XIX столетия, с началом так называемой второй промышленной революции (см. подробнее: [Mokyr, 1998]).

Кроме того, приписывание классикам «близорукости» в отношении технологического фактора во многом строится на представлении о промышленной революции как однородном процессе, захватывавшем все сектора английской экономики и сопровождавшимся-де фронтальным внедрением технических новшеств. Однако исследования Дж. Мокира показывают, что вплоть до середины XIX столетия «крупные сектора, обеспечивавшие в 1830 г. основную часть занятости и по меньшей мере половину валового национального продукта [Британии], …были лишь слегка затронуты инновациями» [Mokyr, 2004, p. 12].

По-видимому, именно «очаговость» технологических новшеств, концентрировавшихся преимущественно в нескольких секторах экономики, и предопределила то, что «рост производительности оказался недостаточным, чтобы поменять взгляды классиков» [Ozgur, 2011, p. 423].

Ситуация начала постепенно меняться в третьей четверти XIX века. Расчеты современного американского исследователя Дж. Хюбнера показывают, что наибольшее количество технологических нововведений в расчете на душу населения за всю историю человечества пришлось как раз на этот этап (конкретно – на 1873 г.) [Huebner, 2005, p. 982–983]. Общественно-научная мысль откликнулась на этот технологический триумф переоценкой рикардианско-мальтузианского пессимистического отношения к динамике развития человеческого общества, а экономическая теория начала уходить от сложившегося вокруг нее стереотипа «мрачной науки». Одним из первых экономистов, развеявших такое представление, стал последний крупный представитель классической школы политической экономии – Дж.С. Милль (1806–1873). На чем же зиждился социально-экономический оптимизм исследователя?

Во-первых, на открывшейся возможности противодействовать убывающей отдаче факторов производства внедрением новых научных знаний и технологических инноваций. «Нельзя не представить себе появления в будущем огромного количества и бесконечного разнообразия сложнейших изобретений, направленных на экономию труда и повышение его производительности», – отмечал ученый [Милль, 2007, с. 716]. Как практическая результирующая следовали, говоря современным языком, рекомендации по развитию человеческого капитала, оздоровлению социального климата в обществе и снижению «градуса» классового антагонизма: «Сообразитель-

ность рабочего является одним из важнейших элементов производительности труда… Дружеские отношения и общность интересов, взаимное сочувствие между рабочими и хозяевами также в высшей степени важны» [Милль, 2007, с. 256].

Во-вторых, на развитии идеи о необходимости поддержания уровня накопления капитала, обеспечивающего расширенное воспроизводство, тезисом об обязательности сопутствующего укрепления политических институтов, гарантирующих «преобладание законности и порядка». Соответственно, пересматривалась ключевая миссия правительства, которая отныне должна заключаться в обеспечении максимально возможной «безопасности личности и собственности» [Милль, 2007, с. 716]. Руководствуясь этой логикой, Дж.С. Милль пришел к важному выводу: «Чем прочнее безопасность [прав собственности], тем сильнее будет действенная сила стремления к накоплению» [Милль, 2007, с. 235].

В-третьих, на обосновании гипотезы, в соответствии с которой благодаря прогрессу в области науки и техники большинство европейских стран получит возможность экономить производственные издержки, то есть экономически расти, задействуя меньшую долю национального дохода на накопление. Тем самым высвобождались бы средства для «совершенствования ума и личности» как трудящихся, так и «богатых и праздных классов» [Милль, 2007, с. 256]. В конечном счете технологические новшества, по мнению Дж.С. Милля, должны открыть перед «цивилизованными нациями» простор «для безграничного увеличения капитала и производства, а также для роста населения, которым подобное увеличение обычно сопровождается» [Милль, 2007, с. 718–719].

В-четвертых, на переосмыслении с человекоцентричных позиций известного постулата Ж.-Б. Сэя и Д. Рикардо, утверждавших, что рост потребления тождественен снижению инвестиций, предложением разграничить непроизводительное потребление («потребление роскоши») (цит. по: [Stabile, 1996]) и производительное («полезные обществу траты»), способствующее улучшению здоровья индивидов, росту их профессиональных компетенций, образованию детей и др. [Милль, 2007, с. 236]. Критически оценивая современный ему общественный порядок, ученый полагал, что сокращение стимулов к накоплению капитала, приближающее наступление «стационарного состояния», происходит из-за неопределенности человека относительно собственного будущего, вынуждающей его немедленно тратить все свои доходы и, как следствие, отвлекать ресурсы от решения долгосрочных задач социально-экономического развития. Поэтому автор «Основ политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии» ратовал за организацию профсоюзов, производственных ассоциаций, вселяющих в людей уверенность и тем самым усиливающих в них «стремление к накоплению» [Милль, 2007, с. 235].

В-пятых, на дополнении представления предшественников о выгоде от внешней торговли как «самого дешевого способа обеспечить страну другими товарами» доказательством существо-

вания массы косвенных эффектов, причисленных Дж.С. Миллем к выгодам высшего порядка. Едва ли не главный из них заключался в том, что «страна, производящая на более широкий рынок, чем ее собственный, может углублять разделение труда, шире применять машины, имеет лучшие возможности для изобретений и совершенствования производственных процессов». Тем самым экономист обосновывал положение: «То, что способствует увеличению производства товаров в одном и том же месте, благоприятствует общему увеличению производительных сил земного шара» [Милль, 2007, с. 617].

Выход политической экономии из образа пристанища мрачных фаталистов шел рука об руку с важными изменениями в глобальном хозяйстве, в частности, с началом эры фритредерства. Важнейшими вехами на пути утверждения политики свободы торговли стали снятие английским правительством в 1825 г. запрета на эмиграцию квалифицированных рабочих, отмена в 1842 г. эмбарго на вывоз из страны машинного оборудования [Daudin et al., 2008, p. 7], «обнуление» в 1846 г. тарифных ставок на ввоз сырья и продовольствия и отмена в 1849 г. навигационных актов. Этот ряд фритредерских мер замыкало подписание в 1860 г. англо-французского торгового договора (договор Кобдена – Шевалье), по которому Франция отказывалась от запретительных ставок на ввоз английских готовых изделий, ограничив их «потолок» уровнем 30% [Cameron, 1993, p. 277], а Британия на 80% снижала импортный тариф на французские вина и аннулировала ввозные пошлины на изделия из шелка, шерсти, кружева и др. [Lampe, 2009, p. 6].

«Коллективные усилия» по либерализации международной торговли обернулись снижением средневзвешенной ставки импортного тарифа (по машинотехнчиеской продукции) за 1820–1875 гг. в Великобритании с 45–55 до 0%, в Швеции и Франции – с запретительного уровня до 3–5 и 12–15% соответственно [Chang, 2003, p. 17]. Основным бенефициаром политики свободной торговли стало Соединенное Королевство, на долю которого в 1870 г. приходилось 1/3 мирового производства продукции обрабатывающей промышленности [Smil, 2013, p. 22], 24% суммарного мирового экспорта [Maddison, 2001, p. 361–362], 46% глобального экспорта обработанных изделий [Jong, 2003, p. 106], а английский ВВП на душу населения (3 191 дол.) в 3,7 раза превышал среднемировой итог (867 дол.) [Maddison, 2001, p. 264]. Причем экспорт по-прежнему выступал одним из главных «локомотивов» британской экономики. Так, за 1820–1870 гг. среднегодовые темпы прироста английского экспорта (5%, рассчитано по: [Maddison, 2001, p. 361]) – в 2,4 раза превышали динамику прироста ВВП (2,05% [Maddison, 2001, p. 262]). В итоге экспортоемкость британского ВВП к 1870 г. достигла 12,2% (рассчитано по: [Maddison, 2001, p. 261, 361]), а промышленности, составлявшей основу английского экспорта, – 45% [Brown, 1999, p. 52].

Подведем итоги.

Во-первых, смещение политических симпатий правящих кругов ведущих государств Западной Европы в сторону доктрины laissez faire и принципа невидимой руки, скорее всего, воз-

никли не столько на почве очарования политиков озарениями политэкономов, сколько были вызваны насущными хозяйственными задачами. Истеблишмент рассматривал политику «свободы торговли», с одной стороны, как способ «созидательного разрушения» рудиментов меркантилизма, оказывающих в первой половине XIX века очевидное подтормаживающее влияния на процессы социально-экономического развития, с другой – в качестве механизма предотвращения остановки экономического роста через удешевление стоимости импорта продовольствия для растущего рабочего класса и повышения нормы прибыли в промышленности.

Во-вторых, возникновение классической политической экономии ознаменовало начало разграничения экономики на «искусство», ограничивающееся формулированием «руководств к действию», и «науку», пытающуюся вскрыть устойчивые закономерности и истинную суть хозяйственных явлений, прячущихся за внешней изменчивостью реального мира. Параллельно классики уловили важный философский тренд конца XVIII – начала XIX столетия – убежденность в возможности преодоления человеком несовершенства окружающего пространства, что нашло отражение в стремлении экономистов рационализировать процесс познания и открыть универсальные законы, лежащие в основе экономического развития [Ананьин, 2007, с. 5–6].

В-третьих, пессимистический рефрен, снискавший «ранним» классикам «звание» представителей «мрачной науки», вероятно, предопределялся еще слабым проявлением достижений промышленной революции, затруднявшим осуществление оптимистических прогнозов в отношении долгосрочных перспектив социально-экономического развития и уверенности в технологиях как способе ускорения хозяйственного прогресса. Выход экономики Западной Европы на устойчивую траекторию индустриального роста, совпавший с началом становления второго технико-экономического уклада позволил произвести ревизию рикардианско-мальтузианского упаднического настроения в отношении динамики человеческого общества.

Глава 4. Специфика развития экономической мысли индустриальной эпохи

4.1. Взаимосвязь второй промышленной революции и маржиналистского переворота[1]

«Прекрасная эпоха» 1870–1913 гг. ознаменовалась началом трансформации «„первых индустриальных наций“ в первые общества массового потребления, где сектор услуг перерос обрабатывающие производства»[2]. Принципиально важно, что «дух времени» стали определять не только промышленники и предприниматели, но и простые потребители. Другая важная отличительная черта этой эпохи – индивидуализация экономической жизни. В сложившихся условиях наметилось смещение основного вектора теоретических изысканий экономистов от определения «природы и причины богатств народов» к изучению тех побудительных мотивов, «которые наиболее сильно и наиболее устойчиво воздействуют на поведение человека в хозяйственной сфере его жизни» [Маршалл, 2008, с. 68].

Дать наиболее развернутый ответ на данный вопрос попытались представители маржиналистской теории в лице У.С. Джевонса (1835–1882), К. Менгера (1840–1921) и Л. Вальраса (1834–1910). Практически синхронный выход в свет «Теории политической экономии» У.С. Джевонса и «Оснований политической экономии» К. Менгера в 1871 г., а также «Элементов чистой политической экономии» Л. Вальраса в 1874 г. ознаменовал переход экономической науки в новое качественное состояние. По мнению современных экспертов, «победу» маржинализму над прочими идейно-философскими течениями экономической мысли обеспечила «универсальность метода и инструментов анализа», а также возможность формализации экономической науки на базе «единого языка – предельного анализа» [Автономов, 2010, с. 185]. Однако, с точки зрения ряда специалистов, платой за триумф маржиналистского учения и превращение политической экономии в экономикс – беспристрастную, «чистую науку» [Salvary, 2002, p. 35], свободную от каких-либо практических рекомендаций и оценок деятельности хозяйствующих субъектов, стала ее «десоциализация и деисторизация», выразившиеся в «отделении экономики от других социальных наук» [Milonakis & Fine, 2009, p. 1]. Не вдаваясь в подробности дискуссии о сильных и слабых сторонах маржиналистской теории, остановимся на отличительных чертах данного экономического учения, выделив ключевые составляющие его теоретико-методологического ядра[3].

---

[1] Данный параграф базируется на отдельных разделах монографии: [Мальцев, 2014g]. Некоторые части этого раздела вошли в статью: [Мальцев, 2012c].

[2] http://www.123HelpMe.com/view.asp?id=22724

[3] Более детально методологические и философские особенности неоклассической экономической теории, начало которой положила маржиналистская революция, а также ее отличия от политической экономии рассмотрены в статье Е.П. Дятела [Дятел, 2013]. Подробный анализ причин трансформации политэкономии в экономикс представлен в работе А.И. Татаркина [Татаркин, 2014].

Во-первых, в методическом плане возобладание маржинализма означало начало превращения экономики в позитивную науку, сделавшее ее «принципиально независимой от какой-либо этической позиции или нормативных [предписывающих] суждений» [Friedman, 1966, p. 4]. Так, Л. Вальрас считал чистую политическую экономию «совершенно похожей на физико-математические науки» [Вальрас, 2000, с. 23], а У.С. Джевонс утверждал, что «все экономисты будут учеными настолько, насколько будут математиками» [Jevons, 1888, p. 11].

Во-вторых, ключевым элементом неоклассического учения стал принцип методологического индивидуализма, согласно которому все общественно-экономические явления объясняются исключительно поведением атомизированных индивидов, отличавшийся от холистского подхода классиков, мысливших в категориях социальных групп и стран [Автономов, 2010, с. 178]. Неудивительно, что на смену преимущественно макроэкономической традиции классической школы пришел микроэкономический подход, в центр которого маржиналисты поместили изолированного индивида, метафорического хозяйствующего Робинзона, в одиночку живущего на острове. «Человек со своими потребностями и своей властью над средствами их удовлетворения, – писал К. Менгер, – сам по себе является той точкой, в которой начинается и заканчивается экономическая жизнь» [Menger, 1976, p. 108]. Впрочем, приверженность маржиналистов методологическому индивидуализму с его представлением индивида в качестве базовой единицы экономического анализа не следует интерпретировать как некое проявление человекоцентричности их научных интересов. На самом деле, в теоретических изысканиях неоклассиков фигурирует не сам человек, а лишь слепок с его потребительских пристрастий. «Человек может исчезнуть, убедившись в том, что он оставил нам [экономистам] фотографию своих вкусов» (цит. по: [Hodgson, 1986, p. 214]), – заявлял ученик Л. Вальраса В. Парето. В конечном счете «чистая» политическая экономия стала «обезлюденной» концепцией, в которой индивиды оказались «за скобками» теоретических изысканий, превратившись в «бельевые веревки, на которых развешивались тезисы экономической логики» [Шумпетер, 2001, т. 3, с. 1170].

В-третьих, использованный маржиналистами научный аппарат базировался на приемах методологического редукционизма, предполагавших, имея в виду конечной целью построение стройной теории, элиминацию такого фактора, как многовариантность человеческого поведения. Это предопределяло необходимость завершения процесса трансплантации в экономическую науку ньютоновской картины мироздания, начатого еще в эпоху меркантилизма и получившего продолжение в работах классиков политической экономии [Калмычкова и Чаплыгина, 2005]. В основе этой модели лежит представление о мире как о замкнутой механистической системе, движение составных элементов которой предопределено их неизменными свойствами, полученными в момент сотворения Вселенной Творцом (см. подробнее: [Zakai, 2010; Cohen, 1994]). Используя данный методологический принцип, маржиналисты, вслед за И. Бентамом, полагавшим, что примени-

тельно к человеческому обществу этим «неизменным свойством» выступает желание «увеличить сумму всех удовольствий» [Bentham, 2000, p. 15], свели все мотивы людей к получению максимального наслаждения. Например, по К. Менгеру, «главная идея всей хозяйственной деятельности людей – это максимально возможное удовлетворение своих потребностей» [Menger, 1976, p. 230]. У.С. Джевонс, в наибольшей степени из всего маржиналистского трио подверженный влиянию утилитаризма, представлял человека как «калькулятор удовольствий и страданий», чья природа неизменна во времени, пассивна и субстанционально инертна [Peart, 1998]. Следствием подобной гедонистической трактовки человеческой сущности стало выведение ярко выраженной потребительской ориентации поведения хозяйствующих субъектов, для которых труд не вызывает ничего, кроме чувства дискомфорта и отвращения: «Труд – это болезненное напряжение, которое мы переносим для того, чтобы отвратить еще большие страдания» [Jevons, 1888, p. 104].

В-четвертых, предметом исследования маржиналистского учения стало поведение взращенного на основе синтеза принципов гедонизма и убывающей предельной полезности гиперрационального homo economicus, который «не ест, не спит, а все считает интересы, стремясь к наибольшей выгоде с наименьшими издержками; это счетная линейка, с математической правильностью реагирующая на внешний механизм распределения и производства» [Булгаков, 1993, т. 2, с. 343]. Самоочевидно, что объектом исследования в такой постановке вопроса могла выступать только абстрактная экономическая система как единственно возможная среда обитания подобного «калькулирующего индивида» [Morgan, 1996, p. 7], находящаяся в состоянии равновесия, удовлетворяющем двум условиям: спрос совпадает с предложением, а потребители и производители полностью и всегда удовлетворяют свои интересы и не стремятся изменить текущую ситуацию [Автономов, 1993, с. 33]. В частности, согласно Л. Вальрасу, для достижения рыночного равновесия «необходимо и достаточно, чтобы действительный спрос на каждый из двух товаров был равен его действительному предложению» [Вальрас, 2000, с. 53]. Признавая высокий уровень абстрактности подобных предпосылок и подчеркивая статичность подобной теоретической конструкции, экономист делал важную оговорку: «Мы предполагаем общество, которое устанавливает это равновесие „с нуля“ на определенный период времени, в течение которого не будет изменений в условиях задачи» [Вальрас, 2000, с. 258]. Критически важным условием функционирования равновесной системы выступала свободная конкуренция, обеспечивавшая хозяйствующие субъекты неискаженной информацией о ситуации на рынке, становившейся важнейшей предпосылкой реализации принципа максимизации полезности всеми участниками экономической деятельности. Неудивительно, что У.С. Джевонсу оптимальной рыночной ситуацией виделась лишь та, в которой «отсутствуют ошибочные решения, монополии, факторы и институты, выводящие систему из равновесия» [Mosselmans, 1998, p. 11], в результате чего формируются все условия для возникновения совершенной конкуренции, при которой «любой [субъект] будет об-

мениваться с кем-то другим даже при малейшей видимой выгоде» [Jevons, 1888, p. 64]. Естественно, Л. Вальрас также решительно осуждал малейшее отклонение от этого идеального состояния: «свобода обеспечивает – в определенных пределах – максимум полезности; следовательно, причины, которые ее нарушают, являются препятствием этому максимуму; и каковы бы они ни были, необходимо устранять их в максимально возможной степени» [Вальрас, 2000, с. 195].

В-пятых, сердцевиной неоклассического учения, выстроенного на рассмотренной методологической платформе, стала теория предельной полезности как новая концепция ценности, базирующаяся на субъективной оценке хозяйствующим субъектом полезности каждой дополнительной единицы потребляемого блага. «Ценность – это суждение, – утверждал К. Менгер, – которое экономические (economizing) люди имеют о значении находящихся в их распоряжении благ, необходимых для поддержания их жизни и благосостояния. Поэтому вне сознания людей ценность не существует» [Menger, 1976, p. 121]. Естественно, что подобный субъективно-психологический подход, придающий решающее значение не производству, а потреблению, в корне отличался от классической политической экономии, связывавшей происхождение ценности с издержками производства, определяющимися количеством затраченного труда [Автономов, 1993, с. 31]. Маржиналисты полагали, что с увеличением количества благ, находящихся в распоряжении у хозяйствующего субъекта, их полезность, по мере постепенного насыщения человеческих потребностей, будет снижаться. Данную идею Л. Вальрас описывал следующим образом: «Наша потребность в вещах, или полезность вещей для нас, уменьшается по мере потребления. Чем больше ешь, тем меньше чувство голода; чем больше пьешь, тем меньше жажда, по крайней мере, в общем случае и если не брать в расчет несколько досадных исключений» [Вальрас, 2000, с. 398]. В конечном счете у маржиналистов меновая стоимость товаров выражалась через полезность последней единицы блага, посредством которой удовлетворяется наименее значимая потребность. Формализация узлового положения маржиналистской теории ценности, исходящей из того, что производственные затраты не принимают прямого участия в процессе образования стоимости, которая «зависит исключительно от последней полезности», с нашей точки зрения, удалась У.С. Джевонсу в его триаде: «издержки производства определяют предложение – предложение определяет последнюю степень полезности – последняя степень полезности определяет стоимость» [Jevons, 1888, p. 101].

На первый взгляд, предложенная маржиналистами концепция выглядит полностью оторванной от реальности «интеллектуальной игрушкой», придуманной экономистами, получившими, по словам Л. Вальраса, право «заниматься наукой ради науки» [Вальрас, 2000, с. 24]. Более того, такие авторитетные исследователи, как В.С. Автономов и М. Блауг (см. подробнее: [Автономов, 2010; Blaug, 1997]) скептически относятся к попыткам объяснения происхождения маржинализма изменениями хозяйственной среды, полагая, что причины его появления следует ис-

кать во внутренней логике развития экономической науки. Солидаризируюсь с данной точкой зрения, мы тем не менее считаем, что без определенных технико-экономических сдвигов, произошедших в наиболее развитых странах мирового хозяйства в 1870–1910-е гг., элегантные наработки «маржиналистского трио» могли повторить участь концепций Г.Г. Госсена и остаться незамеченными современниками. Поэтому росту популярности маржиналистских идей, по нашему мнению, в немалой степени способствовали глубокие хозяйственные сдвиги, разворачивавшиеся в ведущих государствах мировой экономики на рубеже XIX–XX столетий, сделавшие предпосылки неоклассиков адекватными вызовам времени.

Прежде всего напомним, что именно в эти годы началась вторая промышленная революция, вызванная появлением таких технологий широкого применения, как электричество и двигатель внутреннего сгорания, позволивших, с одной стороны, снять технические ограничения, накладываемые паровой машиной, на увеличение размеров производства, с другой – осуществить переход от экстенсивного к интенсивным технологическим системам, в которых небольшие подразделения или отдельные фирмы снабжают стандартизированной продукцией крупные сборочные заводы [Hughes, 1989]. В свою очередь, углубление разделения труда, вызванное повышением уровня механизации крупного машинного производства, в среднем ослабило требования, предъявляемые к уровню подготовки рабочих, породив такое явление как «деквалификация» (см. подробнее: [Braverman, 1998]). Например, после ввода автоматических сборочных линий на автомобильных заводах Ford Motor Company доля неквалифицированного труда в общей структуре занятых данной компании достигла 55%[1]. Так параллельно с технико-организационными сдвигами происходила «девитализация» роли человека в хозяйственной жизни. Если еще в первой половине XIX столетия индивид представлялся «творческим созданием», который, по словам 16-го президента США А. Линкольна (1809–1865), должен «не только работать, но и быть инноватором (цит. по: [Reinert, 2004, p. 15]), то спустя полвека, в 1911 г., основоположник научного менеджмента Ф.У. Тейлор (1856–1915), распространяя принципы механицизма на все аспекты общественной жизнедеятельности, фактически отождествил рабочего с машиной, подчиненной одной задаче – наращиванию «максимальной производительности», которой вовсе необязательно обладать какими-то иными качествами, кроме исполнительности [Taylor, 2008, p. 7, 46]. Иными словами, технологическая революция 1870–1910-х гг. претворила в реальность смелые гипотезы английского экономиста Э. Юра (1778–1857), мечтавшего о том, что с введением машин «искусный работник, предрасположенный к различного рода перебоям в работе», станет ненужным и будет заменен «саморегулируемыми механизмами, с которыми сможет справиться даже ребенок» (цит. по: [Foster, 1998, p. XVI]). Таким образом, тотальная механизация производства способствовала

[1] The Degradation of Work Revisited: Workers and Technology in the American Auto Industry, 1900–2000. URL: http://www.autolife.umd.umich.edu/Labor/L_Overview/L_Overview3.htm

формированию новой, легко поддающейся управлению усредненной личности со стандартной манерой мышления, которую можно смело воспринимать в качестве константы с заданным набором задач. Поэтому, думается, представление человека как дегуманизированного элемента социальной массы, состоящей из множества подобных роботоподобных людей, запрограммированных на «погоню за эффективностью и упорядоченностью» [Haslam, 2006, p. 253], было не только плодом теоретической фантазии экономистов-неоклассиков, но и схематичным описанием широких масс реальных людей belle époque 1870–1910-х гг.

Другое принципиальное отличие второй промышленной революции заключалось в становлении систем массового производства, требовавших смещения центра тяжести экономической политики от стимулирования предложения в пользу стимулирования спроса. В разрезе практических действий это требовало изменения линии поведения людей и утверждения приоритета ценностей потребления на основе повышения уровня жизни и борьбы с бедностью.

Наиболее рельефно данные тренды прослеживались в Великобритании – стране-лидере первой промышленной революции, где за 1880–1904 гг. доля домохозяйств, живущих за чертой бедности, снизилась с 30 [Haggard, 2001, p. 50] до 15% [Gazeley & Newell, 2007, p. 25], тогда как удельный вес среднего класса в структуре населения за 1837–1901 гг., напротив, возрос с 15 до 25% [Worrall, 2010, vol. 1, p. 30]. Одной из основных причин, вызвавших подобную «рокировку», стал рост управленческого звена, выразившийся в увеличении числа так называемых «белых воротничков», выступавших основными носителями идеологии консьюмеризма. С ростом благосостояния структура потребления данной социальной группы кардинально изменилась. Если в середине XIX века средний конторский работник расходовал большую часть своего заработка на продукты питания и аренду жилья и мог «выкроить» лишь 3% на организацию досуга [Weber, 2004, p. 28], то к началу XX столетия лица, получавшие свыше 150 фунтов стерлингов в год, тратили от 5 до 15% доходов на оплату прислуги и еще около 6–8% на путешествия и проведение праздников [Lee, 1986, p. 44]. Неудивительно, что подобный сдвиг в потребительских предпочтениях англичан интерпретировался В. Зомбартом как «крушение капиталистического духа» и переход к гедонистическому образу жизни. В итоге простые обыватели стали привыкать «предаваться роскоши» и имитировать «жизнь сельского джентльмена» [Зомбарт, 1994, с. 273].

Бок о бок с повышением качества жизни шло обустраивание инфраструктуры общества потребления. Ее каркас создавали начала потребительского кредитования и массовое распространение рекламы. Например, если еще в середине XIX века сделки по покупке товаров в рассрочку в Великобритании носили единичный характер, то уже в 1891 г. в Соединенном Королевстве насчитывалось более 1 млн действующих договоров рассрочки платежа [Bowden, 2003, p. 362]. Еще более красноречивым примером, подтверждающим известный тезис А. Куна: «Система массового производства… требует системы массового финансирования» (цит. по: [Brown, 2008,

p. 81]), выступала автомобильная промышленность. Так, спустя год после запуска первого на Британских островах автомобильного конвейера (1912) в рассрочку удалось реализовать лишь один автомобиль [Bowden, 2003, p. 363], а всего через 15 лет 50–60% легковых машин в стране покупалось по различного рода схемам отсрочки платежа [O'Connell, 1998, p. 20].

Утверждению гедонистического императива маржиналистской концепции благоприятствовал колоссальный рывок в развитии технологического прогресса, одним из основных индикаторов которого, в частности, выступает появление новых видов товаров. Например, за 1885–1915 гг. ассортимент продуктов питания в американских продовольственных магазинах увеличился со 150 [Leikin, 2005, p. 13] до 1 000 [Humphery, 1998, p. 67] наименований. Диффузия третьего технологического уклада, отстраивавшегося вокруг электричества, в общехозяйственную среду дала мощный импульс появлению целого спектра предметов бытовой техники – стиральной машины (1907), пылесоса (1908), бытового холодильника (1913) и др. Однако широкое использование данных новшеств в быту сдерживалось по-прежнему сильным культурологическим стереотипом – «наслаждение можно найти только в труде и в аскезе» [Иванченко и Максименко, 2010, с. 49]. Устранение подобного социально-психологического барьера, препятствовавшего поступательному развитию экономики, требовало формирования новой ценностной парадигмы, центральным элементом которой выступала индивидуализация потребления и культивирование консьюмеризма. Важнейшая роль в процессе данного мировоззренческого «инжиниринга» отводилась рекламе как инструменту конструирования «нового сознания человека и трансформации его представлений [об окружающем мире]» [Smart, 2010, p. 60]. Неудивительно, что к началу XX века удельный вес рекламных объявлений в структуре доходов английских газетчиков достиг 3/4 [Paxton & Hessler, 2011, p. 240].

Другой основополагающий постулат неоклассической теории – стремление хозяйственной системы к нахождению равновесия, характерного для экономики без монополий, но с бóльшим количеством мелких товаропроизводителей, – также находил определенное подтверждение в институциональной среде некоторых стран belle époque 1870–1910-х гг. Например, во Франции, на родине Л. Вальраса – «главного зодчего теории общего равновесия» [Jaffe, 1988, p. 147], к 1906 г. 96,7% предприятий насчитывали от 1 до 5 работников [БСЭ, т. 58, с. 441]. Подобная атомизированная архитектоника рынков сохранялась и в Соединенном Королевстве, ставшем колыбелью «джевонсианской революции», сердцем которой, по словам Б. Тибена, была «концепция статического равновесия» [Tieben, 2009, p. 211]. Так, даже после Первой мировой войны, во время которой британское правительство, заинтересованное в наращивании объемов выпуска военной продукции, стимулировало укрупнение бизнеса, высокий (более 60%) уровень концентрации производства фиксировался только в табачной, химической промышленности и кораблестроении [Hannah, 1976, p. 225], 10 концернов контролировали менее 1/10 суммарной добычи каменного угля

[Cassis, 1997, p. 18], а вклад ста крупнейших компаний в суммарное промышленное производство Великобритании едва достигал 15% [Haigh, 1985, p. 275]. В этом контексте точка зрения В. Старка, утверждавшего, что маржиналистская революция стала не только «интеллектуальным феноменом», но и ответом на жизненную ситуацию, возникшую в 1870-е гг., когда «социальная и экономическая реальность максимально близко приблизилась к состоянию нахождения равновесия» (цит. по: [Coats, 1993, vol. 2, p. 38]) не выглядит неправдоподобной.

Возвращаясь к теоретическим аспектам, следует заметить, что все методологические компоненты маржинализма, в конечном счете, являлись «строительным материалом», необходимым для возведения здания новой теории ценности, более адекватно, чем «незыблемые законы стоимости» [Автономов, 1993, с. 30] классической политэкономии, отвечавшие духу времени золотого века 1870–1910-х гг. Исходя из этого, оценим реалистичность «наиболее» дискуссионного элемента маржиналистской концепции ценности – абстрактный характер стоимости, существующей-де лишь в субъективно-психологических оценках хозяйствующих субъектов.

Безусловно, трудно возразить нобелевскому лауреату по экономике 1974 г. Г. Мюрдалю, назвавшему субъективную теорию ценности «бессодержательной» из-за ее «абстрактных, нереалистичных допущений» [Myrdal, 2002, p. 92]. Однако необходимо помнить, что в этот период «социальные отношения между людьми начали принимать фантастическую форму отношений между вещами» [Dale, 2010, p. 35]. Данные социально-философские сдвиги хорошо просматриваются на примере, скажем, динамично развивавшейся автомобильной отрасли, в которой за 1898–1907 гг. число торговых марок возросло с 200 до 500 [Nieuwenhuis & Wells, 2000, p. 102]. По-видимому, разгадка подобного взрывного роста заключалась в том, что вторая промышленная революция дала толчок появлению значительного количества новых секторов экономики, чьи продукты принципиально не отличались от изделий и услуг конкурентов по потребительским свойствам, но несли разную символическую ценность, которая «не существовала в физическом мире, но обитала в сознании индивидуума и общества» [Panda, 2005, p. 66].

Другой «изъян» теории предельной полезности – «второстепенность» издержек производства в формировании стоимости – также хорошо согласовывался с изменениями в хозяйственном строе эпохи. В условиях дифференциации продуктов по качественным, пусть и в большинстве случаев субъективным, показателям, соперничество между товаропроизводителями приобрело не столько ценовой характер, сколько форму неценовой конкуренции, связанной с дополнительными издержками на рекламу, маркетинг, послепродажное обслуживание и т.д. Так, в 1912 г. удельный вес затрат на материалы и оплату труда в структуре розничной цены на автомобиль Ford составлял лишь 36,7%, английской компании Rover – 53,6% (рассчитано по: [Lewchuk, 1987, p. 149]), на рынке продуктов питания расходы на продвижение продукции превышали производственные затраты в 4–10 раз [Chandler, 1964, p. 157].

Наконец, в условиях постепенного насыщения рынков полезность многих видов товаров в глазах потребителей начала снижаться, стала падать и цена. Иными словами, проявился другой, не менее критикуемый маржиналистский софизм – «интенсивность последней удовлетворенной потребности есть убывающая функция от потребленного количества товара» [Вальрас, 2000, с. 398]. Так, в момент запуска в производство в 1908 г. Ford T обходился покупателю в 825 дол., что примерно равнялось среднегодовому заработку американского школьного учителя [Lacey, 1986, p. 94]. Спустя 19 лет его стоимость снизилась в 2,2 раза, при этом на годовое жалование (970 дол.[1]) среднестатистический учитель в США мог приобрести уже 2,6 «жестянки Лиззи»[2].

Между тем интенсивное изменение хозяйственного ландшафта мирового хозяйства, получившее дополнительное ускорение в годы Первой мировой войны, требовало пересмотра наиболее аксиоматических установок маржиналистской теории, входивших во все большее противоречие с духом времени» 1910–1920-х гг. Так, на смену слабомонополизированным рынкам с острым соперничеством между многочисленными мелкими товаропроизводителями, что являлось необходимым условием возникновения совершенной конкуренции – фундаментального постулата маржинализма «первой волны», в большинстве промышленно развитых стран мира пришла экономическая система, отличавшаяся высоким уровнем концентрации производства, делавшей невозможным функционирование автоматического механизма уравновешивания спроса и предложения.

Другая исходная предпосылка «старого маржинализма» – возможность достижения устойчивого равновесного состояния, предполагающего, по Л. Вальрасу, «полное отсутствие безработицы» [Bryant, 2010, p. 10], также не выдержала проверку хозяйственными реалиями послевоенной экономики Западной Европы и Северной Америки. Если в 1872 г. уровень безработицы в Великобритании не превышал 2,7%, то к началу 1920-х гг. «взлетел» к 12,2% [Boyer & Hatton, 2002, p. 667]. На исторической родине одного из главных действующих лиц маржинализма «второй волны» В. Парето (1848–1923) – в Италии, преимущественно аграрной стране с преобладанием самозанятого населения и слабо развитой промышленностью набирали обороты те же тренды, что и в индустриальной Британии: положительные в 1897–1913 гг. темпы роста занятости во вторичном секторе (16%), сменились в 1913–1921 гг. отрицательными (−9%), в результате чего количество безработных превысило полмиллиона человек [Hildebrand, 1965, p. 154]. За океаном, в самой мощной и не пострадавшей от военных действий экономике Соединенных Штатов доля незанятых граждан в общей численности экономически активного населения страны за 1906–1921 гг. увеличилась с 1,7 до 11,7% [Historical Statistics of the US…, 1975, pt. 1, p. 135].

---

[1] American Cultural History, 1920–1929. URL: http://kclibrary.lonestar.edu/decade20.html
[2] Average Sales Dollars. URL: http://web.bryant.edu/~ehu/h364proj/fall_98/coppola/sale.html

Еще один важный элемент «раннего» маржинализма – неприятие государственного вмешательства – тоже не вписывался в институциональную оболочку депрессивной экономики 1910–1920-х гг. В складывавшейся системе координат лишь «видимая рука» государства могла саморитизировать последствия таких кризисных явлений как отмеченное выше обострение безработицы и снижение жизненного уровня населения. Так, буквально за шестнадцать лет (1913–1929) совокупные расходы правительств ведущих стран Западной Европы увеличились в 1,6 раза с 12 до 19,5% ВВП [Шишков, 2010, с. 6]. Столь резкое увеличение масштабов присутствия государства в экономике развитых стран во многом обусловливалось расширением его «гуманизаторских функций», когда расходы на социальные нужды окончательно отодвинули на второй план традиционно приоритетные оборонные статьи бюджета.

Одной из возможных причин, обусловивших подобные сдвиги в хозяйственной жизни, стало постепенное затухание темпов научно-технического прогресса, сигнализировавшее о скором наступлении очередной инновационной паузы. Так, если в 1881–1901 гг. в мировой экономике ежегодно в среднем появлялось 1,45 «базисных инноваций», то в 1900–1927 гг. приток прорывных технологических нововведений сократился в 1,7 раза до 0,81 в год [Kleinknecht & van der Panne, 2008, p. 603]. При этом в полном соответствии с концепцией «инновационного лага», согласно которой внедрение кластера новых революционных технологий имеет отложенный народнохозяйственный эффект и становится макроэкономически «осязаемым» спустя продолжительный период времени, значительная часть базисных инноваций, появившихся в первые десятилетия XX столетия, относились к четвертому технологическом укладу, базирующемуся на разработках в области транспортного машиностроения, цветной металлургии, органической химии[1], фаза роста которого стартовала только в 1930-е гг. [Глазьев, 2007, с. 101]. Закономерно, что старые отрасли промышленности, возникшие в эпоху первого индустриального переворота и выполнявшие функцию генератора экономического роста на протяжении большей части XIX века, к началу 1920-х гг. начали утрачивать свой катализирующий эффект, в то время как зачаточный уровень развития производств, относившихся к новой технико-экономической парадигме, делал трудноосуществимым быстрое заполнение лакуны, образовавшейся на стыке третьего и четвертого технологического уклада, со всеми вытекавшими отсюда социально-экономическими последствиями. Например, в Соединенном Королевстве в 1913–1924 гг. инновационные автомобилестроение, химия и электротехника демонстрировали ежегодные темпы прироста производства в 4%, тогда как традиционные отрасли обрабатывающего комплекса лишь скромные 0,7%

[1] Согласно данным одного из наиболее полных на сегодняшний день перечня базовых инноваций, приведенного в работе нидерландских исследователей Г. Сильверберга и Б. Вершпагена, из 23 базовых технологий, появившихся в 1900–1915 гг., 21 относилась к зарождавшемуся ядру нового технологического уклада [Silverberg & Verspagen, 2003, p. 689].

[Magee, 2004, p. 78], а развитие первичного сектора английской экономики и вовсе характеризовалось отрицательной (−0,55% в год) динамикой [Thomas, 2004, p. 128].

Подобные технико-институциональные подвижки не могли не сказаться на интеллектуальном климате эпохи, в котором обострялась усталость общества от ценностей капитализма эпохи «великого покоя» [Уэллс, 1972, с. 92], все сильнее расходившихся со стремительно менявшимся «духом времени» первой четверти XX столетия. Накапливавшаяся неудовлетворенность дефицитом новых морально-этических ориентиров в сочетании с началом вступления развитых стран в период высокой социально-экономической турбулентности материализовалась в форме «коллективного восстания» против «социальных, политических, религиозных, интеллектуальных стереотипов и убеждений отцов и дедов» [Joyce, 2007, p. 29]. Острие критики общественной мысли межвоенного периода нацеливалось на сердцевину мировоззренческих позиций периода 1870–1913 гг. – систему laissez faire, названную Б. Шоу «вызывающим скорбь нонсенсом» (цит. по: [Holroyd, 1998, p. 323]). Наиболее жесткому остракизму подверглись базовые идеологемы этого учения: ортодоксальный утилитаризм, с его интерпретацией человека как эгоцентричного существа, созданного для получения удовольствий; тождественность общественного блага сумме частных интересов; статичный характер и «вечность законов» механистической картины мироустройства. Неудивительно, что столь резкий пересмотр отношения к еще недавно казавшимися абсолютно бесспорными доктринальным основаниям философии государственного невмешательства в экономику актуализировал задачу как минимум «косметического ремонта» отдельных постулатов маржиналистской экономической теории, завязанных на догмы политики laissez faire, с встроенной в нее предпосылкой об индивиде как «рациональном максимизаторе, обладающем совершенным предвидением и полной информацией» [Автономов, 1993, с. 46].

С позиции методологии экономических исследований наметившийся разрыв мейнстрима с крайними проявлениями утилитаристской традиции [Brooker & Bentley, 1990, p. 149–150], в первую очередь, означал некоторую трансформацию видения образа человека. Если раньше человеческая природа трактовалась маржиналистами преимущественно в рамках упрощенной модели асоциального индивидуализма, то теперь облик человека стал носить несколько более реалистичный оттенок. «Отправным пунктом в исследовании, – писал А. Маршалл (1842–1924), – должны служить мотивы, движущие индивидуумом, рассматриваемом отнюдь не в качестве изолированного атома» [Маршалл, 2008, с. 77, 78]. Поэтому, по мнению английского исследователя, «экономисты имеют дело… не с неким абстрактным или экономическим человеком, а с человеком из крови и плоти» [Маршалл, 2008, с. 79]. Вполне закономерно, что основным предметом экономических исследований отныне провозглашалось не изучение выхолощенных теоретических конструкций, а высвечивание конкретных социально-экономических проблем и выработка приемов их решения.

В том, что экономическая наука «должна быть реалистичной (а не чистой) наукой такого вида», которая рассматривает «не всеобщую систему возможных „миров“, но действительный мир мужчин и женщин, каким он должен открываться им в процессе их жизнедеятельности» [Пигу, 1985, т. 1, с. 68], А. Маршалла поддержал его ученик А. Пигу (1877–1959). В свою очередь, уход от «чистой теории» предопределял возврат к смитианской традиции опоры на практико-ориентированные задачи и некоторое переосмысление отношения к использованию методов точных наук в экономических исследованиях. Например, в отличие от «отца-основателя английского маржинализма» [Roncaglia, 2005, p. 354] У.С. Джевонса, бескомпромиссно утверждавшего, что политическая экономия «должна быть математической наукой» [Jevons, 1888, p. 6], А. Маршалл предостерегал от «чрезмерной зависимости от математики, которая может сбить [экономиста] с пути и привести к изучению интеллектуальных пустышек, мнимых проблем, не отвечающих условиям реальной жизни» [Clark, 1998, p. 310]. Подобная переоценка методологического инструментария ученых затрудняла уподобление политической экономии точным наукам, «ибо она имеет дело с постоянно меняющимися, очень тонкими свойствами человеческой натуры» [Маршалл, 2008, с. 69]. Скажем, А. Маршалл в предисловии к восьмому изданию «Основ экономической науки», вышедшему в 1920 г., прямо отмечал, что «Меккой экономиста является, скорее, экономическая биология… Наше исследование целиком посвящено силам, порождающим движение, и основное внимание в нем сосредоточено не на статике, а на динамике» [Маршалл, 2008, с. 53].

Вместе с тем попытки анализа хозяйственных явлений в условиях изменчивости внешней среды затрудняло использование, свойственной маржиналистской теории, предпосылки о способности всей экономической системы находится в состоянии равновесности. Для разрешения данной «коллизии» А. Маршалл ввел понятие частичного равновесия, которое может быть установлено на узком сегменте рынка или на уровне отдельной фирмы. Подчеркивая краткосрочный характер устойчивости, отец неоклассики использовал биологическую метафору «листьев дерева», которые «много раз дорастают до зрелости, достигают состояния равновесия и затем увядают, а само дерево при этом из года в год все растет вверх» [Маршалл, 2008, с. 445]. При этом А. Маршалл объяснял деформацию частичного равновесия процессами картеллизации и монополизации, когда «нормальная деятельность отступает на второй план, …тресты устремляются в борьбу за овладение крупным рынком… Политика отдельного предприятия не направляется на достижение своего собственного коммерческого успеха, а подчиняется… какой-либо кампании по установлению контроля над рынками» [Маршалл, 2008, с. 53].

Наконец, с повышением уровня концентрации производства хозяйственные системы развитых странах начали выходить из равновесного состояния, по-прежнему рассматривавшегося теоретиками неоклассики «идеальным условием достижения максимума экономического благососто-

яния» [Пигу, 1985, т. 1, с. 35]. Для анализа этих явлений А. Пигу использовал понятие «монополистической конкуренции», возникающей в условиях, когда «один из двух или более продавцов обеспечивают товарами значительную часть рынка, на который они поставляют свою продукцию» [Пигу, 1985, т. 1, с. 335]. Обратной стороной в данной ситуации становилось сворачивание инвестиций, снижение объемов выпуска продукции в «интересах повышения цены», а также рост барьеров для межотраслевого перетока факторов производства. Задачу корректировки «нарушений равновесия в объеме производства» [Пигу, 1985, т. 1, с. 41] исследователь возлагал на государство. К главным направлениям государственного регулирования А. Пигу, как и А. Маршалл, относил приемы редистрибутивной политики – бюджетные инвестиции и прямые дотации «тем отраслям, где устойчиво действует закон возрастающей доходности», а также перенос налогового бремени на сектора, «где устойчиво действует закон убывающей отдачи» [Пигу, 1985, т. 1, с. 289].

Идея «правомочности» интервенций государства в экономику для исправления «дефектов» рынка, порождаемых монополиями, окончательное оформление получила в работах В. Парето (1848–1923). С точки зрения итальянского ученого, идеальное условие функционирования хозяйственной системы, впоследствии получившее название Парето-оптимального состояния, предполагает, что «всякое изменение, которое не приносит убытков, а которое некоторым людям приносит пользу (по их собственной оценке), является улучшением» [Монахова, 2012]. Естественно, что в такой ситуации вмешательство государства являлось излишним. Однако любое отклонение от «оптимума по Парето» допускало оперативную корректировку рыночного несовершенства, реализуемую государством при помощи перераспределительных мер [Макашева, 2010, с. 243].

Наконец, ухудшение качества рыночной среды требовало обновления раннемаржиналистской теории стоимости, исходившей из приоритета потребления над производством. В частности, А. Маршалл обратил внимание на проигнорированные маржиналистами первой волны производственные издержки, задающие параметры предложения. «Принцип „издержек производства“ и принцип „конечной полезности“, – писал А. Маршалл, – без сомнения, являются составными частями одного всеобщего закона спроса и предложения… Ни то ни другое не может притязать на преобладающую роль, так же как на нее не может претендовать ни одно из лезвий пары ножниц или каждая из опор арки» [Маршалл, 2008, с. 512, 775]. Пересечение кривых спроса и предложения в «оси ножниц» определит равновесную цену. Для иллюстрации ученый по аналогии с У.С. Джевонсом сформулировал свою «цепочку стоимости»: «Цена, которую люди готовы за него [предмет] заплатить, будет диктоваться их желанием приобрести его… но это зависит от причин, обусловливающих предложение предмета, что, в свою очередь, зависит от размера издержек на его производство» [Маршалл, 2008, с. 357]. При этом А. Маршалл делал важную оговорку, подчеркивая, что в краткосрочной перспективе большее влияние на определение меновой стоимости товара оказывают факторы, действующие со стороны спроса, а в долгосрочной – издержки

производства [Маршалл, 2008, с. 358]. В конечном счете достигнутая при этом равновесная цена создаст условия для «очищения» локального рынка [O'Brien, 1996, p. 365], когда на нем «не останется ни неудовлетворенного спроса, ни нереализованных продуктов» [Aiginger, 1987].

Подведем итоги.

1. «Революция» в экономической науке последней четверти XIX столетия стала возможной в немалой степени благодаря усилившемуся расхождению между экономической теорией и практикой хозяйственного строительства, когда классическая политэкономия, опиравшаяся на миллевскую традицию, оказалась неспособной дать адекватное описание стремительно изменявшемуся технико-институциональному ландшафту мирового хозяйства. При кажущейся оторванности от хозяйственной реальности, маржиналистская теория хорошо соответствовала «духу времени» belle époque 1870–1910-х гг., когда страны, составлявшие ядро глобальной экономики, приступили к монтажу каркаса общества массового потребления. Таким образом, изменение облика экономического мейнстрима совпало с началом постепенного перехода хозяйственной системы промышленно развитых государств в новое социальное измерение.

2. Частая критика базовых предпосылок маржиналистской теории свидетельствует о том, что ее оппоненты, проигнорировав факт смены задач экономической науки – от определения «природы и причины богатств народов» к изучению процессов аллокации ресурсов – впали в «грех оценки прошлых авторов… без учета исторических условий, в которых им приходилось писать» [Blaug, 1997, p. 1].

3. «Засорение» рыночной среды развитых стран Запада после Первой мировой войны такими искажающими факторами, как усиление монополизма, рост безработицы, а также затухание темпов научно-технического прогресса, не вписывались в безоблачную, бескризисно-равновесную картину, рисуемую маржиналистами «первой волны». Все более бросающееся в глаза несоответствие базовых постулатов неоклассики «духу времени» вкупе с нарастанием социальной усталости от «позолоченной» атмосферы «прекрасной эпохи» ставили в повестку дня задачу «гуманизации» экономической науки и придания ей большей реалистичности. Маржиналисты «второго призыва» не без успеха справились с поставленной задачей, воскресили смитианский дух сочетания «высокой теории» и практики, вернули «видимой руке» государства право корректировать неисправности рыночного механизма и более жизненно прорисовали человеческое поведение.

4.2. Возникновение кейнсианского учения в контексте замещения технологических парадигм[1]

На протяжении без малого восьми десятилетий, прошедших с появления в 1936 г. работы Дж.М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег», спустя 11 лет названной Л. Клейном «кейнсианской революцией» [Klein, 1947], в литературе, посвященной истории экономического анализа, не затихают споры о природе, причине и характере изменения русла основного течения. Особенно ожесточенные дискуссии вызывают вопросы влияния хозяйственных пертурбаций 1930-х гг. на формирование кейнсианского учения. Например, современник «революционных» событий Й. Шумпетер еще в 1949 г. доказывал: «Исследования Кейнса служат прекрасной иллюстрацией, что видение фактов и смыслов в принципе предшествует аналитической работе» [Шумпетер, 2001, т. 3, с. 1541]. Один из наиболее известных исследователей творчества кембриджского ученого Р. Скидельски абсолютно убежден: «Кейнс никогда бы не написал такого рода книгу, если бы мировая экономика в 1929–1932 гг. не потерпела крах» [Skidelsky, 1996, p. 80]. Развивая эту мысль, английский экономист Э. Конвей трактует научные изыскания главного протагониста данного интеллектуального переворота как «прямой ответ на вызовы Великой депрессии» [Conway, 2009].

Между тем экстерналистская интерпретация генезиса кейнсианского учения с изначала встретила мощную интеллектуальную оппозицию в лице сторонников интерналистской трактовки эволюции экономической мысли, отстаивающих точку зрения, согласно которой гуманитарные дисциплины являются продуктом внутреннего развития научного знания, изолированного от влияний внешнего мира. В качестве примера приведем мнение профессора Софийского университета в Токио Т. Хираи: «„Общая теория“ концентрировалась на теории и в ней не делается никаких попыток применить ее на практике» [Hirai, 2008, p. 38]. В немалой степени вклад в методологическую сумятицу внес сам Дж.М. Кейнс, наделявший идеи, рожденные в сознании ученых, способностью детерминировать социальную реальность. «Идеи экономистов и политических мыслителей… в действительности только они и правят миром. Люди практики… обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого», – утверждал британский экономист в своем magna opus [Кейнс, 2012, с. 350]. Не пытаясь классифицировать данные подходы в априорных терминах лучше или хуже, попытаемся проследить формирование нового экономического учения на фоне изменений социально-экономических реалий, для чего кратко восстановим хозяйственную атмосферу «ревущих двадцатых».

1920-е гг. в США, окончательно перехвативших звание страны – лидера мирового хозяйства у превращавшегося в «больного человека Европы» Соединенного Королевства, вошли в ис-

[1] Данный параграф базируется на отдельных разделах монографии: [Мальцев, 2014g]. Некоторые части этого раздела вошли в статью: [Мальцев, 2012b].

торию под названием эпохи «иррациональной жизнерадостности», во время которой «даже вдовы, мелкие фермеры и чистильщики сапог несли свои деньги в беспроигрышное казино [на бирже]» [Perez, 2002, p. 3]. На волне оптимизма, порожденного подготовкой к развертыванию очередной волны экономической конъюнктуры, инвесторы начали перемещать капитал из производственных звеньев старого технологического уклада в отрасли, формирующие ядро «новой экономики». Так, за 1926–1929 гг. акции Radio Corporation of America подорожали на 1 800% [Smith, 2003, p. 121], а капитализация General Motors за 1921–1929 гг. и вовсе «взлетела» в 40 раз [Schweikart & Doti, 2010, p. 285], тогда как аналогичный показатель всех компаний «старой» железнодорожной промышленности возрос за 1919–1929 гг. «всего лишь» в два раза [Wigemore, 1985, p. 37]. Вместе с тем зачаточный уровень развития инновационных производств не позволял абсорбировать весь объем финансовых ресурсов, высвобождавшихся из перезревшего технологического уклада. В результате их излишки переливались в другие сектора экономики, в первую очередь «разогревая» рынок недвижимости [White, 2009].

Дополнительно жар спекулятивной горячки усиливала политика финансовых властей, поддерживавших экономику, в том числе, естественно, «новых отраслей», дешевыми деньгами и тем самым раздувавших ажиотаж потребительского кредитования. К концу 1920-х гг. 88,5% автомобилей, 80% фотоаппаратов, 75% стиральных машин, 50% радио, холодильников и стиральных машин в США покупались в рассрочку (рассчитано по: Голубович, 1997, с. 221; Napier, 2007, p. 80–81]). Еще одним катализатором потребительского бума стало снижение фискального бремени для населения. За 1918–1925 гг. максимальная ставка подоходного налога уменьшилась с 76 до 25% [Smiley, 1996], а федеральный налог на доходы физических лиц к 1926 г. оплачивали лишь 10% американцев [Smiley, 1996]. В итоге консьюмеристская эйфория превратились в драйвер процессов перепроизводства. Например, уже к 1925 г. производственные мощности американской автомобильной промышленности (6 млн автомобилей в год) в 1,5 раза превышали объем спроса [Niemark, 1995, p. 59]. Если учесть, что автомобилестроительная отрасль поглощала 20% производимой в стране стали, 70% листового стекла, 80% резинотехнических изделий и 90% нефтепродуктов [Rae, 1959, p. 153], то становится очевидным, что «пузырь был обречен на то, чтобы рано или поздно лопнуть» [Скидельски, 2011, с. 93].

Дальнейшее развитие событий полностью совпадало с известным еще с «тюльпановой лихорадки» XVI столетия наблюдением – «чем больше пузырь, тем болезненнее его сдутие»[1]. К концу августа 1929 г. рыночная стоимость 135 ведущих промышленных компаний США, по одной из оценок, достигла 154% ВВП [McGrattan & Prescott, 2003, p. 3]. Кульминацией спекулятивной гонки стало начало сентября 1929 г., когда индекс Доу-Джонса поднялся до историческо-

[1] Market Crashes: What are Crashes and Bubbles? URL: http://www.investopedia.com/features/crashes/crashes1.asp#axzz1l8qKuNDS

го максимума – 381,17 пункта (рекорд, побитый только спустя 25 лет, в ноябре 1954 г.) [Журавлев, 2009, с. 61]. За этим последовала «жесткая посадка» фондового рынка, который за неделю биржевой паники, начавшейся с событий «черного вторника» 29 сентября 1929 г., потерял 30 млрд дол.[1], что в 1,5 раза превышало расходы Соединенных Штатов на Первую мировую войну [Daggett, 2010, p. 2].

Проблемы финансовых рынков автоматически отразились на реальном секторе экономики. За 1929–1933 гг. промышленное производство в США упало на 47% [Romer, 2003], национальный доход страны уменьшился в 1,5 раза, а уровень безработицы к 1932 г. едва не пробил 25%-й «порог» (23,6%), что, впрочем, с учетом членов семей составляло практически половину населения страны[2]. Вполне закономерно, что подобное нарушение так называемой «экономической нормальности», появление «черного лебедя» Великой депрессии, фактически закрепившие окончательный переход экономической системы капитализма из упорядоченного состояния «вечного покоя» в фазу «вечного кризиса», требовали кардинального пересмотра фундаментальных основ неоклассической теории, «ибо в войну в окопах нет атеистов, а в условиях кризиса трудно встретить либертарианцев»[3].

В этих условиях как нельзя более актуальными стали идеи Дж.М. Кейнса (1883–1946), решительно порвавшие с эпикурейскими представлениями о человеке как рациональном потребителе и рассеявшие иллюзии о возможности достижения саморегулируемыми рыночными силами равновесного состояния при анемичных усилиях со стороны государства. При этом синхронность сползания хозяйственных систем развитых стран в пучину депрессии, а также глубина и продолжительность кризисных явлений, поразивших мировое хозяйство – за 1929–1933 гг. глобальный ВВП снизился на 1/10, промышленное производство – на 1/3, а мировая торговля «сжалась» на 1/4 [Milanovic, 1998, p. 28], обусловливали достаточно высокую скорость распространения идей английского ученого. В этом плане не удивительно единство большинства экспертов в том, что в эпоху «безвременья между двумя катастрофами» [Ремарк, 2002, с. 768] в экономической науке началась настоящая кейнсианская революция, «в большей степени, чем смитианская, рикардианская или джевонсианская заслуживающая писаться без кавычек» [Hutchison, 1978, p. 121]. Именно кейнсианству удалось совершить подлинный переворот в практике государственной политики, а после Второй мировой войны утвердиться в качестве основного канона мейнстрима.

---

[1] 50 Interesting Facts about the Great Depression. URL: http://facts.randomhistory.com/2009/04/12_great-depression.html

[2] United States Unemployment Rate. URL: http://www.infoplease.com/ipa/A0104719.html

[3] Jeffrey Frankel: No Libertarians in Financial Crises. URL: http://delong.typepad.com/egregious_moderation/2008/07/jeffrey-frankel.html

Теоретико-методологический фундамент нового «основного течения», заложенный в вышедшей в свет в 1936 г. «Общей теории занятости, процента и денег», формировали следующие основные положения.

Во-первых, в отличие от неоклассики, утверждающей предопределенность будущего и наделяющей хозяйствующих субъектов даром совершенного предвидения, сердцевиной кейнсианского учения стал феномен неустранимой неопределенности. «Мы не знаем, – писал Дж.М. Кейнс, – что готовит нам будущее, кроме того, что оно будет сильно отличаться от всего того, что мы могли предсказать» (цит. по: [Carabelli, 2003, p. 213]). Соответственно, неполнота информации о грядущих событиях расстраивает точный механизм расчета оптимальной траектории достижения консьюмеристского счастья, что, в свою очередь, провоцирует участников рынка к чрезмерным – в целях хеджирования рисков – сбережениям, дестимулирующим инвестиционную деятельность, и, в конечном счете, раскручивающим маховик безработицы. Этот психологический закон, истоки которого восходят к знаменитому памфлету Б. Мандевилля «Басня о пчелах» (1714), получил окончательное методологическое оформление в кейнсианском «парадоксе бережливости», согласно которому «сбережения на черный день приближают его наступление»[1]. Как следствие, атмосфера мрачных ожиданий с царящим в ней духом «вечного страха перед будущим» разрушает среду обитания рационального homo economicus, знающего свое «будущее наперед, до скончания веков» [Скидельски, 2011, с. 116, 123]. Все это предопределило переход экономической науки от мышления в рамках долгосрочной перспективы к рассуждениям в терминах краткосрочного анализа. «Недостаток „длинного периода“, – иронично замечал Дж.М. Кейнс, – заключается в том, что в долгосрочном периоде все мы будем мертвы», тогда как «…великое преимущество „короткого периода“ в том, что в краткосрочном периоде все мы еще живы» (цит. по: [Carabelli, 2003, p. 213]).

Во-вторых, привнесение в экономическую теорию отличных от рационального гедонизма факторов неопределенности и пессимистических настроений породило «кейнсианского человека», принимающего, в противовес своему маржиналистскому «предшественнику», хозяйственные решения под воздействием «спонтанного оптимизма, а не математических расчетов» (цит. по: [Lawrence, 2009, p. 333]). Вполне естественно, что Дж.М. Кейнсу рыночная экономика мыслилась лишенной способности к рекурсии в равновесное состояние [Скидельски, 2011, с. 110], а люди не похожими на одинаковые биллиардные шары из метафоры Д. Юма, которые «равномерно катятся по гладкой поверхности стола» [Fitzgibbons, 2002, p. 10]. Неудивительно, что в отличие от своих коллег из неоклассического лагеря, отстаивавших максимально полное приближение экономикса к естественным наукам, Дж.М. Кейнс призывал к учету не только «экономических факторов», но и «психологии общества», что обусловливало видение облика экономической теории как

[1] Paradox of Thrift. URL: http://www.aft.org/newspubs/periodicals/yourmoney/2009/thrift.cfm

«гуманитарной дисциплины, …имеющей дело с интроспекциями и ценностями… а также с мотивами, ожиданиями и психологическими неопределенностями» (цит. по: [Dostaler, 2007, p. 70]). Более реалистичная прорисовка психологических аспектов рыночного поведения хозяйствующих субъектов затрудняла использование допущения об абсолютной рациональности, наделявшей изолированных друг от друга «компетентных эгоистов» одинаковым объемом информации, что позволяло отстраивать экономическую политику, базируясь лишь на решениях, принимаемых атомизированным индивидом. Окончательно отказавшись от джевонсианских догматов ортодоксального утилитаризма, Дж.М. Кейнс вернул в экономическую науку принципы методологического холизма, постулирующие невозможность выхолащивания сложной и неоднородной структуры общества до простой совокупности бытия его частных членов. Эти мировоззренческие сдвиги ознаменовали переход магистрального течения от зауженного микро- к широкому макроэкономическому уровню исследований, открывшему дорогу анализу таких емких категорий как «капитализм» и «экономическая система», остававшихся на периферии научных интересов большинства маржиналистов [Steele, 2001, p. 171].

В-третьих, в противовес неоклассикам сторонники кейнсианского учения исходили из неидеальности институциональной среды и настаивали на расширении регулятивных функций государства в целях снижения «силы трения» между разновекторными интересами внутри различных социальных групп. Активное вмешательство «видимой руки» государственных институтов в свободную игру рыночных сил неустойчивой хозяйственной среды, населенной «несовершенными» существами, требовалось также для снабжения участников экономической деятельности недоступной для каждого из них по отдельности информацией в целях уменьшения градуса неопределенности и размораживания инвестиционной активности. Формирование устойчивого личного и инвестиционного спроса в новой экономической модели предполагало отказ от «робких» маршаллинских фискально-монетарных мер и переход к расширению арсенала приемов макроэкономического регулирования «принятием на себя все большей ответственности за прямую организацию инвестиций… во имя общих социальных выгод» [Кейнс, 2012, с. 156].

Однако вряд ли можно считать справедливыми частые обвинения Дж.М. Кейнса в апологетизации концепции «тотального государства», следящего за всеми сторонами общественной жизнедеятельности и обладающего правом вмешиваться в частную жизнь граждан [Padro, 2004, p. 7]. Предостерегая от подобных упрощенных трактовок, английский экономист четко обозначил пределы проникновения правительства в хозяйственный механизм, ограничив их выполнением социальных обязательств и воздействием на уровень потребления через механизм «социализации инвестиций», то есть возложением на государство задачи осуществления большей части капитальных вложений в экономику. При этом, по мнению ученого, «социализация инвестиций не

требует от государства обобществления средств производства и не означает установления диктатуры над всеми остальными сферами экономической жизни общества» [Kaboub, 2008, p. 649].

В-четвертых, Дж.М. Кейнс подверг критическому анализу исходный постулат неоклассической экономической теории – равенство Ж.-Б. Сэя, аксиоматизирующее невозможность кризисов перепроизводства в идеальной рыночной системе с эластичной взаимозависимостью спроса и предложения, что обеспечивает «саморассасывание» товарных тромбов. В отличие от последователей автора «Трактата политической экономии» (1803) британский исследователь отстаивал идею, согласно которой снижение цен и заработной платы неизбежно ведет к сокращению расходов, что, в свою очередь, провоцирует сворачивание инвестиций с вытекающими отсюда последствиями в виде падения объемов производства и роста безработицы. Сломать негативный тренд, то есть вытащить забуксовавшую махину совокупного спроса, в кейнсианской концепции могло лишь «искусственное», направляемое государством стимулирование роста платежеспособности населения. Однако реализация данной задачи на практике упиралась в дихотомию человеческого поведения, мечущегося между текущим потреблением и сбережением. По мысли кейнсианцев, при урезании заработной платы люди инстинктивно, стремясь поддержать прежний уровень жизни, сокращают долю сбережений в структуре своих доходов, подрывая тем самым спрос на капиталоемкие товары длительного пользования. Для предотвращения неизбежного в таком случае кризиса перепроизводства в реальном секторе и снижения спроса на трудовые ресурсы английский экономист призывал государство всячески противодействовать снижению доходов занятых и общей занятости (см. подробнее: [Murad, 1962, p. 68–70]).

Вполне естественно, что сам Дж.М. Кейнс квинтэссенцией своих исследований считал «указание на жизненную необходимость руководящего влияния государства на склонность к потреблению частично путем соответствующей системы налогов, частично фиксированием нормы процента и, возможно, другими способами» [Keynes, 2006, p. 348]. В совокупности это означало переход к пониманию экономической «теории не как цели в себе или способа получения эстетического наслаждения, а как… средства… получения практической помощи в деле рационального совершенствования общества» [Макашева, 1993, с. 18–19].

Изначально кейнсианские «рецепты» получили весьма сдержанный прием экономических властей. «Казначейство, – писал в 1925 г. У. Черчилль, занимавший в то время должность министра финансов Великобритании, – никогда не столкнется с тем феноменом, который господин Кейнс называет „парадоксом безработицы среди голодающих“» (цит. по: [Peden, 2004, p. 42]). Президент США Ф.Д. Рузвельт даже в разгар Великой депрессии характеризовал Дж.М. Кейнса как «капризного математика» (цит. по: [Canterbery, 2011, p. 228]). Тем не менее большинство его современников, включая оппонентов – представителей австрийской школы экономического анализа, признавали «Общую теорию занятости, процента и денег» «наиболее важной книгой, по-

явившейся в этом веке» [Galbraith, 1975, p. 132]. В дальнейшем эксперты также в целом сходились во мнении, что учение Дж.М. Кейнса наиболее точно отражало специфику хозяйственных решений, предпринимавшихся правительствами развитых государств для выведения экономики из глубочайшего кризиса. Рассмотрим особенности борьбы с депрессивными явлениями в Великобритании, США, Германии и Японии, а также попытаемся проследить взаимосвязь практики реализации экономической политики и теоретических изысканий английского ученого и его последователей.

Сложное социально-экономическое положение в ведущих державах диктовало необходимость начинать выход из фазы кризисного «штопора» с санации одного из основных генераторов неопределенности – финансовой системы, перебои в работе которой блокировали развитие остальных секторов экономики. Так, 5 марта 1933 г., спустя сутки после своего вступления в должность Президента США, Ф.Д. Рузвельт издал постановление о трехдневном приостановлении всех банковских транзакций. 9 марта 1933 г. Конгресс принял Закон «Об освобождении банков (от ответственности)», разделивший банки на три категории: 1) устойчивые, подлежавшие немедленному открытию; 2) проблемные, возвращавшиеся в бизнес после выкупа их «токсичных» активов специально учрежденной в 1932 г. Reconstruction Finance Corporation; 3) нереанимируемые, то есть приговоренные к ликвидации. Следующим важным шагом на пути стабилизации финансовой сферы стал президентский указ № 6102 от 5 апреля 1933 г., требовавший принудительного обмена хранившегося у населения и организаций золота в слитках и монетах стоимостью свыше 100 дол. на бумажные деньги. Одновременно ФРС получила разрешение на эмиссию не обеспеченных «желтым металлом» банкнот, что фактически означало демонтаж системы золотодевизного стандарта и привело к 30%-й девальвации доллара по отношению к золоту [Голубович, 1997, с. 229]. Предвосхищая рекомендации британского исследователя, предупреждавшего об опасности ситуации, когда «расширение производственного капитала в стране становится побочным продуктом деятельности казино» [Keynes, 2006, p. 142], 16 июня 1933 г. американский конгресс одобрил Закон «О банках», более известный как закон Гласса – Стиголла, разделивший все кредитные учреждения на депозитные и инвестиционные и запретивший коммерческим банкам оказывать услуги по андеррайтингу ценных бумаг. Помимо этого, данным нормативным актом вводилась первая в мире система страхования вкладов, обеспечивавшая страховку 97% депозитов [Friedman & Schwartz, 1963, p. 436–437], в результате чего за 1934 г. в Соединенных Штатах обанкротилось лишь 9 финансовых институтов против 9 000 в предшествующие четыре года[1]. В конечном счете меры по укреплению и восстановлению доверия к финансово-кредитной системе способствовали оживлению деловой активности, облегчая тем самым государству решение задачи поддержки реального сектора и борьбы с безработицей.

[1] A Brief History of Deposit Insurance. URL: https://www.fdic.gov/bank/historical/brief/brhist.pdf

На первый взгляд, один из узловых выводов кейнсианской теории – необходимость государственного «обеспечения приближения к полной занятости» [Keynes, 2006, p. 348] – нашел особенно полное отражение в Германии 1930-х гг., чья экономическая модель в современной литературе часто интерпретируется в терминах «милитаристского кейнсианства» (см. подробнее: [Wiessen, 2011, p. 14]). В частности, уже в мае 1933 г. узурпировавшая в марте 1933 г. власть в стране NSDAP приняла декрет о Германском трудовом фронте, запрещавший коллективные договоры, право пролетариата на забастовки и переход работников с одного предприятия на другое [Голубович, 1997, с. 247]. На фактическое обнуление безработицы, составлявшей в 1932 г. 30,1%[1], в решающей степени сработали инициированные государством массовое возведение объектов инфраструктуры и опережающее развитие тяжелой промышленности в рамках «Программ Райнхардта» (1933–1936) и четырехлетнего плана перестройки народного хозяйства (1936–1940). Рост тяжелой индустрии – к 1937 г. на территории Германии функционировали 70 химических, 60 авиационных, 45 автомобильных и танковых, 15 военно-судостроительных заводов [Голубович, 1997, с. 249] – практически целиком «затачивался» на нужды милитаризации экономики. «Успехи» германского государства в достижении 100%-й занятости на квазикейнсианской основе «пушки вместо масла» (к началу Второй мировой войны производство потребительских товаров в стране так и не достигло уровня 1928 г. [Голубович, 1997, с. 250]) дали искомый результат: к январю 1939 г. в стране насчитывалось лишь 302 тыс. безработных против 6 млн в январе 1933 г.[2] В этом плане примечательна жесткая отповедь Дж. Робинсон (1903–1983), одной из наиболее известных последователей Дж.М. Кейнса, защищавшей учителя от участившихся нападок в пропаганде «полного социализма и тоталитарного государства» (цит. по: [Hazlitt, 2009, p. 8]) категоричным утверждением о том, что «Гитлер уже нашел способы лечения безработицы прежде, чем Кейнс завершил объяснение ее появления» (цит. по: [Abelshauser, 2000, p. 131]).

По протокейнсианским лекалам, требующим для противодействия сворачиванию экономического роста наращивания «социализации» государственных расходов, велась борьба с кризисными явлениями и на родине ученого – в Великобритании. Еще в 1925 г. правительство С. Болдуина приняло Закон «О пенсиях для вдов, сирот и престарелых», предусматривавший страхование неработающих граждан. В 1930 г. английский парламент утвердил Закон «О страховании безработицы», распространявший выдачу пособий по безработице на лиц, достигших 15 лет [Кащенко, 2006]. Закон «Об особых территориях», принятый в 1934 г., предполагал выделение трансфертов для поддержки наиболее «проблемных» в социально-экономическом отношении

[1] Weimar Republic, 1929–1933. URL: http://www.zum.de/whkmla/region/germany/wr19291932.html

[2] The Nazis and the German Economy. URL: http://www.historylearningsite.co.uk/nazis_and_the_german_economy.htm

регионов страны[1]. Параллельно в межвоенный период резко возросли затраты государства на развитие человеческого капитала: за 1920–1939 гг. удельные расходы на образование в Великобритании увеличились в 1,8 (с 1,84 до 3,26% ВВП[2]), здравоохранение – в 4,2 раза (с 0,42 до 1,76% ВВП)[3]. При этом, как и в Германии, основным катализатором оживления британской экономики стало поддерживаемое правительством развитие строительного сектора и форсированное наращивание производственных мощностей оборонных предприятий. Факты свидетельствуют именно об этом: жилищный бум обеспечил не только 17% прироста ВНП страны, но и абсорбировал 30% безработных [Eichengreen, 2004, p. 335], а увеличение ассигнований на развитие военно-промышленного комплекса с 2,58% в 1933 г.[4] до 4,5% ВВП в 1939 г. создало 1,5 млн новых рабочих мест [Eichengreen, 2004, p. 337].

Другими слагаемыми макроэкономической политики стабилизации экономик развитых стран 1930-х гг. стали приемы государственного стимулирования потребления. Главными тактическими инструментами были протекционистская защита «своих» производителей и подчас прямое замещение частного потребления государственным. Так, принятый в июне 1930 г. после продложительных дебатов в американском конгрессе «Закон Смута – Хоули о тарифе» увеличивал средневзвешенную адвалорную ставку импортного таможенного тарифа с 40,1% (в июне 1929 г.) до почти 60% (в 1932 г.) [The Economic Effects…, 2009, p. 64]. Одновременное развертывание программ «Покупай американское», обретших в 1933 г. статус закона, обязывало госучреждения при осуществлении гражданских закупок отдавать предпочтение отечественной продукции.

Компенсацию стагнировавшего (в Германии и США – сокращавшегося) частного спроса государственным проиллюстрируем экономической политикой немецких властей. За 1929–1938 гг. при 15%-м снижении совокупных потребительских расходов германский национальный доход возрос на 25,2%, 60% прироста которого обеспечило государство и лишь 1/5 – частное потребление (рассчитано по: [Brown, 2003, vol. 1, p. 16–17; Abelshauser, 2000, p. 124]). Главной статьей государственных расходов в данном случае, понятно, выступали военные заказы, возросшие с 1,6% национального дохода в год прихода к власти нацистов в 1933 г. до 18,9% в 1938 г. [Abelshauser, 2000, p. 138]. Правда, чемпионом по скорости огосударствления инвестиционного процесса стал не накачивавший в преддверии новой войны индустриальную мускулатуру Третий Рейх или Великобритания, «стремившаяся к победе любой ценой» [Broadberry & Howlett, 2000, p. 43], а Япония, последовательно проводившая политику «пушки вместо риса» [Hara, 2000,

---

[1] Special Areas Act 1934. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Areas_Act_1934

[2] Education Fiscal Years 1920 to 1939. URL: http://www.ukpublicspending.co.uk/spending_chart_1920_1939UKp_11s1li111mcn_20t

[3] Health Care Fiscal Years 1920 to 1939. URL: http://www.ukpublicspending.co.uk/spending_chart_1920_1939UKp_11s1li111mcn_10t

[4] Defence Fiscal Years 1928 to 1939. URL: http://www.ukpublicspending.co.uk/spending_chart_1928_1939UKp_11s1li111mcn_30t

p. 224]. За 1920–1937 гг. удельный вес государственных инвестиций в экономику Страны восходящего солнца возрос с 14,8 до 25,4% ВВП, Соединенного Королевства – с 26,2 до 30%, Германии – с 25 до 34,1% [Tanzi & Schuknecht, 2000, p. 7].

Отдельного рассмотрения заслуживает получившая широкое распространение в начале 1930-х гг. практика увеличения бюджетного дефицита с последующим его покрытием посредством долгового финансирования. Например, еще за пять лет до выхода в свет основного труда Дж.М. Кейнса Япония отказалась от догматов поддержания строгой сбалансированности государственных финансов и прибегла к использованию инструментов бюджет-дефицитного ускорения экономического роста. По оценкам современных экспертов, увеличение правительственных расходов в 1,5 раза [Smelthurst, 2002, p. 163], вызвавшее удвоение (за 1931–1936 гг.) государственного долга [Meyer, 2009, p. 203], привело к 25%-му росту валового внутреннего продукта [Burdekin & Siklos, 2004, p. 259], в результате чего уже к 1933 г. японская экономика вышла из состояния хозяйственной депрессии[1].

Практически синхронно схожий алгоритм макроэкономической стабилизации взяли на вооружение Соединенные Штаты. Так, столкнувшись с невозможностью увеличения в условиях глубочайшего экономического кризиса доходной части бюджета ужесточением налогового бремени, администрация Ф.Д. Рузвельта приняла решение о финансировании правительственных расходов за счет роста заимствований. За 1933–1939 гг. государственный долг США увеличился в 1,8, бюджетный дефицит – в 1,5 раза [Saint-Etienne, 1984, p. 39]. Крупномасштабные вливания из федеральной казны, разогнав темпы прироста американского ВВП до 8% в год. Тем не менее восстановительному росту американской экономики, набиравшему обороты по кейнсианским рецептам, не хватало динамики. Если Великобритания, Германия и Япония еще за год до начала Второй мировой войны преодолели последствия Великой депрессии, то США добились того же результата только в 1943 г.[2] В канун гитлеровского вторжения в Польшу доходы американского населения не дотягивали 5% до показателя 1929 г. (рассчитано по: [Historical Statistics of the U.S…, 1975, p. 224]), индекс промышленного производства по отношению к максимальному падению в 1932 г. составлял лишь 90% [Журавлев, 2009, с. 66], а безработица оставалась на отметке 17,2% [Historical Statistics of the U.S…, 1975, p. 126].

Одна из основных причин такого «запаздывания» заключалась в меньших – к другим промышленно-развитым государствам – удельных государственных инвестициях, которые де-факто, увеличившись за 1929–1938 гг. с 9,1 до 16% ВВП, просто компенсировали затухание частных ка-

---

[1] Government Spending and Taxes during Recession. URL: http://thesource.hubpages.com/hub/Government-spending-and-taxes-during-recession

[2] FDR's Policies Prolonged Depression by 7 Years, UCLA Economists Calculate. URL: http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/FDR-s-Policies-Prolonged-Depression-5409.aspx

питаловложений, зеркально снизившихся за тот же период с 15,9 до 8,2% ВВП[1]. Впрочем, Вторая мировая война вынудила американское руководство перейти от осторожного ускорения к форсажному разгону хозяйственной системы посредством «финансирования с помощью займов» [Кейнс, 2012, с. 127]. За 1941–1945 гг. государственный долг Соединенных Штатов увеличился с 44,5 до 114% ВВП[2], что, по расчетам П. Кругмана, оказалось эквивалентно наращиванию федеральных расходов в объеме 30 трлн дол. в ценах 2010 г. [Krugman, 2010].

Американская экономика откликнулась на интенсивную финансовую «запитку» взрывным увеличением объема производства в обрабатывающем секторе (в 2,9 раза за 1939–1945 гг.), ростом душевого ВВП (в 1,5 раза) и сокращением уровня безработицы к началу высадки союзных войск в Нормандии до исторического минимума (1,2%) [Historical Statistics of the U.S…, 1975, p. 126, 224, 239]. Триггером дефицитного финансирования, разогнавшего американский экспресс государственных расходов, которые «в таких объемах в мирное время никогда не были бы санкционированы» [Krugman, 2010], стала, совершенно очевидно, Вторая мировая война. За 1939–1944 гг. оборонные затраты возросли с 1,4 до 45% валового национального продукта [Rockoff, 2000, p. 83]. Правда, цена, которую пришлось заплатить мировой экономике за выход из самого глубокого в современной истории кризиса, оказалась невероятно высокой. Нельзя не согласиться с Дж. Робинсон, которая вслед за Дж.М. Кейнсом, сетовавшим на то, что «расходы на ведение войны оказываются единственной формой огромных затрат, финансируемых с помощью займов, которую государственные деятели считают оправданной» [Кейнс, 2012, с. 128], справедливо отмечала: «Лекарство оказалось хуже болезни» (цит. по: [Hainsworth, 1978, vol. 1, p. 110]).

Одним из результатов запуска «индустриальной мутации» стала «реконструкция экономической структуры изнутри» [Schumpeter, 1994, p. 83]. За годы Второй мировой войны в США произошло резкое ускорение процессов замещения третьего технологического уклада четвертым, базирующимся на каскаде изобретений двойного назначения. Так, удельный вес авиационной индустрии в структуре промышленного производства, равнявшийся в 1939 г. 1,2%, к 1944 г. достиг 26,5%, а число занятых в авиастроении возросло с 40 тыс. до 2,1 млн чел.[3]. Схожие процессы наблюдались в станкостроении, где выпуск металлообрабатывающего оборудования в 1942 г. 50-кратно превзошел аналогичный показатель 1933 г. [Шлыков, 1999]. В других отраслях, формировавших ядро новой технологической парадигмы, объем производства также рос впечатляющими темпами. За 1939–1944 гг. в судостроении производство увеличилось в 17,1 раза, локомотиво-

---

[1] GDP and Other Major NIPA Series, 1929–2011:II. URL: https://www.bea.gov/scb/pdf/2011/08%20August/0811_gdp_nipas.pdf

[2] Accumulated Gross Federal Debt Fiscal Years 1792 to 2020. URL: http://www.usgovernmentdebt.us/spending_chart_1792_2020USp_XXs2li011tcn_H0f_Accumulated_Gross_Federal_Debt

[3] Рассчитано по: [Historical Statistics of the U.S…, 1975, p. 239], а также: The American Aerospace Industry during World War II. URL: http://www.centennialofflight.net/essay/Aerospace/WWII_Industry/Aero7.htm

строении – в 8,3, химической промышленности – в 3,4 раза. Как итог, к 1944 г. «новые» производства увеличили свое присутствие в общей структуре занятости с 30 до 60% [Milward, 1979, p. 68–69]. Лидерство в обустройстве в границах четвертого технологического уклада обеспечило США глобальное экономическое превосходство. К окончанию Второй мировой войны на долю Соединенных Штатов приходились 1/2 мирового ВВП[1] и промышленного производства [Junker, 2004b, p. 10], практически 1/3 глобального экспорта[2].

Практическим воплощением кейнсианских убеждений в неспособности даже самой крупной экономики достичь равновесного состояния без экзогенного вмешательства стало создание наднациональных институтов, призванных предотвратить саморазрушение рыночной системы путем снижения степени неопределенности и закрепить новую архитектуру мирового хозяйства. Де-юре оформлением этих процессов выступило образование МВФ и МБРР в 1944 г., ГАТТ – в 1947 г., стимулировавших подпитку глобальной экономики дополнительным спросом, одновременно работая на укрепление позиций стран-лидеров. Действенность Бреттон-Вудской системы, функционировавшей в рамках кейнсианской парадигмы, откорректированной разделявшим идеи кембриджского профессора помощником секретаря казначейства США Г.Д. Уайтом, развеяли атмосферу неопределенности на последующие четверть века и обеспечили взрывной рост мирового хозяйства. 1950–1973 гг. со своими среднегодовыми темпы прироста глобального ВВП (4,91%), экспорта (7,9%) оказались настоящим золотым веком в истории мировой экономики [Maddison, 2001, p. 262, 362]. Как будто пророческими оказались слова Дж.М. Кейнса, сказанные им в письме Б. Шоу еще в 1935 г.: «Я верю в то, что моя книга в течение 10 лет окажет революционное воздействие на то, как мир думает об экономических проблемах,… причем я не просто надеюсь, я в этом полностью уверен» (цит. по: [Alvey, 1994, p. 588]).

Подведем итоги.

1. Ускорение процессов замещения технологических парадигм нарушало привычный хозяйственный уклад золотого века 1870–1910-х гг. с присущей ему концепцией минималистского государства и требовало кардинальной перестройки принципов экономической политики в целях обеспечения запуска новой волны технико-экономического развития.

2. Кейнсианская теория оказалась наиболее созвучной вызовам эпохи и позволила заложить мощный концептуальный фундамент, призванный легитимировать «созидательное разрушение» дисфункциональной институциональной оболочки эпохи «великой умеренности», а также слом прочно укоренившихся философских основ неоклассической «веры» в абсолютную эффективность свободных рынков как единственного инструмента оптимальной аллокации ресурсов.

---

[1] A Post-American World? URL: http://theamericanscene.com/2008/05/07/a-post-american-world

[2] Politics Essays – International Political Economy. URL: http://www.ukessays.com/essays/politics/international-political-economy.php

3. Успешность протокейнсианских рецептов противодействия сворачиванию деловой активности вкупе с широким арсеналом приемов нагнетания спроса, использованных правительствами ведущих западных экономик в 1930–1940-е гг., способствовали сакрализации кейнсианских идей и утверждению кейнсианства в качестве основного канона мейнстрима к середине XX века.

4.3. Модификация кейнсианства в «золотой век процветания»[1]

На смену атмосфере «страха за будущее», характерной для эпохи 1914–1945 гг., чье осмысление находилось в центре философско-экономических изысканий Дж.М. Кейнса, пришла «эра безмятежности» 1945–1975 гг., развеявшая ощущение неопределенности и позволившая перейти от задач поиска выхода хозяйственной системы из депрессивного штопора к стимулированию ее поступательного развития. В самом деле, «золотой век процветания» стал временем беспрецедентного ускорения глобального хозяйства, когда среднегодовые темпы прироста мирового ВВП – 4,91% за 1950–1973 гг. – в 2,3 раза превышали аналогичный показатель «прекрасной эпохи» 1870–1913 гг. и в 1,2 раза – недавней золотой эры 1991–2007 гг.[2] Постепенное возвращение глобальной экономики из фазы «чистого хаоса» [Coddington, 1983, p. 456] в состояние «экономической нормальности» требовало адаптации созданного в период Великой депрессии антикризисного учения к реалиям «великого потребления». В частности, новые исторические условия обусловливали необходимость переоценки таких принципиальных положений аналитического аппарата Дж.М. Кейнса, как использование допущения о неопределенности будущего, отрицание рациональности мотивов деятельности людей, познание окружающей реальности с позиций холизма, изучение хозяйственных явлений в краткосрочном периоде, а также игнорирование влияния на экономические процессы технологического фактора. Решающий вклад в обновление кейнсианства внесли Е. Домар (1914–1997), А. Лернер (1903–1982), П. Самуэльсон (1915–2009), Э. Хансен (1887–1975), Р. Харрод (1900–1978), Дж. Хикс (1904–1989), ряд других исследователей. При этом посягновение на системообразующие составляющие кейнсианской парадигмы породило всплеск взаимных обвинений в отступничестве от идеалов «кейнсианского переворота» и затушевывании истинного смысла теории (см., например: [Turner, 1989, p. 113–132]). В этом кажущемся разноголосии тем не менее наличествовал общий знаменатель – твердое убеждение в необходимости государственного вмешательства в игру рыночных сил. Впрочем, нюансировка различий между

---

[1] Данный параграф базируется на отдельных разделах монографии: [Мальцев, 2014g]. Некоторые части этого раздела вошли в статьи: [Мальцев, 2014f; Мальцев, 2013].

[2] Рассчитано по: [Maddison, 2001, p. 262], а также: Historical Statistics for the World Economy: 1–2010 AD. URL: http://www.ggdc.net/maddison/historical_statistics/horizontal-file_02-2010.xls

воззрениями представителей различных ветвей послевоенного кейнсианства выходит за рамки нашего исследования. В рамках поднятого разговора важнее доказать авторскую гипотезу о том, что очередная корректировка развития экономической науки вновь совпадала с изменением технико-экономического ландшафта мирового хозяйства. Рассмотрим это предположение детальнее, для чего вначале раскроем содержание основных теоретико-методологических новаций последователей Дж.М. Кейнса.

За точку отсчета возьмем упоминавшийся выше единый базис их концептуальных построений. По большому счету, формальные противоположности – Дж. Робинсон, выступавшую против гибридизации кейнсианства с неоклассикой [Feiwel, 1985, p. 18; Feiwel, 1987, p. 53], и заразивших мейнстрим «вальрасианской инфекцией общего равновесия» Дж. Хикса, П. Самуэльсона, Э. Хансена [Taylor, 2010, p. 222–223] – объединял общий взгляд на утрату рыночными силами способности к саморегулированию. Правда, доказательная база необходимости в такой ситуации государственного вмешательства в экономику выстраивалась на различной основе. Так, нобелевский лауреат 1970 г. П. Самуэльсон уподоблял общество сосуду с разреженным газом, в котором атомы-индивиды находятся в постоянном движении, однако в силу большого расстояния между частицами слабо контактируют друг с другом, что, соответственно, требовало (разумеется, от государства) увеличения плотности среды для наращивания скорости взаимодействия между атомами (в смысле – индивидами) [Samuelson, 1966]. Другой видный кейнсианец А. Лернер (1903–1982) – использовал механистическую метафору, когда экономика представлялась несущейся по шоссе машиной, а государство выступало в качестве корректирующего движение автомобиля рулевого. В своих работах ученый неоднократно ратовал за то, что «политические деятели могут управлять скоростью экономической деятельности, уводя экономику от опасности к процветанию» (цит. по: [Bell, 2003, p. 162]). Дж. Робинсон не разделяла физико-математических аллюзий коллег, придерживаясь маршаллинской версии эволюционной логики хозяйственных процессов: «формирующие рынки агенты есть биологические организмы, которые умирают через определенный промежуток времени, а на смену им приходят другие» [Hudson, 2003, p. 51]. В рассматривавшейся системе «взаимодействующих биологических агентов» функцию своеобразного «стабилизатора» профессор Кембриджского университета отводила как раз государству, обладающему способностью преодолевать противоречия между частными и общественными интересами выработкой систем правил и эгалитаризацией массового сознания (см. подробнее: [Kerr, 2005, p. 72–73]). Однако в отличие от Дж.М. Кейнса его последователи настаивали на необходимости не спорадической и косвенной, а систематической корректировки государством работы рыночных механизмов [Афанасьев, 1986, с. 153]. Если у отца-основателя послевоенного мейнстрима правительство выступало в качестве своеобразной «скорой помощи» терпящего бедствие общества, то в неокейнсианстве от государства требовалось постоянное присутствие в экономике в це-

лях социализации хозяйственной системы и обеспечения индивидам равного доступа к максимизации личной полезности[1].

Впрочем, по ряду принципиальных моментов глубина идейного разрыва между Кейнсом и продолжателями его дела достигала значительно бóльших размеров. В частности, неокейнсианцы вернули общество, помещенное автором «Общей теории» в состояние неопределенности, в мир, «всегда находящийся в состоянии равновесия» [Hicks, 1946, p. 131]. Например, лауреат Нобелевской премии по экономике 1972 г. Дж. Хикс возобновил начатое Л. Вальрасом встраивание в экономическую науку концепции термодинамического равновесия, центральным элементом которой выступало представление о нахождении системы в состоянии, в котором все ее параметры остаются неизменными во времени, а за непродолжительным отклонением от равновесности следует возвращение в исходное положение. Заимствовав у А. Маршалла понятие «временного равновесия», профессор Оксфордского университета рассматривал экономику в формате множества торговых сессий от «понедельника к понедельнику», каждой из которых присуще равновесие, однако в промежутке между ними допускалось возникновение «разбалансировки», всякий раз устраняемое при корректировке количественных характеристик спроса, предложения и цены. Подобный «разворот», по всей видимости, обязан философскому осмыслению первого начала термодинамики, согласно которому «все явления полностью обратимы, поэтому равновесие не может зависеть от времени» [Mirowski, 1984, p. 373]. Это позволило Дж. Хиксу не без оснований заявить о возможности «не брать время в расчет всерьез, ибо прошлое и будущее остаются одинаковыми» [Hicks, 1979, p. 62], следовательно, анализ независящих от временного континуума хозяйственных процессов должен затрагивать сугубо выявление «общих взаимосвязей количественного характера» [Termini, 1984, p. 89]. Схожих воззрений придерживался один из основателей американского кейнсианства, «главный ученик Кейнса» [Tvede, 2001, p. 206] Э. Хансен, провозгласивший тезис «настоящее детерминируется настоящим» [Mehrling, 2006, p. 73], впоследствии ставший важнейшей предпосылкой обоснования предсказуемости траектории развития экономики, заранее задаваемой, подобно лабораторному эксперименту, путем манипуляции различными параметрами и переменными [Chase, 1983, p. 92]. Переход основного русла от «языка неопределенности» [Tokaryk, 2005] к дискурсу, постулирующему принципиальную познаваемость мира и возможность сознательного формирования будущего [Ladyman, 2002, p. 154], предопределил кардинальное обновление методологического аппарата теоретических изысканий, когда на смену расплывчатым вербальным формулировкам пришли строгие математические способы проверки эмпирических гипотез[2]. Так, над практико-ориентированным фундаментом теоретического базиса Дж.М. Кейнса

---

[1] Tresch R.W. The Social Welfare Function and the Quest for Social Justice. URL: http://www.palgrave.com/economics/tresch/students/pdfs/Chapter_04_summary.pdf

[2] http://www.omnilogos.com/2011/08/18/logical-positivism/

[Crotty, 2011] надстраивался своеобразный физико-математический этаж, призванный приблизить экономическую науку к естественно-научным дисциплинам с присущей им «способностью к измерению и точному предвидению» [Rothbard, 2009]. Пожалуй, лучше всего новые приоритеты мейнстрима расставил П. Самуэльсон, утверждавший, что экономистам, с одной стороны, следует говорить на языке математики и подражать физикам [Szenberg et al., 2006, p. 1], а с другой – изучать лишь «операционно значимые теоремы» [Caldwell, 1994, p. 189].

Ренессанс концепции общего равновесия, помимо восстановления в правах естественно-научной метафоры, означал возвращение в экономическую науку отвергнутого Дж.М. Кейнсом видения человека как рационального эгоиста, предвидящего свое будущее и занятого максимизацией собственного счастья. Дело в том, что восстановленный неокейнсианцами равновесный мир-рынок мог поддерживаться в этом состоянии лишь свободными от «иррациональных мотивов поведения» участниками, которые «„как бы по мановению невидимой руки“ участвуют в любой транзакции, сулящей им экономическую выгоду» [Akerlof, 2009, p. XXIII]. Между тем неокейнсианский человек не был точной копией своего маржиналистского предшественника, максимизировавшего свою полезность в своеобразном вакууме и не контактировавшего с другими рациональными экономическими агентами: «индивидуалистические атомы разреженного газа в моем шаре, – писал П. Самуэльсон, – не изолированы от других атомов» (цит. по: [Boland, 2003, p. 41]). Причины подобной неполной «реинкарнации» бентамистского гедониста, по всей видимости, заключались в стремлении послевоенного мейнстрима ответить на вопрос, волновавший еще А. Смита, а именно: как социальный порядок, зиждущийся на «преследовании миллионами жадных, своекорыстных индивидуумов своих целей», не приводит к хаосу [Udehn, 2001, p. 242]. Для решения этой проблемы профессор Гарвардского университета А. Бергсон (1914–2003) и П. Самуэльсон построили индивидуалистическую функцию общественного благосостояния, впоследствии получившую название функции Бергсона – Самуэльсона. Ее теоретическая новизна заключалась в сочетании критерия Парето, согласно которому «любое улучшение в условиях существования индивидов, при котором не ухудшаются условия существования других, может считаться оптимальным» [Chaudhary, 2009, p. 217], с математическими принципами симметрии, означающими независимость значения функции от перемены мест ее аргументов. В переводе с языка точных наук эта новация означала комбинацию методологического индивидуализма – «Парето-оптимальным обычно считается даже такое решение, когда один человек получает все» [Varian, 2010, p. 631] – с холистской идеей равенства всех членов общества и развивала основы восходящего к работам А. Пигу и В. Парето особого раздела экономической науки, так называемой экономики благосостояния, обосновывающей необходимость вмешательства государства в хозяйственную систему ввиду «неспособности децентрализованных агентов, преследующих личные интересы, обеспечить критерии „эффективности“, требующиеся для поддержания равновесной ситуации» [Chang, 2003, p. 47].

Вместе с тем попытка решения извечной дилеммы общественных наук – «атомизм – холизм» с откровенно «плюралистических» позиций также выглядела отступлением от идей Дж.М. Кейнса, выступавшего последовательным поборником «философии целостности». «Наше индивидуальное суждение, – писал английский экономист, – не имеет ценности, мы пытаемся опереться на суждения остального мира, который, возможно, лучше информирован… мы должны соответствовать поведению большинства» [Скидельски, 2011, с. 122]. При этом кембриджский ученый оставлял своим последователям известное пространство для методологического маневра, подчеркивая преходящий характер подобных представлений: «Если с помощью централизованного контроля удастся обеспечить полную занятость, „то с этого момента классическая теория вновь обретает силу“» [Афанасьев, 1986, с. 192]. Это положение позволило мейнстриму 1950–1960-х гг. приступить к гибридизации неоклассической микроэкономики, изучающей рациональное поведение атомизированных хозяйственных агентов на отдельных участках рынка, с кейнсианской макротеорией, ориентированной на рассмотрение экономики в целом через призму анализа взаимодействия макроэкономических агрегатов. Предельно четко данную мысль еще в конце 1940-х гг. сформулировал будущий лауреат Нобелевской премии по экономике 1985 г. Ф. Модильяни (1918–2003), утверждавший, что основной исследовательской задачей экономической науки в обозримом будущем должна стать «интеграция основных строительных блоков „Общей теории“ с более традиционной и хорошо разработанной методологией, основывающейся на постулате максимизирующего поведения экономических агентов» [Modigliani, 1980, vol. 1, p. XI]. Конечной целью формирования неоклассического синтеза его архитекторам мыслилось заполнение бреши между различными «этажами» экономического знания, позволявшее увязать встроенную в микроподход «заряженность» на выявление способов достижения эффективности функционирования конкретной хозяйственной единицы с присущей макропарадигме фокусировкой на решении социальных проблем и поддержании устойчивости всей хозяйственной системы. Однако платой за подобную «универсальность» стала бросающаяся в глаза противоречивость выстроенной теоретической конструкции, метко названная «методологической шизофренией», когда микроэкономический мир индивидуалистического рационализма «пристыковывался» к макроэкономической исследовательской программе, базовым объектом анализа которой выступали социальные группы, тем самым создавая своеобразный оксюморон, вбиравший в себя две взаимоисключающие мировоззренческие традиции – индивидуализм и коллективизм [Stockhammer & Ramskogler, 2013, p. 46–47]. Неокейнсианцы, следует признать, не зацикливались на теоретико-методологических изысках своих концептуальных наработок, предпочитая большее внимание уделять их соотнесенностью с практикой. Неудивительно, что систематизатор неоклассического синтеза П. Самуэльсон определял теорию как «набор аксиом, постулатов или гипотез, которые хоть как-то соотносятся с окружающей реальностью» (цит. по: [Machlup, 1964, p. 733]), а цен-

тральной методологической задачей считал вписывание рыночного поведения индивидов в модель общего равновесия с последующим применением результатов данной амальгамации для решения «традиционных вопросов макроэкономики» [Duarte & Lima, 2012, p. 6].

Другим важным отличием неокейнсианства стало возрождение интереса к проблемам долгосрочного развития экономики, что резко контрастировало с установкой Дж.М. Кейнса на анализ экономических явлений в краткосрочных временных интервалах. Так, вместо изучения «картины хозяйства, застрявшего в депрессии» [Krugman, 2007a], теоретики новой волны кейнсианства сосредоточили свои усилия на проработке вопросов «динамизации» экономической теории. Подобный сдвиг в исследовательских предпочтениях экономистов во многом объяснялся изменением условий хозяйствования: если в 1930-е гг., как уже отмечалось выше, они сосредоточивались на поиске способов вывода хозяйственной системы из состояния кризиса, «решаемого в пределах настоящего времени» (actual time), то в 1940–1960-е гг. на повестку дня «основного течения» встала задача поиска путей поддержания устойчивых темпов экономического роста, нереализуемая за очерченными «Общей теорией» рамками диапазона в «несколько месяцев или года» [Asimakopulos, 1995, p. 25]. В частности, для ее решения требовалось преодолеть унаследованную от Дж.М. Кейнса «близорукость» [Kurihara, 1972, p. 21] в отношении «воздействия эффектов технологических изменений на динамический мир» [Jain & Malhotra, 2010, p. 160].

Значительный вклад в заполнение данного пробела внес другой строитель неоклассического синтеза, лауреат Нобелевской премии по экономике 1987 г. Р. Солоу, который в 1957 г. одним из первых предложил учитывать изменения в производительных силах в качестве ключевого параметра, детерминирующего рост производства. На эту мысль его натолкнул анализ американской статистики за 1909–1949 гг., опровергший устоявшееся представление о том, что ускорение социально-экономического развития преимущественно зависит от вовлечения в оборот экстенсивных факторов – накачивания хозяйственной системы инвестиционными инъекциями и поступления все новых объемов рабочей силы. Так, за проанализированное сорокалетие вклад капиталовооруженности в рост выпуска на единицу труда в США составил лишь 12,5%, а оставшиеся 87,5% – оказались созданы технологическими инновациями [Grübler, 1998, p. 94]. При этом экономист доказывал возможность внедрения достижений технологического прогресса в производственный процесс лишь посредством модернизации основных фондов и, соответственно, наращивания валовых инвестиций: «политика увеличения инвестиций, – утверждал исследователь в своей нобелевской лекции, – может привести не только к повышению капиталоинтенсивности, подчас не играющей большого значения, но также к более быстрому трансферту технологии в реальное производство, которое как раз имело бы критически важное значение» [Solow, 1992, p. 209].

Впрочем, и появление теоретических расхождений, и сохранение кейнсианского каркаса в «основном течении» экономической мысли 1950–1970-х гг., с нашей точки зрения, хорошо соот-

носилось с изменениями хозяйственной среды. Ее сущностную характеристику, пожалуй, наиболее точно уловил профессор Стэндфордского университета М. Абрамовиц (1912–2000), усматривавший природу послевоенного золотого века в «массовом применении неиспользованных ранее технологий» [Abramovitz, 1986]. Достаточно сказать, что в 1945–1975 гг. в мире в среднем ежегодно появлялось 1,9 базисных нововведения, против 1,5 в 1920–1930 гг. (рассчитано по: [Silverberg & Verspagen, 2003, p. 689–690]). Это инициировало переход к повышательной волне четвертого цикла конъюнктуры, вытолкнувшей развитые страны в «век высокого массового потребления». Правительства промышленно развитых держав откликнулись на это усилением государственного присутствия в экономике и перенацеливанием острия хозяйственной политики с решения проблем занятости на стимулирование научно-технического прогресса и отстройку основ национальных инновационных систем. Основными инструментами ускорения технологической и структурной трансформации выступали, во-первых, активизация обустройства социальной инфраструктуры, во-вторых, целенаправленная поддержка бизнеса, оказавшегося неспособным без «помощи и защиты государства удовлетворить потребности развития техники» [Galbraith, 2007, p. 24], а также, в-третьих, отладка механизмов интерактивного планирования (см., например: [Рубченко, 2011]), необходимых для координации усложняющихся производственных процессов. Для прорисовки канвы последующего разговора о модификации экономической мысли в контексте новых условий хозяйствования на этих моментах необходимо кратко остановиться.

Начнем с обустройства социальной инфраструктуры. Как выяснилось, форсированное развитие отраслей, формировавших сердцевину четвертого технологического уклада требовало опережающего укрепления обслуживающих общественные нужды секторов экономики. Так, в США доля «наиболее предпочтительных, – по словам П. Самуэльсона, – с позиций подкрепления экономического роста» [Stabile & Kozak, 2012, p. 231] инфраструктурных инвестиций, осуществляемых государством, за 1950-1967 гг. возросла с 2,25 до 3,1% ВВП[1]. Причины подобной «расточительности» государства, по- видимому, крылись не только в следовании традиционной кейнсианской формуле – «расходы стимулируют занятость, последняя рождает покупательную способность, раскручивающую спрос», но и в осознании взаимосвязи между наращиванием капиталовложений в инфраструктуру и ускорением технологического прогресса. Одним из первых на эту корреляцию обратил внимание Р. Солоу: «Накопление капитала само по себе является важным, но не единственным ингредиентом экономического роста… другим из них являются инвестиции в социальную инфраструктуру» (цит. по: [Ying, 2010, p. 73]). Спустя полвека расчеты современных исследователей подтвердили данную гипотезу. Если в 1947–1973 гг. среднегодовой прирост американских государственных основных фондов составлял 4,5%, а производительность прирас-

[1] Government Spending on Infrastructure as a % of GDP. URL: http://www.data360.org/dsg.aspx?Data_Set_Group_Id=1529

тала на 2,6% ежегодно, то в так называемый период «великого замедления производительности» (1973–1995), когда темпы роста производительности упали до 1,6% в год, скорость прироста капитала, находящегося в государственной собственности, снизилась до 2,3% [Bivens, 2012].

Эффективным стимулом экономического роста нового качества зарекомендовало себя денежно-кредитное, фискальное и тарифное стимулирование технологической модернизации индустриального каркаса экономики развитых стран. В частности, уже в сентябре 1950 г. правительство Г. Трумэна утвердило Закон «Об оборонном производстве» (Defense Production Act of 1950), разрешавший органам исполнительной власти США выступать поручителями по кредитам частных компаний и вводивший вчетверо сокращенные сроки амортизации (с 20 до 5 лет) [Friedberg, 2000, p. 218]. Результаты не заставили себе ждать. Только в одной сталелитейной промышленности объем капиталовложений в новое оборудование за 1949–1952 гг. возрос с 0,6 млрд до 1,5 млрд дол., дав толчок к постепенному переходу американской металлургии от мартеновского к электросталеплавильному способу производства стали [Prechel, 2000, p. 159–160]. Вклад государства в модернизацию американской экономики предполагал еще один важный инструмент поддержки производств четвертого технологического уклада – госзакупки, размещавшиеся преимущественно военным ведомством [Nathanson, 1969].

Структурная трансформация экономик развитых стран, проходившая в условиях быстрого распространения поточно-конвейерных технологий, гигантизации оборудования, ускоренной мобилизации значительных ресурсов для обустройства сложной исследовательской инфраструктуры, требовала от западных правительств выстраивания системы межфирменной координации, одновременно «работая» на стабилизацию макроэкономической ситуации, все дальше отдаляя ее от состояния неопределенности. Отстройке механизмов планирования в масштабах всей экономики благоприятствовало постепенное приближение к «идеалу народнохозяйственного комплекса, состоящего из ограниченного числа крупных корпораций… которыми легко и удобно руководить из единого центра» [Худокормов, 2013, с. 74]. В этих условиях даже Соединенные Штаты, не создававшие в отличие от других развитых стран «формальной системы национального планирования», в 1946 г. приняли Закон «О занятости» (Employment Act of 1946), утверждавший ответственность государства за обеспечение «максимальной занятости, производства и покупательной способности». Эти цели планировалось достигнуть в тесном контакте с бизнесом, населением и представителями местных исполнительных органов власти путем «координации и использования всех планов и ресурсов на формирование условий для работы всем тем, кто ищет и хочет работать» [Scitovszky, 1946]. Важным элементом хозяйственного целеполагания, предусмотренным данным законодательным актом, стала ежегодная (с 1947 г.) публикация экономических докладов президента, задающих «своеобразные опорные точки в области использования ресурсов и мотивирующих частный бизнес к решению общественно полезных задач» [Singh, 2010, p. 14].

Реконструировав основные технико-институциональные факторы, определявшие «дух времени» 1950–1970-х гг., попытаемся найти объяснение отмеченным выше отклонениям неокейнсианства от первоисточника. С нашей точки зрения, в значительной степени это предопределялось, в целом, завершением перехода хозяйственной среды развитых стран в состояние олигополии, которое, по словам Дж.К. Гэлбрейта, являлось наиболее надежной формой поддержания макроэкономической сбалансированности: «олигополистический рынок, характеризующийся конкурентными условиями входа и выхода, будет эффективным распределителем ресурсов в долгосрочной перспективе» [Greenhut & Greenhut, 2002, p. 286].

Хотя укрупнение производственных процессов являлось важной особенностью четвертого технологического уклада, всевластие крупного бизнеса грозило расстройством рыночных механизмов, взвинчиванием цен, повышением уровня социального расслоения в обществе. Борьба с монополизмом исключительно традиционными методами ужесточения антимонопольного законодательства могла обернуться замедлением научно-технического прогресса. Это подталкивало правительства развитых государств к созданию противовеса олигополистическим структурам в виде программ контроля за ценами естественных монополий, смягчения трудового законодательства, повышения минимального уровня заработной платы. Они должны были возложить на спрос функцию «уравновешивающей силы», противодействующей давлению производителей материальных благ [Galbraith, 1993].

В целях трансформации «рынка продавца» в «рынок покупателя» американский Конгресс в 1949 г. принял поправки к Закону «О честных трудовых стандартах», увеличившие минимальный уровень почасовой оплаты труда в 1,9 раза – с 40 до 75 центов. Спустя год власти Франции ввели систему установления нижней границы заработной платы с частичной индексацией на уровень инфляции [Abowd et al., 2000, p. 430]. Необходимость купирования ценовых скачков выступала легитимным основанием для применения политики «поддержания цен перепродажи» (retail price maintenance, RPM), защищавшей независимых ритейлеров от демпинга со стороны крупных торговых сетей путем законодательного установления ценовых «коридоров». Например, только за 1950-е гг. удельный вес товаров, на которые распространялись правила RPM, в общем объеме продаж в США возрос с 4 до 10%, а в Канаде и Соединенном Королевстве к 1960 г. он достиг 25% [Trebilcock et al., 2002, p. 376].

Другим инструментом снижения прессинга крупного бизнеса на потребителей стало ограничение тарифов на услуги коммунального сектора. Например, в 1954 г. Верховный суд США санкционировал практику государственного регулирования цен на природный газ, предназначенный для продажи внутри страны[1], а продолжение Федеральной энергетической комиссией политики поддержания «справедливых и разумных» оптовых цен на электричество позволило за

[1] Department of Energy Timeline. URL: https://www.downsizinggovernment.org/energy/timeline

1950–1970 гг. снизить стоимость киловатта электроэнергии в 1,8 раза [Gilbert & Kahn, 1996, p. 188]. В конечном счете совокупность предпринятых развитыми странами мер дала импульс к формированию хозяйственной системы, выработавшей «иммунитет» к внутренним и внешним шокам, в которой идею погони за максимизацией прибыли вытеснил другой мотив экономического поведения – «теперь все отрасли пытаются снизить цены и компенсировать меньшую маржу большим объемом продаж» [Logemann, 2012, p. 32].

Раскручивание потребительского спроса одновременно развеивало мечту Дж.М. Кейнса о том, что после выхода из сумерек Великой депрессии люди смогут побороть «любовь к деньгам», которая станет трактоваться как «некое отвратительное заболевание, …заниматься которым с содроганием поручат специалистам, лечащим душевнобольных» [Скидельски, 2011, с. 177]. Так, за 1945–1975 гг. объем произведенных товаров и услуг в масштабах всей планеты оказался сопоставим с результатом предшествующих полутора столетий[1], что полностью укладывалось в русло новой философии хозяйствования, восстановившей в правах бентамовский утилитаризм и объявившей «хорошего покупателя, руководствующегося принципом покупай „больше, новее и лучше“, «хорошим гражданином» [Halliwell, 2007, p. 15].

На придание экономическому росту потребительского «окраса» работала ползучая инфляция, подпитываемая ростом бюджетного дефицита, как результата наращивания правительственных расходов. Однако в складывавшейся политико-экономической конфигурации инфляция не рассматривалась как неизбежное зло. Напротив, монетарные власти развитых стран полагали, что умеренное ускорение цен на товары и услуги «гонит людей в магазины» и поэтому является важным инструментом побуждения населения к активизации потребления [Худокормов, 2013, с. 57–58]. Для укрепления данного тренда страны Запада либерализовали условия выдачи ипотеки. В частности, в 1948 г. правительство Соединенных Штатов раздвинуло предельные сроки погашения жилищных кредитов с 20 до 30 лет, в 1956 г. увеличило отношение величины займа к стоимости залога с 80 до 95% [Green & Watcher, 2005, p. 96]. Средняя ставка по ипотечным кредитам на всем протяжении 1950–1960-х гг. не выходила из диапазона 8% годовых[2]. Двукратный рост жилищного строительства стал детонатором мощной волны потребительского кредитования. За 1950–1970 гг. размер потребительского долга в расчете на душу населения подскочил с 153,5 до 647,1 дол. [Merk, 2010, p. 26]. В конечном счете кредитная экспансия в комбинации с маркетинговым инструментарием ослабила зависимость личного потребления от величины располагаемых доходов. Это открывало путь к становлению «обществ изобилия», позволивших, с одной стороны, «десяткам миллионов людей… вырваться из городских трущоб и деревенской нищеты, обре-

---

[1] Смерть среднего класса. URL: http://konservatizm.org/konservatizm/konservatizm/181112223752.xhtml

[2] The Best Time in History to Buy a House. URL: http://www.stansberryresearch.com/dailywealth/1615/us-mortgage-rates-historically-low

сти собственные дома и жить в невиданном доселе комфорте» [Krugman, 2007b, p. 3], но, с другой стороны, создававших «равновесную» систему, в которой «производство создает спрос, который оно само создает»[1]. Консьюмеристскую лихорадку дополнительно подпитывало разрастание расходов на финансирование продвижения товаров и услуг: в 1950–1979 гг. среднегодовые темпы прироста ассигнований на рекламу в масштабах всей мировой экономики практически вдвое превышали показатель прироста глобального ВВП – 8,4% (рассчитано по: [Mueller, 2011, p. 14]) против 4,8%[2], соответственно. В итоге кредитная экспансии в комбинации с совершенствованием маркетингового инструментария ослабила зависимость личного потребления от величины располагаемых доходов, открывая тем самым путь к становлению «обществ изобилия», позволивших «десяткам миллионов людей… вырваться из городских трущоб и деревенской нищеты, обрести собственные дома и жить в невиданном доселе комфорте» [Krugman, 2007b, p. 3].

В свою очередь, дальнейший рост хозяйственной системы, движимой потреблением требовал формирования широкого слоя потребителей, по меткому наблюдению Дж.К. Гэлбрейта, испытывающих сопоставимые с чувством голода страдания от осознания того, что сосед обладает более новым автомобилем [Galbraith, 2001, p. 32]. Неудивительно, что практически повсеместно правительства промышленно развитых держав реализовали комплекс мероприятий, нацеленных на повышение имущественной однородности, обеспечение сравнительно равного доступа индивидов к социально значимым благам, а также укрепление позиций стабилизатора общества массового потребления – среднего класса. Так, в Соединенных Штатах одним из ключевых приемов перехода к относительному социальному равенству стало кардинальное изменение налоговой политики. Максимальная ставка подоходного налога, не превышавшая в 1936 г. 79%, к 1963 г. достигла 91%[3], верхняя планка корпоративного налога на прибыль за тот же период возросла с 15 до 52%[4], а налога на наследство – с 45% до 77% [Jacobson et al., 2007].

Подобный разворот в фискальной политике ознаменовал начало эпохи, вошедшей в экономическую историю США под названием «великого сжатия» [Goldin & Margo, 1991]. Главной отличительной чертой выступило резкое сужение имущественной пропасти: за 1936–1963 гг. удельный вес национального богатства, находящегося в руках 1% наиболее состоятельных американцев упал с 19,3 до 9,9% [Saez, 2009], а число миллиардеров за 1925–1968 гг. уменьшилось с 32 до 13 [DeLong, 1998]. Одновременно медианные среднегодовые доходы средней семьи в постоянных ценах практически удвоились (1950 г. – 19,9 тыс. дол.; 1975 г. – 36,8 тыс. дол.)[5], доля

---

[1] http://russianleader.org/article.asp?aid=141

[2] Рассчитано по: Historical Statistics for the World Economy: 1–2010 AD. URL: http://www.ggdc.net/maddison/historical_statistics/horizontal-file_02-2010.xls

[3] http://taxfoundation.org/sites/taxfoundation.org/files/docs/fed_rates_history_nominal_1913_2013_0.pdf

[4] http://taxfoundation.org/article/federal-corporate-income-tax-rates-income-years-1909-2012

[5] Median Family Income. URL: http://nces.ed.gov/pubs98/yi/yi16.pdf

среднего класса за 1940–1970 гг. увеличилась с 40 до 65% [Hynes & Lopez, 2009, p. 11]. Материальной демократизации также способствовало расширение программ медицинского страхования, и страхования жизни. Кроме того, различия в имущественном положении сократились между управленцами и квалифицированными рабочими. Так, в 1952 г. средняя еженедельная заработная плата «синих воротничков» в США впервые оказалась выше доходов «белых воротничков» [van de Vall, 1970, p. 23]. В таком контексте совсем не кажутся преувеличением рассуждения многих западных мыслителей о заметном стирании классовых различий в 1950–1960-е гг.: «Америка стала страной победившего среднего класса, – пишет нобелевский лауреат по экономике 2008 г. П. Кругман. – Подлинно богатые люди были редки и не оказывают на общество заметного влияния… а рядовые работники видели, что достигли уровня благосостояния, превосходящего самые смелые мечты их родителей» [Кругман, 2009, с. 50, 61].

«Эпоха массового высокого потребления» [Rostow, 1991, p. 73–92] 1950–1960-х гг., представлявшаяся многим современникам вечной, коренным образом отличалась от довоенного этапа развития мирового хозяйства с его устойчивым имущественным неравенством, затруднявшим формирование стабильного спроса как основы устойчивого экономического роста. Снижение угрозы сжатия потребления позволило бизнесу перейти от свойственных эре Великой депрессии решений сиюминутных задач выживания к реализации долгосрочных капиталоемких проектов технологического перевооружения старых и строительства новых производств, формировавших сердцевину четвертого технологического уклада. Например, в Соединенных Штатах двукратное увеличение продаж автомобилей за 1958–1964 гг. (с 5,2 до 9,1 млн шт.) «совпало» с практически трехкратным ростом инвестиций в новое строительство и оборудование автомобилестроительных заводов [Technological Trends…, 1966, p. 97–100, 179, 180].

Дальнейшее развитие новых технологий упиралось в необходимость облегчения трансграничного перетока факторов производства и развития международной торговли для раскручивания глобального спроса. На скорейшее решение этих вопросов «сработало» формирование Бреттон-Вудской системы, создание МВФ, ГАТТ, Всемирного банка, заполнивших институциональный вакуум межвоенных десятилетий и купировавших распространение депрессивных симптомов по каналам международных расчетов и торговли. Так, скоординированные действия мирового сообщества позволили снизить средневзвешенную ставку импортных пошлин с 25% накануне Второй мировой войны до 12–15% к началу 1970-х гг. [Bourguignon et al., 2002, p. 20]. Помимо практически 6-кратного роста глобального экспорта за 1950–1973 гг. (с 0,3 трлн до 1,7 трлн дол. [Maddison, 2001, p. 361]), либерализация тарифной политики активизировала глубокие структурные сдвиги в международной торговле: если на середину 1940-х гг. в товарной структуре мирового вывоза продолжали доминировать сырье и топливо – 54,8%, а готовые изделия занимали 45,2%, то к середине 1970-х гг. их соотношение изменилось на 39,5:60,5% [World Economic Outlook, 2000, p. 21].

Как видим, в складывавшихся условиях игнорирование технологического фактора экономического роста в теоретических построениях исследователей новой волны, действительно, становилось просто невозможным. Более того, именно достижение пика развития четвертого технологического уклада вкупе с обострявшейся конкуренцией с «реальным социализмом» стимулировало страны Запада к форсированию развития человеческого капитала, ускорению перехода от «технофобии» довоенной хозяйственной практики к «технооптимизму». Происходило постепенное замещение представления о человеке как придатке машины на образ человека – преобразователя знаний в продукт производства. Так, в условиях усиливавшегося биполярного противостояния общий объем затрат на НИОКР в США поднялся с 1,4% в 1953 г. до 2,9% ВВП в 1964 г.[1]. В немалой степени этому «поспособствовал» запуск в СССР первого космического спутника в 1957 г., обнаживший проблему «значительного отставания американской системы научного образования от советской» [O'Mara, 2005, p. 47] и вынудивший политический истеблишмент Соединенных Штатов начать рассматривать разгорающуюся холодную войну не только как борьбу за превосходство в области вооружений, но и как соревнование национальных систем образования.

В целях недопущения превосходства Советского Союза в технологической сфере Соединенные Штаты уже в 1958 г. приняли Закон «Об образовании в интересах национальной обороны» (National Defense Education Act), нацеливавший государство на всемерное «увеличение производства научных кадров» [Spring, 2006, p. 95], которым, в частности, предусматривалось выделение в течение четырех лет 1 млрд дол. в форме кредитов и стипендий учащимся, преимущественно, по приоритетным для государства техническим и естественно-математическим направлениям науки [Jolly, 2009], повышение качества преподавания точных дисциплин и иностранных языков в средних школах[2]. Прямой эффект от данных инициатив государства оценить сложно. Отметим только, что за 1960–1970-е гг. число учащихся колледжей в стране возросло с 3,6 млн до 7,5 млн чел.[3], а общие затраты США на образование взлетели с 3,2% в 1950 г. до 5,7% ВВП в 1975 г.[4]

Кстати, именно в этот период правительства развитых стран одновременно с активизацией роста интеллектуального капитала приступили к всемерной поддержке здравоохранения как одного из ключевых слагаемых развития всей системы развития человеческого потенциала, а также фактора повышения конкурентоспособности стран Запада в геоэкономическом соревновании двух систем. На это принципиальной важности обстоятельство, безусловно, заслуживающее отдельного самостоятельного разговора, указывает, например, перераспределение ассигнований

---

[1] Trends in National R&D Performance. URL: https://www.nsf.gov/statistics/seind12/c4/c4s1.htm

[2] The Federal Role in Education URL: http://www2.ed.gov/about/overview/fed/role.html

[3] National Defense Education Act. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/National_Defense_Education_Act#cite_ref-Schwegler_1_1-0

[4] 20th Century Education Spending. URL: http://www.usgovernmentspending.com/spending_chart_1900_2015USp_XXs1li011tcn_20t_20th_Century_Education_Spending

США в пользу здравоохранения, расходы на которое за 1960–1975 гг. возросли с 5,2 до 8% ВВП[1], тогда как финансирование военной сферы, напротив, относительно сократилось с 9,8 до 6,5% валового внутреннего продукта[2].

Подведем итоги.

1. Послевоенная ревизия кейнисанского учения не была формалистическим упрощением, извращающим истинный замысел Дж.М. Кейнса, а выступала приращением знаний, вызванным потребностью повысить достоверность описания механизмов функционирования нового типа общества, достигшего стадии высокого массового потребления. В свою очередь, неприкрытые симпатии неокейнсианцев к концепции «большого правительства», опирающейся на предпосылку о неспособности бесперебойной работы рыночного механизма без правительственной опеки, представляли собой отнюдь не поклонение гобсоновскому Левиафану, а предопределялись необходимостью утверждения роли государства в качестве «системного интегратора» процессов структурной реконфигурации технико-экономического ландшафта промышленно-развитых государств.

2. Возрождение концепции homo economicus объяснялось ситуативными причинами, в частности, становлением в странах ОЭСР инвестиционного типа экономического роста, нуждавшегося для своей реализации в постоянном нагнетании потребительского спроса. Ориентация на интенсивное расширение производственных мощностей, с одной стороны, требовала всемерной активизации консьюмеристской гонки, а с другой – принятия комплекса мер по эгалитаризации потребления, нацеленных на укрепление позиций среднего класса, постепенно превращавшегося в основной локомотив развития «спросозависимых» (demand-dependent) экономик.

3. Утверждение нетипичной для «старого» кейнсианства задачи первоочередного роста расходов на наращивание человеческого капитала в качестве главного приоритета объяснялось повышением требований, предъявляемых отраслями четвертой технологической парадигмы к компетенции рабочей силы, и нараставшим накалом биполярного противостояния, в совокупности предопределившими провозглашение научно-технического прогресса двигателем общественного прогресса. Превращение индивида из своеобразного вида «сырья, подлежащего целенаправленной обработке» [Ясперс, 1991, с. 138], в сотворца нового экономического порядка, складывавшегося вокруг непрекращающейся генерации наукоемких продуктов, ускорило поиск и закрепление социальных компромиссов со всеми слоями общества и, в конечном счете, привело к созданию «государства всеобщего благосостояния».

---

[1] The Financial Outlook for Medicare, Medicaid, and Total National Health Expenditures. URL: http://budget.house.gov/uploadedfiles/fostertestimony_2-28-22012.pdf

[2] Defence Spending Since WWII. URL: http://www.usgovernmentspending.com/spending_chart_1947_2015USp_XXs1li111tcn_30f_Defense_Spending_Since_WWII

Глава 5. Трансформация экономического знания в эпоху постиндустриализации мировой экономики

5.1. «Инновационная пауза» 1970-х гг. как катализатор монетаристского мятежа[1]

«Эра турбулентности» 1970–1980-х гг., пришедшая на смену «эпохе безмятежности» [Arrighi, 1990, p. 79], стала рубежной вехой в социально-экономическом развитии промышленно развитых государств, ознаменовав начало кризиса полтора столетия доминировавшего индустриального типа организации общества и ускорив вызревание предпосылок для становления постиндустриальной цивилизации. С позиции экономической мысли выход мирового хозяйства на новый исторический рубеж стал детонатором крушения четвертьвековой монополии кейнсианства в экономическом анализе и активизировал процесс возрождения популярности интеллектуальной антитезы учения Дж.М. Кейнса – неоклассики, среди множества течений которой лидирующие позиции заняли: концепция монетаризма, становление которой связывают с именами К. Бруннера (1916–1989), К. Варбуртона (1896–1979), Ф. Кейгена (1927–2012), Д. Лэйдлера (р. 1938), А. Мельцера (р. 1928), М. Фридмана (1912–2006), А. Шварц (1915–2012); родственная монетаризму «экономическая теория предложения», представленная А. Лаффером (р. 1940), М. Фелдстайном (р. 1939), а также «выросшая из монетаристской макроэкономики» [Alt & Chrystal, 1980, p. 66] концепция рациональных ожиданий, созданная Р. Лукасом (р. 1937), Т. Сарджентом (р. 1943), Н. Уоллесом (р. 1939). Примечательно, что, невзирая на методологические разногласия в вопросах о движущих силах эволюции экономической теории, большинство исследователей демонстрирует единство в восприятии природы монетаристского «восстания», усматривая его причины прежде всего в изменении «духа времени», уничтожившего веру в справедливость неокейнсианских рекомендаций и высветившего кричащую необходимость переустройства всего здания экономикса. «Монетаристская контрреволюция, – писал профессор Лондонской школы экономики Г. Джонсон (1923–1979), – оказалась в конечном счете успешной, потому что столкнулась с политической проблемой… для решения которой смогла предложить как теоретическое обоснование, так и практические инструменты» [Johnson, 1975, p. 104]. Учившийся в 1950-е гг. у лидера монетаризма М. Фридмана, в последующем экономический обозреватель газеты Financial Times С. Бриттан именно новыми хозяйственными задачами объяснял «путь, при помощи которого монетаристская контрреволюция пришла в США и Британию» [Brittan, 1995, p. 127]. Солидаризируясь с данной точкой зрения, попробуем конкретизировать взаимосвязь между изменениями хо-

[1] Данный параграф базируется на отдельных разделах монографии: [Мальцев, 2014g]. Некоторые части этого раздела вошли в авторский раздел статьи: [Мальцев и Невский, 2016] и статью: [Мальцев, 2014d].

зяйственного ландшафта глобальной экономики и очередным сдвигом в развитии «основного течения». Для этого потребуется прежде всего определиться с причинами стремительной дискредитации завоеваний предшествующего мейнстрима, к главным из которых, на наш взгляд, относятся: отсутствие в научном арсенале кейнсианцев объяснения феномена стагфляции; неспособность последователей Дж.М. Кейнса дать адекватную интерпретацию структурным кризисам, поразившим мировое хозяйство; низкая эффективность некогда традиционных приемов противодействия экономическому спаду.

Кейнсианская модель, напомним, исходила из предположения о невозможности одновременного сосуществования высокого уровня безработицы и растущей инфляции, что исключало допущение стагфляции. Между тем в 1970-е гг. ситуация, когда снижение покупательной стоимости денег накладывается на спад производства со всей его атрибутикой (рост безработицы, снижение результативности инвестиционной активности и пр.), во всей красе проявилась в ведущих экономиках мира. Кроме того, к началу 1970-х гг. секторы, составлявшие сердцевину четвертого технологического уклада и выполнявшие функцию мотора хозяйственного роста, перешли на так называемую траекторию зрелости, которую отличало снижение отдачи на инвестиционные «инъекции». Например, «большая четверка» американского автопрома, в 1971–1979 гг. в среднем ежегодно наращивавшая капиталовложения в развитие отрасли на 9%[1], допустила падение выпуска автомобилей более чем на 1/5 (с 10,7 млн[2] до 8,4[3] млн шт.).

Сочетание ускорения инфляции, роста безработицы и продолжающегося производственного спада, следует признать, застало кейнсианскую теорию буквально врасплох. Дело в том, что предшествующие хозяйственные кризисы реализовывались по другому сценарию, в котором обрушение уровня производства вело к снижению уровня занятости, но компенсировалось разворачиванием дефляции, облегчавшей встраивание в новый цикл деловой и инвестиционной активности. Например, в США в начале 1930-х гг. при рекордной незанятости, достигшей отметки в 23,6%, цены ежегодно снижались на 10% [Buckley & Desai, 2011]. Схожая картина наблюдалась в ходе долгой депрессии 1873–1896 гг. в Великобритании, где рост безработицы с 5,0 до 7,2% [Anderson, 1977, p. 131] «уживался» с ежегодной однопроцентной дефляцией [Burdekin & Siklos, 2013, p. 28]. Помимо отсутствия прецедентов, осмыслению причин стагфляционных явлений и выработке практических рекомендаций для противодействия данным хозяйственным недугам препятствовало твердое убеждение неокейнсианцев в невозможности «стагфляции как события»

---

[1] Рассчитано по: Fuel Economy Standards for New Passengers Cars after 1985. URL: https://www.cbo.gov/sites/default/files/presentation/80doc330.pdf

[2] Table 1–23: World Motor Vehicle Production, Selected Countries (Thousands of Vehicles). http://www.rita.dot.gov/bts/sites/rita.dot.gov.bts/files/publications/national_transportation_statistics/html/table_01_23.html

[3] The Internationalization of the Automobile Industry and Its Effects on the U.S. Automobile Industry. URL: https://www.usitc.gov/publications/332/pub1712.pdf

[Lengwiler, 2004, p. 3]. В теоретическом разрезе основную проблему, по всей видимости, составляла мощная концептуальная инерция кейнсианской теории, сакрализировавшей кривую О. Филлипса, отображающую обратную зависимость и – в последующей интерпретации П. Самуэльсона – постулирующую взаимоисключаемость понятий «инфляция» и «безработица» (см. подробнее: [Худокормов, 2013, с. 60]). Вполне естественно, что в условиях набиравших обороты кризисных явлений сведение всех социально-экономических проблем к сформулированной отцом неоклассического синтеза «дилемме макрополитики», гласящей, что «общество, желающее получить меньшую безработицу, должно допустить высокую инфляцию, при намерении снизить стоимость жизни – допускает высокий уровень безработицы» (цит. по: [Skousen, 2007, p. 187]), стало явно выбиваться из канвы хозяйственной жизни.

В свою очередь, переход в новую хозяйственную эпоху придал мощное ускорение процессам замещения четвертой технологической парадигмы пятой, что форсировало трансформацию позднеиндустрального производственного строя, для изучения функционирования и противодействия шоковым явлениям в котором наследники Дж.М. Кейнса наработали значительный теоретико-методологический багаж, в постиндустриальный хозяйственный уклад, становление которого плохо поддавалось изучению в рамках сложившегося кейнсианского канона. События разворачивались следующим образом. Выход США из Бреттон-Вудских соглашений сопровождался быстрым обесценением национальной денежной единицы (с августа 1971 г. по февраль 1973 г. доллар девальвировался относительно золота на 20,5% [Сумленный, 2009, с. 69]), вызвавшим серьезную озабоченность стран ОПЕК, обеспокоенных снижением экспортных доходов и падением покупательной способности своего населения, снижавшейся на протяжении 1971–1977 гг. на 2,3% в год [Mallakh, 1982, p. 243]. В 1973 г. нефтяной картель ответил на ухудшение условий торговли эмбарго на поставку черного золота на Запад, что вкупе с последствиями исламской революции в Иране 1978–1979 гг., а также начавшейся в 1980 г. ирано-иракской войной привело к взлету цены барреля нефти в постоянных ценах 2011 г. с 17 дол. в 1973 г. до 102,6 дол. в 1980 г.[1] и обошлось государствам ОЭСР в итоговую потерю 4% валового национального продукта [Saint-Etienne, 1984, p. 68]. Энергетический «удар» запустил цепную реакцию, породившую глобальный сырьевой кризис, когда тонна меди за 1973–1974 гг. подорожала в 1,2 раза, алюминия – в 1,5, цинка и олова – в 1,6 раза[2]. Наиболее чувствительно минерально-сырьевой шок затронул экономику Соединенных Штатов, энергоемкость которой в расчете на 1 дол. ВВП в 1973 г. составляла 0,51 кг нефтяного эквивалента (или в 1,5 раза выше аналогичного показателя Германии, в 1,8 раза

[1] BP Statistical Review of World Energy 2013. URL: http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/Statistical-Review/statistical_review_of_world_energy_2013_workbook.xlsx

[2] Рассчитано по: Historical Statistics for Mineral and Material Commodities in the United States. URL: http://minerals.usgs.gov/ds/2005/140/

– Японии[1]), и особенно сильно прошелся по ее энергозатратным секторам, формировавшим основу четвертого технологического уклада.

Тем временем в структуре мировой экономики набирал обороты новый тренд: цифровая революция рубежа 1970–1980-х гг., к развернутой характеристике которой мы вернемся чуть позже, закладывала технико-экономический плацдарм для замещения капиталоемкой фордистской системы массового производства, функционирование которой лимитировали нехватка платежеспособного спроса и инвестиционных ресурсов, наукоинтенсивным постиндустриальным хозяйственным порядком, зиждущимся на продуцировании знаний и информации.

Однако путь в новую информационную эпоху вовсе не напоминал непринужденную прогулку, а начался с непростой борьбы с инерцией предшествующей организационной системы. Выражением данного противоборства стало растущее несоответствие между зарождавшейся «технико-экономической субсистемой и старыми социо-институциональными рамками» [Freeman, 2007, p. 83]. Между тем в 1970-е гг. правительства развитых стран не смогли своевременно уловить тенденцию к постепенному смещению центра тяжести отраслевой структуры экономики от материало- и капиталоемких отраслей, составляющих каркас индустриального хозяйства, к наукоемким, сервисным секторам, формирующим сердцевину постиндустриального строя.

Справедливости ради, признаем: пространство для структурных маневров серьезно ограничивала необходимость противодействия систематическому сырьевому «шантажу» третьего мира и удовлетворения постоянно возраставших требований населения повысить уровень социальной защищенности для компенсации размываемых инфляцией доходов. Эти обстоятельства объясняют пролонгацию «жизненного цикла» терявшей свою эффективность кейнсианской модели «большого правительства» и становившейся все более затратной для кризисных условий 1970-х гг. парадигмы «государства всеобщего благоденствия». Например, пытаясь переломить негативную макроэкономическую ситуацию, власти США прибегли к излюбленному приему последователей Дж.М. Кейнса – разогреву потребления накачиванием социальных расходов, возросших в расчете на душу населения за 1970-е гг. на 51% [Caplow et al., 1991, p. 518]. Однако на этот раз проверенный кейнсианский прием не только не смог вернуть американскую экономику на траекторию устойчивого роста, но и обернулся усилением налогового пресса, давление которого – за 1965–1980 гг. фискальное бремя выросло с 23,5 до 25,5% ВВП[2] – оказывало на динамику реального производства едва ли не более депрессивное воздействие, чем экзогенные ценовые шоки: исследование профессоров Калифорнийского университета в Беркли К. Ромер и Д. Ромера пока-

---

[1] Рассчитано по: Historical Statistics for the World Economy, 1–2008 AD. URL: http://www.ggdc.net/maddison/historical_statistics/horizontal-file_02-2010.xls; BP Statistical Review of World Energy 2013. URL: http://bp.com/statisticalreview/

[2] Revenue Statistics – OECD Countries: Comparative Tables. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV

зало, что во второй половине XX столетия рост налоговой нагрузки на 1% ВВП вел к падению реального американского валового внутреннего продукта на 3% [Romer & Romer, 2007, p. 42]. Тем не менее даже этих мер не хватало для закрытия всех финансовых прорех, что вынудило ФРС прибегнуть к расширению денежного предложения, в результате чего объем денежной массы за 1973–1979 гг. возрос в 1,8 раза – с 858 млрд до 1 526 млрд дол. [Statistical Abstract of the U.S., 1980, p. 543]. Вместе с тем надежды на обуздание «выпущенного из бутылки инфляционного джинна» [Murphy, 2008] параллельным повышением ставки рефинансирования не оправдали себя: в дополнение к инфляционной рецессии Соединенные Штаты столкнулись с замедлением темпов прироста частного потребления. Вероятнее всего, ситуация в мировом хозяйстве действительно вышла за пределы границ аналитического аппарата кейнсианской теории, созданной для борьбы с кризисами спроса и фактически игнорирующей изучение проблематики предложения, производства и модификации их структуры. Иными словами, экономисты кейнсианского направления затруднялись с ответом на вопрос о причинах, препятствовавших экономическим агентам, «модифицируя средства производства, вводить новые производственные технологии» [Belbruno, 2011] и тем самым выталкивать буксующую машину социально-экономического прогресса из стагнационной «трясины». Миссию заполнения данного теоретико-методологического пробела взяли на себя представители неоклассической традиции, доминирующие позиции среди которых заняла школа монетаризма.

В первую очередь лидерам монетаристского наступления требовалось предложить новую систему философско-идеологических ориентиров общественного бытия. Напомним, что предшествующая хозяйственная ортодоксия выходила за рамки программы экономической политики и выступала базирующимся на холистских принципах этическим учением, проповедующим ценности либерального коллективизма и социального равенства. Именно эти установки, отстаиваемые кейнсианцами, попали в перекрестье критики лидера монетаризма М. Фридмана, последовательно доказывавшего тезис о максимально возможной конкурентной среде, в которой индивид «максимизирует свое богатство без оглядки на издержки, даже за счет других индивидов» [Chambliss, 1996, p. 302], как оптимальном условии функционирования рыночной экономики. В такой конфигурации единственно правильной формой социального устройства ученому виделось общество, ставящее идеалы свободы каждого из своих членов выше их равенства: «Социум, который помещает равноправие впереди независимости, не получит ничего; напротив, социум, который помещает независимость перед равноправием, получит и то, и другое»[1].

После 30-летнего доминирования кейнсианского консенсуса «поправение» политико-экономического дискурса не могло не вызвать критики. Особо острое неприятие значительной части экспертного сообщества вызвал монетаризм, получивший с легкой руки профессора Кем-

[1] Milton Friedman in His Own Words. URL: http://bfi.uchicago.edu/about/tribute/mfquotes.shtml

бриджского университета Н. Калдора (1908–1986) ярлык «страшного проклятья, кары злых духов» [Kaldor, 1981, p. 1]. Время нисколько не смягчило отношение к концепциям современного монетаризма и личности его основателя М. Фридмана. Более того, в начале XXI века личность чикагского экономиста начали просто демонизировать. Все более популярным становится представление М. Фридмана в образе «крестного отца мафиозной банды чикагских мальчиков, которые использовали дезориентацию общества… для навязывания ненужной идеологии свободных рынков» [Redburn, 2007].

Впрочем, не будем спешить с выводами и вслед за некогда горячим сторонником дерегулирования всех сторон хозяйственной жизни, а ныне эпигоном «смешанной экономики» директором Института Земли Колумбийского университета Дж. Саксом навешивать на концепции клеймо «либертарианского экстремизма» [Sachs, 2012, p. 36], тем более если сам основатель монетарной экономической теории предупреждал, что его построения подходят лишь «тому типу экономической системы, который отличает страны Запада» [Friedman, 1953, p. 41–42]. Абстрагируясь от идеологических баталий, попробуем доказать объективный характер изменения ценностного окраса мейнстрима, для чего прежде всего установим технико-экономические предпосылки перехода от преимущественно умеренного коллективистского мышления к организации анализа на базе принципов индивидуализма.

Главной из них, по нашему убеждению, стал пятый технологический переворот, старт которого исследователь из Кембриджского университета К. Перез датирует созданием компанией Intel в 1971 г. первого микропроцессорного чипа [Perez, 2009a], давшего мощный толчок изменению облика производительных сил, в результате чего на передний край науки вышли аэрокосмическая, телекоммуникационная, электронная и фармацевтическая отрасли промышленности, оказавшие революционизирующее воздействие на социально-структурную организацию хозяйственных систем развитых стран. Принципиальным отличием нового технологического уклада, отстраивавшегося вокруг микроэлектронного ядра, стала миниатюризация производственных процессов, во многом нивелировавшая значение эффекта масштаба и предоставившая возможность малому и среднему бизнесу конкурировать с крупным посредством более гибкой адаптации к потребительским предпочтениям и быстрой смены продуктовой линейки (см. подробнее: [Худокормов, 2013, с. 74–75]). В частности, за 1976–1986 гг. удельный вес небольших фирм в структуре выпуска обрабатывающей промышленности Соединенных Штатов увеличился с 33 до 37% [Blackford, 2003, p. 3], в объеме продаж готовых изделий – с 1/5 до 1/4 суммарного итога [Audretsch & Thurik, 2004, p. 4], кроме того, в 1970-е гг. малые предприятия оказались на гребне инновационной волны, создав 40% всех новшеств [Blackford, 2003, p. 176]. Причиной резкого изменения хозяйственного рельефа, когда девиз «чтобы быть глобально конкурентным – будь большим» [Chandler, 1990, p. 78] вытеснило убеждение – «жизнеспособность экономики зависит

от судьбы крошечных… заводов» [Blackford, 2003, p. 165], скорее всего, стало интуитивное осознание того, что на фазе запуска очередной технико-экономической парадигмы инновационная активность обратно коррелирует с размером фирмы. Современные эконометрические исследования подтвердили этот вывод: достижения научно-технической революции увеличили характерную для малого бизнеса способность к быстрой коммерциализации нововведений, в результате чего в 1970-е гг. средняя скорость выведения новых продуктов на рынок фирмой с численностью занятых менее 500 чел. составляла 2,2 года против 3,1 года для более крупных предприятий [Blackford, 2003, p. 177]. Неудивительно, что добродетели «государства всеобщего благоденствия», сердцевину которого содержательным наполнением «обеспечивали» крупные корпорации: признание главенства коллективных интересов над человеческой личностью, пассивное восприятие индивидом существующего социального порядка и некритическое следование общественным нормам [Audretsch, 2007, p. 16], оказались вытеснены активно приветствуемыми неоклассиками ценностями веры в собственные силы, идеи независимости и нонконформиза [Owen, 2004]. «Свободный человек, – писал М. Фридман, – смотрит на государство как на средство, инструмент, а не как на источник милостей и подарков, и не как на господина или Бога, которому следует слепо поклоняться и которому нужно служить» [Фридман, 2006, с. 25]. Параллельный рост требований к качеству человеческого капитала превратил умение продуцировать знания в определяющий фактор повышения личного материального благосостояния, что привело к эрозии другого завоевания «эры процветания» – имущественной гомогенизации и выразилось в дихотомизации социума на узкую прослойку лиц, способных предложить рынку уникальные продукты, и широкую массу людей, занятых рутинизацией хозяйственной деятельности. Так, в развитых государствах за 1978–1987 гг. доходы лиц с незаконченным средним образованием упали на 4%, тогда как заработки выпускников колледжей возросли на 48% [Иноземцев, 1999], а в США единственной отраслью, демонстрировавшей положительные темпы роста заработной платы, стал хайтек-сектор, где средний уровень жалованья к концу 1980-х гг. на 55% превышал аналогичный показатель в «низкотехнологичных» отраслях экономики [Acs et al., 1998, p. 115].

С изменениями в производственном строе связан и второй системообразующий элемент монетаристской философии – ставка на деэтатизацию хозяйственной системы. Участники либерального «мятежа» организовали атаку на кейнсианскую концепцию «государственного активизма», доказывавшую необходимость постоянной опеки бизнеса бюрократией как условия бесперебойной работы рыночного механизма, и легитимированные кейнсианцами приемы экзогенного конструирования «любой сети человеческих взаимодействий, которые формируют рынок и общество» [De Soto, 2008, p. 86]. В своем осуждении методов социальной инженерии сторонники М. Фридмана во многом перекликались с лауреатом Нобелевской премии по экономике 1974 г. Ф. фон Хайеком (1899–1992), отстаивавшим идею неспособности правительственных инстанций

обладать всей полнотой рыночной информации. По его твердому убеждению, экономика, функционирующая на принципах «спонтанного порядка», в которой аллокация ресурсов происходит в результате принятия децентрализованных решений «мириадами продавцов и покупателей» исходя из собственных целеполаганий, заведомо превосходит в своей эффективности «планирующие общества» [Fukuyama, 2011].

Концепция «большого правительства», помимо угрозы экономической свободе, вызывала серьезные возражения неоклассиков еще и потому, что властная система обладает колоссальной инерцией, в результате чего между осознанием необходимости принятия решения и его реализацией образуются значительные временные лаги. Как итог – растет вероятность трансформации контрциклической политики в проциклическую, а единственным способом противодействия этому врожденному институциональному пороку государственного аппарата в таком раскладе выступает стабильность бюджетной и монетарной политики [Schilder, 2000, p. 13]. Отсюда делался фундаментальный вывод о пагубности любых мероприятий по дискреционному регулированию хозяйственной активности, поскольку чиновники не способны точно синхронизировать свои действия с пульсом экономической системы. Не останавливаясь на этом, один из наиболее известных учеников М. Фридмана, Р. Лукас совместно с Т. Сарджентом, Н. Уоллесом в своей апологии доктрины невмешательства выдвинули концепцию «рациональных ожиданий», развивавшую гипотезу «мудрости толпы» (wisdom of crowds). Теоретики школы «разумного выбора» наделяли участников экономической деятельности даром совершенного предвидения, позволяющим, с одной стороны, легко адаптироваться к колебаниям рыночной конъюнктуры, но с другой – при изменении правительством правил игры, столь же непринужденно оборачиваться «непредвиденным коллективным эффектом» [Афанасьев, 1986, с. 235] блокирования государственных попыток стимулирования экономики, тем самым выводя систему из равновесия [Clark, 1998, p. 135]. Закономерно, что в данной теоретической конструкции, чем меньше политические структуры вторгаются в экономическое пространство, тем лучше, поскольку «именно это вмешательство подрывает стабильность экономики и ввергает ее в состояние постоянного шока» [Афанасьев, 1986, с. 235].

С нашей точки зрения, подобный сдвиг в сторону всестороннего разгосударствления детерминировался не субъективным «неприятием роли государства в экономике» [Скидельски, 2011, с. 59], а модификацией технико-организационного базиса мирового хозяйства. Во-первых, размывание регулирующих способностей правительства предопределялось стремительным расширением производственной номенклатуры, генерируемой быстро меняющей продуктовую линейку промышленностью пятого технологического уклада (см. подробнее: [Audretsch, 2007]), в результате чего системы косвенного планирования и «ручной» настройки экономического роста, созданные под нужды фордистского капитализма с его поточным выпуском стандартизированных продуктов и редкой сменой ассортиментного перечня, начали демонстрировать кричащую

неэффективность. Достаточно отметить, что, по данным член-корреспондента РАН И.Г. Поспелова, даже в директивном народном хозяйстве СССР к концу 1970-х гг. Госплан планировал выпуск лишь 2 тыс. товаров, тогда как вся номенклатура советской индустрии достигала 100 млн наименований [Рубченко, 2010, с. 42], а на Западе число объектов управления в 1970–1980-е гг. ежегодно росло в геометрической прогрессии, тем самым все больше сужая область применения кейнсианских принципов централизованного менеджмента [Худокромов, 2013, с. 76]. Во-вторых, стремительный прогресс в средствах коммуникаций и транспорта резко активизировал процессы интернационализации экономической деятельности, позволившей державам Триады начать перенос требующего постоянной государственной координации трудо- и капиталоинтенсивного массового производства на периферию глобальной экономики и сосредоточиться на развитии индустрии знаний, создании наукоемких продуктов, которые на практике слабо реагировали на традиционное для «века Кейнса» вмешательство в экономику посредством бюджетной и социальной политики. В-третьих, углубление международного разделения труда превращало транснациональные корпорации в одного из ключевых субъектов мирохозяйственного развития, что вкупе с последовавшей после демонтажа Бреттон-Вудской системы отменой контроля за движением капитала форсировало «офшоризацию промышленности и рабочих мест», тем самым серьезно осложняя функционирование welfare state, придающего в глазах общества легитимность правительственному вмешательству в хозяйственные процессы.

Вместе с тем монетаристы, признавая безоговорочное превосходство живительной силы «невидимой руки» свободного рынка над «мертвой рукой чиновника» [Friedman, 1955, p. 144], все же не исключали точечного вмешательства бюрократии в экономику, «допуская» правительство – в лице центральных банков – к регулированию монетарной политики. Подобная выборочность сферы приложения государственных усилий предопределялась твердой убежденностью М. Фридмана и его учеников в приоритетности денежного хозяйства в общественном воспроизводстве: «Контроль над денежным запасом – гораздо более полезный инструмент… чем контроль над автономными расходами» (цит. по: [Худокормов, 2013, с. 105]). В такой интерпретации виновницей всех кризисных процессов, поражающих хозяйственную систему, оказывалась инфляция как исключительно монетарный феномен, порожденный, с позиций фридмановской школы, превышением скорости роста денежной массы над динамикой ВВП. Сложность и опасность нового «старого» хозяйственного недуга признавали даже кейнсианцы: «Инфляция, – отмечал лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 г. Дж. Стиглиц, – стала большой проблемой в семидесятые годы» (цит. по: [Green, 2009]). При этом, с точки зрения монетаристов, основной негативный эффект снижения покупательной способности денег проявляется в том, что инфляция, выступая своеобразным «песком», искажает передачу сигналов между контрагентами, в результате чего участники хозяйственной деятельности получают неточную информацию о будущих

расценках, зашифрованных в текущей стоимости товаров и услуг [Friedman, 2007, p. 17]. Данное обстоятельство дезориентирует экономических агентов, а неопределенность, складывающаяся вокруг потенциальной покупательной способности денежных единиц, угнетает инвестиционную активность бизнеса и чревата ростом безработицы. Такой подход объясняет резко негативное отношение монетаристов к излишней бюджетной активности правительства, когда рост государственных расходов, финансируемый за счет эмиссии, займов и повышения налогового бремени, выводит инфляцию из-под контроля и тем самым мешает ценовому механизму выполнять функцию автоматического поддержания макроэкономического равновесия. Поэтому для поступательного социально-экономического развития «по Фридману» требуется соблюдение двух принципиальных условий: во-первых, закрытие всех каналов дополнительного расширения денежного предложения; во-вторых, табуирование – ввиду вышеописанных временных интервалов между действием и последствиями корректировки экономической политики – любых попыток использования монетарной сферы для сглаживания циклических колебаний. Исходя из этого чикагский профессор вывел так называемое правило *k*-процента (k-percent rule), согласно которому независимо от фазы делового цикла центральный банк обязан поддерживать устойчивые темпы увеличения денежной массы, совпадающие с годовым реальным приростом ВВП и откорректированные на долговременный тренд снижения скорости обращения денег [White, 2012, p. 326–327]. Согласно монетаристской теории, при выполнении этого требования финансовые власти лишаются соблазна проводить безответственную политику, провоцирующую экономические катаклизмы, а бизнес, получив возможность улавливать все рыночные импульсы в очищенной от инфляционных помех хозяйственной среде, сможет строить долгосрочные планы развития в интересах всеобщего процветания.

Между тем объявленный М. Фридманом «крестовый поход» против повышения общего уровня цен нередко трактуется как некая интеллектуальная забава, созданная для оттачивания математических моделей, или, в лучшем случае, рассматривается в качестве своего рода экстренного курса макроэкономической терапии, призванного локализовать инфляционный очаг, блокирующий поступательное функционирование экономики. На наш взгляд, борьба монетаристов со снижением покупательной способности денег выходила далеко за пределы тактических задач исправления динамики конъюнктуры рынка, на деле выполняя функцию облегчения перехода хозяйственных систем стран Запада в новое технико-экономическое состояние. Эра «великой инфляции» 1970-х гг. фактически подтвердила справедливость замечания Л. фон Мизеса (1881–1973) о возможности отрицательного воздействия высокой инфляции на технологический прогресс вследствие сокращения капиталовложений в социальный и физический капитал как результат растущей неопределенности экономических агентов в будущей отдаче проектов. «Инфляция, – утверждал экономист, – создает ситуацию, которая дестимулирует сбережения и инвестиции,

делающие технологический прогресс возможным» (цит. по: [Greaves, 2010, p. 84]). Этот вывод нашел подтверждение в более поздних работах, в которых устанавливалось отрицательное воздействие высокой инфляции на технологический прогресс, а также на инвестиции в НИОКР и человеческий капитал [World Development Report, 1987, p. 14; Landau, 1982, p. 69; World Economic Outlook, 1997, p. 12].

Кстати, Р. Рейган с первых дней президентства к приоритетам своей экономической политики относил борьбу с инфляцией, названной им еще в 1978 г. «такой же жестокой, как грабитель, страшной, как разбойник, и опасной, как киллер» (цит. по: [Kroll, 2012, p. 116]), а назначенный в 1979 г. на пост председателя ФРС «практический монетарист» П. Волкер сразу же взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики, в результате чего к июню 1981 г. ставка рефинансирования приблизилась к 20%-й отметке и, невзирая на очередное ухудшение социально-экономической обстановки, в 1981–1983 гг. не падала ниже 8,5%-го значения[1]. Спектр оценок данного макроэкономического эксперимента разнится от превозношения методов «шокового лечения» как единственно возможного способа победы над «вирулентным раком инфляции» [Treatser, 2004] до утверждения, будто платой за обуздание «демона инфляции» стало безжалостное истребление не адаптировавшихся к новым реалиям производств [Mussa, 1994]. Не вдаваясь в дискуссию, взглянем на эти полярные позиции в створе нашей основной рабочей гипотезы. Выяснится главное: сбив за 1980–1983 гг. уровень инфляции практически на 9% (с 12,5 до 3,8%) и «додавив» ее к 1986 г. до 1,1%[2], Соединенным Штатам удалось оживить инвестиционную активность прежде всего в сфере воспроизводства человеческого капитала и высоких технологий. Так, в 1980–1988 гг. среднегодовые темпы прироста капиталовложений в научные разработки (6,2%) и высшее образование (5,1%) превысили показатели скорости валового накопления (4,7%) (рассчитано по: [Statistical Abstract of the U.S., 1991, p. 134, 431, 588, 763]), а инвестиции в электротехническую и электронную индустрии, обгоняя средний по промышленности тренд (1,8%), возрастали на 3,7% в год (рассчитано по: [Statistical Abstract of the U.S., 1981, p. 764; 1982–1983, p. 777; 1991, p. 763]).

Для обустройства новой хозяйственной системы, помимо налаживания системной борьбы с сокращавшим горизонты инвестиционного планирования «инфляционным спрутом», требовалось выстроить принципиально иное видение способов поддержки экономического роста. Здесь, как нельзя кстати пришлись положения «двоюродной сестры» монетаризма – «экономической теории предложения» (supply side economics), переносившей акцент с изучения свойственного кейнсианству стимулирования совокупного спроса к выявлению помех, препятствующих расши-

---

[1] Effective Federal Funds Rate. URL: https://fred.stlouisfed.org/data/FEDFUNDS.txt

[2] U.S. Inflation Rate by Year: 1929–2018. URL: https://www.thebalance.com/u-s-inflation-rate-history-by-year-and-forecast-3306093

рению предложения и рачительному использованию производственных ресурсов. В глазах саплайсайдеров ключевые рекомендации последователей Дж.М. Кейнса оказывали выраженное отрицательное влияние на состояние экономики: социализация инвестиций дестимулирует частную инициативу, ведет к разъедающему здоровый социум общественному паразитизму, а постоянное нагнетание общественных расходов оборачивается увеличением налогового бремени, что подрывает желание бизнеса задействовать новые факторы производства и, соответственно, создает предпосылки для роста безработицы. В логике своих рассуждений сторонники «экономики предложения», так же как и Ф. фон Хайек, отталкивались от того, что главным пороком хозяйственного развития является «засорение» рынков чрезмерными бюджетными затратами, которые, по их мысли, вынуждали экономических агентов предпочитать досуг труду и потребление – сбережению (см. подробнее: [Худокормов, 2013, с. 162–164]). Драматизм ситуации мог дополнительно усугубляться попытками страдающей от «кейнсианских ересей» бюрократии «вытолкнуть» безработицу за пределы «естественного уровня» раскручиванием инфляционно опасных социальных расходов с неизбежным последующим ужесточением налогов, вымыванием частных сбережений, ростом безработицы. «Каждый доллар, потраченный на социальные нужды, – комментировал свои расчеты профессор Гарвардского университета М. Фелдстайн, – сокращает накопление частного богатства несколько меньше чем на доллар, но больше чем на 50 центов» [Feldstein, 1979]. Ключевым элементом скорейшей адаптации экономики к новым реалиям в данной ситуации считалась налоговая реформа, смысл которой в предельно концентрированной форме обобщала «кривая Лаффера», в графической форме доказывавшая возможность увеличения фискальных поступлений при уменьшении предельных ставок налогообложения. Авторы экономической теории предложения, в первую очередь, рекомендовали уменьшить подоходные налоги для наиболее состоятельных граждан, которые, по мнению исследователей, смогут «разморозить» сбережения и направить средства «на покупку нового оборудования и возобновить экономический рост» [Dietrich, 1991, p. 224]. Незамедлительной фискальной либерализации, согласно их концепции, также требовала и производственная сфера, для которой предлагались разного рода инвестиционные налоговые кредиты и амортизационные льготы, а завершающим штрихом, призванным повысить склонность хозяйствующих субъектов к накоплению, ученым мыслилось снижение фискального обложения дивидендных и процентных доходов, дополняемое «уменьшением государственных расходов … в целях предотвращения использования возросших сбережений для возможного финансирования правительственных затрат» [Jain & Tomic, 1995, p. 132–133], априори менее эффективных, чем частные инвестиции.

Тем временем в мировом хозяйстве наметилась очередная инновационная пауза: в 1970–1976 гг. в глобальной экономике ежегодно появлялось 1,16 базовых нововведения против 1,87 в 1960–1968 гг. (рассчитано по: [Silverberg & Verspagen, 2003, p. 690]), а в США за 1971–1979 гг.

число выдаваемых американским инноваторам за год патентов на новые изобретения снизилось с 56 тыс. до 30,1 тыс. шт. [Huggins & Izushi, 2007, p. 21]. Вполне объяснимо, что обеспокоенные затуханием научно-технического прогресса власти промышленно развитых стран приняли на вооружение экономическую философию теории предложения, прекрасно укладывавшуюся в логику строительства хозяйственной системы, соединяющей в себе «высокие технологии и предпринимательство» [Huggins & Izushi, 2007, p. 14]. В Соединенных Штатах первым шагом на этом пути стало подписание Р. Рейганом 13 августа 1981 г. Закона «О налоговых мерах по восстановлению экономики» (Economic Recovery Tax Act of 1981 – ERTA), снижавшего максимальную ставку подоходного налога с 70 до 50%, что за 1982–1987 гг. сэкономило средней американской семье из 4 чел. сумму, эквивалентную 9 000 дол. дохода, полученного в 1980 г.[1] Предусмотренные этим же нормативным актом 10%-й инвестиционный налоговый кредит и ускоренная амортизация основных фондов принесли в 1982–1987 гг. американскому бизнесу в совокупности 1,65 трлн дол. [Atkinson, 2007, p. 82]. Кроме того, для обеспечения инновационного роста экономики США в рамках ERTA вводился особый федеральный налоговый вычет на исследования и эксперименты (Federal Research Experimentation Tax Credit) в виде 25%-го уменьшения фискальной базы налога на прибыль в случае превышения текущих расходов на НИОКР средней величины этих затрат за три предшествующих года [Hines, 1994, p. 73]. Либерализация налогового законодательства привлекла в хайтек-сферу венчурный капитал и активизировала взаимодействие бизнеса и науки: за 1975–1983 гг. инвестиции в небольшие инновационные фирмы выросли в реальном выражении почти на 25 000% [Wright, 1994, p. 57], а объем финансирования университетских исследований предприятиями реального сектора за 1980–1990 гг. увеличился в три раза (рассчитано по: [Hall, 2004]). Из бесспорных достижений рейганомики отметим также укрепление позиций высокотехнологичных отраслей, чей удельный вес в структуре промышленного производства и экспорта за 1981–1991 гг. возрос с 16 до 20% и с 29 до 38% соответственно [Innovation and Commercialization…, 1995, p. 5]. Параллельно в экономике США начали рельефно просматриваться контуры постиндустриального, знаниеемкого уклада, в котором за 1950–1987 гг. число ученых и инженеров на 10 тыс. жителей увеличилось с 25 до 75 чел. [Huggins & Izushi, 2007, p. 19], доля лиц со степенью бакалавра среди работающего населения возросла с 19,9 в 1979 г. до 25,1% в 1989 г. [Katz et al., 1995, p. 48], а в структуре занятости удельный вес сектора наукоемких услуг всего за пять лет вырос с 35,6% в 1980 г. до 37,7% в 1985 г., компенсировав сжатие в отраслях обрабатывающей промышленности с 22,2 до 19,3% (рассчитано по: [International Competition in Services, 1987, p. 229]).

---

[1] The Second American Revolution: Reaganomics. URL: https://www.reaganfoundation.org/ronald-reagan/the-presidency/economic-policy/

Подведем итоги.

1. К концу 1970-х гг. кейнсианство, прекрасно описывавшее функционирование индустриального строя, начало испытывать серьезые трудности с интерпретацией проблем, возникших в государствах, затронутых начавшейся постиндустриальной трансформацией. Вопреки участившимся заявлениям о беспричинном, возникшем в результате интеллектуальных экспериментов характере правоконсервативного «переворота» в экономической науке 1970–1980-х гг., его корни в первую очередь надо искать в созвучности основных предпосылок концепций «мятежников» социально-экономическим реалиям, сформировавшихся в ведущих странах в начале последней четверти XX века.

2. Возрождение сторонниками фридмановского учения веры во всесилие невидимой руки рынка, разрыв с идеалами социального равенства, с нашей точки зрения, не служили задачам претворения в жизнь злонамеренных планов по навязыванию обществу ложной системы морально-нравственных ориентиров. Монетаристы предложили альтернативную мировоззренческую платформу, призванную стать обоснованием для перехода от коллективистского фордистского порядка к атомизированному «предпринимательскому» типу экономической организации.

3. Осуществленный экономической теорией предложения перенос акцентов с нагнетания спроса на поддержку производства не только детерминировался теоретическими симпатиями саплайсайдеров к активно изобличаемому кейнсианской школой «заблуждению» Ж.-Б. Сэя [Krugman, 2013a], но и представлял собой необходимое условие поддержки экономического роста в условиях замещения системы массового производства, требовавшей постоянного стимулирования потребления, новой парадигмой, базировашейся на демассификации труда и выпуске персонифицированных продуктов. Неприятие «теоретиками предложения» правительственного вмешательства предопределялось не субъективным отторжением концепции «большого правительства», а объективным исчерпанием потенциала использования приемов централизованного воздействия, ставших дисфункциональными в постфордистской экономике, не нуждающейся в излишней опеке со стороны бюрократии для адаптации к меняющимся рыночным реалиям.

4. Пропагандируемая монетаристами политика сдерживания роста денежной массы, в лучшем случае трактуемая их оппонентами как борьба с ветряными мельницами, а в худшем – рассматриваемая в качестве идеологического тарана, призванного облегчить правым кругам штурм кейнсианской твердыни – государства всеобщего благоденствия, по нашему мнению, сыграла важнейшую роль в легитимации устранения очагов инфляционной напряженности, позволив ускорить приток инвестиций в «молодые» высокорисковые отрасли формировавшейся технологической парадигмы. Ставшие реквиемом по велферизму и выдержанные в неоконсервативных тонах, реформы Р. Рейгана обеспечили столь необходимое в условиях «инновационной паузы» снижение фискальной нагрузки, облегчили встраивание американского бизнеса в новый технико-экономический уклад и тем самым заложили основы хозяйственного процветания США в 1990-е гг.

5.2. Отличительные черты экономической мысли эры становления информационно-коммуникационного уклада[1]

Благодаря серии неолиберальных реформ промышленно развитый мир вошел в последнее десятилетие «века крайностей» (см. подробнее: [Hobsbawm, 1994]) с подготовленным институциональным бэкграундом для завершения постиндустриальной трансформации. Материальной основой этого процесса выступили расцвет формирующих сердцевину пятого технологического уклада информационно-коммуникационных систем, широкая экспансия наукоемких услуг и окончательное закрепление за интеллектуальным капиталом статуса ключевого фактора производства. Параллельно с модификацией технико-экономического базиса произошло оформление альтернативной фордистской системы ценностей, способствовавшей внедрению последних достижений научно-технического прогресса посредством формирования нового образа жизни и типа потребления. С позиций философии постиндустриальная революция потребовала пересмотра отношения к феномену свободного времени, вытеснившего деньги в качестве основного мерила свободы, обладание которым стало приоритетной задачей человека: «…в этом [постиндустриальном] типе общества свободой, которую человек будет хотеть больше всего, станет свобода добровольного выбора направлений реализации своего времени» [Masuda, 1981, p. 149]. Смена эпох одновременно предопределила мутацию индустриального homo economicus, подчиняющего свою жизнедеятельность удовлетворению материальных потребностей, в «человека играющего» (homo ludens), в основном преодолевшего зависимость от вещественных благ, но попавшего в «кабалу» минимизации временных затрат, превратившихся в условиях постиндустриализма в один из самых дефицитных ресурсов, не поддающихся накоплению [Bell, 1999, p. XCVI, 473]. Как результат, гуманитарные науки столкнулись с задачей объяснения функциональных зависимостей в обществе, в котором производственные отношения в ходе утверждения новой технико-экономической парадигмы, когда важнейшей сферой деятельности становится генерирование знаний, отличающихся от привычных товаров неделимостью и невозможностью уничтожения в процессе использования, начали утрачивать субъектно-вещную форму «взаимодействия человека с преобразованной природой» и все больше приобретать субъект-субъектную конфигурацию «игр между людьми» [Bell, 1999, p. 116, 474–475]. Не случайно тематический фокус экономической науки 1980–2010-х гг. постепенно сместился с анализа преимущественно «неодушевленных» хозяйственных явлений к изучению воздействия такой антропоцентричной категории, как знание, на экономическое развитие, выявлению влияния психологии на состояние рыночного механизма, учету воздействия поведенческих факторов на финансовую обстановку и приложению

[1] Данный параграф базируется на отдельных разделах монографии: [Мальцев, 2014g]. Некоторые положения этого раздела вошли в статью: [Мальцев, 2014e].

игровых методов к исследованию обществоведческой проблематики. Наибольшую лепту в осмысление процессов информационного переворота, с нашей точки зрения, внесли: теория эндогенного роста, разрабатываемая Р. Барро (р. 1944), Р. Лукасом (р. 1937), С. Ребело (р. 1959), П. Ромером (р. 1955) и др.; бихевиористская экономика, представленная работами Д. Канемана (р. 1934), Г. Саймона (1916–2001), В. Смита (р. 1927), А. Тверски (1937–1996) и др.; теория игр, в концентрированном виде изложенная Р. Ауманном (р. 1930), Дж. Нэшем (1928–2015), Р. Зелтеном (1930–2016), Дж. Харшаньи (1920–2000), Т. Шеллингом (1921–2016) и др.

Исходя из нашей гипотезы о преимущественно экстерналистской природе роста популярности новых направлений экономической мысли, установим взаимосвязь между усиливающимся поведенческим креном в современных экономических исследованиях с набирающими обороты постиндустриальными трендами. В качестве первого шага на этом пути предлагаем, руководствуясь известным замечанием Д. Белла: «Концепция постиндустриального общества прежде всего относится к технико-экономической сфере» [Bell, 1999, p. XXX], выделить главные структурные сдвиги в хозяйственных системах развитых государств, успешно справившихся с последствиями инновационной паузы 1970-х гг.

Вектор основных в этом плане изменений в 1990–2000-х гг. задавала мощная волна техно-оптимизма, порожденная внедрением в экономический оборот широкого спектра нововведений, относящихся к пятому технологическому укладу. Например, в Соединенных Штатах при полуторакратном – с 96,5 до 157,3 тыс.[1] – увеличении за 1991–2008 гг. суммарного количества патентов на новые изобретения число зарегистрированных Службой патентов и торговых марок (United States Patent and Trade Mark Office) открытий в области информационно-коммуникационных технологий возросло в три раза: с 25,8 тыс., или каждого четвертого, до 78 тыс., или каждого второго [Science and Engineering Indicators, 2008, vol. 1, p. 6–43]. Одновременно страна приступила к фронтальной компьютеризации хозяйственной системы, в результате чего общие расходы на информационную сферу, составлявшие в 1991 г. примерно 3% ВВП [Иноземцев, 1999], к 2008 г. увеличились до 7% ВВП[2]. В совокупности эти трансформации детерминировали лавинообразный спрос на хайтек-продукты и услуги: за 1990–2008 гг. в расчете на 1 000 американцев количество компьютеров взлетело со 187,8 до 883,7[3], абонентов сотовой связи – с 20 до 850 чел.[4], пользова-

---

[1] U.S. Patent Activity. Calendar Years 1790 to the Present. URL: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/h_counts.htm

[2] Information Technology Spending by Country. URL: http://www.brighthub.com/computing/hardware/articles/80611.aspx#imgn_2

[3] Worldwide PC Market. URL: http://www.etforecasts.com/products/ES_pcww1203.htm

[4] Рассчитано по: Mobile Cellular Subscriptions (Per 100 People). URL: http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2008&start=1990

телей Всемирной паутины – с 8 до 740 чел.[1] Неудивительно, что именно в этот период исследователи, представляющие практически весь спектр общественных наук, начали говорить о становлении принципиально нового, информационного типа экономики, к основным сущностным чертам которого, с нашей точки зрения, можно отнести, во-первых, формирование сетевой организации всемирного хозяйства; во-вторых, персонализацию массового производства; в-третьих, перенесение акцента в процессах создания продукта с его изготовления на дизайн и реализацию. Не задерживаясь на социально-философских аспектах становления цифровой эпохи, которые предстоит учесть в процессе анализа «перестроений» в экономической теории, попробуем дать характеристику вышеуказанным технико-институциональным трендам.

В институциональной плоскости информационно-коммуникационная революция серьезно модифицировала организационную архитектуру глобальной экономики, в которой начали преобладать тенденции к «децентрализации крупных компаний в форме создания сети полуавтономных единиц… а малые и средние бизнесы стали поставщиками и субподрядчиками целого ряда крупных корпораций» [Castells, 2005, p. 8–9]. В геоэкономическом плане новый виток технического прогресса позволил превратить мировое хозяйство из «суммы индивидуализированных изолированных пространств» в то, что Ж.-Ш. Сисмонди мечтательно называл «рынком всей Вселенной» (цит. по: [Braudel, 1992, p. 21]). При этом основной движущей силой гомогенизации всемирной экономической системы стало мощное давление, оказываемое растущей конкуренцией на национальные фирмы, ставившее их перед дилеммой: «производить на внешние рынки… либо идти на дно» (цит. по: [Шишков, 2011, с. 36]). Одним из индикаторов данных процессов являлось повышение интереса бизнес-сообщества к глобальному аутсорсингу. Например, за 1987–2002 гг. доля иностранной продукции в общем объеме входных материальных ресурсов, потребляемых американской обрабатывающей промышленностью, возросла с 12,4 до 22,1% [Burke et al., 2004, p. 2], в структуре занятости произошла аналогичная «рокировка»: если в 1990-е гг. ТНК Соединенных Штатов создали внутри страны 4,4 млн новых рабочих мест и 2,7 млн – за рубежом, то в 2000-е гг. сократили 2,9 млн чел. в стране базирования и предоставили работу 2,4 млн трудящихся в других регионах мира [Wessel, 2011]. Впрочем, мирохозяйственная «сетевизация» представляет собой дорогу с двусторонним движением, по которой навстречу принявшему в последнее время в глазах жителей развитых стран негативный оттенок аутсорсингу движется «положительный» эффект, получивший название «инсорсинг» (insourcing), подразумевающий приток зарубежного капитала. Благодаря последнему уже в 2008 г. каждый 12-й американец, занятый в обрабатывающем секторе, работал в компании, принадлежащей иностранцам, а его среднегодовой заработок (68,3 тыс. дол.) на 32% превышал доходы работника отечественного бизнеса [The Facts

[1] Рассчитано по: Internet Users (Per 100 People). URL: http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2?end=2008&start=1990

about…, 2009, p. 23]. Другим наглядным подтверждением становления сетевых структур в рамках интернациональных производственно-сбытовых цепей выступают данные о росте «фрагментированной торговли» [Athukorala, 2006]: за 1995–2003 гг. объем глобальных продаж компонентов и деталей оборудования возрос с 550 млрд до 1 300 млрд дол., достигнув 1/2 мирового машинотехнического экспорта и 1/5 всей международной торговли товарами [McCann, 2010, p. 3]. Если к этому добавить, что за 1992–2006 гг. удельный вес развивающихся стран в мировых поставках товаров, предназначенных для дальнейшего передела (manufactured intermediate goods), увеличился с 25,5 до 35,2% [Sturgeon & Memedovic, 2011, p. 12], то утверждение Г. Гроссмана и Э. Хелпмана о том, что «мы живем в эпоху аутсорсинга» [Grossman & Helpman, 2005, p. 135], приобретает глубокое жизненное звучание.

В технико-управленческом измерении информационные технологии привели к становлению новой модели бизнеса, основанной на принципах демассификации производства и массовой кастомизации, интерпретируемых как «способность удовлетворять конкретные потребности и желания отдельных потребителей за цену, не превышающую стоимость массово производимых товаров и услуг» [Fern, 2002]. Выгодным отличием новой производственной парадигмы от свойственной позднеиндустриальной эпохе концепции стандартизации стала допустимость комбинации массового производства с индивидуализацией стандартных изделий для максимально быстрой адаптации к изменчивым потребительским предпочтениям. Краеугольным элементом персонализированной модели хозяйствования выступило появление платформенных решений, предоставляющих возможность посредством легкой модификации готовой технико-инновационной матрицы минимизировать издержки на создание новых товаров и услуг без ущерба для качества предлагаемых продуктов. Особо рельефно данная установка проявилась в современном автомобилестроении: на стыке XX–XXI столетий при сокращении набора используемых базовых платформ резко возросло число предлагаемых покупателям модификаций транспортных средств. Скажем, Volkswagen за 1991–2003 гг. снизил количество задействуемых модульных основ с 20[1] до 4 [Dicken, 2007, p. 285], тогда как на базе только одной презентованной в 2004 г. «тележки» PQ 35 немецкий концерн создал 19 машин, охватывающих широкий модельный ряд – от спортивных купе до компактных внедорожников[2]. Помимо облегчения расширения продуктового ассортимента, технология «одно шасси для разных кузовов» обеспечила VW Group ежегодную экономию 1,5 млрд дол. капитальных затрат, а в целом по отрасли предприятия, применяющие «матричные инновации», в 1990-е гг. ежегодно увеличивали долю рынка на 5,1%, тогда как игнорирующие новые веяния фирмы сдавали свои позиции на 2,2% в год [Gawer, 2009, p. 51]. Еще

---

[1] Volkswagen: Das Auto Giant. URL: http://management.fortune.cnn.com/2012/07/10/global-500-volkswagen/

[2] Рассчитано по: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volkswagen_Group_platforms/

бóльших масштабов «модуляризация» достигла в хайтек-сфере, в которой на смену «традиционному» соперничеству компаний пришла конкуренция платформенных решений, позволяющих владельцам адаптировать гаджеты под свои индивидуальные нужды. Так, за 2003–2009 гг. продажи цифрового контента для производимых Apple девайсов, реализуемого через онлайн-супермаркет iTunes Store, выросли в 112 раз – с 36 млн до 4 036 млн дол., или с 0,6 до 11% чистых продаж «яблочного» гиганта[1]. При этом популярность «умных» устройств, ставших своеобразным маркером социального статуса, обусловила рост потребности в непрерывном апгрейде и кастомизации технических средств для предотвращения их обезличивания: если в 2010 г. обычный пользователь операционной системы iOS ежегодно загружал 51 новое приложение, то спустя год – уже 83, при снижении средней стоимости платной версии с 2,79[2] до 1,44 дол.[3] Наконец, прогресс в цифровых коммуникациях с появлением социальных сетей создал своего рода глобальную электронную площадку с фактически безграничными возможностями для утоления жажды самовыражения, в результате чего число учетных записей в различных соцмедиа за 2008–2011 гг. возросло с 279 млн [Brown, 2008, p. 36] до 1 219 млн[4], а доходы последних – 3 млрд[5] с до 11,8 млрд дол.[6]

Фрагментировавший производство и демассифицировавший потребление информационный переворот, радикально обновивший модель ведения рыночной деятельности, позволил бизнесу приступить к эксплуатации обострившегося стремления людей к индивидуализации, что привело к переносу центра тяжести в создании продуктов с изготовления на их маркетинговое продвижение. В частности, удельный вес затрат на комплектующие, НИОКР и непосредственный выпуск в структуре цены смартофона iPhone 5 (288 дол.) не достигает и половины[7].

В этом контексте закономерными выглядят заявления специалистов, утверждающих, что в наши дни основную часть доходов «начинают приносить дизайн и продажа, а производство становится самым низкомаржинальным сегментом… именно поэтому оно с такой легкостью оттор-

---

[1] Рассчитано http://files.shareholder.com/downloads/AAPL/2670626751x0xS1047469-04-35975/320193/filing.pdf; http://files.shareholder.com/downloads/AAPL/2670626751x0xS1193125-09-214859/320193/filing.pdf

[2] Voices that Matter iPhone: App Store Prices. URL: http://www.tuaw.com/2010/04/24/voices-that-matter-iphone-app-store-prices/

[3] Apple's App Store Economics: Average Paid App Sale Price Goes for $1,44. URL: http://www.zdnet.com/blog/btl/apples-app-store-economics-average-paid-app-sale-price-goes-for-1-44/52154

[4] Social Networking Reaches Nearly One in Four Around the World. URL: http://www.emarketer.com/Article/Social-Networking-Reaches-Nearly-One-Four-Around-World/1009976

[5] Mobile Social Networking revenues could reach US$52 billion by 2012. URL: http://www.cellular-news.com/story/29233.php

[6] Gartner Says Worldwide Social Media Revenue Forecast to Reach $16.9 Billion in 2012. URL: http://www.gartner.com/newsroom/id/2092217

[7] Рассчитано по: Spendy But Indispensable: Breaking down the Full 650$ Cost of iPhone 5. URL: http://www.digitaltrends.com/mobile/iphone-cost-what-apple-is-paying/

гается [выносится на аутсорсинг]» [Ермак, 2013, с. 13], тем самым укрепляя сетевую структуру глобальной экономики. Триединство особенностей информационного типа экономики здесь проявляется наиболее выпукло: под давлением снижения нормы прибыли, упавшей в обрабатывающем секторе Соединенных Штатов с 18,5% в 1973 г. [Chan-Lee & Sutch, 1985, p. 22] до 11% в 2001 г. [Hodge et al., 2011, p. 25], национальные корпорации активизировали процессы трансферта компетенций и переноса производственных мощностей за пределы страны (см. подробнее: [Мальцев, 2014с]).

В культурологическом и философском аспектах новые технико-экономические реалии нашли отражение в решительном протесте против присущих позднеиндустриальной эпохе рутинизации и обезличивания всех сторон функционирования социума, в отказе от отождествления общественной идентичности человека с определенным стандартом потребления, а также в усилившемся отторжении ставшего чужеродным консьюмеристского лейтмотива: «я потребляю и поэтому существую». В иерархии мотивационных установок созданное научно-техническим прогрессом товарное изобилие вкупе с высоким уровнем материальной защищенности привели к вытеснению основного критерия успеха индустриальной эры – аккумулирование все большего количества вещей – принципиально иным жизненным приоритетом постоянного повышения качества получаемых впечатлений (см. подробнее: [Inglehart & Welzel, 2005]). При этом с позиции экономической антропологии выдвижение на передний край ценностей самовыражения означало, что на место страдающего от приступов потребительской лихорадки индивида, занятого улучшением материального уровня жизни, пришла фигура, ставящая во главу угла «неэкономические» интересы свободы творчества и поиска новых форм заполнения досуга. Однако такое изменение мировоззренческих ориентиров отнюдь не превращало постиндустриального человека в живущего в аскезе альтруиста: освобождение личности из плена вещизма ставило ее в зависимость от дефицита времени, расходуемого на отсеивание и обработку огромных массивов поступающей информации. При этом обитатель мира рубежа XX–XXI столетий теперь существовал не в привычном для «человека-пчелы» индустриальной эры окружении, обставленном бездушными машинами [Wark, 2008, p. 25], а коммуницировал – в терминах Д. Белла, «играл» – с другими людьми, находившимися под аналогичным «гнетом часов». Вполне естественно, что между ними развернулась борьба за максимизацию возможностей «освобождения времени, которое они могли бы посвятить (в форме работы или отдыха) удовлетворению новых типов потребностей» [Gershuny, 2000, p. 19], из которой победителем могла выйти лишь наиболее интеллектуально развитая и творчески одаренная персона. Соответственно, успех и благосостояние человека отныне детерминировались не столько количеством затраченного труда, сколько способностью мобилизации когнитивных способностей, позволяющих представителям креативного класса бороться с преследующей постиндустриальную цивилизацию нехваткой смысловых и символических

конструктов и тем самым собирать «инновационную ренту», конвертируемую ими в расширение запаса личного времени.

Очевидно, что психологизация хозяйственной жизни и превращение информации в ключевой ресурс эпохи требовали от экономической науки серьезной ревизии отдельных ее положений и прежде всего признания основным двигателем социально-экономического развития не абстрактных, берущихся словно из черного ящика технологий, а всей совокупности компетенций и духовного потенциала личности, выступившей, наряду с другими факторами производства, одним из главных участников создания богатства нового типа общества. Так, стремление антропоцентрировать технический прогресс, доказать производный от накопления человеческого капитала характер создания инноваций превратилось в стержневой элемент теории эндогенного роста, «объясняющей долгосрочный рост следствием таких видов экономической деятельности, которые создают новое технологическое знание» [Howitt, 2008]. Важнейшим отличием концепции внутреннего происхождения хозяйственных изменений от преобладавших ранее неоклассических моделей, также связывающих экономическую динамику с технико-технологическими новшествами, было допущение возможности противодействия «тирании стационарного состояния» [Tellis, 2008, p. 17] посредством наращивания инвестиций в интеллектуальный потенциал, который генерирует мощный экстернальный эффект, «компенсирующий естественную тенденцию к убывающей отдаче» [Todaro & Smith, 2009, p. 152]. С нашей точки зрения, принципиальным достижением «новой теории роста» выступила расшивка «узкого места» неоклассической трактовки технологического прогресса как экзогенного феномена, «побочного продукта» увеличения капиталовложений в расширение основных фондов концептуализацией технико-экономических сдвигов в качестве сознательных инвестиций предпринимателей и отдельных фирм в человеческие ресурсы [Gilpin, 2001, p. 111, 113]. Доказывая возможность бесконечного развития интеллекта, сторонники эндогенной теории прямо утверждали, что экономика, базирующаяся на знаниях, сможет «расти всегда» и станет неподвластной «железным законам» падающей производительности [Liu & Premus, 2000, p. 16]. Р. Лукас иллюстрировал данный механизм на примере передачи знаний от одного человеческого поколения к другому, которые, неуклонно накапливаясь, позволяют безгранично увеличивать человеческий капитал (см. подробнее: [Lucas, 1988]). Профессор Гарвардского университета Р. Барро формулировал эту же мысль следующим образом: «Человеческий капитал, воплощенный в преподавателе, будет использован для производства человеческого капитала в студентах» [Barro, 1992]. Развивая ее, разработчики новой концепции роста предложили рассматривать идеи в качестве неконкурентных благ, эксплуатация которых одним хозяйствующим субъектом не снижает полезность их применения другим экономическим агентом, так как «знание, – по справедливому замечанию П. Ромера, – это единственный неограниченный ресурс, отличный от других тип актива, который увеличивается по мере своего исполь-

зования» (цит. по: [Tsai, 2003, p. 11]). «Эндогенезированный» взгляд на технологический прогресс позволил преодолеть известный недостаток модели Р. Солоу, исключавшей саму возможность задействования приемов государственного стимулирования инновационного развития ввиду экзогенного характера появления научно-технических новшеств, представлявшихся неокейнсианцам «манной небесной», в ожидании ниспадения которой правительству не остается делать «ничего иного, кроме как молиться». Разрубить «солоунианский узел» помог методологический подход, выстроенный на новом теоретическом фундаменте: коль скоро знание, представляющее собой мотор социально-экономического роста, заложено в каждом человеке, для его умножения требуется всемерное «развитие образования людей, субсидирование научных исследований, импорт идей из-за рубежа, внимательное отношение к защите интеллектуальной собственности»[1].

На практике эти рекомендации в первую очередь нашли отражение в продолжении начатой в 1980-х гг. политики поощрения инновационной активности и высокотехнологического предпринимательства. В плане стимулирования строительства экономики знаний Соединенные Штаты 1990–2000-х гг. можно признать – с известными оговорками – едва ли не эталоном. В подтверждение этого отметим хотя бы продолжение использования налогового кредита на исследования и эксперименты, впервые введенного США в 1981 г. и предусматривающего возможность возврата из уже уплаченного налога на прибыль до 20% приращения затрат на НИОКР в текущем году, что позволило поднять ежегодный объем возмещений хозяйствующим субъектам «на науку» с 1,5 млрд[2] в 1992 г. до 8,3 млрд дол.[3] в 2008 г., с лихвой «отбитых» ростом дополнительных расходов на создание новых знаний и изделий с 2,5 млрд в 1980-е гг. [Nadiri & Mamuneas, 1997, p. 59] до 10 млрд дол. в конце 2000-х гг. [Carroll et al., 2011, p. I].

Безусловно, дать интегральную оценку результатов предпринятых американским государством шагов по развитию людских ресурсов не представляется возможным, однако некоторые цифры говорят сами за себя: к 2006 г. превосходство человеческого капитала (запас которого составил 738 трлн дол.) над объемом накопленных физических активов (45 трлн дол.) достигло 16,4 раза [Christian, 2010, p. 33].

Принципиальным следствием становления насыщенного знаниями цифрового общества, помимо отмеченной постепенной эрозии сугубо материалистической мотивации как сердцевины ценностных предпочтений индустриальной эпохи, стал вызванный переизбытком информации феномен инфоксикации (infoxication), провоцирующий растущие затруднения экономических агентов с «распознаванием того, что важно и что вторично, а также выбором надежных источни-

---

[1] The Growth of Growth Theory. URL: http://www.economist.com/node/6943519/

[2] The U.S. Research and Experimentation Tax Credit in the 1990s. URL: http://www.nsf.gov/statistics/infbrief/nsf05316/

[3] R&D: National Trends and International Comparisons // Science and Engineering Indicators 2012. URL: http://www.nsf.gov/statistics/seind12/c4/c4s6.htm

ков информации» [Brey et al., 2009, p. 25]. Эти обстоятельства в совокупности серьезно осложнили жизнь мифологизированному неоклассическому идеалу – гиперрациональному, имеющему постоянный набор потребительских предпочтений и наделенному всей полнотой рыночной информации homo economicus. Неудивительно, что в последней трети XX – начале XXI столетия в набрало силу течение за придание экономической теории более реалистичного характера посредством инкорпорирования психологических факторов, не укладывающихся в рамки предпочитавшего агностицировать когнитивный контекст послевоенного экономикса (см. подробнее: [Angner & Loewenstein, 2012]), но оказывающих все большее воздействие на поведение современных индивидов и проливающих свет на многочисленные «аномалии» в работе хозяйственного механизма.

Отправной точкой исследовательской программы бихевиористской экономической теории выступило использование достижений психологической науки для анализа механизмов принятия решений, отличных от логики действий «экономического человека», движимого исключительно рациональными мотивами, а также изучение воздействия ситуаций риска и неопределенности на поведение экономических субъектов. Так, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 г. Д. Канеман и профессор Стэндфордского университета А. Тверски выяснили, что в реальных условиях люди получают слишком много данных относительно возможностей их обработки. Поэтому, по мнению американских психологов, поведение homo sapiens идет вразрез с аксиоматизированным неоклассикой постулатом максимизации полезности и подчиняется различным «эвристическим принципам, позволяющим свести сложные задачи оценки вероятностей и прогноза значений к более простым операциям по вынесению суждений» [Tversky & Kahneman, 1974]. В переводе на более доступный язык это означает, что человек чаще всего действует наугад. Следующим шагом ученых стала систематизация когнитивных ошибок, получивших в поведенческой теории название «ментальных сокращений» (mental shortcuts). На ее основе исследователи сформулировали «теорию возможностей», представившую обнаруженные периодические вспышки иррациональности в форме определенных закономерностей, позволяющих применять их для прогнозирования хозяйственной деятельности (см. подробнее: [Джадан, 2002]). Например, согласно экспериментам, одним из наиболее часто встречающихся проявлений «отклонений от рациональности» является предрасположенность человеческой психики к оценке потенциальной выгоды исходя не столько из величины абсолютных доходов, как предписывает разум homo economicus, сколько на основе стремления хеджировать риск от потерь по отношению к существующему status quo (см. подробнее: [Kahneman et al., 1991, p. 197–198]). Иными словами, эксперты доказали, что «„прибыль“ и „убыток“ – понятия не только экономические, но и психологические… Человеку свойственно расстраиваться от потерь в большей степени, чем испытывать удовлетворение от, казалось бы, равноценных приобретений» (цит. по: [Джадан, 2002]). Кроме того, профессору Нью-Йоркского университета Н. Талебу удалось доказать более низкую, чем у наде-

ленного даром совершенного предвидения homo economicus, способность живых людей к нахождению различия «между шумом и значением… между случайно сконструированной структурой и точно выраженным сообщением» [Taleb, 2005, p. XLII]. В наложении на новые реалии практики это означало неспособность разумных существ, склонных выводить универсальные закономерности хозяйственного целеполагания из небольшого количества краткосрочных наблюдений, предвидеть «черных лебедей» случайностей. Сообразно этой логике профессора Нью-Йоркского университета Н. Рубини и С. Мим делали обобщающий вывод: «Капитализм представляет собой не некую саморегулируемую систему, которой не свойственны разрушения, а скорее систему, склонную к „иррациональному изобилию“… эта система чрезвычайно неустойчива» [Рубини и Мим, 2011, с. 52].

Пожалуй, наиболее ярким свидетельством того, что современное общество весьма отдаленно напоминает собрание всезнающих экономических индивидов и явно переоценило свои способности предвидеть риски, стала финансовая сфера, где вновь, как и в 1920-е гг., начала царить атмосфера «иррациональной жизнерадостностью». В 1990–2000-е гг. глобальное хозяйство действительно приобрело некоторые черты «капиталистического казино», в котором, пользуясь удачным сравнением профессора Лондонской школы экономики С. Стрендж, «спекулянты… как азартные игроки, смотрят на серебряный шарик, прыгающий по колесу рулетки, и ставят свои фишки на красное или черное, на нечетное или четное число» (цит. по: [Wunderlich & Warrier, 2007, p. 63]). Используя аналогичную аллегорию игорного дома, французский экономист, лауреат Нобелевской премии 1988 г. М. Алле также сравнивал современную мировую экономику с «безбрежным казино, в котором игровые столы расставлены по всем широтам и долготам… а игра и постановка ставок не заканчиваются никогда»[1]. В принципе следует признать объективность подобных обобщений, основывавшихся на взрывном ускорении процессов финансиализации, когда ежедневный размер операций на международном валютном рынке, составлявший в 1989 г. 0,6 трлн дол. [Epstein, 2005, p. 4], к 2007 г. достиг 3,3 трлн дол.[2], годовой же объем рынка деривативов и вовсе взлетел со «скромного» 1 трлн дол. в 1986 г. [Bush, 2012, p. 26] до баснословных 1,2 квадриллиона долларов в 2010 г. (20 глобальных ВВП) [Cohan, 2010]. Повсеместное раскручивание разнообразных финансовых спиралей, безусловно, нагнетало давление ситуации риска, исходным контрапунктом в изучении воздействия которого на поведение экономических субъектов можно считать признание лауреатом Нобелевской премии по экономике 2001 г. Дж. Акерлофом и профессором Йельского университета Р. Шиллером «неустойчивого иррационального начала, которое стимулирует или, наоборот, подавляет экономическую деятельность, истинной причиной бума и последу-

---

[1] Maurice Allais: An Economic Visionary. URL: http://www.momagri.org/UK/focus-on-issues/Maurice-Allais-An-Economic-Visionary_429.html

[2] Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Market Activity in April 2010. URL: http://www.bis.org/press/p100901.htm

ющего обвала[1]» [Акерлоф и Шиллер, 2010, с. 10]. Так, воспользовавшись социометрическими исследованиями потребительских настроений, выполненными учеными Мичиганского университета, можно легко обнаружить синхронизацию оживления хозяйственной активности со стремительным ростом индекса уверенности в американском обществе, подскочившего с октября 2001 г. по январь 2007 г. с 82,7 до 96,9 пунктов, и его практически двукратного снижения к марту 2009 г. (57,3)[2], совпавшего с достижением нижней точки Великой рецессии. Между тем, несмотря на ставшее популярным в современной экономической литературе проведение параллелей между когнитивно-институциональными сдвигами и социально-экономическими катаклизмами, большинство исследователей не задается вопросом об экзогенных причинах подобных всплесков оптимизма/пессимизма, чаще всего трактуя столь широкую вариативность поведенческих реакций индивидов как сугубо эндогенный процесс, «врожденную людскую предрасположенность переходить от эйфории к страху и наоборот», мало подверженную воздействию влияния окружающей среды и «не поддающуюся смягчению опытом поколений» [Greenspan, 2007, p. 466].

С нашей точки зрения, «эпидемия иррациональной жизнерадостности», охватившая мир на рубеже XX–XXI столетий и приведшая к надуванию разрушительных финансовых пузырей, прежде всего детерминировалась диффузией широкого спектра новых технологий, суливших «повышение производительности и снижение издержек» [Perez, 2012, p. 5] и тем самым невольно провоцировавших ажиотажный интерес инвесторов. В самом деле, цифровая эйфория 1990-х – начала 2000-х гг. имела под собой реальные основания: на протяжении 1990-х гг. вклад ИКТ-производящих и ИКТ-потребляющих отраслей в производительность экономики США превышал 80%, что стало одним из решающих факторов двукратного ускорения среднегодовых темпов прироста данного показателя – с 1,07% в 1990–1995 гг. до 2,49% в 1995–2000 гг. (рассчитано по: [van Ark et al., 2003]). По-видимому, именно надежда на дальнейшее углубление компьютерной революции спровоцировала настоящий бум IPO американских компаний хайтек-сектора с 200 в 1990 г. до 600 в 1999 г. [Perez, 2009b, p. 7]. В свою очередь, также впавшие в «информационные» иллюзии и поддавшиеся стадному рефлексу инвесторы не обманули ожиданий бизнеса: если в 1980–1989 гг. в первый день торгов после проведения процедуры Initial Public Offering стоимость ценных бумаг всех фирм в среднем поднималась на 7% относительно цены размещения, в 1990–1998 гг. – на 15% [Loughran & Ritter, 2004, p. 5], то в 1998–2000 гг. данный показатель для интернет-компаний в среднем равнялся 96,2% [Ofek & Richardson, 2003, p. 1124]. Развязка наступила в начале марта 2000 г., когда назревший высокотехнологичный пузырь начал стремительно сдуваться, потянув за собой падение индекса NASDAQ с рекордных 5 048,6 пункта 10 марта 2000 г.

---

[1] Имелась в виду ситуация до и после кризиса 2007–2009 гг.

[2] University of Michigan Consumer Sentiment Index. URL: http://research.stlouisfed.org/fred2/data/UMCSENT.txt

до 1 114,1 пункта в октябре 2003 г. [Ireland et al., 2008, p. 71]. Последовавшая за обрушением фондового рынка рецессия внесла окончательную ясность: «доткомы в действительности торгуют „чудодейственным эликсиром“» [Акерлоф и Шиллер Р, 2010, с. 58], а информационные технологии, мыслившиеся апологетам «новой экономики» perpetuum mobile хозяйственного роста, исчерпали свой потенциал развития. Если в период интернет-мании 1995–2000 гг. накачиванием компьютерного капитала достигалось 44,2% прироста производительности труда в несельскохозяйственном частном секторе Соединенных Штатов, то в 2001–2006 гг. – лишь 29,7% (рассчитано по: [Oliner et al., 2007, p. 56]).

Быстро осознав преждевременность ставки на био- и нанотехнологии, отличавшиеся, как и прочие «зарождающиеся» инновации, значительным временным лагом между внедрением и финансовой отдачей, накопившиеся за годы хайтек-бума «горячие деньги» начали переливаться в казавшийся безопасным рынок недвижимости, который за 1996–2006 гг. вырос на 92%, тогда как за предшествующее столетие 1890–1996 гг. в очищенном от инфляции виде – всего на 27% [Richleson & Richleson, 2011, p. XXX]. Формировавшаяся пирамида, привлекая перспективой продолжения ценовой эскалации, вовлекала все большее количество участников, обуреваемых типичными иррациональными страстями – «массовой эйфорией, групповым поведением и жадностью» [Perez, 2009b, p. 4], в результате чего объем взятых американцами ипотечных кредитов возрос с 1 трлн дол. в 2001 г. до 4 трлн дол. в 2004 г. [Fligstein & Goldstein, 2010, p. 41], а жилищный сектор в одиночку обеспечивал 66–75% совокупного роста ВВП США в 2001–2007 гг. [Сапир, 2013, с. 64]. Час расплаты пробил в сентябре 2008 г., когда вследствие 20%-го падения стоимости домовладений жители Соединенных Штатов обеднели почти на 5 трлн дол. [Байер, 2008], а суммарные убытки от «прокола» ипотечного пузыря составили 8,3 трлн дол. [Altman, 2009].

Детонатором перегрева рынка недвижимости, резкое охлаждение которого ввергло мировое хозяйство в глубокий кризис, окончательно уничтоживший веру в имманентно присущую рынку способность автоматического поддержания равновесия, в начале XXI столетия, на наш взгляд, стала «инновационная пауза». Тем самым на практике подтвердилось высказанное выше предположение: периоды буйства «звериных инстинктов» homo sapiens стыкуются с появлением «черного лебедя» новой технологии, вызывающего тяжелые приступы спекулятивной лихорадки, за которым следует чувствительное в материальном отношении «наказание». При этом, на наш взгляд, резкое учащение появления нововведений, «подрывающих экономическую стабильность» (см. подробнее: [Anderson, 2011, p. 32]), можно отнести к решающим факторам разрушения равновесной картины мира. Так, средний срок вовлечения в народнохозяйственный оборот главных «нарушителей» «великой умеренности» – технологических инноваций, составлявший в 1885–1919 гг. 37 лет, в 1945–1964 гг. – 14 лет, к началу 2000-х гг. сократился до трех лет [Глазьев, 2007, с. 10]. Неудивительно, что экономисты шумпетерианского направления еще в 1980-е гг. предре-

кали фиаско попыток основного течения экономикс прогнозировать макроэкономическую ситуацию, отталкиваясь от предпосылок о неизменности технологического уровня и статичности потребительских предпочтений общества (см. подробнее: [Hodgson, 2000]). Впрочем, реалистичность равновесных теоретических конструкций подвергали сомнению отнюдь не только представители «другого канона» обществоведческой мысли. Например, профессор Чикагского университета Х. Зонненштайн убедительно показал, что, несмотря на абстрактно-математическую возможность существования общего рыночного равновесия, «без серьезных дополнительных условий [данная модель] почти ничего не может сказать о реальном мире» [Полтерович, 2010, с. 2]. Необходимость приближения экономической науки к современным реалиям динамично меняющейся хозяйственной среды, желание приоткрыть завесу тайны над загадкой человеческого поведения в условиях риска и конфликтных ситуаций предопределяли повышенный интерес исследователей к теории игр. В качестве краткого пояснения заметим, что данный раздел прикладной математики применительно к гуманитарным дисциплинам изучает закономерности выбора человеком оптимального решения, в ходе которого ему приходится взаимодействовать с другими людьми, преследующими противоположные интересы. Узловые контуры теоретических новаций новой «игровой» парадигмы, с нашей точки зрения, формируют следующие положения.

Во-первых, в методологическом плане, в отличие от абстрагирующейся от институционального фактора неоклассической традиции, теория игр имеет дело с конкретными правилами поведения и помещает экономических агентов в изменчивый окружающий контекст. «У каждого участника торга, – отмечал, описывая основные элементы теории игр лауреат Нобелевской премии по экономике 2005 г. Т. Шеллинг, – существует некоторый диапазон альтернативных результатов, любая точка которого для обеих сторон лучше, чем отсутствие всякого соглашения… здесь нет места покою» [Schelling, 1980, p. 22]. В свою очередь, перемещение акцента с выявления последствий деятельности хозяйствующих субъектов на изучение параметров и условий взаимодействия противоборствующих сторон придавало экономической науке, использующей инструментарий теории игр, практико-ориентированный аспект [Hodgson, 2001, p. 18–19], дающий ученым «возможность применять ее для помощи клиенту, другу или самому себе» [Dacey & Carlson, 1996, p. 161].

Во-вторых, с точки зрения методики исследования наработки концепции «принятия решений» резко расширились с «демилитаризацией» теории игр, ее превращением из математического «оружия», призванного помочь в разрешении сугубо военных коллизий (напомним, что многие из создателей данной концепции были сотрудниками американской RAND Corporation, а Дж. фон Нейман и вовсе задействовал ее аппарат для расчета оптимальной стратегии бомбардировок Хиросимы и Нагасаки – см. подробнее: [Дегтярев, 2009]) и, соответственно, нацеленного на рассмотрение «игр с нулевой суммой», в которых выигрыш одного участника состязания равен проигрышу другого, в «гражданскую» доктрину, оценивающую поведение игроков, не обладающих

всей полнотой информации о стратегических возможностях своих «коллег», а поэтому допускающую ситуацию, в которой выгода одного участника не обязательно тождественна убытку другого. В частности, произошла переориентация фокуса теоретико-игровых построений с анализа тематики антагонистического противостояния на рассмотрение вопросов поиска компромисса, координации взаимных действий и налаживания диалога между конкурирующими субъектами. Данный сдвиг Т. Шеллинг характеризует следующим образом: «Игры с нулевой суммой не добавляют понимания или рекомендаций в отношении стратегии действий в ситуациях, где конфликт сочетается со взаимной зависимостью… Содержащаяся в этих „играх“… взаимная зависимость, будучи частью их логической структуры, требует во избежание общей катастрофы той или иной степени сотрудничества и взаимного приспособления» [Schelling, 1980, p. 83].

В-третьих, в противовес равновесному «сюрреализму» принципиально новая философия хозяйствования востребовала к жизни противоположную концепции игр с нулевой суммой теоретическую платформу, ориентированную на согласование и нахождение баланса между частными и общественными запросами. В принципе, такого рода изыскания не были последним словом экономической мысли – аналогичным вопросом задавались еще древнегреческие мыслители и классики политической экономии. Более того, в середине XX столетия будущий лауреат Нобелевской премии по экономике 1972 г. К. Эрроу, как тогда казалось, поставил точку в давнем споре, доказав, что рыночная экономика, формально максимально полно предоставляющая индивидам возможность реализации своего потенциала и теоретически отвечая критериям Парето-оптимальности, «на деле не дает никаких гарантий, что распределение будет социально справедливым… поскольку откровенно несправедливое распределение, при котором богатство сосредоточено в руках немногих, а уделом остальных является бедность, будет тем не менее оптимальным по Парето, если не существует способа улучшить положение бедных, не ухудшая хоть в какой-то мере положения богатых» [Эрроу, 1993, с. 54, 55]. Сторонники игровых концепций взглянули на эту проблему под другим углом. Так, лауреат Нобелевской премии по экономике 1994 г. Дж. Нэш оспорил правоту либертарианского принципа «Каждый сам за себя» как основы хозяйственного прогресса. По мнению математика, оптимальной представляется стратегия, получившая название «равновесия Нэша», в которой усилия игроков объединяются и они заинтересованы в сохранении существующего порядка вещей: «Адам Смит говорил, что наилучший результат достигается, когда каждый делает то, что лучше для него, но это не совсем верно, потому что наилучший результат будет получен, когда каждый член группы будет делать так, чтобы было лучше и для себя, и для коллектива» (цит. по: [Limon & Sansalvador, 2010, p. 61]). Некоторые исследователи не остановились на достигнутом и, воспользовавшись достижениями биологии, попытались изобразить борьбу индивидуальных и групповых стратегий в качестве дуалистического эволюционного процесса, в ходе которого государство в лице всего общества, с одной стороны,

выдвигает отдельным его представителям определенные правила игры (см., например: [Bomze, 1998; Cowden, 2012; Friedman, 1991b]). С другой стороны, эти правила не выдумываются: модификация государственной стратегии является своеобразным ответом на запросы игроков – участников хозяйственных процессов, в результате чего складывается механизм взаимной адаптации частных и публичных интересов, в ходе работы которого каждая сторона выстраивает отношения друг с другом и «всякий раз нарушает достигнутое временно устойчивое состояние приспособленности» [Миловидов, 2011]. Следовательно, поступательное развитие социума в идеале представляет собой перманентную обоюдовыгодную игру – взаимодействие холистского и атомистического начала, результатом которой является, с одной стороны, выбраковка неэффективных управленческих решений, с другой – отсеивание наименее приспособленных экономических единиц-«мутантов», угрожающих здоровью всей популяции (см., например: [Zhu, 2011]).

Рост популярности «миротворческого» потенциала теории игр, косвенным свидетельством которого можно считать увеличение удельного веса экономистов-«игровиков» среди лауреатов Нобелевской премии по экономике с 6% в 1969–1993 гг. до 37% в 1994–2007 гг.[1], помимо вышеописанного «форсажа» инновационного процесса, с нашей точки зрения, обусловливался нарастанием накала социального антагонизма, принявшего в постиндустриальную эпоху форму неравенства компетенций. Дело в том, что линия разлома, проходившая в условиях индустриальной цивилизации в основном по имущественному признаку, в информационную эру разделила общество на «класс тех, кто обладает информацией, и класс тех, кто ею не обладает» [Pimlott, 2000, p. 87]. При этом если в прежние времена, как справедливо замечал В.Л. Иноземцев, представители широких слоев населения, чисто теоретически поднявшись вверх по иерархической лестнице, могли с бóльшим или меньшим успехом выполнять функции элиты, то отныне большинство вообще лишено шансов «присоединиться к высшей социальной группе, поскольку… способности к интеллектуальной деятельности нередко обусловлены наследственностью человека, развивающейся на протяжении поколений» [Иноземцев, 1999]. Этот тезис созвучен позиции американского политолога Ф. Фукуямы, согласно которой в развитых странах «статус человека в решающей степени определяется образованностью» [Fukuyama, 1992, p. 116], тем более что разница в уровне полученных знаний принимает вполне конкретную материальную форму: в США стартовая заработная плата бакалавра в области науки, технологии, инженерии и математики (STEM jobs) в конце 2000-х гг. держалась в коридоре 40–60 тыс. дол. в год, против 72–95 тыс. дол. остепененного PhD [Хеннер, 2013, с. 53]. Естественно, не приходится говорить о равноправии в обществе, в котором перед значительной его частью закрыты двери социальных лифтов в виде доступа к знаниям. Так, 56%

---

[1] Рассчитано по: Game Theorists Who Have Received the Nobel Prize. URL: http://lcm.csa.iisc.ernet.in/gametheory/nobel.html; List of Nobel Memorial Prize laureates in Economics. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_Memorial_Prize_laureates_in_Economics/

афро- и 54% латиноамериканцев, вместе составляющих практически 1/3 населения Соединенных Штатов в настоящее время, не заканчивают среднюю школу [Loftstrom, 2007, p. 1], в результате чего их еженедельный средний заработок (678 дол.) в 1,7 раза уступает доходам лиц, обладающих дипломом бакалавра (1 137 дол.)[1]. Более того, постепенное оформление контуров отстраивающегося вокруг биотехнологий шестого технологического уклада, формально обещающего едва ли не претворение в жизнь мечтаний о стирании классовых границ, в перспективе, как пишет принстонский биолог Л. Сильвер, грозит углублением социальной поляризации людей на две группы – узкую касту «генно-обогащенных» (gene-enriched) лиц, которым состоятельные родители посредством генной инженерии «предустановили» высокий уровень интеллекта, и широкий слой лишенного возможности прибегнуть к дорогостоящим манипуляциям по изменению генетических характеристик своего потомства «натурального» (naturals) человечества (см. подробнее: [Silver, 1997]). Еще более мрачные картины грядущей сегрегации рисуют авторы книги «Западня глобализации» Г.-П. Мартин и Г. Шуманн, усматривающие в научно-техническом прогрессе причину скорой трансформации глобальной архитектуры в «общество 20/80», в котором технологические инновации позволят обеспечить поступательное развитие мировой экономики силами 1/5 населения, а оставшимся 4/5 уготована незавидная участь социального балласта, снабжаемого высококвалифицированным меньшинством «захватывающими развлечениями и достаточным питанием» [Martin & Schumann, 2004]. Не рассматривая подобные фантазии всерьез, тем не менее приходится признать, что современное всемирное хозяйство в полной мере оправдывает данное ему классиками современной социологии У. Беком и Э. Гидденсом определение – «общество риска» (см. подробнее: [Beck, 1999]). Более детальное рассмотрение особенностей его функционирования в пострецессионный период, а также вызовов, с которыми столкнулась экономическая наука в осмыслении новейших реалий, составит предмет нашего последующего разговора.

Подведем итоги.

1. Превращение интеллекта человека в главный производственный ресурс позволило развеять призрак нависшего над хозяйственными системами развитых стран дамоклова меча стагнации. Подобный разворот базировался на выявленных представителями теории эндогенного экономического роста особых характеристиках знания, отличающегося от традиционных факторов производства неисчерпаемостью и самовозрастанием в ходе использования, что в совокупности открывало возможность создания нового типа экономики, отстраивающегося на платформе культивирования среды для роста человеческого капитала.

2. «Технотронная эра» [Brzezinski, 1970] дезориентировала человека объемом получаемой информации, расстроила его счетные возможности и подавила способность трезвой оценки рис-

---

[1] Earnings and unemployment rates by educational attainment, 2015. URL: http://www.bls.gov/emp/ep_chart_001.htm

ков, что стало одной из главных причин разгула «нездорового оптимизма» хозяйствующих субъектов, зажегшего бикфордов шнур Великой рецессии 2007–2009 гг. Проведенная бихевеористской экономической теорией систематизация поведенческих девиаций, не свойственных главному персонажу неоклассической теории – неошибающемуся homo economicus, позволяет интегрировать нерациональные поступки экономических агентов в математические модели и адаптировать их к анализу кризисных процессов.

3. Снижению популярности статичной парадигмы в немалой степени способствовала активизация появления плохо прогнозируемых «черных лебедей» новых технологий, вызывающих постоянные изменения социально-экономического ландшафта глобального хозяйства и, следовательно, нарушающих рыночное равновесие. Кроме того, практика последних лет подтвердила, что технологические новшества вызывают вспышки инвестиционной горячки, выливающейся в надувание разрушительных спекулятивных пузырей, также не вписывающихся в бескризисную картину мира, рисуемую основным течением современной экономической науки.

4. За фасадом химерических концепций о строительстве бесконфликтного постматериалистического общества, члены которого, преодолев зависимость от физических благ, отныне заняты самосовершенствованием, кроется глубокий раскол социума на класс способных продуцировать главный ресурс информационной эпохи – новые знания и слой тех, «кто по тем или иным причинам не может войти в круг новой интеллектуальной элиты» [Иноземцев, 1999]. Дополнительный градус конфликтогенности цифровому веку придавало изменение характера труда, когда на смену свойственному индустриальному строю взаимодействию индивидуума с искусственной машинной средой пришла прямая коммуникация человека с человеком, что актуализировало применение теоретико-игровых конструкций, дающих возможность всем участникам экономической деятельности найти кратчайший путь к обоюдовыгодному компромиссу и успешной координации своих действий.

5.3. Перспективы развития экономических исследований в условиях третьей промышленной революции[1]

Рубежной вехой в развитии мировой экономики начала XXI столетия стала Великая рецессия 2007–2009 гг., поставившая под сомнение перспективность вылившейся в финансиализацию

[1] Данный параграф базируется на отдельных разделах монографии: [Мальцев, 2014g]. Некоторые части этого раздела вошли в статью: [Мальцев, 2016a], авторский раздел статьи: [Мальцев и Баженов, 2016], а также в принятую к публикации статью: Мальцев А.А. Гетеродоксальная экономическая теория: текущее состояние и пути дальнейшего развития // Экономическая политика. 2017. (в печати).

постиндустриальной модели хозяйствования и освободившая экспертов из плена иллюзий, будто главенством в глобальной экономической иерархии страны ОЭСР обязаны исключительно развитию индустрии услуг. Идеалистические заявления о том, что «роль Америки заключается в снабжении глобального хозяйства знаниями и услугами, а не вещами» [Gertner, 2011], и призывы не беспокоиться об «упадке обрабатывающей промышленности… потому что мы [США и другие развитые государства] стали экономикой идей» [Hassett, 2010], вытеснили совсем другие представления. «Американцы построили свою жизнь на продаже друг другу домов, которые они приобретают на деньги, взятые в долг у Китая, – мрачно иронизирует лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 г. П. Кругман. – Промышленность, некогда главная сила США, находится в окончательном упадке» [Krugman, 2011]. Дж. Стиглиц видит выход из сложившейся в экономике Соединенных Штатов кризисной ситуации в активизации капиталовложений в науку, подготовку технических кадров, модернизацию инфраструктуры, но отнюдь не в «финансовые инновации, которые оказались больше похожи на финансовое оружие массового уничтожения» [Stiglitz, 2012]. Большую озабоченность «финансовой гипертрофией» выражает другой нобелевский лауреат, Р. Солоу: «Сохраняется подозрение, что процессы финансиализации зашли слишком далеко… Финансовая активность абсорбирует такое количество ресурсов (особенно интеллектуальных) и создает такую потенциальную нестабильность, которые не компенсируются потенциальными выгодами от ее развития» [Solow, 2013].

Бесперспективность деиндустриального строя, со всей очевидностью проявившаяся в условиях Великой рецессии, актуализировала задачу восстановления промышленной сердцевины развитых экономик, «разъеденной» за годы строительства сервисного общества 1970–2000-х гг. Именно в воссоздании на качественно новой технологической базе индустриального каркаса и отказе от упрощенческого представления «правильная экономика – беспромышленная» эксперты видят ключ к решению целого спектра социально-экономических недугов, поразивших глобальное хозяйство. Так, профессор Лозаннского университета С. Гэрелли утверждает: «За золотым веком ультраглобализации пришла новая эпоха – реиндустриализация, …в которой способность к локальному производству будет критически важной в определении конкурентоспособности страны»[1]. Европейский комиссар по вопросам промышленности и предпринимательства А. Таяни убежден в том, что «Европа должна реиндустриализироваться в XXI столетии… ей остро необходима третья промышленная революция»[2]. Американские экономисты также распрощались с постиндустриальными грезами, признав «ненормальность и безусловную непрогрессивность потери Соединенными Штатами рабочих мест в обрабатывающей промышленности» [Atkinson et

[1] We've Reached the Era of Reindustrialization. URL: http://realbusiness.co.uk/article/13151-made-in-the-uk-weve-reached-the-era-of-reindustrialization/

[2] EU plant Re-Industrialisierung des Kontinents. URL: http://www.welt.de/wirtschaft/article109646600/EU-plant-Re-Industrialisierung-des-Kontinents.html

al., 2012, p. 16]. Растущую озабоченность «постиндустриальным опустошением» национальной экономики выражают и представители Страны восходящего солнца, усматривающие в «расползании» третичного сектора виновника нахождения японской индустрии на грани коллапса[1]. Принципиально важно, что изменение теоретических представлений экспертного сообщества не является неким конъюнктурным поветрием, а идет бок о бок с конкретными шагами по модернизации индустриального базиса, подкрепляемыми серьезным финансовым обеспечением.

Например, за 2009–2011 гг. администрация Б. Обамы в рамках Закона «О восстановлении экономики и реинвестировании» (American Recovery and Reinvestment Act of 2009) выделила 11,6 млрд дол. на поддержку программ по стимулированию энергосбережения, 6,5 млрд дол. – на развитие альтернативных источников энергии, 4,4 млрд дол. – на модернизацию электросетей на основе технологий Smart Grid [Rifkin, 2011, p. 34] и 70 млн дол. на совершенствование 3D-принтинга[2]. Чтобы оценить возможности, порождаемые данными инновациями, рассмотрим потенциал только двух последних технологий, еще вчера казавшихся вымыслом заблудившегося сознания футурологов. Так, вложенные в «умное» электроснабжение средства с лихвой окупились через три года после начала государственной поддержки начинавшего расти новшества: к марту 2012 г. проекты в области Smart Grid принесли 6,8 млрд дол. добавленной стоимости, 1 млрд дол. налоговых отчислений и 47 тыс. новых рабочих мест [Economic Impact…, 2013, p. 1–3]. Помимо уже имеющихся социально-экономических дивидендов, развитие «умных» сетей позволит Соединенным Штатам фактически свести на нет ежегодный ущерб в размере 100 млрд дол., наносимый экономике страны перебоями в работе энергетической системы, а также элиминировать потери от периодических отключений электричества, каждое из которых обходится государству в 10 млрд дол. [Understanding the Benefits…, 2010, p. 6]. К тому же Smart Grid открывает дорогу материализации идеи великого изобретателя Н. Теслы (1856–1943) о беспроводной передаче энергии: число «воздушных заправочных станций» электромобилей должно возрасти с 1,8 тыс. в 2012 г. до 199 тыс. в 2020 г. [Mearian, 2013]. Не меньшими перспективами обладают и технологии 3D-принтинга, способные произвести настоящую революцию в индустриальном производстве, сделав доступным «миллионам людей производство отдельных готовых изделий в их собственных домах или офисах дешевле, быстрее и с тем же качеством, что и на самом передовом заводе» [Rifkin, 2012]. Опосредованным доказательством растущего доверия к этому прорывному открытию служат данные об увеличении числа компонентов, изготавливаемых посредством трехмерной печати в аэрокосмической отрасли: если в основном истребителе ВВС США F/A-18 на начало 2010-х гг. использовалось лишь 90 таких узлов, то в новом

---

[1] См. подробнее: The Hollow Men. URL: http://www.economist.com/node/21556596/

[2] The U.S. Government Gets It. 2013. URL: http://www.yaxismagazine.com/wp/2013/02/16/the-us-government-gets-it/

ударном самолете пятого поколения F-35 Lightning II – 900[1], а компания Boeing уже «распечатывает» 22 тыс. деталей для своих реактивных воздушных судов, в том числе и для новейшего Boeing 787 Dreamliner[2].

С нашей точки зрения, «повторная индустриализация» Запада не является неким «возвратом к корням», отклонением от магистральных технико-экономических трендов. Напротив, новый технологический уклад, формирующийся вокруг 3D-принтинга, «умных» энергосетей, дальнейшего развития компьютерных технологий рождается в горниле стартовавшей с началом мирового экономического кризиса 2007–2009 гг. третьей промышленной революции. Последняя, по мнению Дж. Рифкина, одного из самых проницательных современных обществоведов, знаменует конец двухсотлетнего этапа развития глобальной экономики, базировавшегося на «иерархичной системе организации экономических и политических сил», и, «как две предшествующие промышленные революции, фундаментально изменит все аспекты нашей жизни и работы» [Rifkin, 2011, p. 5, 36][3].

Безусловно, мы не наделены даром совершенного предвидения и не можем предсказать всю глубину последствий наметившихся социально-экономических сдвигов. Однако, основываясь на опыте прошлого, можно предположить, что столь кардинальные изменения в технико-институциональном ландшафте мирового хозяйства окажут серьезное трансформирующее воздействие на мейнстрим. По-видимому, улавливая витающий в интеллектуальной атмосфере запрос на обновление экономической теории, потребность в котором со всей очевидностью показала Великая рецессия 2007–2009 гг., сегодняшние критики основного русла уже неприкрыто зани-

---

[1] 3D Printing Scales Up. URL: http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21584447-digital-manufacturing-there-lot-hype-around-3d-printing-it-fast

[2] Why 3D Printing Matters for ‘Made in US’. URL: http://www.livescience.com/25255-3d-printing-made-usa.html

[3] В последние годы в обществоведческий лексикон активно вводится термин «четвертая промышленная революция» или «Индустрии 4.0», означающий процесс интенсификации внедрения в хозяйственную жизнь киберфизических систем и «Интернета вещей». Ряд экспертов пишет о четвертой промышленной революции как о продолжении третьей, стартовавшей в 1970-е гг. и отличающейся от нее переходом от «простой» диджитализации производства к «стиранию границ между физической, цифровой и биологической сферами» [Schwab, 2015]. На этом фоне все чаще встречаются утверждения о неприменимости понятия «третья промышленная революция» для характеристики ситуации в современной мировой экономике. На наш взгляд, такие заявления не обоснованы. Во-первых, приверженцы концепции третьей промышленной революции не оганичивают круг прорывных инноваций, которым суждено поменять облик глобального хозяйства XXI века, исключительно всепроникающей цифровизацией всех сторон общественной жизнедеятельности. Сторонники данной парадигмы полагают, что будущее мировой экономики неразрывно связано не только с прогрессом в сфере компьютерных новшеств, но также с аддитивными и биотехнологиями, альтернативной энергетикой и целым рядом других прорывных инноваций. Во-вторых, в рамках концепции третьей промышленной революции не просто фиксируется набор потенциальных технологических изменений, но и рассматривается возможное трансформирующее воздействие технических инноваций на социо-институциональную оболочку общества. В-третьих, в хронологическом плане и в сущностном содержании идея третьей промышленной революции гораздо лучше стыкуется с выделенными Д. Нортом, Д. Уоллисом и Б. Вайнгастом двумя эпохальными переменами в истории человечества – «первой социальной революцией» (неолитической) и «второй экономической революцией» (индустриальной), каждая из которых революционизировала всю систему социальной организации [Норт и др., 2011, с. 39].

маются приготовлениями к его похоронам, именуя магистральное течение цепляющейся за обломки устаревшей концептуальной картины «уходящей натурой», демонстрирующей неадекватность современным реалиям.

Между тем, несмотря на научные регалии и воинственность риторики сторонников подобных взглядов, их претензии не отличаются оригинальностью и в основном созвучны замечанию М. Фридмана, однажды посетовавшего на то, что «экономика все меньше имеет дело с реальными экономическими проблемами и больше превращается в завуалированный подраздел математики» (цит. по: [Lawson, 2003, p. 10]). «…Экономика сбилась с пути, – пишет П. Кругман, – поскольку экономисты… ошибочно приняли математическую красоту за истинность» [Krugman, 2009]. Нобелевскому лауреату вторит главный экономист Всемирного банка П. Ромер, считающий, что главный изъян современной макроэкономики коренится в «общем провале научного направления, опирающегося на математическую теорию»[1]. Еще ярче культ сциентизма, сложившийся в мейнстриме, раскритиковал один из известнейших французских экономистов Т. Пикетти. «Экономическая наука так и не смогла избавиться от детского увлечения математикой… Эта одержимость позволяет экономистам легко создавать видимость научности, игнорируя при этом поиск ответов на гораздо более сложные вопросы, которые ставит перед нами наш мир» [Piketty, 2014, p. 32].

Отчасти признавая обоснованность подобных тезисов, хотя более справедливым нам видится ироничное утверждение знаменитого американского статистика Дж. Бокса (1919–2013): «Все [математические] модели неверны, но некоторые полезны» [Box & Draper, 1987, p. 424], мы полагаем, что корень проблемы кроется не столько в чрезмерном увлечении математическим формализмом, сколько в концептуальной инерции мейнстрима, не успевшего, как это уже неоднократно случалось, адаптироваться к «внезапно» произошедшим хозяйственным изменениям. Другими словами, сегодняшние трудности магистрального течения, на наш взгляд, заключаются не столько в чрезмерном увлечении его представителями изощренным эконометрическим моделированием, сколько в уже неоднократно повторявшемся в истории мысли запаздывании в синхронизации экономического видения с изменениями «духа времени», возникающем на стыках длинных волн конъюнктуры, когда доминирующий основной канон оказывался не способен дать «убедительную интерпретацию реальным явлениям экономической жизни» [Худокормов, 2012, с. 23]. Прежде чем выразить свою позицию относительно потенциальных путей разрешения сложившейся «кризисной» ситуации, с нашей точки зрения, требуется рассмотреть два вопроса, без ответа на которые трудно определить контуры будущей научно-исследовательской программы, приоткрывающей путь к более глубокому пониманию хозяйственной действительности, окружающей общество XXI столетия. Во-первых, необходимо выяснить, насколько распространены

[1] Цит. по: Paul Romer, the mainstream and reality. URL: https://thenextrecession.wordpress.com/2016/09/22/paul-romer-the-mainstream-and-reality/

среди экономистов столь полюбившиеся некоторым видным интеллектуалам рассуждения о так называемом кризисе экономической теории и не являются ли эти сетования лишь выражением плохо маскируемой тревоги небольшой, но влиятельной группы стареющих мыслителей, чувствующих себя на фоне более молодых коллег «братьями Райт, впервые увидевшими Боинг-747»[1]. Во-вторых, важно проверить достоверность громких заявлений о способности представителей гетеродоксального спектра экономической мысли выступить достойной альтернативой подвергаемому всесторонней обструкции мейнстриму и попытаться оценить истинную глубину различий между ортодоксами и гетеродоксами.

Среди многообразия способов внесения ясности в эти дискуссионные вопросы явно недооцененными, на наш взгляд, остаются социологические методы изучения сообществ экономистов. Позитивистские настроения, по-прежнему сильные в мейнстриме, затрудняют восприятие его представителями результатов, полученных отличными от формально-математических методов приемами. Неудивительно, что за экономистами, не скрывающими своей приверженности «играм в цифирь» [Рубинштейн, 2016], закрепилось прочное реноме лиц, «скептически настроенных в отношении результатов [социологических] исследований» [Frey et al., 2010, p. 317]. «…Опросы, – поясняет Д. Коландер, – фиксируют то, что говорят люди, тогда как экономистам требуется знать, что люди считают на самом деле и то, как они действуют» [Colander, 2007, p. 17]. Побочным эффектом такого подхода становится чрезмерное увлечение диагностикой состояния научной сферы посредством лишь библиометрических показателей, что вкупе с чрезмерно усердной «игрой в рейтинги» [Lee, 2006] выливается в «фетишизацию цифр», на самом деле не отражающих всей полноты реальной ситуации в науке [Adler et al., 2009]. Впрочем, данные обстоятельства не останавливают поток публикаций, посвященных изучению сообществ экономистов при помощи разного рода опросов. К тому же в последние годы наметилась тенденция к постепенному проникновению подобных исследований на страницы самых респектабельных экономических журналов (см., например: [Alston et al., 1992; Colander, 2005; Gordon & Dahl, 2013]), указывая тем самым на постепенное признание значимости такого рода проектов даже мейнстримными экономистами.

В таком контексте нам представляется целесообразным установить распространенность представлений о кризисе экономической науки, а также отношение к некоторым теоретико-методологическим предпосылкам и подходам российского академического сообщества экономистов (РАСЭ)[2], значительная часть которого, по мнению авторитетных специалистов, отличается своей неортодоксальностью [Болдырев, 2015, с. 1–2]. Для сбора данной информации в апреле –

---

[1] http://press.princeton.edu/titles/8764.html

[2] Под РАСЭ мы понимаем совокупность отечественных исследователей в области экономики и преподавателей экономических дисциплин высшей школы.

июле 2016 г. мы осуществили анкетирование российских экономистов, работающих в более чем 20 различных научно-образовательных учреждениях, география расположения которых охватывает пространство от Якутска до Ростова-на-Дону. В общей сложности удалось собрать 339 анкет, из которых 106 получены в ходе очного опроса и 233 поступили в электронной форме. После исключения бюллетеней, заполненных студентами, в нашем распоряжении оказался 331 опросный лист. Анкета состояла из 40 закрытых и открытых вопросов, затрагивающих как отношение респондентов к различным проблемам экономико-теоретического характера, так и восприятие перспектив интернационализации отечественного экономического сообщества, а также видение преград для занятия экономическими исследованиями в России[1]. Наибольшую активность в анкетировании проявили представители экономических факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова (51 анкета), СПбГУ (34), а также преподаватели экономических дисциплин ТюмГУ (27), РЭУ им. Г.В. Плеханова (19), ЯрГУ им. П.Г. Демидова (19), НИУ ВШЭ (включая Санкт Петербургский филиал) (16), Финансового университета при правительстве РФ (15), УрГЭУ (13), Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (11), Байкальского государственного университета (11), ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (10) и ВолГУ (10 анкет). Среди сотрудников Российской академии наук самое большое количество опросных листов получено от специалистов ИЭ УрО РАН, ИЭ РАН и ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова – 15; 13 и 11 соответственно, тогда как из других институтов РАН поступило 5, из не перечисленных выше вузов – 49, из прочих организаций – 2 анкеты.

Подведение итогов анкетирования хочется начать с главного. Результаты нашего исследования показали, что значительную часть представителей РАСЭ не сильно пугает реноме «СПИД/ВИЧ-диссидентов, креационистов или стойких приверженцев точки зрения, будто континенты вообще не движутся» [Cochrane, 2011, p. 39], сложившееся вокруг сторонников мнения о фиаско экономикс. 40,5% российских экономистов согласны с версией о кризисном положении дел в своей дисциплине при 28,4% придерживающихся обратной точки зрения (рисунок 4).

Впрочем, отечественные ученые не одиноки в своей скептической оценке текущего состояния экономической теории. Скажем, проведенный в 2010 г. опрос «академических экономистов, специализирующихся на монетарной экономике или макроэкономике» из 8 стран ОЭСР, показал, что 56% из них согласны с утверждением, что «финансовый кризис – это также кризис экономической теории» [Carré et al., 2015, p. 3, 17]. Одновременно не нашла достаточного подтверждения гипотеза о том, что сторонники кризиса экономической теории сосредоточены преимущественно в среде пожилых экономистов, будто бы оказавшихся неспособными воспринять актуальные исследовательские практики и стандарты.

[1] С анкетой можно ознакомиться по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/49ho/goy7146YS.

Рисунок 4 – Отношение представителей РАСЭ к проблеме «кризиса» экономической теории

Средний возраст участников анкетирования, утвердительно ответивших на вопрос о наличии кризисных моментов в развитии экономического знания, составил 48,9 года против 44,7 года для давших отрицательный ответ.

Как видим, неудовлетворенность текущим положением дел в экономической науке все больше выливается в своеобразный протест, выражаемый значительным количеством специалистов разных возрастных групп и академической принадлежности, разочаровавшихся в современном экономиксе. Неудивительно, что в последние годы в поисках альтернативы мейнстриму, растерявшему свой авторитет в глазах многих экспертов, экономисты все чаще обращают внимание на течения экономической мысли, обобщенно именуемые гетеродоксией. Первые упоминания этого термина датируются 1930–1940-гг. Однако в экспертной среде до сих пор не сложилось сколько-нибудь четкого понимания, чем занимаются экономисты-гетеродоксы. Обычно к гетеродоксам относят тех ученых, кто отрицает использование математических моделей и чьи методологические установки не отвечают трем основным постулатам неоклассической ортодоксии – «методологическому индивидуализму, методологическому инструментализму, методологической равновесности» [Mearman, 2009].

Впрочем, на этом отличия гетеродоксальной экономической теории (ГЭТ) от ортодоксальной не заканчиваются. Некоторые авторы, называя набор гетеродоксальных школ экономической мысли «плюралистической интегративной общностью» [Lee, 2008], утверждают, что представители мейнстрима (то есть сторонники неоклассики) и различных течений гетеродоксии (несмотря на ряд внутренних отличий) расходятся в воззрениях на проблему отношения к истории, поразному интерпретируют причины хозяйственных изменений и иначе моделируют человеческое поведение в хозяйственной жизни. В обобщенном виде ключевые расхождения по основным тео-

ретико-методологическим вопросам между магистральным руслом и альтернативными ему экономическими воззрениями представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Главные линии разлома между мейнстримом и гетеродоксальными школами экономической науки

Теоретическая проблема	Точка зрения «основного канона»	Позиция гетеродоксии
Модель человека	Экономические агенты однотипны, рациональны, подчиняют свою жизнь максимизации личной полезности без оглядки на окружающие условия	Экономические агенты различаются по своим мотивационным установкам, их поведение детерминируется в основном не рациональными соображениями, а традициями и культурой, принятыми в социуме, вынуждая выполнять заранее отведенную обществом роль
Оценка развития экономики	Экономическая система находится в равновесии и оснащена механизмом автоматического возвращения в состояние покоя после экзогенных колебаний	Экономическая система лишена статической неподвижности, это эволюционирующий организм, подверженный постоянным изменениям
Отношение к истории	История не имеет значения, поскольку предметом изучения выступают отношения между экономическими субъектами, возникающие в любой момент времени, если отсутствуют препятствия для работы «невидимой руки» рынка	История критически важна для научных изысканий, поскольку любой объект экономического анализа должен рассматриваться в своей эволюции и помещаться в контекст времени, вызвавшего его появление
Драйвер социально-экономических перемен	Источником экономических изменений являются внешние шоки, по завершении действия которых экономика снова входит в равновесный режим функционирования	Источником социально-экономического развития выступают противоречия, появляющиеся при взаимодействии экономических агентов между собой и хозяйственной средой, а также непрерывный процесс генерирования новшеств
Методология исследований	Основной метод – математический	Невозможно выделить основной метод, что подразумевает плюрализм способов познания окружающей реальности

Информация, представленная в таблице 16, на первый взгляд полностью подтверждает версию о том, что гетеродоксия – другая экономическая Вселенная, а все составляющие мозаики под названием «неортодоксальная экономическая теория» находятся в непреодолимом противоречии с мейнстримом.

Вместе с тем в последнее время приобретает популярность точка зрения, согласно которой границы основного русла оказались гораздо подвижнее, чем раньше, а само магистральное течение стало толерантнее к «оппозиции» и охотно заимствует отдельные подходы, некогда считавшиеся «ересью». По мнению целого ряда авторитетных исследователей (см., например: [Colander

et al., 2004; Davis, 2006; Santos, 2011]), интеграция в современный мейнстрим таких (ранее считавшихся не мейнстримными) концепций, как поведенческая экономическая теория, экспериментальная экономика, эволюционная теория игр, теория экономической сложности и др., привела к «смерти» [Colander, 2000] неоклассического экономикса, являвшегося на протяжении многих десятилетий главным объектом критики гетеродоксов[1]. Один из крупнейших современных знатоков методологии экономической науки и ИЭУ Д. Коландер и вовсе утверждает, что представители сегодняшнего магистрального течения ушли от гротескного образа адептов «святой троицы жадности, равновесия и рациональности» и используют более реалистичные предпосылки «целенаправленного поведения, устойчивости и просвещенного эгоизма» [Colander, 2007, p. 15]. В самом деле, если абстрагироваться от свойственного некоторым гетеродоксам догматизма, предписывающего видеть в любой работе мейнстримного ученого апологетику «своекорыстия, жадности и капитализма» (см. подробнее: [Snowdon, 2015]), и обратиться, скажем, к трудам Дж. Акерлофа, А. Сена, Т. Шеллинга, позднего Д. Норта, то мнение К. Гудвина, предлагающего отказаться от деления экономической теории на ортодоксальное и гетеродоксальное русло, станет крайне злободневным [Goodwin, 2000]. Неудивительно, что наиболее проницательные специалисты в недавних работах начали говорить о том, что мейнстрим, атакуемый, в том числе, учеными нобелевского калибра (см., например: [Romer, 2015]), является терпящим кризис «соломенным человеком», на смену которому идет гораздо более эклектичная экономическая традиция (см. подробнее, например: [Colander et al., 2007; Colander, 2010; Thornton, 2016]). «Доминирующая неоклассика, – обобщает подобные взгляды профессор Университета Пьюджет-Саунд У. Хендс, – заменяется новым, более плюралистичным мейнстримом, открытым к психологии, менее индивидуалистичным, берущим в расчет разные типы path-dependence и задействующим гораздо более широкий класс моделей и аналитических инструментов» [Hands, 2015, p. 70].

Эти изменения в развитии экономической науки наводят на мысль о том, что гетеродоксы должны активно поддерживать утрату основным руслом былой теоретико-методологической «монолитности», потенциально открывающую дорогу в обновленный мейнстрим идеям, вызревающим в лоне их научных традиций. Обычно к наиболее крупным гетеродоксальным «инкубаторам» [Colander, 2010] относят современное прочтение «старого» институционализма, посткейнсианство, новую австрийскую школу и радикальную политэкономию. Главные идеи, отличающие данные экономико-теоретические направления от неоклассики, мы свели в таблице 17.

Даже беглый взгляд на данную таблицу не оставляет сомнений в том, что гетеродоксальный фланг являет собой настоящий кладезь ценных экономических идей. Тем досаднее на этом

---

[1] Многие российские специалисты также неоднократно указывали на размытость границ современного основного русла экономической науки и некорректность отождествления всего мейнстрима с неоклассикой. См. подробнее: [Балацкий, 2012; Либман, 2007; Некипелов и др., 2011; Попов, 2015].

фоне выглядит, как замечает Д. Коландер, зацикленность значительной части современных гетеродоксов на ожесточенной критике мейнстрима, мешающая им сконцентрировать исследовательские усилия на развитии собственных концепций. Еще обиднее, что, преуспев в создании красочных карикатур на основное русло, многие специалисты из гетердоксального лагеря не заметили постепенного дрейфа современного мейнстрима в сторону плюрализма и реалистичности, в результате чего их яркие обличения магистрального течения все больше напоминают сражения с ветряными мельницами. На примере РАСЭ мы решили установить, насколько оправданны данные утверждения. Наш анализ зафиксировал несколько особенностей восприятия этих явлений российскими экономистами.

Таблица 17 – Теоретико-методологические основы ключевых течений гетеродоксальной экономической мысли[1]

Направление	Представители	Теоретические основы
Обновленный «старый» институционализм	Д. Бромли, Э. Мэйхью, Дж. Нидзан, У. Самуэлс, Р. Тилман, М. Тул, Р. Франк, Р. Хейлбронер, Дж. Ходжсон и др.	1. Доминирование принципов методологического холизма, что выливается в приоритет анализа социально-экономической системы в целом, а не поведения населяющих ее индивидов. 2. Изучение не столько количественных, сколько качественных результатов, причин, движущих сил и форм хозяйственных изменений. 3. Ориентация анализа на исследование не застывших во времени отдельных экономических ситуаций, а проблематики долгосрочной эволюции общественных структур. 4. Рассмотрение индивидуального поведения и межчеловеческих взаимодействий как производной воздействия официальных правил и неформальных социальных норм. 5. Осмысление процессов социально-экономических изменений при помощи дескриптивных методов, базирующихся на широком задействовании эмпирического материала и восприятии статистико-математического инструментария как сугубо вспомогательного способа познания окружающей среды
Посткейнсианство	С. Вайнтрауб, В. Годли, Ш. Доу, П. Дэвидсон, Я. Крегель, Х.Д. Курц, М. Лавуа, Ф. Ли, Х. Мински, Л. Пазинетти, Т. Пэлли, А. Ронкалья, Дж.Б. Россер, Н. Сальвадори, Дж. Харкорт и др.	1. Постулирование неэргодичности мира, что делает невозможным рассмотрение экономики как статического объекта. 2. Отрицание придетерминированности будущего ввиду того, что экономические агенты лишены возможности предсказывать грядущие события. 3. Увязка хозяйственных сдвигов с неопределенностью ожиданий участников финансового рынка, домохозяйств и фирм

[1] Подробнее об особенностях развития институционализма см., например: [Rutherford, 2001]; посткейнсианской экономической теории – [Розмаинский, 2010; Дзарасов, 2008; Dzarasov, 2015]; новой австрийской школы – [Баженов, 2015]; радикальной политэкономии – [Дзарасов, 2013; Stefanović & Mitrović, 2014; Weisskopf, 2014].

Продолжение таблицы 17

Направ-ление	Представители	Теоретические основы
Новая австрийская школа	П. Беттке, И. Кирцнер, П. Лисон, Х. Уэрта де Сото, С. Хорвиц, Г.-Г. Хоппе, Й.Г. Хюльсман и др.	1. Провозглашение основной целью экономической науки выявления непреднамеренных последствий целенаправленных действий индивидов, не поддающихся формализации посредством количественных методов при доминировании скептического отношения к сциентизму – перенесению в экономику принципов естественных и точных наук. 2. Анализ хозяйственных процессов в их изменчивости и реальном историческом времени, что блокирует возможность их раскрытия в рамках статической парадигмы. 3. Изображение неопределенности как категории, имманентно присущей человеческой деятельности и присутствующей в каждом действии индивида. 4. Убеждение в рассеянном характере знания, носящего субъективный характер и объективизирующегося в ходе установления цены между контрагентами на недеформированных государством свободных рынках. 5. Восприятие процесса социально-экономического развития в форме взаимодействия и эволюции «спонтанных порядков», самопроизвольно сформировавшихся и не поддающихся управлению из единого координационного центра общественных институтов, моральных практик и социальных норм
Радикальная политэкономия	С. Амин, Ч. Бароне, С. Боулс, И. Валлерстайн, Р. Волф, С. Резник, П. Суизи, М. Уоринг, Н. Фолбер, А.Г. Франк, Д. Харви и др.	1. Критика неолиберальной глобализации, виновной, с точки зрения «радикалов», в социальном расслоении, загрязнении окружающей среды и торможении научно-технического прогресса. 2. Обвинение капитализма в целенаправленном насаждении отсталости на периферии мировой экономики и превращении некогда развитых обществ в сырьевые придатки центров глобального хозяйства. 3. Создание концепции «империалистической ренты» и теории «накопления путем отъема», используемых для описания процессов финансиализации, а также обоснования усиления позиций ТНК в международном разделении труда. 4. Привлечение внимания к проблематике расового неравенства и попытки преодолеть андроцентрическую традицию в современном гуманитарном знании

Во-первых, как оказалось, мы выбрали правильный объект изучения. По-видимому, российское сообщество экономистов является одним из наиболее гетеродоксальных в мире. Лишь 25,7% респондентов ощущают себя частью мейнстрима экономической науки, а удельный вес специалистов, однозначно не идентифицирующих себя с главным течением, оказался в 1,5 раза больше – 39,6%. Для сравнения: в США удельный вес исследователей, работающих в гетеродоксальной традиции, не достигает и 7% от суммарного числа всех экономистов (рассчитано по: [Lee, 2009, p. 205; Occupational Projections and Training Data, 2008, p. 78]). При этом 34,7% членов

РАСЭ не принадлежат ни к мейнстримному, ни к гетеродоксальному направлению экономической теории (рисунок 5).

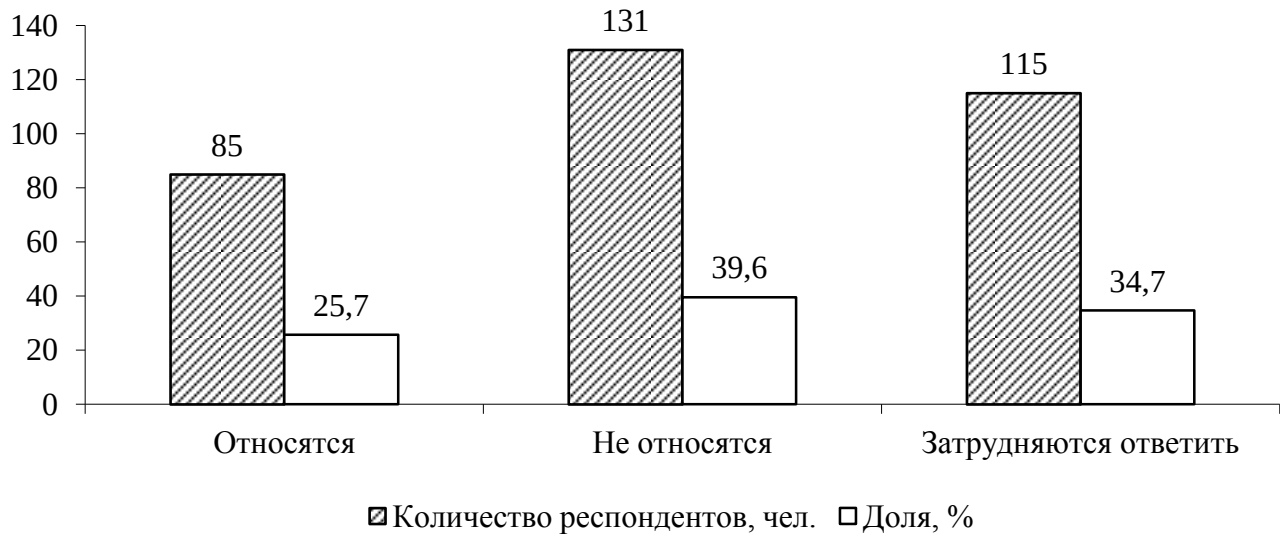


Рисунок 5 – Принадлежность представителей РАСЭ к мейнстриму экономической науки

Во-вторых, протестированная на российском материале гипотеза о том, что водораздел между мейнстримом и гетеродоксальными течениями экономической мысли постепенно сглаживается, находит свое подтверждение. Однако в полном соответствии с идеями Д. Коландера более открытыми к новым концепциям, казалось бы, размывающим былое единство мейнстрима, оказались представители основного русла. В частности, выяснилось, что в России по целому ряду вопросов сторонники магистрального течения зачастую более положительно относятся к тенденциям, именуемыми некоторыми специалистами антидотом против засилья неоклассической ортодоксии, чем якобы враждебные неоклассике гетеродоксы. Так, если процесс гетерогенизации ортодоксальной экономической теории, под которым в литературе обычно понимают включение в мейнстрим достижений экспериментальной, поведенческой и институциональной экономики [Автономов, 2006, с. 206–207], в той или иной степени поддерживает 42,3% респондентов, причисляющих себя к главному руслу, то среди специалистов, не видящих себя частью основного канона, таких насчитывалось лишь 37,4%. В этом контексте не вызывает удивления то, что представители магистрального течения активнее ученых из гетеродоксального лагеря приветствуют подходы, еще недавно считавшиеся несовместимыми с методологическими устоями мейнстримного экономикса: вытеснение теории общего равновесия теорией игр, «экспериментальный поворот», бихевиоризацию экономической науки и пр. (таблица 18).

Таблица 18 – Отношение российских мейнстримных (М) и гетеродоксальных (Г) экономистов к некоторым тенденциям и подходам в развитии экономической науки

Тенденция / подход	Направление	Отношение									
		Положительное		Скорее положительное		Скорее отрицательное		Отрицательное		Нейтральное	
		%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.	%	чел.
Вторжение экономистов в смежные отрасли знания	М	57,6	49	32,9	28	2,4	2	–	–	7,1	6
	Г	40,5	53	24,4	32	3,8	5	8,4	11	22,9	30
Гетерогенизация ортодоксальной экономической теории	М	16,4	14	25,9	22	8,2	7	2,4	2	47,1	40
	Г	13,7	18	23,7	31	3,8	5	6,1	8	52,7	69
Бихевиоризация экономической науки	М	35,3	30	32,9	28	2,4	2	1,2	1	28,2	24
	Г	18,3	24	22,1	29	10,7	14	5,3	7	43,6	57
Синтез неоклассики и институционализма	М	42,3	36	34,1	29	2,4	2	1,2	1	20,0	17
	Г	14,5	19	27,5	36	9,2	12	3,0	4	45,8	60
«Экспериментальный поворот» в экономической теории	М	28,2	24	25,9	22	7,1	6	1,2	1	37,6	32
	Г	16,0	21	26,0	34	10,7	14	6,1	8	41,2	54
Вытеснение теории общего равновесия теорией игр	М	15,3	13	23,5	20	12,9	11	2,4	2	45,9	39
	Г	7,7	10	18,3	24	12,2	16	5,4	7	56,4	74
Гипотеза рациональных ожиданий	М	24,7	21	41,2	35	4,7	4	1,2	1	28,2	24
	Г	13,7	18	23,7	31	13,7	18	7,6	10	41,3	54
Гипотеза эффективного рынка	М	21,2	18	32,9	28	10,6	9	1,2	1	34,1	29
	Г	9,2	12	25,2	33	16,8	22	8,4	11	40,4	53
Представление человека как рационального и эгоистичного максимизатора	М	9,4	8	28,2	24	24,7	21	4,8	4	32,9	28
	Г	4,6	6	19,8	26	19,1	25	18,3	24	38,2	50
Равновесный подход к изучению экономических процессов	М	24,7	21	32,9	28	8,2	7	2,4	2	31,8	27
	Г	9,9	13	25,2	33	16,8	22	6,9	9	41,2	54
Теория общественного выбора	М	23,5	20	47,1	40	1,2	1	–	–	28,2	24
	Г	16,0	21	35,1	46	6,9	9	3,1	4	38,9	51
Теория перспектив	М	14,1	12	28,2	24	1,2	1	1,2	1	55,3	47
	Г	5,3	7	29,0	38	5,3	7	3,1	4	57,3	75
Теория рационального выбора (ТРВ)	М	22,4	19	32,9	28	8,2	7	–	–	36,5	31
	Г	11,4	15	27,5	36	14,5	19	3,8	5	42,8	56
Теория реальных деловых циклов	М	25,9	22	36,5	31	5,9	5	4,6	4	27,1	23
	Г	15,3	20	36,6	48	8,4	11	3,1	4	36,6	48
Теория экономической сложности	М	10,6	9	28,2	24	7,0	6	3,5	3	50,7	43
	Г	14,5	19	26,7	35	6,1	8	2,3	3	50,4	66
Трудовая теория стоимости	М	20,0	17	24,7	21	18,8	16	5,9	5	30,6	26
	Г	25,2	33	29,0	38	5,3	7	5,3	7	35,2	46

В-третьих, проведенный опрос во многом указывает на обоснованность часто встречающегося в литературе упрека: «Те, кто критикует мейнстрим, просто не знают то, о чем они говорят, и не читают последних исследований» [Lavoie, 2015, p. 13]. Российские гетеродоксы в лучшем случае индифферентно относятся к таким важным «противоядиям против формализма» [Автономов, 2006, с. 207], как теория перспектив и теория экономической сложности (см. подробнее: [Артур, 2015]). По-видимому, именно поверхностными знаниями концептуальных ос-

нов мейнстрима во многом объясняется неспособность представителей «альтернативного канона» выработать сколько-нибудь последовательную позицию в отношении ключевых предпосылок «главного течения». В противном случае затруднительно, к примеру, объяснить, почему к теории общественного выбора (ТОВ), являющейся «лишь частным случаем теории рационального выбора» [Нуреев, 2005, с. 33], так или иначе положительно относится 51,1% гетеродоксов, тогда как к самой ТРВ – только 38,9%, а одну из важнейших предпосылок ТОВ – концепцию «экономического человека» [Wallis & Dollery, 1999, p. 36] – и вовсе одобрительно оценивает менее 1/4 приверженцев «неканонических» течений экономической мысли. Впрочем, такого рода парадоксы характерны не только для отечественной гетеродоксии. Как показал анализ Э. Миэрманом анкет, распространенных среди членов Ассоциации гетеродоксальных экономистов, зарубежные ученые, занимающиеся исследованиями под гетеродоксальными знаменами, также не выработали внятной позиции по отношению к мейнстриму [Mearman, 2009]. Неудивительно, что специалисты, по-настоящему переживающие за судьбу гетеродоксальной экономической теории, связывают ее по-прежнему достаточно невысокий статус с нежеланием гетеродоксов вникать в тонкости развития основного русла и их неготовностью адаптироваться к современным исследовательским стандартам (см., например: [Colander, 2009, p. 37]).

К сожалению, приходится признать: немалая часть гетеродоксального сообщества экономистов действительно представляет себя в роли защитников осажденной мейнстримными полчищами крепости, способной выстоять в этой борьбе только благодаря концептуальному пуризму. Однако, как верно замечает известный российский методолог И.А. Болдырев, подобный консерватизм очень часто используется в качестве маски, призванной прикрыть «нежелание и боязнь меняться, равно как и стремление законсервировать отсталость – даже не по отношению к другим, а по отношению к самим себе, к собственным возможностям» [Болдырев и Дуденкова, 2015]. Такая оборонительная психология формирует привычку делить экономическую науку на «хорошую» гетеродоксию и «плохой» мейнстрим, отпугивающую специалистов, потенциально способных примкнуть к гетеродоксальному лагерю и «отталкивающую потенциальных союзников из эклектичной ортодоксии» [Thornton, 2016, p. 25].

Но означает ли вышесказанное, что гетеродоксы обречены на вечное прозябание на периферии экономического дискурса, не способны обогатить своими идеями мейнстрим и будут вечно носить ярлык «интеллектуально нездоровых дилетантов» [Lee, 2004, p. 750]. На наш взгляд, ответ на этот вопрос во многом зависит от того, как скоро гетеродоксальные экономисты запустят программу преобразований в своей предметной области. По нашему мнению, пока просматривается два основных варианта дальнейшего развития ГЭТ. Развернутый анализ данных сценариев заслуживает отдельного исследования, поэтому мы ограничимся общей постановкой проблемы. В обобщенном виде их можно представить как, с одной стороны, перенима-

ние ГЭТ мейнстримных теоретико-методологических лекал, а с другой – «побег» ГЭТ из лона экономической теории.

Первый сценарий, который, на наш взгляд, можно назвать в честь, пожалуй, главных его протагонистов «стратегией Коландера – Хольта – Россера» (далее – КХР), заключается в превращении гетеродоксов из «внешних» во «внутренних» критиков мейнстрима (см., например: [Colander et al., 2007; Colander et al., 2010]). Такая смена исследовательского амплуа потребует от представителей немейнстримной экономической мысли прежде всего овладения языком основного русла – искусством математического моделирования и обучение новым для них техникам обработки эмпирических данных. «Для того чтобы войти в мейнстримный разговор, – поясняет данную идею Д. Коландер, – модели и эконометрический инструментарий должны убедить мейнстримное сообщество в том, что [гетеродоксальному] автору есть что добавить» [Colander, 2010, p. 41].

Иными словами, речь идет о превращении всей (или большей части) гетеродоксии в «аналитическую политическую экономию» – поднаправление ГЭТ, объединяющее исследователей, «придерживающихся альтернативных неоклассике взглядов и использующих формальный, математический анализ» [Setterfield, 2003, p. 4]. При первом приближении в пользу выбора именно такой стратегии говорят многочисленные аргументы. Во-первых, как говорилось выше, растущая эклектичность современного основного русла теоретически повышает шансы для нешаблонных идей – разумеется, облеченных в математическую форму – быть услышанными мейнстримом. Во-вторых, математическая формализация ГЭТ способна придать ей бóльшую респектабельность и избавить от имиджа пристанища аутсайдеров, тем самым привлечь в гетеродоксию специалистов, ранее не замеченных в симпатиях к гетеродоксальным концепциям и убежденных в том, что правильность «рассуждений зависит лишь от *формы*, а не *сути*» [Oaksford et al., 2010, p. 62]. В-третьих, сменившие вербальный «костюм» на математическую «экипировку» гетеродоксы превращаются в своеобразных данайцев, использующих потерю бдительности мейнстрима в целях проникновения в основное русло для разгрома их главного «недруга» – неоклассического экономикса на его же поле.

Несмотря на целый ряд потенциальных преимуществ, гетеродоксальное сообщество в своем большинстве отнеслось к стратегии Коландера – Хольта – Россера без воодушевления. В частности, представителей ГЭТ насторожил настойчивый совет данных исследователей «быть в первую очередь экономистами и только во вторую – гетеродоксами» [Colander et al., 2007, p. 303]. Дело в том, что в стремлении мимикрировать под мейнстрим оппоненты Коландера и его соавторов усмотрели не только риск потери всего своеобразия гетеродоксальной экономической теории, но и непонимание КХР сущности ГЭТ. «Гетеродоксальная экономическая теория, – пишет профессор Университета штата Миссури в Канзас-Сити Ф. Ли, – не определяет себя в терминах оп-

позиции к мейнстриму… а видит себя, скорее, позитивной *альтернативой* ему» [Lee, 2013, p. 106]. Из этого заключения вытекает следующий совет: гетеродоксам лучше не отвлекаться на примерку чужих теоретико-методологических «нарядов», а следует развивать свою исследовательскую линию.

Логика создания «альтернативной» экономической теории посредством обособления ГЭТ от мейнстрима питается также сохраняющейся радикальной «антигетеродоксальностью» отдельных представителей основного русла, воспринимающих «исследования гетеродоксальных экономистов как плохой экономикс или что угодно, но только не экономику» [Lavoie, 2015, p. 26]. Не приходится удивляться тому, что идея выделения гетеродоксии в отдельное от основного русла в административном и институциональном плане направление социально-гуманитарного знания пользуется немалой популярностью в рядах гетеродоксов и одновременно выступает центральным элементом второй стратегии развития ГЭТ, условно называемой нами «стратегией сепаратизации». Профессор Оттавского университета М. Лавуа описывает ее суть следующим образом: «Единственным способом сохранить многообразие теоретических парадигм, эмпирических инструментов и единство с другими социальными дисциплинами является… перенос департаментов гетеродоксальной экономической теории на факультеты свободных искусств, социальных наук или в школы общественных и международных отношений» [Lavoie, 2015, p. 22, 26].

Судя по рассмотренному нами в разделе 1.3 опыту отделения ИЭУ от экономической теории, есть веские основания полагать, что «развод» ГЭТ с мейнстримом может оказаться весьма продуктивным для гетеродоксии. Вполне вероятно, что передислоцировавшись в гуманитарную сферу, гетеродоксы вместо растраты сил на инвективы в адрес магистрального течения и тщетные доказательства своей принадлежности к цеху «настоящих» экономистов, в сотрудничестве с другими гуманитариями смогут сосредоточиться на создании новых концепций, проливающих свет на процессы, происходящие в меняющемся мире XXI столетия. Однако желание гетеродоксального экономического сообщества покинуть негостеприимные для них факультеты экономики, как ни странно, наталкивается на преграды, чинимые мейнстримом. Скажем, лауреат Нобелевской премии по экономике Ж. Тироль в своем письме министру высшего образования и научных исследований Франции Ж. Фиоразо, написанном в конце 2014 г., расценил стремление французских экономистов-гетеродоксов создать в рамках Национального совета университетов новую секцию «Институты, экономика, территория и общество» как «катастрофу для сегодняшней экономической науки и будущего исследований в области экономики в нашей стране» и недвусмысленно намекнул министру на недопустимость «раскола сообще-

ства экономистов Франции путем создания убежища для группы заблуждающихся»[1]. Несложно догадаться, что академический и административный вес профессора Тироля склонил чашу административных весов не в пользу гетеродоксии: «Правительство решило сделать шаг назад – секция до сих пор не создана» [Tinel, 2015].

Из этой ситуации можно вынести несколько уроков. Глубокая озабоченность отдельных влиятельных деятелей из мейнстримной обоймы намерениями гетеродоксов «мигрировать» в другую предметную область косвенно свидетельствует о том, что ГЭТ все-таки является частью экономикса. Иначе абсолютно не понятно, почему планы «обскурантистов» (именно так Ж. Тироль именует приверженцев гетеродоксальных течений экономической мысли)[2] отмежеваться от основного русла вызвали столь гневную отповедь. По-видимому, какая-то часть магистрального течения все-таки видит в гетеродоксах опасных конкурентов и поэтому предпочитает не выпускать их из концептуального заточения в экономико-теоретической «клетке», где они вынуждены расходовать силы не на создание и развитие альтернативных концепций, а на громкую, но не опасную для основного русла критику. Схожую гипотезу, объясняющую тревожную реакцию некоторых корифеев мейнстрима на известия из гетеродоксального лагеря высказывают многие специалисты. Так, профессор Бакнеллского университета М. Верненго обращает особое внимание на то, что в письме «влиятельного экономиста Тироля» читаются страх и желание запретить «здравые идеи», исходящие от гетеродоксальных экономистов [Vernengo, 2015]. Разумеется, в таких враждебных условиях надеяться на быстрый и безболезненный «переезд» гетеродоксов в новую дисциплинарную область не приходится.

Подытоживая краткое рассмотрение возможных сценариев дальнейшего развития ГЭТ, следует признать, что в силу целого ряда причин как сугубо теоретического, так и институционального толка, в обозримой перспективе гетеродоксы едва ли смогут создать убедительную исследовательскую антитезу «основному канону». Тем не менее потребность избавления сообщества экономистов от состояния неудовлетворенности положением дел в экономической науке актуализирует задачу поиска концептуального «лекарства», способного развеять атмосферу раздраженности, сложившуюся в последние годы в экономиксе. При этом, на наш взгляд, проблема кроется не в дефиците новых идей и подходов, на что часто обращают внимание современные последователи Т. Карлейля, видящие экономику в образе мрачной квазинауки, а в по-прежнему сильных позициях «старой неоклассической гвардии» [Keen, 2009], не спешащих уступать бразды правления мейнстримом в руки «не-неоклассических» [Davis, 2006, p. 5] экономистов, использующих «теорию игр, экспериментальную, поведенческую экономику, нейроэкономику и нели-

---

[1] The Translation of a Letter of Jean Tirole to Madam Fioraso, State Secretary in Charge of Higher Education and Research in France. URL: http://assoeconomiepolitique.org/wp-content/uploads/TIROLE_Letter.pdf

[2] Ibid.

нейную теорию сложности» [Lavoie, 2014, p. 5]. Нет сомнений в том, что время играет в пользу «не-неоклассиков». Однако процесс «денеоклассизации» идет не так быстро, как хотелось бы многим экономистам. Скажем, мейнстримная макроэкономика по-прежнему строится на многократно раскритикованной модели рационального репрезентативного агента [Hoover, 2010, p. 330]. По большому счету, несмотря на некоторое «разбавление» учебного плана экономических факультетов «не-неоклассическими» дисциплинами, неоклассическая теория все еще образует сердцевину экономического преподавания [Stilwell, 2016, p. 17].

Раздосадованность медлительностью процесса завершения эры неоклассической гегемонии канализируется в вал публикаций, посвященных «банкротству» неоклассики и обличению наиболее заметных ее пороков, в частности гиперматематизации. Вместе с тем причины промедления с окончательным выходом экономической науки из неоклассического русла в постнеоклассическую колею обычно сводятся к жалобам на противодействие, организованное некоторыми ограниченно мыслящими неоклассиками, не желающими освобождать экономико-теоретический пьедестал конкурентам. Вышеописанная история с выпадом Ж. Тироля против гетеродоксов, казалось бы, подтверждает справедливость подобных гипотез.

Надежды некоторых исследователей на то, что Великая рецессия 2007–2009 гг. сможет оказать мощный санирующий эффект на экономическую науку и окончательно ослабить позиции неоклассической ортодоксии не оправдались (см. подробнее: [Colander & Rothschild, 2010]). Складывается впечатление, что в стане «не-неоклассических» экономистов царит уныние. Некоторые исследователи начали даже писать о «реванше неоклассики» [Bergh, 2015] и оживлении неоклассических «зомби-идей», казалось бы, навечно погребенных под руинами кризиса конца 2000-х гг. [Quiggin, 2012].

Как бы то ни было, на наш взгляд, «реваншисты» в долгосрочной перспективе не имеют шансов на успех, а опасения в отношении воскрешения идей-«мертвецов» носят утрированный характер. Сторонникам курса на продолжение плюрализации основного русла и придания ему большей реалистичности не следует драматизировать ситуацию: в настоящий момент экономическая наука переживает вялотекущую плюралистическую революцию. Однако окончательная «денеоклассизация» экономической науки займет определенное время.

Мы уже писали в разделе 2.3 о том, что иллюзии возможности быстрого решения накопившихся в экономической науке проблем в ходе Великой рецессии, вероятно, порождены опытом 1930–1950-х гг., когда на фоне грандиозных катаклизмов произошло глубокое изменение технико-институционального ландшафта мирового хозяйства, вызвавшее «спрос» на новую экономическую теорию. Тем не менее даже в условиях подобных тектонических сдвигов совершение кейнсианской революции заняло больше десяти лет. Поэтому мы полагаем, что полноценное обновление мейнстрима в наши дни едва ли займет меньший срок.

Строить догадки относительно более точной даты окончательного завершения эпохи неоклассического доминирования представляется нам бессмысленной задачей. Одно можно сказать с некоторой долей уверенности. Совершенствование информационных систем, развитие технологий 3D-принтинга, альтернативной энергетики, нано- и биотехнологий преобразует мировую экономику XXI века таким образом, что «предположения об эгоистической природе человека и конкуренции как главной движущей силы прогресса», лежащие в основе неоклассики, будут все больше приводить к «искаженным представлениям о важнейших тенденциях социально-экономического развития» [Полтерович, 2016, с. 5]. По мнению авторитетных специалистов, формирующийся вокруг инноваций третьей промышленной революции хозяйственный уклад будут отличать рост элементов сотрудничества, пронизывающего все аспекты социальных отношений, формирование доверительных схем в сфере финансов, а также развитие крупных индивидуальных производств, способных если не окончательно решить проблему ресурсного дефицита, то серьезно снизить ее остроту (см. подробнее, например: [Шеховцев, 2016]). В частности, видные российские марксисты А.В. Бузгалин и А.И. Колганов указывают на возможность посредством развития новых технологий «радикально повысить производительность труда и существенно сократить (до 20–30% занятых) круг работников, занятых репродуктивным индустриальным трудом при сохранении количества и росте качества продуктов материального производства» [Бузгалин и Колганов, 2015, с. 31]. Еще более смелые выводы в отношении открывающихся перед мировой экономикой перспектив делают Н.В. Голомолзина и Е.П. Дятел. Развивая идеи оксфордского экономического социолога Дж. Гершуни, уральские ученые пишут о становлении общества самообслуживания, в котором за счет прогресса информационных технологий происходит переход от приобретения услуг к их самостоятельному продуцированию в домашних условиях [Голомолзина и Дятел, 2014, с. 9–10]. В конечном счете не приходится сомневаться в том, что подобные перемены еще сильнее «отравят жизнь» центральному герою любого неоклассического повествования – «одинокому, соревнующемуся с другими за ограниченные ресурсы и недоверчивому» homo economicus [Goff, 2015, p. 89].

Конечно, «экономический человек» уже неоднократно разочаровывал критиков своей «живучестью». Однако в настоящий момент есть все больше оснований полагать, что разучивание заупокойных месс по homo economicus не будет напрасной тратой времени. Он все-таки сможет, как обещает профессор Чикагского университета Р. Талер, эволюционировать в homo sapiens [Thaler, 2000]. Этому перерождению должно поспособствовать становление базирующейся на новых технологиях шеринговой экономики, в которой «издержки производства многих товаров и услуг стремятся к нулю, а концепции собственности движутся в сторону новых моделей совмест-

ного использования ресурсов»[1]. В результате, как пишет известный российский математик, профессор НИУ ВШЭ И.Г. Поспелов, «…совокупное материальное потребление стабилизируется, и человечество теряет интерес к внешнему миру, сосредоточиваясь на неисчерпаемых проблемах межличностных отношений» [Поспелов, 2009, с. 67].

Столь позитивные прогнозы, несомненно, контрастируют с алармистскими пророчествами о вступлении мирового сообщества в век разгула технологической безработицы, восстания машин и вечного инновационного затишья. Действительно, технооптимистов, на первый взгляд, легко упрекнуть в идеализме, свойственном, впрочем, и Дж.М. Кейнсу, в 1930 г. мечтавшему о том, что благодаря новым технологическим возможностям к третьему десятилетию XXI столетия «люди после удовлетворения материальных потребностей смогут направить освободившуюся энергию на решение неэкономических целей» [Keynes, 1930]. Однако наблюдение за некоторыми процессами, происходящими в современном мировом хозяйстве, заставляет усомниться в оправданности часто встречающихся обвинений кембриджского профессора в утопизме.

В частности, новые технологии становятся мощной дефляционной силой, способствующей сокращению потребления при сохранении его качества. Одно только потенциальное внедрение единой сети самоуправляемых автомобилей, помимо снижения риска дорожно-транспортных происшествий, должно привести к удешевлению стоимости владения машиной на одну милю пробега с 3,57 до 0,5 дол. [McCaughan, 2016]. Благодаря своему функционалу современный смартфон экономит своему владельцу средства, необходимые ранее для покупки пятидесяти других гаджетов[2]. Кроме того, мобильные технологии и социальные медиа создают основу для перехода от персональной к коллаборативной модели потребления, координируемой посредством различных онлайн-сервисов. При этом, судя по всему, шеринговая экономика превращается в большой бизнес. Например, стоимость компании Uber, создавшей электронное приложение, позволяющее «превращать личные автомобили в общее благо»[3], в середине 2016 г. оценивалась в 68 млрд дол. [Sorkin, 2016], что на 14 млрд и 11 млрд дол. соответственно превышало показатель капитализации Ford Motor Company[4] и «Газпрома»[5]. Впрочем, гораздо важнее то, что технологии третьей промышленной революции, вероятно, смогут снизить тягу лю-

---

[1] Could We Live In a Zero Growth Society? URL: https://www.weforum.org/agenda/2015/01/could-we-live-in-a-zero-growth-society/

[2] 50 Things Your Smartphone Replaced [Or Will Replace In The Future]. URL: https://www.geckoandfly.com/13143/50-things-smartphone-replaced-will-replace-future/

[3] Uber, Airbnb and Consequences of the Sharing Economy: Research Roundup. URL: http://journalistsresource.org/studies/economics/business/airbnb-lyft-uber-bike-share-sharing-economy-research-roundup

[4] http://www.forbes.com/companies/ford-motor/

[5] http://www.forbes.com/companies/gazprom/

дей к перезарабатыванию (overearning), мешающую им наслаждаться свободным временем и заниматься творчеством[1].

Взятые вместе эти обстоятельства порождают принципиально важный вопрос относительно нужности экономической науки в мире, в котором слоган «слишком много никогда не бывает достаточно» будет постепенно вытесняться идеей «чем меньше, тем лучше» (см. подробнее: [Vail, 2014; Nussbaum, 2013]). Ведь утрата центральной проблемой экономикса (удовлетворение неограниченных потребностей ограниченными ресурсами) своего исключительного характера, на первый взгляд, едва ли не ставит крест на специальности «экономист». Вместе с тем подобные категоричные заявления, с нашей точки зрения, весьма далеки от истины.

Нет сомнений в том, что экономическая профессия, продолжая меняться, сохранится. Однако главный вопрос кроется в том, что именно и в сотрудничестве с какими специалистами будут исследовать экономисты в недалеком будущем. Вполне вероятно, как утверждают специалисты из Чикагского и Шанхайского университетов К. Хси, Р. Хэсти, Ч. Чен, «традиционная» экономическая наука, изучающая «как максимизировать богатство при ограниченных ресурсах», будет дополнена новой поведенческой дисциплиной – гедономикой (hedonomics), «исследующей способы максимизации счастья при ограниченном богатстве» [Hsee et al., 2008, p. 225]. В.М. Полтерович подчеркивает, что в настоящее время «невозможно ответить на фундаментальные экономические вопросы (что, как и для кого производить), оставаясь в узких рамках, очерченных для себя экономикой, поскольку эти ответы зависят от доминирующих этических, психологических, правовых и социальных установок и норм…» [Полтерович, 2011, с. 104]. По сути, академику В.М. Полтеровичу будущее экономической науки видится в тесной интеграции с другими общественными дисциплинами и формировании на основе их синтеза новой научной дисциплины – «общего социального анализа» [Полтерович, 2013, с. 185]. Другой видный российский экономист А.Я. Рубинштейн, возражая против идеи возможности создания «единой науки об обществе», тем не менее ратует за «расширение пространства экономической науки в результате использования более широких предпосылок, включающих возможность применения инструментария современной философии, культурологии, социологии, социальной психологии, а также других наук, изучающих поведение человека в обществе и закономерностей развития самого общества» [Рубинштейн, 2011]. В целом, несмотря на дискуссию вокруг возможных стратегий соединения экономики с другими обществоведческими дисциплинами, эксперты так или иначе согласны с тем, что углубление межпредметных связей является крайне продуктивной тенденцией (см. подробнее: [Ананьин, 2009]).

---

[1] Феномен перезарабатывания подробно изучен К. Хси и соавторами. См. подробнее: [Hsee et al., 2013].

Загадывать наперед – плохая привычка. При этом, возможно, в недалеком будущем мы действительно станем свидетелями претворения в реальность мечты В. Парето о синтезе «дисциплин, имеющих дело с человеческим обществом – права, экономики, политической истории, истории религии и т.д., ориентированных на поиск взаимосвязей между социальными фактами» [Macpherson, 1999, p. 286]. В последнее время точка зрения Дж.М. Кейнса, настаивавшего на том, что «хороший экономист должен обладать редким сочетанием талантов… быть в определенной степени математиком, историком, государственным деятелем и философом» (цит. по: [Leape, 2012, p. 184]), находит все больше сторонников. Тем не менее нельзя не признать, что ученых, занимающихся охотой на гетеродоксальных ведьм, а также исследователей, которые сводят все проблемы экономической науки к проискам мейнстримной «закулисы» и, следовательно, не располагают достаточными навыками слышать своего визави, пока хватает.

Поэтому непременным пререквизитом для наступления эры междисциплинарного сотрудничества в обществоведении должно стать установление коллаборативной атмосферы в экономическом «доме», жители которого, к сожалению, пока еще полностью не избавились от репутации специалистов, не способных прийти к какому-либо компромиссу[1]. Вот почему экономистам, перефразируя знаменитое сравнение Д. Макклоски, необходимо прекратить уподобляться малышам, сидящим в разных углах песочницы из-за непрекращающихся споров о том, чья формочка для выпекания куличиков лучше. Как справедливо замечает крупный российский исследователь А.А. Пороховский, специалистам в области экономики следует усвоить правило: «каждая ветвь экономических наук» не должна подвергаться «искусственному ограничению на путях своего развития» [Пороховский, 2012, с. 9]. Эти аллегории означают, что представителям экономической науки следует перестать с упорством, заслуживающим иного применения, делить своих коллег по принадлежности к мейнстриму и гетеродоксии и самозабвенно вести нескончаемые междоусобные войны. Хотелось бы верить, что члены экономического сообщества смогут воспринять напутствие Д. Коландера, Р. Хольта и Дж.Б. Россера: «Деление экономистов на лагери есть бесплодное занятие… Все мы экономисты» [Colander et al., 2007, p. 309]. Дополнительным аргументом в пользу заключения концептуального мира является проведенный нами анализ развития ИЭУ, показывающий, что победа в теоретическом соревновании достается не тем, кто яростнее и громче критикует оппонентов, а тем, чьи идеи лучше соответствуют вызовам эпохи. Недаром

[1] Современные исследования показывают, что, несмотря на сохранение определенных разногласий, американские экономисты имеют гораздо больше общего, чем различного. В частности, специалистам из Калифорнийского университета в Сан-Диего Р. Гордону и Г. Далу удалось демифологизировать клише о непреодолимых противоречиях между представителями «пресноводной» и «солоноводной» экономической теории. Вместе с тем подобное единодушие является, по-видимому, прерогативой исключительно США. Опрос итальянских экономистов выявил серьезные разногласия между членами местного экспертного сообщества. Во Франции также не наблюдается американской сплоченности. См. подробнее: [Мальцев, 2016а].

Р. Харрод предупреждал: «Спекуляции вокруг методологии печально известны своим многословием и банальностью… Победа в споре, если победителя вообще удается определить, по общему мнению, не приносит явной пользы науке» (цит. по: [Блауг, 2004, с. 6]). Для экономической науки подобное наставление вкупе с надвигающимися технико-институциональными сдвигами, ведущими мировую экономику в эпоху «позитивного сотрудничества», отличающуюся повышением «культуры толерантности… и… радиуса доверия» [Полтерович, 2016, с. 5], указывает на то, что экономистам предстоит, вместо бесполезной траты времени на бесконечные конфликты по поводу «какая концепция лучше», объединить свои силы для изучения все усложняющейся хозяйственной реальности XXI столетия.

Подведем итоги.

1. Трудности, с которыми столкнулся «основной канон» на рубеже 2000–2010-х гг., вызваны не раз встречавшейся в истории экономических учений ситуацией, когда в эпоху социально-экономических пертурбаций наиболее выпукло высвечивается разсогласованность между теоретическими постулатами доминирующего мейнстрима и быстро меняющимися хозяйственными реалиями. При этом неудовлетворенность, вызванная задержкой реализации назревших перемен в экономической науке, во многом объясняет популярность заявлений о критическом состоянии дел в магистральном течении. Проведенный нами анализ выявил распространенность подобной точки зрения среди значительной части российских экономистов.

2. Вместе с тем наше исследование показало, что значительная часть гетеродоксов имеет весьма приблизительное представление об истинной ситуации в основном русле и борется с мнимым неприятелем. Современный «главный канон» далеко ушел от шаржированного образа, рисуемого его порицателями, смягчил целый ряд своих исходных предпосылок и обогатился многочисленными наработками некогда немейнстримных направлений экономической мысли, тем самым совершив серьезный рывок в расширении своего объяснительного потенциала. Интенсификация обмена идеями внутри экономикса говорит о том, что в своем большинстве представители мейнстрима готовы к внутридисциплинарному диалогу и вовсе не похожи на склонных к концептуальному затворничеству обитателей «башни из слоновой кости».

3. Несмотря на всплеск интереса к гетеродоксальным течениям экономической теории, на пути своего дальнейшего развития ГЭТ подстерегают серьезные вызовы. С одной стороны, многие представители гетеродоксии вместо изучения точек соприкосновения со становящимся все более плюралистичным «основным течением» занимаются его стигматизацией, с другой, – некоторые радикально настроенные экономисты, стоящие у мейнстримного кормила, всячески препятствуют росту институциональной самостоятельности гетеродоксов. Вместе взятые, эти тенденции мешают модернизировать аналитический аппарат ГЭТ, ведут к растрате сил на противо-

действие мейнстримным «фундаменталистам», не позволяя сконцентрировать усилия на развитии собственных оригинальных концепций.

4. Прогресс современных технологий стимулирует рост коллаборатизации всех сторон общественной жизнедеятельности. Экономические дисциплины не являются исключением: их будущее мыслится неразрывно связанным с углублением межпредметных связей с другими науками, снижением остроты малопродуктивных прений о том, «чей подход лучше», и излечением от методологического дальтонизма, из-за которого сообщество экономистов – в зависимости от угла зрения – выглядит разделенным на «светлый» мейнстрим и «темную» гетеродоксию или наоборот. Овладение искусством различать концептуальные полутона и осознание того, что наука вступает в эпоху полиметодологичности, будут способствовать повышению качества междисциплинарных исследований и формированию новых синтетических теорий, способных преодолеть ограниченность «узкого» экономического подхода, все менее адекватного усложняющейся экономике XXI столетия.

5. Сетования на «жизнестойкость» неоклассики, препятствующей обновлению экономической мысли и оказавшейся резистентной к кризису 2007–2009 гг., вызваны обманчивыми реминисценциями из опыта Великой депрессии, которая, как представляется многим специалистам, привела к молниеносному триумфу кейнсианского учения. Опыт прошлых «кризисов» экономической мысли свидетельствует о том, что для избавления от инерции доктринальных основ прежней парадигмы прежде всего требуются продолжительные технико-институциональные сдвиги, последствия которых способны создать критическое количество аномалий, не вписывающихся в объяснительные рамки предшествующего «основного канона» и тем самым создать фундамент для полноценной ревизии экономикса. Стартовавшая в конце 2000-х гг. третья промышленная революция, по-видимому, является событием, способным расчистить путь для проникновения в мейнстрим очередной порции неортодоксальных идей и закрепить за неоклассиками важное, но не доминирующее положение в экономико-теоретической иерархии.

Заключение

В ходе решения поставленных в настоящем исследовании задач получены следующие основные *выводы*.

1. Изучение последствий деисторизации экономической теории выявило целый ряд порождаемых этим феноменом проблем как практического, так и теоретического толка. Аксиоматизация позитивистской убежденности в тождественности экономической теории точным наукам привела к сакрализации веры в универсальность и незыблемость мейнстримных постулатов. Доказанная при помощи «естественнонаучных» законов польза от определенного набора экономических рекомендаций нередко стала интерпретироваться как непременное условие успешного развития всех стран мира, вне зависимости от их технико-экономических, институциональных и социокультурных различий. Есть веские основания полагать, что разочаровывающие результаты социально-экономических преобразований в ряде государств Восточной Европы и постсоветского пространства в 1990-е гг. отчасти стали следствием веры архитекторов данных реформ во вневременной характер экономических «истин», порожденной их слабым владением ИЭУ. В развитых странах пренебрежение ИЭУ, в частности, упростило легитимацию дерегулирования финансовой сферы. Как известно, это вылилось в раздувание ипотечного пузыря, ставшего детонатором Великой рецессии. Следовательно, сохранение представления, будто экономисты могут обойтись чтением только свежей научной периодики, чревато тем, что по-прежнему будут выдвигаться претензии на создание универсалистских концепций в духе one size fits all, а политики, используя аисторические умозаключения «научной» экономической теории, продложат делать далеко идущие выводы с непредсказуемыми последствиями. В связи с этим трудно не согласиться с Дж. Ходжсоном, утверждающим, что задача возвращения представления о «непременной связанности экономической теории с определенным историческим контекстом» (цит. по: [Lodge, 2004, p. 109]) должна стать краеугольной целью современных экономистов. Кроме того, попустительство пренебрежительному отношению к ИЭУ чревато серьезными затруднениями с восприятием современными экономистами наработок прошлого. Дело в том, что в отличие от развивающихся по кумулятивной траектории «настоящих» точных наук, в экономической теории создание новых концепций очень часто строится на идеях, хранящихся в интеллектуальных запасниках. Неспособность ориентироваться в этих анналах приводит к трудностям с выработкой новых

концепций и чревата растратой исследовательских сил на дублирование ранее пройденного и открытого.

2. Исследование научной аффилиации, дисциплинарной генеалогии и формата публикационной активности современных специалистов в области истории экономической мысли показало, что опасения об обреченности ИЭУ на окончательное забвение из-за засилья агрессивного позитивизма и невысоких карьерных перспектив историков экономической мысли преувеличены. Период конца 1980-х – 2010-х гг. можно назвать эпохой ренессанса ИЭУ, когда все больше ее представителей, осознавая тщетность доказательства значимости прошлого экономической мысли представителям мейнстрима, значительная часть которых убеждена во вневременном характере экономических истин, стали искать работу за пределами стен факультетов экономики, находя профессиональное пристанище в бизнес-школах, департаментах истории, на кафедрах истории науки, др. Подобная, казалось бы, вынужденная «миграция» оказалась крайне плодотворной. Перестав быть «Золушкой» экономической теории и укрепив связи с широким кругом гуманитарных специальностей, ИЭУ к началу XXI столетия превратилась в междисциплинарное исследовательское пространство, одинаково привлекательное как для экономистов, устающих от тирании математического формализм, так и специалистов из других общественных наук. Столь гостеприимная исследовательская атмосфера в сочетании с большим диапазоном анализируемых проблем является гарантом привлечения в ИЭУ молодых специалистов и вселяет уверенность в прекрасном будущем новой «гуманитаризированной» истории экономических учений, все более отдаляющейся от «чистой» экономики.

3. Анализ специфики восприятия ИЭУ студентами и аспирантами ведущих экономических вузов РФ опроверг устоявшееся клише об экономистах как о лицах, страдающих тяжелой формой «клиофобии». Свыше 80% участников проведенного автором в 2014 г. опроса считают ИЭУ в той или иной степени значимым для современного экономиста предметом. Вместе с тем интерес студенческо-аспирантской аудитории к ИЭУ не должен заслонять того, что в выявленной в ходе анкетирования обучающихся иерархии профессиональных навыков история экономических учений занимает крайне невысокие позиции. Это наблюдение вкупе со стремлением будущих экономистов рассматривать ИЭУ через призму окружающих теории прошлого контекстов наглядно свидетельствует об актуальности курса на углубление сотрудничества историков экономических учений с представителями других гуманитарных дисциплин. Для методики преподавания ИЭУ данный вывод означает, что экономические идеи прошлого следует рассматривать на фоне современных им хозяйственных и социально-

философских условий, а не в виде искусственно осовремененной и переложенной на язык математики деконтекстуализированной хроники достижений в области экономического анализа.

4. Концептуализация авторского подхода к изучению истории экономической мысли и исследование с его помощью эволюции ИЭУ позволили четче установить влияние импульсов, под воздействием которых развивается история экономических учений. В принципе, ИЭУ можно рассматривать как *историю экономического анализа* (ИЭА), занимающуюся изучением прогресса аналитического инвентаря экономического теории и (или) как *историю экономической мысли* (ИЭМ), объектом исследования которой выступают проблемы, интересующие экономистов в тот или иной период времени. Традиционно считается, что прогресс ИЭА зависит преимущественно от сдвигов в ценностях, принятых в профессиональном сообществе, перемен в философско-культурных веяниях, тогда как в развитие ИЭМ решающий вклад вносят изменения условий хозяйствования. В самом деле, на первый взгляд, ИЭА надежно защищена от воздействия влияния внешних факторов. Однако, как показал наш анализ, история экономических учений богата примерами, когда открытия в области ИЭА настолько опережают свое время, что остаются незамеченными современниками, отвергающими концепции, не отвечающие их представлениям о «правильности». Преодоление подобной интеллектуальной инерции часто происходит в ходе крупных экзогенных шоков, хронологически совпадающих с завершением жизненного цикла морально устаревших технологий широкого применения. Хозяйственные пертурбации, возникающие в ходе процессов замещения ТШП, выступают в качестве своеобразного тарана, прокладывающего дорогу к признанию идеям, ранее не «стыковавшимся» с доминировавшим экономико-теоретическим каноном, что позволяет утверждать о значимости внешних факторов для развития не только истории экономической мысли, но и истории экономического анализа.

5. Предложенная схема осмысления эволюции методологии ИЭУ в виде циклического движения в диапазоне «абсолютизм – релятивизм» дала возможность четче выявить траекторию развития аналитического инструментария историко-экономических исследований и установить, что на рубеже XX–XXI столетий методологические предпочтения специалистов в области ИЭУ в очередной раз сместились в сторону релятивистских интерпретаций. Новый релятивистский поворот следует всячески приветствовать, так как он открывает путь к ревитализации ИЭУ, долгое время третируемой экономистами, настроенными в радикально аисторическом ключе. Анализ экономических идей сквозь призму различных контекстов, свойственный сторонникам историографического релятивизма, стимулирует интерес к ИЭУ среди

специалистов из смежных с экономикой дисциплин и позволяет надеяться на окончательное закрепление за историками экономической мысли собственной исследовательской ниши. Вместе с тем преобладающие в рамках сегодняшней релятивистской традиции исследования в русле конструктивизма не свободны от целого ряда недостатков, прежде всего, из-за сходства позиций их авторов с философами-постмодернистами. Это обусловливает враждебность конструктивистов к попыткам поиска крупных историографических генерализаций и отрицание необходимости «большой» ИЭУ. Вместо этого конструктивисты предлагают рассматривать ИЭУ в виде пространства несвязанных друг с другом бесед между экономистами и сосредоточить исследовательские усилия на изучении дискурсивных практик, свойственных различным сообществам ученых. Такая тяга к сужению контекста исследования идет вразрез с тенденциями, наблюдающимися в других общественных науках, которые успешно избавились от привитого постмодернистами ложного чувства стыда к изучению крупномасштабных явлений и процессов. Данное замечание не означает, что недостатки конструктивизма перевешивают его достоинства. С точки зрения автора, конструктивистские наработки следует вписать в более широкий контекст. Одним из возможных вариантов подобной интеграции является разработанная нами схема анализа истории экономических учений, позволяющая преодолеть фрагментарность анализа ИЭУ, увязать в единую аналитическую схему изменения в сфере технологий, экономики, институтов, культуры и внести определенную ясность в механизмы периодических изменений облика экономической мысли. Таким образом, по нашему мнению, можно во многом избавить ИЭУ от постмодернистской зыбкости и при этом подчеркнуть релятивность экономических законов. Это поможет предотвратить непродуктивное деление экономических концепций прошлого на «ложные» и «истинные».

6. Выявленная нами увязка лидерства страны в технологическом первенстве с доминированием в области экономической теории указала на то, что одним из важнейших источников «национальной диспропорциональности» в развитии ИЭУ являются межгосударственные различия в типах технико-институциональных систем. В государствах, ориентированных на радикальные инновации, чаще чем в странах, специализирующихся на «улучшающих» нововведениях, происходят структурные трансформации, обеспечивающие местных экономистов богатой эмпирикой для теоретизирования. Правительства и бизнес стран, сделавших ставку на прорывные новшества, больше, нежели их коллеги из государств с «улучшающим» типом инновационных систем, заинтересованы в осмыслении процессов изменений хозяйственного ландшафта и щедро финансируют исследования коллективов, бьющихся над изучением дан-

ных проблем. Укрепление позиций «чемпиона» технологической гонки в мировом хозяйстве, с одной стороны, усиливает спрос на импорт ее экономической теории со стороны стран периферии, которые видят в ней волшебный эликсир, способный решить едва ли не все накопившиеся социально-экономические проблемы, а с другой – ведет к активизации экспорта экономико-теоретических стандартов государства-гегемона, усматривающего в их распространении способ закрепления доминирования своих мировоззренческих установок. Анализ исторического опыта стран – лидеров мировой экономики указал на то, что пока государство поддерживает культуру толерантности в обществе, поощряет нешаблонные идеи своих граждан, привлекает талантливых мигрантов, не боится процессов «созидательного разрушения», его экономическая теория сохраняет доминирующие позиции в теоретической иерархии.

7. Применение разработанной автором схемы изучения истории экономической мысли к анализу последствий Великой рецессии 2007–2009 гг. в части развития экономической науки показало, что схожие затруднения, с которыми столкнулся мейнстрим в конце 2000-х – начале 2010-х гг., неоднократно встречались в ИЭУ и порождены неспособностью доминирующего основного канона быстро адаптироваться к изменившимся хозяйственным реалиям. Стартовавшая в начале XXI столетия третья промышленная революция ведет человечество из «эры конкуренции», хорошо описываемой при помощи приемов из арсенала неоклассики, в эпоху коокуренции и сотворчества, требующую иного концептуального инструментария для своего осмысления. Осуществленный нами анализ теоретико-методологических предпочтений российского сообщества академических экономистов выявил высокую потребность в обновлении экономической теории, выражающуюся в широкой распространенности точки зрения о кризисном состоянии современного экономикса. В этом контексте совершенно неудивительны симпатии значительной части российских экономистов к альтернативным по отношению к мейнстриму течениям экономической мысли. Со всем тем наше исследование показало, что многие гетеродоксы имеют весьма поверхностное представление о процессах, происходящих в магистральном течении, и предлагают бороться с ветряными мельницами. Современный мейнстрим в последние десятилетия интегрировал в себя множество наработок своих вчерашних антагонистов, стал гораздо толерантнее к «оппозиции» и все меньше становится похож на тот гротескный образ, в котором его продолжают видеть противники. К сожалению, вместо того чтобы объединить усилия с «внутренними критиками» мейнстрима в деле ускорения его «денеоклассизации», значительная доля гетеродоксов предпочитает вести позиционные бои против всего основного русла. Впрочем, от них не отстают и некоторые деятели из мейн-

стримной когорты, видящие в любых отличных от принятых среди них способах занятия экономическими исследованиями признаки мракобесия и дилетантизма. Между тем развитие технологического прогресса указывает на коллаборативизацию всех сфер жизни общества как генеральное направление развития мировой экономики XXI столетия. Хотелось бы верить, что экономисты различных течений экономической мысли найдут силы для преодоления внутренних противоречий, бóльшая часть из которых является надуманной, и в тесной кооперации с представителями других общественных наук сконцентрируют исследовательские усилия на изучении проблем все более усложняющегося общества.

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие *рекомендации*.

Во-первых, опираясь на обобщение итогов мониторинга восприятия ИЭУ свыше 700 студентами и аспирантами шести ведущих экономических вузов страны, можно утверждать о необходимости сохранения ИЭУ в учебных планах подготовки экономистов и расширении элементов историко-экономической подготовки будущих экономистов.

Во-вторых, важным направлением развития исследований в области ИЭУ должно стать углубление сотрудничества с представителями других гуманитарных дисциплин, в особенности экономическими историками, как вариант задействуя в качестве объединяющего звена при этом методологический аппарат предложенного в диссертации подхода.

В-третьих, обобщение результатов изучения теоретико-методологического ландшафта российского сообщества академических экономистов вкупе с анализом процессов, происходящих в мировой экономической науке, указывает на то, что непременным условием дальнейшего развития экономических исследований должно стать прекращение карикатуризации концептуальных позиций своих оппонентов, зачастую маскирующей банальное незнание содержательной сути критикуемой позиции.

Перспективы дальнейшего исследования просматриваются по следующим основным направлениям.

1. Использование потенциала предложенного подхода к исследованию истории экономических учений для дополнительной проработки анализа специфики развития ИЭУ отдельных стран мира.

2. Больший учет эндогенных факторов развития экономической мысли при анализе ИЭУ.

3. Налаживание системы регулярного мониторинга изменений теоретико-методологических предпочтений, преобладающих в исследовательской среде, и отношения восприятия роли отдельных учебных дисциплин будущими экономистами.

Список литературы

1. Авдашева С., Тутов Л., Шаститко А. Классика экономической теории и экономика классики // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании: сборник. М.: Новое литературное обозрение, 2009.

2. Автономов В.С. История от Шумпетера (предисловие к русскому изданию) // Шумпетер Й.А. История экономического анализа. СПб.: Экономическая школа, 2001.

3. Автономов В.С. История экономической мысли и экономического анализа: место России // Очерки истории российской экономической мысли / под ред. Л.И. Абалкина. М.: Наука, 2003.

4. Автономов В.С. Маржиналистская революция. Общая характеристика // История экономических учений: учеб. пособие / под ред. В.С. Автономова и др. М.: ИНФРА-М, 2010.

5. Автономов В.С. Мейнстрим и кризисы // XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012. Кн. 4. URL: http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/54095409/

6. Автономов В.С. Методологические проблемы современной экономической науки // Вестник Российской академии наук. 2006. Т. 76, № 3.

7. Автономов В.С. Предисловие к русскому изданию // Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД, 1994.

8. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории (Очерк истории западной экономической мысли). М.: Наука, 1993.

9. Акерлоф Дж., Шиллер Р. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма. М.: Юнайтед Пресс, 2010.

10. Алексеев В.В., Гаврилов Д.В. Металлургия Урала с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, 2008.

11. Ананьин О.И. За «экономический империализм» без имперских амбиций, или о формах междисциплинарных взаимодействий // Общественные науки и современность. 2009. № 6.

12. Ананьин О.И. Меркантилизм // История экономических учений: учеб. пособие / под ред. В.С. Автономова и др. М.: ИНФРА-М, 2010.

13. Ананьин О.И. Олег Ананьин: Учителя // Поколения ВШЭ. Учителя об учителях. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.

14. Ананьин О.И. Экономика: наука и/или искусство. М.: Ин-т экономики РАН, 2007.

15. Ананьин О.И. Экономическая теория – дитя кризисов? // XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. Кн. 4.

16. Артур У.Б. Теория сложности в экономической науке: иные основы экономического мышления // Terra Economicus. 2015. Т. 13, № 2.

17. Афанасьев В.С. Буржуазная экономическая мысль 30–80-х годов XX века. М.: Экономика, 1986.

18. Баженов Г.А. Методологическая дифференциация направлений австрийской школы: маргинализация или интеграция с мейнстримом? // Известия Уральского государственного экономического университета. 2015. № 6.

19. Байер А. Картина мира: последний пузырь // Ведомости. 2008. 21 нояб.

20. Балацкий Е.В. «Текучая современность» Зигмунта Баумана // Капитал страны: федер. интернет-изд. 2010. 12 мая. URL: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/177239

21. Балацкий Е.В. За пределами «экономического империализма»: преодоление сложности // Общественные науки и современность. 2012. № 4.

22. Балацкий Е.В. Экономическая наука: новые вызовы современности // Капитал страны: федер. интернет-изд. 2008. 27 ноября. URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/ekonomicheskaya_nauka_novye_vyzovy_sovremennosti/

23. Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. СПб.: Экон. шк., 2005a.

24. Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса. СПб.: Экон. шк., 2005b.

25. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2004.

26. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело ЛТД, 1994.

27. Болдырев И., Дуденкова И. Два взгляда на академический национализм // Gefter.ru. 2015. 15 июня. URL: http://gefter.ru/archive/15424/

28. Болдырев И.А. Академические барьеры: проблема изоляции академических сообществ в России // Окна роста. 2015. № 5.

29. Болдырев И.А. Экономическая методология сегодня: краткий обзор основных направлений // Журнал Новой экономической ассоциации. 2011. № 9.

30. Большая советская энциклопедия / под ред. О.Ю. Шмидта. М.: Советская энциклопедия, 1926–1944. Т. 9. 1928; Т. 31, 1937; Т. 44, 1939; Т. 58, 1936.

31. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм: в 3 т. М.: Прогресс, 1992. Т. 3.

32. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. М.: ЛЕНАНД, 2015. Т. 1: Методология: по ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс reloaded).

33. Бузгалин А.В. Эволюция экономических теорий и этапы генезиса, развития и заката рыночно-капиталистической экономической системы // Проблемы современной экономики. 2013. № 4.

34. Булгаков С.Н. Соч.: в 2 т. М.: Наука, 1993.

35. Бухарин Н. Политическая экономия рантье. Теория ценности и прибыли австрийской школы. М.: Орбита, 1988.

36. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. М.: Изограф, 2000.

37. Всемирная история: в 10 т. / гл. ред. Е.М. Жуков. М.: Госполитиздат, 1955–1965.

38. Газизуллин Н.Ф. О роли обобщающих исследований по истории русской экономической мысли // Проблемы современной экономики. 2012. № 2(42). URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4141

39. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга первая // Гегель Г.В.Ф. Собр. соч.: в 14 т. Т. 9. М., 1932.

40. Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. М.: Дело, 2015.

41. Глазьев С.Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов. М.: НИР, 2007.

42. Гловели Г.Д. Меркантилистская геокультура и «прозельная горячесть»: наследие Ю. Крижанича и И. Посошкова в контексте мир-системного подхода // Историко-экономические исследования. 2014. Т. 15, № 2.

43. Голомолзина Н.В., Дятел Е.П. Экономическая структура общества услуг: от Великой депрессии к Великой рецессии // Известия Уральского государственного экономического университета. 2014. № 4.

44. Голубович В.И. (ред.). Экономическая история зарубежных стран. Минск: ИП «Экоперспектива», 1997.

45. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: качественный и количественный подходы. М.: Флинта, 2014.

46. Гуди Дж. Похищение истории. М.: Изд-во «Весь мир», 2015.

47. Гурова И.П. История метода историко-экономической науки. Ульяновск: УлГУ, 1999.

48. Дегтярев Д.А. Зарубежные работы по теории игр // Международные процессы. 2009. № 2.

49. Дементьев В.Е. Инвестиционная пауза при смене длинных волн экономического развития // Кондратьевские волны: аспекты и перспективы: ежегодник / отв. ред. А.А. Акаев, Р.С. Гринберг, Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев, С.Ю. Малков. Волгоград: Учитель, 2012.

50. Джадан И. «Homo Economicus» vs. «Homo Reciprocans» // Русский журнал. 2002. 21 окт. URL: http://old.russ.ru/politics/20021021-dj.html

51. Дзарасов Р.С. Кризис и ответственность экономической науки // Слово. 2011. 14 окт.

52. Дзарасов Р.С. Развитие в современном мире. Возможен ли национально ориентированный капитализм? // Экономика мегаполисов и регионов. 2013. № 1.

53. Дзарасов С.С. Посткейнсианство и инновационная модель развития // Экономист. 2008. № 4.

54. Дятел Е.П. История и методология экономической мысли: принципы систематизации категорий // Вестник УрФУ. Сер. Экономика и управление. 2012. № 2.

55. Дятел Е.П. Политическая экономия versus экономикс // Журнал экономической теории. 2013. № 2.

56. Ермак С. Никакая волна не доходит до дна // Эксперт-Урал. 2013. № 32.

57. Ефимов В.М. Дискурсивный анализ в экономике: пересмотр методологии и истории экономической науки // Journal of Economic Regulation. 2011. Т. 2, № 3.

58. Журавлев С. Загадки эпохи джаза // Эксперт. 2009. № 1.

59. Заостровцев А. О развитии и отсталости: как экономисты объясняют историю? СПб.: М-Центр, 2014.

60. Зомбарт В. Буржуа. М.: Наука, 1994.

61. Зомбарт В. Избранные работы. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2005.

62. Ибсен Г. Гедда Габлер // Ибсен Г. Драмы. Стихотворения. М.: Художественная литература, 1972.

63. Иванченко А.С., Максименко Е.А. (сост.). Общество потребления в социологическом дискурсе: («круглый стол») // Социологические исследования. 2010. № 11.

64. Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции. М.: Academia-Наука, 1999.

65. Калмычкова Е.Н., Чаплыгина И.Г. Экономическое мышление: философские предпосылки. М.: ИНФРА-М, 2005.

66. Кащенко С.Г. Всеобщая история государства и права новейшего времени: учеб. пособие для студ. юрид. спец. вузов. Симферополь: Доля, 2006.

67. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 2012.

68. Кирчик О. Интервью с Тома Пикетти: «Можно выгнать историю в дверь, но она немедленно вернется через окно» // Экономическая социология. 2016. Т. 17, № 1.

69. Кламер А. Странная наука экономика: приглашение к разговору. М.–СПб.: Изд-во Института Гайдара, 2015.

70. Клюкин П.Н. «История астрономии» А. Смита: введение к первому переводу на русский язык // Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2016.

71. Кляйн Н. Доктрина шока: расцвет капитализма катастроф. М.: Добрая книга, 2011.

72. Конт О. Дух позитивной философии // Тексты по истории социологии XIX–XX веков / сост. В.И. Добреньков, Л.П. Беленкова. М.: Наука, 1994.

73. Кругман П. Кредо либерала. М.: Европа, 2009.

74. Кузьминов Я.И. Предисловие / Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М.: Экономика, 1995.

75. Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы: в 2 кн. Челябинск: Социум, 2004.

76. Кульков В. Пространство и содержание национально ориентированного подхода в экономической теории // Российский экономический журнал. 2013. № 2.

77. Лагунина И. Кризис и общество: экономисты в помощь политикам? // Радио «Свобода». 2009. 24 дек. URL: http://www.svoboda.org/content/transcript/1913582.html

78. Латов Ю.В. История экономических учений как отражение конкуренции национальных экономических систем в ядре мир-экономики // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2007. Т. 5, № 3.

79. Латов Ю.В. Парадоксы истории экономических учений и их объяснение при помощи концепции мир-системного анализа // Историко-экономические исследования. 2007. Т. 8, № 3.

80. Либман А. Современная экономическая теория: основные тенденции // Вопросы экономики. 2007. № 3.

81. Лункевич В.В. От Гераклита до Дарвина. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1960.

82. Любутин К.Н., Кондрашов П.Н. Социальные основания постмодернизма: попытки марксистского анализа // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук, вып. 1. М., 2009.

83. Майдачевский Д.Я. Историография экономической науки: от плюрализма подходов к господству «мейнстрима» // Terra Economicus. 2012. Т. 10, № 2.

84. Майровски Ф. Физика и «маржиналистская революция» // Terra Economicus. 2012. Т. 10, № 1.

85. Макашева Н.А. Экономическая наука после кризиса: что изменится? // Общественные науки и современность. 2012. № 6.

86. Макашева Н.А. Экономическая теория благосостояния // История экономических учений: учеб. пособие / под ред. В.С. Автономова и др. М.: ИНФРА-М, 2010.

87. Макашева Н.А. Этика добра и общая экономическая теория (интеллектуальный вызов Дж.М. Кейнса) // Общественные науки и современность. 1993. № 6.

88. Макклоски Д. Риторика экономической науки. М.–СПб.: Изд-во Института Гайдара, 2015.

89. Мальцев А. История экономических учений, quo vadis? // Вопросы экономики. 2015a. № 3.

90. Мальцев А. К вопросу о релятивистском подходе к экономической науке // Известия Уральского государственного экономического университета. 2011a. № 2.

91. Мальцев А. К вопросу о социально-экономическом «закате» крупных государств: praeteritum et praesens // Мировая экономика и международные отношения. 2014a. № 11.

92. Мальцев А. Международная торговля как объект эволюции классической школы политической экономии // Региональные исследования. 2012a. № 2.

93. Мальцев А. Меркантилизм: протекционистская ошибка или предтеча девелопментализма // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия: Гуманитарные науки. 2011b. № 4.

94. Мальцев А. Прошлое и будущее китайской экономики (о книге Дж.Й. Лина «Демистификация китайской экономики») // Вопросы экономики. 2014b. № 5.

95. Мальцев А. Российское сообщество экономистов: особенности и перспективы // Вопросы экономики. 2016a. № 11.

96. Мальцев А.А. Гипотеза о техницистской истории экономической мысли // Общественные науки и современность. 2016b. № 5.

97. Мальцев А.А. Источники и последствия «технологической стагнации» глобальной экономики // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2014c. № 3.

98. Мальцев А.А. Кейнсианская теория: релятивистское или абсолютистское происхождение // Известия Уральского государственного экономического университета. 2012b. № 3(41).

99. Мальцев А.А. Методологический ландшафт истории экономических учений: новые историографические альтернативы и возможности // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2016c.

100. Мальцев А.А. О возможных истоках кризиса экономической теории // Общественные науки и современность. 2012c. № 6.

101. Мальцев А.А. Обновление кейнсианства в зеркале изменений технико-экономического ландшафта мировой экономики // Известия Уральского государственного экономического университета. 2013. № 5(49).

102. Мальцев А.А. Перспективы междисциплинарных исследований в области истории экономической мысли // Труды Уральского государственного экономического университета: сб. науч. ст. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2016d. Т. 1.

103. Мальцев А.А. Ситуативный характер монетаристского «мятежа» // Сборник статей ежегодной научной конференции Новой экономической ассоциации «Междисциплинарные исследования экономики и общества». М.: МАКС Пресс, 2014d.

104. Мальцев А.А. Эволюция методов изучения истории экономической мысли // Общество и экономика. 2015b. № 7.

105. Мальцев А.А. Экономико-исторические корни бихевиористского поворота // Инновационное развитие экономики России: междисциплинарное взаимодействие: сб. ст. / под ред. А.А. Аузана, В.П. Колесова, В.В. Герасименко, Л.А. Тутова. М.: Проспект, 2014e.

106. Мальцев А.А. Экономическая наука послевоенной эпохи: вульгаризация кейнсианства или ответ на вызовы времени? // Вестник Института экономики РАН. 2014f. № 2.

107. Мальцев А.А. Экономические идеи и мирохозяйственная среда: ретроспектива взаимодействия: монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2014g.

108. Мальцев А.А., Баженов Г.А. Теоретико-методологическая архитектура российского сообщества академических экономистов // Известия Уральского государственного экономического университета. 2016. № 4.

109. Мальцев А.А., Невский С.И. Излечение от «британской болезни», или специфика трансформации экономики Великобритании в 1980-е годы // Terra Economicus. 2016. № 3, Т. 14.

110. Маркс К. Речь о свободе торговли (1848). URL: http://lugovoy-k.narod.ru/marx/04/42.htm

111. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии (1848). URL: http://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm

112. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955. Т. 4.

113. Маршалл А. Основы экономической науки. М.: Эксмо, 2008.

114. Мельник Д.В. Из истории институциализации экономической науки: «ленинградское дело». М.: Институт экономики РАН, 2014

115. Мизес Л. фон. Теория и история: интерпретация социально-экономической эволюции. М., Челябинск: Социум, 2013.

116. Милль Дж.С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к социальной философии. М.: Эксмо, 2007.

117. Миловидов В. Игра ума за разум // Блог Владимира Миловидова. 2011. 26 авг. URL: http://vmilovidov.livejournal.com/31299.html

118. Мокир Д. Дары Афины: исторические истоки экономики знаний. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.

119. Монахова А.А. Введение в теорию игр: электрон. учеб. пособие. Б.м., 2012. URL: http://stat4stud.narod.ru/Games_Theory.pdf

120. Некипелов А.Д. Кризис общей экономической теории: вызовы политической экономии будущего // Журнал экономической теории. 2013. № 2.

121. Некипелов А.Д., Попов Е.В., Татаркин А.И. Императивы современной экономической теории // Вестник Российской академии наук. 2011. Т. 81. № 2.

122. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.

123. Нуреев Р.М. Очерки по истории институционализма. Ростов н/Д: Изд-во «Содействие – XXI век»; Гуманитарные перспективы, 2010.

124. Нуреев Р.М. Теория общественного выбора. М.: ГУ ВШЭ, 2005.

125. Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М.: «Наука», 1989.

126. Оганесян Т. Стремя, породившее феодализм // Эксперт. 2009. № 29.

127. Ольсевич Ю. К релятивистской экономической теории // Вопросы экономики. 1995. № 6.

128. Ольсевич Ю. Хозяйственная трансформация и трансформация теории // Вопросы экономики. 1998. № 5.

129. Ольсевич Ю.Я. Психологические основы экономического поведения. М.: ИНФРА-М, 2010.

130. Павленко Д.В. Хозяйственный этос архаической Греции // Альманах центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств и наук СПбГУ 2014. М.–СПб.: Изд-во Института Гайдара, 2014.

131. Пигу А. Экономическая теория благосостояния: в 2 т. М.: Прогресс, 1985.

132. Покидченко М.Г. Исторический подход в оценке экономических теорий // XVI Апрельская международная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. Кн. 2.

133. Покидченко М.Г. Социально-экономическая мысль России середины XVIII – начала XX в. // Пути развития экономики России: теория и практика / под ред. М.Г. Покидченко, Л.Н. Сперанской, Т.А. Дробышевской. М.: ИНФРА-М, 2012.

134. Полтерович В. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации // Вопросы экономики. 2009. № 6.

135. Полтерович В. Позитивное сотрудничество: факторы и механизмы эволюции // Вопросы экономики. 2016. № 11.

136. Полтерович В.М. Общий социальный анализ и проектирование реформ // Журнал Новой экономической ассоциации. 2013. № 1.

137. Полтерович В.М. Становление общего социального анализа // Общественные науки и современность. 2011. № 2.

138. Полтерович В.М. Становление общего социального анализа. MPRA Paper no. 26085. 2010. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/26085/

139. Попов Е.В. Культурный фактор методологии экономической науки // Журнал экономической теории. 2015. № 3.

140. Пороховский А.А. Политическая экономия на рубеже столетий // Вопросы политической экономии. 2012. № 1.

141. Поспелов И.Г. Равновесные модели экономики в период мирового финансового кризис // Труды МФТИ. 2009. Т. 1, № 4.

142. Радаев В. Какой модели человека принадлежит будущее – экономической, социологической? // Стенограмма семинара научного руководителя ГУ-ВШЭ Е.Г. Ясина «Экономическая политика в условиях переходного периода», заседание 26 сентября 2007 г. URL: http://www.hse.ru/data/948/899/1235/seminar_26.09.2007.pdf

143. Райнерт Э. Повторение пройденного // Эксперт. 2011. № 1.

144. Расков Д. О чем говорит Кламер // Кламер А. Странная наука экономика: приглашение к разговору. М.–СПб.: Изд-во Института Гайдара, 2015.

145. Ремарк Э.М. Триумфальная арка. М.: Олма-Пресс, 2002.

146. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Эксмо, 2009.

147. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. М.: АНФ, 2014.

148. Роббинс Л. История экономической мысли. Лекции в Лондонской школе экономики. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013.

149. Роджерс Э. Физика для любознательных: в 3 т. М.: Мир, 1970.

150. Розмаинский И.В. Введение в посткейнсианство // Идеи и идеалы. 2010. № 1.

151. Розмаинский И.В. Вклад Х.Ф. Мински в экономическую теорию и основные причины кризисов в позднеиндустриальной денежной экономике // Terra Economicus. 2009. Т. 7, № 1.

152. Рубини Н., Мим С. Как я предсказал кризис: экстренный курс подготовки к будущим потрясениям. М.: Эксмо, 2011.

153. Рубинштейн А.Я. К проблеме общего социального анализа // Сайт Новой экономической ассоциации. [М.], 2011. URL: http://www.econorus.org/sub.phtml?id=179

154. Рубинштейн А.Я. Ранжирование российских экономических журналов: научный метод или «игра в цифирь» // Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. № 2. С. 162–175.

155. Рубченко М. Без баланса // Эксперт. 2010. № 29.

156. Рубченко М. Без шоковых рецептов // Эксперт. 2011. № 4.

157. Рязанов В. Политическая экономия особенного: начала русской исследовательской традиции // Российский экономический журнал. 2011. № 5.

158. Рязанов В. Русская школа экономической мысли: универсально-всеобщее и национально-особенное // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2010a. № 3.

159. Рязанов В.Т. Мировой экономический кризис и его последствия // Христианское чтение. 2010b. № 4.

160. Савенкова И.Ю. Джозайя Чайлд (1630–1699) как идеолог британской экспансии в Индии // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. 2010. № 19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2010_19_12

161. Садовский М. Время политкорректности закончилось // Эксперт-Урал. 2016. № 27.

162. Сапир Ж. Кредит: рычаг или пузырь? // Эксперт. 2013. № 37.

163. Селигмен Э. Экономическое понимание истории. М.: Либроком, 2015.

164. Семенов Ю.И. Философия истории. Общая теория исторического процесса. М.: Академический проект; Трикста, 2013.

165. Скидельски Р. Кейнс: возвращение мастера. М.: Юнайтед Пресс, 2011.

166. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2009.

167. Столбов М. Кризис экономики или кризис экономической науки? [М.: МГИМО], 2009. URL: http://old.mgimo.ru/news/experts/document129890.phtml

168. Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.

169. Сумленный С. Нежеланный стимул // Эксперт. 2009. № 1.

170. Татаркин А.И. Историческая эволюция экономической теории: от учения о домоводстве через политическую экономию к экономикс // Журнал экономической теории. 2014. № 4.

171. Татаркин А.И., Мальцев А.А. История экономических учений: оценка прошлого и перспективы будущего // Журнал экономической теории. 2015. № 2.

172. Татаркин А.И., Мальцев А.А. Трансформация научного знания под воздействием экономических кризисов // Журнал экономической теории. 2016. № 3.

173. Толкачев С.А. Экономическая теория и философия постмодернизма // История экономических учений: учебник и практикум / под ред. С.А. Толкачева. М.: Юрайт, 2015.

174. Уэллс Г. Машина времени. М.: Художественная литература, 1972.

175. Фридман М. Капитализм и свобода. М.: Новое издательство, 2006.

176. Хеннер В. Зачем Америке столько физиков // Эксперт. 2013. № 39.

177. Худокормов А.Г. Развитие экономической мысли через ее периодические кризисы (к вопросу об общем принципе эволюции мировой экономической теории в XX веке). М.: Ин-т экономики РАН, 2012.

178. Худокормов А.Г. Существуют ли законы истории экономической мысли? // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2005. № 1.

179. Худокормов А.Г. Экономическая теория: новейшие течения Запада. М.: ИНФРА-М, 2013.

180. Цвайнерт Й. История экономической мысли в России, 1805–1905. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008.

181. Чанг Х.-Д. Как устроена экономика. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.

182. Черковец В.Н. Размышления о прошлом и настоящем: очерки политической экономии. М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014.

183. Шеховцев М. Что сулит миру интернет-вещей // Эксперт. 2016. № 48.

184. Широкорад Л.Д. Влияние идеологии на развитие политической экономии в СССР в 1920–1930-е годы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5: Экономика. 2010. № 1.

185. Шишков Ю.В. Государство в эпоху глобализации // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 1.

186. Шишков Ю.В. Национальное государство: становление, развития, закат. Что дальше? М.: ИМЭМО РАН, 2011.

187. Шлыков В. Управление экономикой США в кризисных и чрезвычайных условиях: уроки для России // Власть. 1999. № 10.

188. Шмоллер Г. Народное хозяйство: наука о народном хозяйстве и ее методы. М.: Либроком, 2012.

189. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: в 3 т. СПб.: Экон. шк., 2001.

190. Эрроу К.Дж. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов // Thesis. 1993. Вып. 2.

191. Ядгаров Я.С. История экономических учений. М.: ИНФРА-М, 2009.

192. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991.

193. A Brief History of Deposit Insurance in the United States. Federal Deposit Insurance Corporation, 1998. URL: https://www.fdic.gov/bank/historical/brief/brhist.pdf

194. Abelshauser W. Germany: Guns, Butter, and Economic Miracles // Harrison M. (ed.). The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

195. Abowd J.M., Kramarz F., Lemieux T., Margolis D.N. Minimum Wages and Youth Employment in France and the United States // Blanchflower D.G., Freeman R.B. (eds.). Youth Employment and Joblessness in Advanced Countries. Chicago: University of Chicago Press, 2000.

196. Abramovitz M. Catching up, Forging Ahead, and Falling Behind // Journal of Economic History. 1986. Vol. 46.

197. Acemoglu D. Course 14.461 – Advanced Macroeconomics. Lection 10: Creativity and Leadership. 2013. October 8. URL: http://economics.mit.edu/files/9107/

198. Acs Z.J., FitzRoy F.R., Smith I. Contrasting U.S. Metropolitan Systems of Innovation // De La Monte J., Paquet G. (eds.). Local and Regional Systems of Innovation. Norwell: Kluwer, 1998.

199. Adler R., Ewing J., Taylor P. Citation Statistics // Statistical Science. 2009. Vol. 24, No. 1.

200. Aiginger K. Production and Decision: Theory and Uncertainty. Oxford: Blackwell, 1987. http://karl.aiginger.wifo.ac.at/fileadmin/files_aiginger/publications/Production_and_Decision.PDF

201. Akerlof G.A., Shiller R.J. Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism. Princeton: Princeton University Press, 2009.

202. Alexander G.S. Commodity & Propriety: Competing Visions of Property in American Legal Thought, 1776-1970.Chicago: The University of Chicago Press, 1997.

203. Allen L. The Encyclopedia of Money. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO, 2009.

204. Allen R.C. The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the First World War // Explorations in Economic History. 2001. Vol. 38.

205. Almodovar A., de Fátima Brandão M. Is There Any Progress in Economics? Some Answers From the Historians of Economic Thought. FEP Working Paper, 2005. No. 192.

206. Alston R. et al. Is There a Consensus Among Economists in the 1990s? // American Economic Review. 1992. Vol. 82, Iss. 2.

207. Alt J.E., Chrystal K.A. Political Economics. Berkeley: University of California Press, 1980.

208. Altman R.E. The Great Crash, 2008. A Geopolitical Setback for the West // Foreign Affairs. 2009. January/February.

209. Alvey J.E. Adam Smith's Pessimistic View of the Future of Commercial Society: Rhetoric or Reality: Discussion Paper 23705. Palmerston North: Massey University, 2003.

210. Alvey J.E. John Maynard Keynes: A Centennial Assessment // Wood J. (ed.). John Maynard Keynes: Critical Assessments. L.: Routledge, 1994. Vol. VII.

211. Amadae S.M. Rationalizing Capitalist Democracy: the Cold War Origins of Rational Choice Liberalism. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

212. Ambirajan S. The Professionalization of Economics in India // History of Political Economy. 1996. Vol. 28 (Supplement).

213. Analytical Perspectives, Budget of the United States Government. Fiscal Year 2002. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2001.

214. Anderson E.A. Joseph A. Schumpeter: A Theory of Social and Economic Evolution. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011.

215. Anderson G.L. The Social Economy of Late-Victorian Clerks // Crossick G. (ed.). The Lower Middle Class in Britain. L.: Croom Helm, 1977.

216. Anderson P. Passages from Antiquity to Feudalism. N.Y.: Verso, 1996.

217. Angenendt A. Donationes pro Anima: Gift and Countergift in the Early Medieval Liturgy // Davis J.R., McCormick M. (eds.). The Long Morning of Medieval Europe: New Directions in Early Medieval Studies. Aldershot: Ashgate, 2008.

218. Angner E., Loewenstein G. Behavioral Economics // Mäki U. (ed.). Handbook of The Philosophy of Science: Philosophy of Economic. Amsterdam: Elsevier, 2012.

219. Argyrous G., Thornton T. Political Economy in Australian Universities // The Economics Curriculum: Towards a Radical Reformation: WEA Conference (May, 3 – June 14, 2013). URL: http:// curriculumconference2013.weaconferences.net/papers/political-economy-in-australian-universities/

220. Arnon A. Keynes, Wicksell and Active Monetary Policy // Arnon A. et al. (eds.). Perspective on Keynesian Economics. Heidelberg: Springer, 2011.

221. Aromi J.D. The (Formal) Return to Openness: A Quantitative Contribution to the History of Economic Thought // Journal of Applied Economics. 2013. Vol. 16, No. 2.

222. Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Time. N.Y.: Verso, 1990.

223. Arrow K. Risky Business // The Guardian. 2008. October 15.

224. Ashenfelter O. Economic History or History of Economics? A Review Essay on Sylvia Nasar's Grand Pursuit: The Story of Economic Genius: IZA Discussion Paper no. 6213. Bonn, 2011.

225. Asimakopulos A. Keynes's General Theory and Accumulation. Melbourne, N.Y.: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1995.

226. Aslanbeigui N., Naples M.I. The Changing Status of the History of Thought in Economics Curricula // Aslanbeigui N., Choi Y.B. (eds.). Borderlands of Economics: Essays in Honor of Daniel R. Fustfeld. L.−N.Y.: Routledge, 1997.

227. Athukorala P.-C. Multinational Production Networks and the New Geo-Economic Division of Labour in the Pacific Rim: Working Paper no. 09. Canberra: Australian National University, 2006. https://crawford.anu.edu.au/acde/publications/publish/papers/wp2006/wp-econ-2006-09.pdf

228. Atley T., McFarlane B. Maurice Dobb, Historical Materialism, and Economic Thought // Medema S.G., Samuels W.J. (eds.). Historians of Economics and Economic Thought: The Construction of Disciplinary Memory. N.Y.: Routledge, 2001.

229. Atkinson G. Pecuniary Institutions: Their Role and Effects // Knoelder J.T., Prasch R.E., Champlin D.P. (eds.). Thorstein Veblen and the Revival of Free Market Capitalism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007.

230. Atkinson R.D., Stewart L.A., Andes S.M., Ezell S.J. Worse than the Great Depression: What Experts Are Missing about American Manufacturing Decline. ITIF, 2012.

231. Audretsch D.B. The Entrepreneurial Society. Oxford: Oxford University Press, 2007.

232. Audretsch D.B., Thurik A.R. A Model of the Entrepreneurial Economy: Discussions Paper on Entrepreneurship, Growth and Public Policy no. 1204. Jena, 2004.

233. Augier M., March J. The Roots, Rituals, and Rhetoric of Change: North American Business Schools after Second World War. Stanford, CA: Stanford University Press, 2011.

234. Ayres C.E. The Theory of Economic Progress: A Study of the Fundamentals of Economic Development and Cultural Change. 2nd edition. N.Y.: Schocken Books, 1962.

235. Backhouse R.E. Economics // Backhouse R.E., Fontaine P. (eds.). The History of the Social Sciences since 1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

236. Backhouse R. Economics, Sociology of // Beckert J., Zafirovski M. (eds.). International Encyclopedia of Economic Sociology. L.−N.Y.: Routledge, 2006.

237. Backhouse R. Economists and the Economy: The Evolution of Economic Ideas. N.Y.: Basil Blackwell, 2002.

238. Backhouse R.E. Interpreting Macroeconomics: Explorations in the. History of Macroeconomic Thought. L.−N.Y.: Routledge, 1995.

239. Backhouse R.E. Rejoinder: Why Methodology Matters // Methodus. 1992a. December.

240. Backhouse R.E. The Constructivist Critique of Economic Methodology // Methodus. 1992b. June.

241. Badiou A. Metaphysics and the Critique of Metaphysics // The Warwick Journal of Philosophy. 2000. No. 10.

242. Bairoch P. Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present. Chicago: University of Chicago Press, 1988.

243. Barro R.J. Human Capital and Economic Growth // Policies for Long-Run Economic Growth: Symposium Proceedings. Federal Reserve Bank of Kansas City, 1992.

244. Barrett S. John Kells Ingram (1823–1907) // Trinity Economic Paper Series. 2001. No. 99/9.

245. Bateman B. Sitting on a Log with Adam Smith: The Future of the History of Economic Thought at the Liberal Arts Colleges // History of Political Economy. 2002. Annual Supplement. Vol. 34.

246. Baudrillard J. For a Critique of the Political Economy of the Sign. St. Louis: Telos Press, 1981.

247. Beck U. World Risk Society. Cambridge: Polity Press. 1999; Giddens A. Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. L.: Profile, 1999.

248. Belbruno J. Keynes and Schumpeter: Cycle, Crisis, Growth (Part II) // The Economics Forum 21: Joseph Belbruno's Blog. 2011. July 21. URL: http://www.eforum21.com/2011/07/keynes-and-schumpeter-cycle-crisis.html

249. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. N.Y.: Basic Books, 1999.

250. Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. N.Y.: Basic Books, 1976.

251. Bell S. Neglected Costs of Monetary Union: The Loss of Sovereignty in the Sphere of Public Policy // Bell S.A., Nell E.J. (eds.). The State, the Market and the Euro: Chartalism versus Metallism in the Theory of Money. Northampton: Edward Elgar, 2003.

252. Bentham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Kitchener: Batoche Books, 2000.

253. Berg M. The Machinery Question and the Making of Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

254. Bergh A. Peak Experiment and the Revenge of Neo-Classical Economics? // The capitalist welfare state: Andreas Bergh's Blog. 2015. May 20. URL: http://tcw.postach.io/post/peak-experiment-and-the-revenge-of-neo-classical-economics/

255. Bhatia H.L. History of Economic Thought. New Delhi: VIKAS, 2004.

256. Birdwhistell J.D. Mencius and Masculinities: Dynamics of Power, Morality, and Maternal Thinking. Albany: State University of New York, 2007.

257. Bivens J. Public Investment: The Next 'New Thing' for Powering Economic Growth. Briefing Paper #338. Washington, DC: Economic Policy Institute, 2012.

258. Blackford M.G. A History of Small Business in America. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 2003.

259. Blanchard O. How the Crisis Changed Macroeconomics // World Economic Forum. 2014. October 6. URL: https://www.weforum.org/agenda/2014/10/olivier-blanchard-financial-crisis-macroeconomics/

260. Blanchard O. Rewriting the Macroeconomists' Playbook in the Wake of the Crisis // IMFdirect – IMF global economy forum. 2011. March 4. URL: http://blog-imfdirect.imf.org/2011/03/04/2662/

261. Blanchard O. The State of Macro: Working Paper no. 14259. Cambridge, MA: NBER, 2008.

262. Blaug M. Economic Theory in Retrospect. 5th ed. N.Y.: Cambridge University Press, 1997.

263. Blaug M. John Maynard Keynes: Life, Ideas, Legacy. L.: Palgrave Macmillan, 1990a.

264. Blaug M. Misunderstanding Classical Economics: The Sraffian Interpretation of the Surplus Approach // Nisticò S., Tosato D. (eds.). Competing Economic Theories: Essays in Memory of Giovanni Caravale. L.−N.Y.: Routledge, 2002.

265. Blaug M. No History of Ideas, Please, We're Economists // Journal of Economic Perspectives. 2001. Vol. 15, No. 1.

266. Blaug M. Not Only an Economist – Autobiographical Reflections of a Historian of Economic Thought // Szenberg M., Ramrattan L. (eds.). Reflections of Eminent Economists. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2004.

267. Blaug M. On the Historiography of Economics // Journal of the History of Economic Thought. 1990b. Vol. 12, No. 1.

268. Blaug M. Paradigms versus Research Programmes in the History of Economics // Hausman D.M. (ed.). The Philosophy of Economics: An Anthology. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

269. Blaug M. The Formalist Revolution of the 1950s // Samuels W.J., Biddle J.E., Davis J.B. (eds.). A Companion to the History of Economic Thought. Oxford: Blackwell, 2003.

270. Blaug M., Vane H. (eds.). Who's Who in Economics. Cheltenham: Edward Elgar, 2003.

271. Bloy M. Causes of the Discontent and Distress, 1812–22 // A Web of English History. 2016a. URL: http://www.historyhome.co.uk/c-eight/distress/distress.htm

272. Bloy M. The 1662 Settlement Act // Victorian Web. 12 November 2002. URL: http://www.victorianweb.org/history/poorlaw/settle.html

273. Bloy M. The Continental System // A Web of English History. 2016b. URL: http://www.historyhome.co.uk/c-eight/france/consys.htm

274. Bohm D., Peat F.D. Science Order and Creativity. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2000.

275. Boettke P.J. Calculation and Coordination: Essays on Socialism and Transitional Political Economy. L.−N.Y.: Routledge, 2001a.

276. Boettke P.J. F.A. Hayek as an Intellectual Historian of Economics // Medema S. G., Samuels W.J. (eds.). Historians of Economics and Economic Thought: The Construction of Disciplinary Memory. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2001b.

277. Boettke P.J. Introduction // Boettke P.J. (ed.). The Collapse of Development Planning. N.Y.−L.: New York University Press, 1994.

278. Boettke P.J. The Use and Abuse of the History of Economic Thought within the Austrian School of Economics // History of Political Economy. 2002. Annual Supplement. Vol. 34.

279. Boettke P.J., Coyne C.J., Leeson P.T. Contra-Whig History of Economic Ideas and the Problem of Endogenous Past; Working Paper no. 10-31. George Mason University, 2010.

280. Boettke P.J., Coyne C.J., Leeson P.T. Earw(h)ig: I Can’t Hear You Because Your Ideas Are Old // Cambridge Journal of Economics. 2014. Vol. 38.

281. Bohum J. Protecting Prerogative: William III and the East India Trade Debate, 1689–1698 // Past Imperfect. 1993. Vol. 2.

282. Boland L.A. The Foundations of Economic Method: A Popperian Perspective. L.−N.Y.: Routledge, 2003.

283. Boldizzoni F. On the History and Policy: Time in the Age of Neoliberalism: Discussion Paper no. 13/6. Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2013.

284. Boldizzoni F. The Poverty of Clio: Resurrecting Economic History. Princeton: Princeton University Press, 2011.

285. Bolduing K.E. After Samuelson, Who Needs Adam Smith? // History of Political Economy. 1971. Vol. 3. No.2.

286. Bomze I.M. Uniform Barriers and Evolutionary Stable States // Leinfellner W., Köhler E. (eds.). Game Theory, Experience, Rationality: Foundations of Social Sciences, Economics and Ethics. In Honor of John C. Harasanyi. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998.

287. Boumans M., Davis J.B. Economic Methodology: Understanding Economics as a Science. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010.

288. Bourguignon F., Coyle D., Fernandez R. et al. Making Sense of Globalization: A Guide to Economic Issues: CEPR Policy Paper no. 8. L.: Centre for Economic Policy Research, 2002.

289. Bowden S. Consumption and Consumer Behavior // Wrigley S. (ed.). A Companion to Early Twentieth Century Britain. Oxford: Blackwell, 2003.

290. Box G.E.P., Draper N.R. Empirical Model-Building and Response Surfaces. N.Y.: Wiley, 1987.

291. Boyer G. R., Hatton T.J. New Estimates of British Unemployment, 1870–1913 // Journal of Economic History. 2002. Vol. 62, No. 3.

292. Brady G.L. The Rockefeller Foundations Financing of the NBER Study of the Soviet Economy. Rockefeller Archive Center, 2004. URL: http://www.rockarch.org/publications/resrep/brady.pdf

293. Braudel F. Civilization and Capitalism, 15–18th Century: The Perspective of the World. Berkeley, CA: University of California Press, 1992.

294. Braverman H. Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century. N.Y.: Monthly Review Press, 1998.

295. Breisach E. On the Future of History: The Postmodernist Challenge and Its Aftermath. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

296. Bresnahan T.F., Trajtenberg M. General Purpose Technologies: 'Engines of Growth?' Working Paper no. 4148. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 1992.

297. Brewer A. Luxury and Economic Development: David Hume and Adam Smith // Scottish Journal of Political Economy. 1998. Vol. 45, Iss. 1.

298. Brey A., Innerarity D., Mayos G. The Ignorance Society and Other Essays. Barcelona: Zero Factory, 2009.

299. Brittan S. Capitalism with Human Face. Aldershot: Edward Elgar, 1995.

300. Broadberry S., Gupta B. Cotton Textiles and the Great Divergence: Lancashire, India and Shifting Competitive Advantage, 1600–1850. University of Warwick, 2005.

301. Broadberry S., Howlett P. The United Kingdom: 'A Victory of All Costs' // Harrison M. (ed.). The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison. Cambridge: CUP, 2000.

302. Broadberry S.N., Campbell B.M.S., Klein A., Overton M., Leeuwen, B. van. British Economic Growth, 1270–1870: Working Paper no. 35. Coventry: University of Warwick, 2010.

303. Brooker J.S., Bentley J. Reading the 'Waste Land': Modernism and the Limits of Interpretation. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1990.

304. Brown A.J. Applied Economics: Aspects of the World Economy in War and Peace. L.: Routledge, 2003. Vol. 1.

305. Brown C. Inequality, Consumer Credit and Saving Puzzle. Northampton: Edward Elgar, 2008.

306. Brown D. Historical Perspectives on Communication Technology // Grant A.E., Meadows J. (eds.). Communication Technology Update and Fundamentals. Boston: Focal Press, 2008.

307. Brown M.B. Imperialism Revisited // Chilcote R.H. (ed.). The Political Economy of Imperialism: Critical Appraisals. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1999.

308. Brown R. Society and Economy in Modern Britain, 1700–1850. L.: Routledge, 1991.

309. Bryant J.M. Moral Codes and Social Structure in Ancient Greece: A Sociology of Greek Ethics from Homer to the Epicureans and Stoics. Albany: State University of New York Press, 1996.

310. Bryant W.D.A. General Equilibrium: Theory and Evidence. Singapore: World Scientific Publishing Co., 2010.

311. Brzezinski Z. Between the Ages: America's Role in the Technotronic Age. N.Y.: Viking Press, 1970.

312. Brzezinski Z. The Geostrategic Triad: Living with China, Europe, and Russia. Washington, DC: The CSIS Press, 2001.

313. Buckley G., Desai S. What You Need to Know About Economics. Chichester: Capstone Publishing, 2011.

314. Bunge M. Social Science under Debate: A Philosophical Perspective. Toronto: University of Toronto Press, 1999.

315. Burdekin R.C.H., Siklos P.L. Gold Resumption and the Deflation of the 1870s // Parker R.E., Whaples R. (eds.). Routledge Handbook of Major Events in Economic History. N.Y.: Routledge, 2013.

316. Burdekin R.C.K., Siklos P.L. Deflation: Current and Historical Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

317. Burke E. Modernity's Histories: Rethinking the Long Nineteenth Century, 1750–1950 // University of California World History Workshop. Berkeley, 2000. URL: http://escholarship.org/uc/item/2k62f464/

318. Burke J., Epstein G., Choi M. Rising Foreign Outsourcing and Employment Losses in U.S. Manufacturing, 1987–2002: Working Paper no. 89. PERI, 2004.

319. Burke P. History and Social Theory. Cambridge: Polity Press, 2005.

320. Burley P., Foster J. (eds.). Economics and Thermodynamics: New Perspectives on Economic Analyses. N.Y.: Springer Science, 1994.

321. Bush S.B. Derivatives and Development: A Political Economy of Global Finance, Farming, and Poverty. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2012.

322. Butler C. The Agricultural Revolution in Medieval Europe// The Flow of History Website. 2007a. URL: http://www.flowofhistory.com/units/west/10/FC63

323. Butler C. The Rise of Dutch Republic in the 1600s // The Flow of History Website. 2007b. URL: http://www.flowofhistory.com/units/west/14/FC93

324. Caldwell B.J. Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century. L.–N.Y.: Routledge, 1994.

325. Cameron R.E. A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present. N.Y.: Oxford University Press, 1993.

326. Canterbery E.R. A Brief History of Economics: Artful Approaches to the Dismal Science. Singapore: World Scientific Publishing, 2011.

327. Caplow T. et al. Recent Social Trends in the United States, 1960–1990. Montreal & Kingston: McGill Queen's University Press, 1991.

328. Carabelli A. Keynes: Economics as a Branch of Probable Logic // Runde J., Muzuhara S. (eds.). The Philosophy of Keynes's Economics: Probability, Uncertainty and Convention. L.: Routledge, 2003.

329. Carré E., Couppey-Soubeyranb J., Plihonc D., Pourroy M. Central Banking in the Aftermath of the Crisis: Back to the Past? Working Paper no. 386. PERI, 2015.

330. Carroll R., Prante G., Quek R. The R&D Credit: An Effective Policy for Promoting Research Spending. Ernst & Young, 2011.

331. Carson K.A. Mercantilism, Colonialism and the Creation of the ‘World Market’ // Carson K.A. Studies in Mutualist Political Economy. 2004. URL: http://kevinacarson.org/mpe/

332. Casey C. Critical Analyses of Organizations: Theory, Practice, Revitalization. L.: Sage Publications, 2002.

333. Cassis Y. Big Business: The European Experience in the Twentieth Century. Oxford: Oxford University Press, 1997.

334. Castells M. The Network Society: From Knowledge to Policy // Castells M., Cardoso G. (eds.). The Network Society: From Knowledge to Policy. Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic Relations, 2005.

335. Cattell R.B. A New Morality from Science: Beyondism. N.Y.: Pergamon Press, 1972.

336. Chambliss J.J. (ed.). Philosophy of Education: An Encyclopedia. N.Y.: Routledge, 1996.

337. Chandler A.D. Giant Enterprise: Ford, General Motors, and the Automobile Industry. N.Y.: Harcourt, Brace & World, 1964.

338. Chandler A.D. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

339. Chang H.-J. Kicking away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. L.: Anthem Press, 2003.

340. Chan-Lee J.H., Sutch H. Profits and Rates of Return: Working Paper no. 20. Paris: OECD Economics and Statistics Department, 1985.

341. Chapman R. (ed.). Culture Wars: An Encyclopedia of Issues, Viewpoints, and Voices. N.Y.: M.E. Sharpe, 2010. Vol. 1.

342. Chase R. Keynes and the US Keynesianism: A Lack of Historical Perspective and the Decline of the New Economics // Wood J.C. (ed.). John Maynard Keynes: A Critical Assessment. L.: Croom Helm, 1983. Vol. 5.

343. Chaudhary S. (ed.). Global Encyclopedia of Welfare Economics. New Delhi: Global Vision Publishing House, 2009.

344. Chaufen A.A. Faith and Liberty: The Economic Thought of the Late Scholastics. Lanham: Lexington Books, 2003.

345. Che W. How Engels Criticized Duhring’s Apriorism – Notes in Studying “Anti-Duhring” // Peking Review. 1972. Vol. 15. No. 2.

346. Choi Y.B. The Americanization of Economics in Korea // History of Political Economy. 1996. Vol. 28 (Supplement).

347. Chotiner I. Thomas Piketty: I Don’t Care for Marx: Interview with the Left’s Rock Star Economist // New Republic. 2014. May 6. URL: http://www.newrepublic.com/article/117655/thomas-piketty-interview-economist-discusses-his-distaste-marx

348. Christian D. Macrohistory: The Play of Scales // Social Evolution and History. 2005. Vol. 4(1).

349. Christian D. Maps of Time: An Introduction to Big History. Berkeley, CA: University of California Press, 2004.

350. Christian D. The Return of Universal History // History and Theory. 2010. Vol. 49, Iss. 4.

351. Christian M.S. Human Capital Accounting in the United States, 1994-2006 // Survey of Current Business. 2010. June.

352. Christiansen O. From the 'History of Economic Thought' to 'Economic Intellectual History' // Ideas in History. 2012. Vol. 6, No. 2.

353. Christodoulakis N. How Crises Shaped Economic Ideas and Policies: Wiser After the Events? Heidelberg, N.Y.: Springer, 2015.

354. Clark B. Political Economy: A Comparative Approach. Westport: Praeger Publishers, 1998.

355. Clark C.M. Werner Stark and the Sociology of Knowledge Approach to the History of Economics // Medema S.G., Samuels W.J. (eds.). Historians of Economics and Economic Thought: The Construction of Disciplinary Memory. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2001.

356. Clarke C. An Interview with Paul Samuelson, Part two // The Atlantic. 2009. June 18. URL: http://www.theatlantic.com/politics/archive/2009/06/an-interview-with-paul-samuelson-part-two/19627/

357. Clift J. Concentrating the Mind. Jeremy Clift interviews Professor Allan H. Meltzer // Finance and Development. 2003. June. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2003/06/pdf/people.pdf

358. Coase R.H. Essays on Economics and Economists. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

359. Coase R.H. George J. Stigler: An Appreciation // Regulation. 1982. November/December.

360. Coase R.N. Alfred Marshall's Mother and Father // Wood J.C. (ed.). Alfred Marshall: Critical Assessments. L.–N.Y.: Routledge, 1996. Vol. VI.

361. Coats A.W. Is there a Structure of Scientific Revolutions in Economics? // Kyklos. 1969. Vol. 22, No. 2.

362. Coats A.W. On the History of Economic Thought: British and American Economic Essays. L.: Routledge, 1992. Vol. 1.

363. Coats A.W. The Sociology and Professionalization of Economics: British and American Economic Essays. L.: Routledge, 1993.

364. Cochrane J.H. How Did Paul Krugman Get It So Wrong? // Economic Affairs. 2011. June.

365. Coddington A. Hicks's Contribution to Keynesian Economics/The Life of John Maynard Keynes // Wood J.S. (ed.). John Maynard Keynes: A Critical Assessment. Kent: Croom Helm, 1983. Vol. 5.

366. Cohan P. Big Risk: $1.2 Quadrillion Derivatives Market Dwarfs World GDP // DailyFinance.com. 2010. June 9. URL: http://www.dailyfinance.com/2010/06/09/risk-quadrillion-derivatives-market-gdp/

367. Cohen A.J., Emmett R.B. Why and How to Teach the History of Economic Thought: Economics as Historically Produced Knowledge // Hoyt G.M., McGoldrick K. (eds.). International Handbook on Teaching and Learning Economics. Cheltenham: Edward Elgar, 2012.

368. Cohen B. Newton and the Social Sciences, with Special Reference to Economics, or, the Case of the Missing Paradigm // Mirowski P. (ed.). Natural Images in Economic Thought 'Markets Read in Tooth and Claw'. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

369. Colander D. Moving Beyond the Rhetoric of Pluralism: Suggestions for the An ‘Inside-the-Mainstream’ Heterodoxy // Garnett R. et al. (eds.). Economic Pluralism. L.−N.Y.: Routledge, 2010.

370. Colander D. The Death of Neoclassical Economics // Journal of the History of Economic Thought. 2000. Vol. 22, No. 2.

371. Colander D. The Making of an Economist Redux // The Journal of Economic Perspectives. 2005. Vol. 19, No. 1.

372. Colander D. The Making of Economist, Redux. Princeton: Princeton University Press, 2007.

373. Colander D. The Making of the European Economist. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

374. Colander D. What We Taught and What We Did: The Evolution of U.S. Economic Textbooks (1830–1930) // Il pensiero economico italiano. 2006. Vol. XIV.

375. Colander D., Holt R., Rosser B. The Changing Face of Mainstream Economics // Review of Political Economy. 2004. Vol. 16, No. 4.

376. Colander D., Holt R.P.F., Rosser J.B. How to Win Friends And (Possibly) Influence Mainstream Economics // Journal of Post-Keynesian Economics. 2010. Vol. 32.

377. Colander D., Holt R.P.F., Rosser J.B. Live and Dead Issues in the Methodology of Economics // Journal of Post-Keynesian Economics. 2007. Vol. 30, No. 2.

378. Colander D., Klamer A. The Making of an Economist // The Journal of Economic Perspectives. 1987. Vol. 1, No. 2.

379. Colander D., Rothschild C. The Sins of the Sons of Samuelson: Vision, Pedagogy, and the Zig-Zag Windings of Complex Dynamics // Journal of Economic Behavior and Organization. 2010. Vol. 74(3).

380. Conway E. The Case for Borrowing is Born Out of the Great Depression // The Telegraph. 2009. September 2.

381. Cordes C. Veblen’s ‘Instinct of Workmanship’, Its Cognitive Foundations, and Some Implications for Economic Theory // Journal of Economic Issues. 2005. Vol. 39, Iss. 1.

382. Corry B. Reflections of the History of Economic Thought or ‘a Trip Down Memory Lane’ // Murphy N., Prendegast R. (eds.). Contributions to the History of Economic Thought: Essays in Honour of R.D.C. Black. L.: Routledge. 2000.

383. Cossa L. Guide to the Study of Political Economy. L.: R. Clay, Sons, and Taylor, Bread Street Hill, 1880.

384. Cowden C.C. Game Theory, Evolutionary Stable Strategies and the Evolution of Biological Interactions // Nature Education Knowledge. 2012. Vol. 3.

385. Coyle D. The Mainstream Economics Curriculum Needs an Overhaul // CERP’s Policy Portal. 2014. May 4. URL: http://www.voxeu.org/article/mainstream-economics-curriculum-needs-overhaul

386. Crafts N. Globalisation and Economic Growth: A Historical Perspective. University of Gothenburg, 2003. http://www.cec.zju.edu.cn/reod/english/proimg/2010929111737746.pdf

387. Crotty J. The Realism of Assumptions Does Matter: Why Keynes-Minsky Theory Must Replace Efficient Market Theory as the Guide to Financial Regulation Policy: Working Paper no. 255. Political Economy Research Institute, 2011.

388. Dacey R., Carlson L.J. The Normative, Behavioral, and Prescriptive Problems of Game Theory in International Relations // Mershon International Studies Review. 1996. Vol. 40, No. 1.

389. Daggett S. Costs of Major U.S. Wars. Washington, DC: Congressional Research Service, 2010.

390. Dale G. Karl Polanyi: The Limits of the Market. Cambridge: Polity Press, 2010.

391. Dardi M., Gallegati M. Alfred Marshall on Speculation // Wood J.C. (ed.). Alfred Marshall: Critical Assessments. L., N.Y.: Routledge, 1996. Vol. VIII.

392. Daudin G., Morys M., O'Rourke K.H. Europe and Globalization, 1870–1914: Working Paper no. 2008-17. Observatoire français des conjonctures économiques, 2008.

393. Davidson P. Post World War II Politics and Keynes's Aborted Revolutionary Economic Theory // Economia e Sociedade. 2008. Vol. 17, special issue.

394. Davies P. Taking Science on Faith // Yagelski R.P. (ed.). Writing: Ten Core Concepts. Stamford: Cengage Learning, 2015.

395. Davis J.B. Mark Blaug on the Historiography of Economics // Erasmus Journal for Philosophy and Economics. 2013. Vol. 6, Iss. 3.

396. Davis J.B. The Turn in Economics: Neoclassical Dominance to Mainstream Pluralism? // Journal of Institutional Economics. 2006. Vol. 2, Iss. 1.

397. Davis J.R., McCormick M. (eds.). The Long Morning of Medieval Europe: New Directions in Early Medieval Studies. Aldershot, Burlington: Ashgate Publishing House, 2008.

398. Deane P. The Role of History of Economic Thought / Greenaway D., Bleaney M., Stewart I.M.T. (eds.). Companion to Contemporary Economic Thought. Abingdon. N.Y.: Routledge, 1991.

399. Deane P. The Evolution of Economic Ideas. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

400. De Soto J.H. The Austrian School: Market Order and Entrepreneurial Creativity. Northampton: Edward Elgar, 2008.

401. de Vroey M. The Transition from Classical to Neoclassical Revolution: a Scientific Revolution // Journal of Economic Issues. 1975. Vol. 9, No. 3.

402. DeLong J.B. Bretton Woods Blogging: Old Economic Thinking Is New, Or Is It That New Economic Thinking Is Old? // B. DeLong's Blog. 2011. http://delong.typepad.com/sdj/2011/04/bretton-woods-blogging-old-economic-thinking-is-new-or-is-it-that-new-economic-thinking-is-old.html

403. DeLong J.B. Robber Barons // Aslund A. (ed.). Perspectives on Russian Economic Development. Washington, DC: Carnegie Endowment, 1998.

404. DeLong J.B. The Classical Economists Perceive the Industrial Revolution. 1982. URL: http://www.j-bradford-delong.net/2008_pdf/DeLong_Classical_Economists/DeLong_Classical_Economists_1.pdf

405. Deng K.G. Development and Its Deadlock in Imperial China, 221 B.C. – 1840 A.D. // Economic Development and Cultural Change. 2003. Vol. 57, No. 2.

406. Devine T.M. The Scottish Nation 1700–2000. L.: Penguin, 2000.

407. Diacon P.-E., Calance M. The Relationship Between Behavioural and Neoclassical Economics // CES Working Papers. 2014. Vol. VI, Iss. 1.

408. Dicken P. Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. L.: SAGE Publications, 2007.

409. Dietrich W.S. In the Shadow of the Rising Sun: The Political Roots of American Economic Decline. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1991.

410. Dobb M. Theories of Value and Distribution Since Adam Smith: Ideology and Economic Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

411. Dolfsma W., Welch P.J. Paradigms and Novelty in Economics: The History of Economic Thought as a Source of Enlightement // American Journal of Economics and Sociology. 2009. Vol. 68, Iss. 5.

412. Dostaler G. Keynes and His Battles. Northampton: Edward Elgar, 2007.

413. Dow A., Dow S. Theories of Economic Development in the Scottish Enlightenment // HETSA Annual Conference. Brisbane, 2007.

414. Dow S. Weintraub and Wiles: The Methodological Basis of Policy Conflict // The Journal of Post-Keynesian Economics. 1981. Vol. 3, No. 3.

415. Dow S.C. Are there any Signs of Postmodernism with Economics? // Methodus. 1991. June.

416. Drakopoulos S.A., Karayiannis A.D. A Review of Kuhnian and Lakatosian ‘Explanations’ in Economics. MPRA Paper no. 16624. 2005.

417. Duarte P.G., Lima G.T. Introduction: Privileging Micro over Macro? A History of Conflicting Positions // Duarte P.G., Lima G.T. (eds.). Microfoundations Reconsidered: The Relationship of Micro and Macroeconomics in Historical Perspective. Northampton: Edward Elgar, 2012.

418. Duiker W.J., Spielvogel J.J. The Essential World History. Belmont: Thomson Higher Education, 2008.

419. Dunford C. An Average Joe’s Intellectual History of Western Europe—Deism and Philosophical Optimism in the 1700s // DarwinWatch: Chris Dunford’s Blog. 2014. March 21. URL: https://darwinwatch.wordpress.com/2014/03/21/an-average-joes-intellectual-history-of-western-europe-deism-and-philosophical-optimism-in-the-1700s/

420. Dunn B. Neither Free Trade nor Protection: A Critical Political Economy of Trade Theory and Practice. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar, 2015.

421. Dzarasov R. Post Keynesian Investment and Pricing Theory: Contributions of Alfred S. Eichner and Frederic S. Lee // Jo T-H., Todorova Z. (eds.). Advancing the Frontiers of Heterodox Economics: Essays in Honor of Frederic S. Lee. L.–N.Y.: Routledge, 2015.

422. Ebner A. Schumpeterian Entrepreneurship Revisited: Historical Specificity and the Phases of Capitalist Development // Journal of the History of Economic Thought. 2006. Vol. 28, No. 3.

423. Economic Impact of Recovery Act Investments in the Smart Grid. Washington, DC: U.S. Department of Energy, 2013.

424. Eichengreen B. The British Economy between the Wars // Floud R., Johnson P. (eds.). The Cambridge Economic History of Modern Britain. Cambridge (UK): CUP, 2008. Vol. 2.

425. Eichner A., Kergel J. An Essay in Post-Keynesian Theory: A New Paradigm in Economics // Journal of Economic Literature. 1975. Vol. 13, No. 4.

426. Einav L., Levin J. The Data Revolution and Economic Analysis // Lerner J., Stern S. (eds.). Innovation Policy and the Economy, Vol. 14. Cambridge, MA: NBER, 2014.

427. Elliot J.E. Marx's Grundrisse: Vision of Capitalism's Creative Destruction // Wood J.C. Karl Marx's Economics: Critical Assessments. L.: Routledge, 1991. Vol. 1.

428. Emmett R.B. (ed.). Selected Essays by F. Knight. Chicago: University of Chicago Press, 1999. Vol. 1.

429. Emmett R. Frank Knight and the Chicago School in American Economics. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2009.

430. Emmet R.B. Sharpening Tools in the Workshop: The Workshop System and the Chicago School's Success // van Horn R., Mirowski P., Stapleford T.A. (eds). Building Chicago Economics: New Perspectives on the History of America's Most Powerful Economic Programs. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

431. Engen D. The Economy of Ancient Greece // EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. 2004. July 31. URL: http://eh.net/encyclopedia/the-economy-of-ancient-greece/

432. Epstein G.A. Introduction: Financialization and the World Economy // Epstein G.A. (ed.). Financialization and the World Economy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2005.

433. Evers W.M. Specialization and the Division of Labour in the Social Thought of Plato and Rousseau // The Journal of Libertarian Studies. 1980. Vol. IV, No. 1.

434. Faber M., Proops J.L.R. Evolution, Time, Production and the Environment. Berlin: Springer, 1990.

435. Faggini M., Parziale A. The Failure of Economic Theory. Lessons from Chaos Theory // Modern Economy. 2012. No. 3.

436. Farish M. The Contours of America's Cold War. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.

437. Feiwel G.R. Intellectual Revolutions in Modern Economic Theory: Joan Robinson's Contributions and Challenges // Keio Economic Studies. 1987. Vol. 24, No. 2.

438. Feiwel G.R. Quo Vadis Macroeconomics? Issues, Tensions and Challenges // Feiwel G.R. (ed.). Issues in Contemporary Macroeconomics & Distribution. Albany: State University of New York Press, 1985.

439. Feldman S.M. Please Don't Wish Me a Merry Christmas: A Critical History of the Separation of Church and State. N.Y.–L.: New York University Press, 1997.

440. Feldstein M. The Effect of Social Security on Saving: NBER Working Paper no. 334. Cambridge, MA: NBER, 1979.

441. Fern E.J. Six Steps to the Future: How Mass Customization Is Changing Our World. American Society for Advancement of Project Management, 2002. URL: http://www.ipma-usa.org/articles/SixSteps.pdf

442. Fine J.V.A. The Ancient Greece: A Critical History. Harvard, 1983.

443. Fingleton E. Why Are Nobel Economists So Darned Useless // Forbes. 2014. October 13.

444. Finkelstein A. Harmony and the Balance: An Intellectual History of the Seventeenth-Century English Economic Thought. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2000.

445. Fitzgibbons A. The Microeconomic Foundations of Keynesian Economics // Dow S.C., Hillard J. (eds.). Keynes, Uncertainty and the Global Economy. Northampton: Edward Elgar, 2002. Vol. 2.

446. Flichy P. Understanding Technological Innovation: A Socio-Technical Approach. Cheltenham: Edward Elgar, 2007.

447. Fligstein N., Goldstein A. The Anatomy of the Mortgage Securitization Crisis // Lounsbury M., Hirsh P.M. (eds.). Markets on Trial: The Economic Sociology of the U.S. Financial Crisis. Bingley: Emerald Group Publishing, 2010. Part A.

448. Fogel R.W. Catching Up With the Economy // American Economic Review. 1999. Vol. 89(1).

449. Foley D.K. An Interview with Wassily Leontief // Samuelson P.A., Barnett W.A. (eds.). Inside the Economists Mind: Conversations with Eminent Economists. Oxford: Blackwell, 2007.

450. Foster J.B. Introduction to the New Edition // Braverman H. Labor and Monopoly Capital. The Degradation of Work in the Twentieth Century. N.Y.: Monthly Review Press, 1998.

451. Fourcade M. Economists and Societies: Discipline and Profession in the United States, Britain, and France, 1890s to 1990s. Princeton: Princeton University Press, 2009.

452. Francis A.D. The Methuens and Portugal. Cambridge: Cambridge University Press, 1966.

453. Frank A.G. Dependence is Dead, Long Live Dependence and the Class Struggle: A Reply to Critics // Chilcote R.H. (eds.). Development in Theory and Practice: Latin American Perspectives in the Classroom. Oxford: Rowman & Littlefield, 2003.

454. Frank A.G. That the Extent of Internal Market Is Limited by International Division of Labour and Relations of Production // Economic and Political Weekly. 1976. Vol. 11, No. 5/7.

455. Freeman A., Chick V., Kayatekin S. Samuelson's Ghosts: Whig History and the Reinterpretation of Economic Theory // Cambridge Journal of Economics. 2014. Vol. 38, No. 3.

456. Freeman C. The Political Economy of Long Wave // Hodgson G.M. (ed.). The Evolution of Economic Institutions: A Critical Reader. Cheltenham: Edward Elgar. 2007.

457. Frey B.S., Humbert S., Schneider F. What is Economics? Attitudes and Views of German Economists // Journal of Economic Methodology. 2010. Vol. 17, No. 3.

458. Friedberg A.L. In the Shadow of the Garrison State: America's Anti-Statism and Its Cold War Grand Strategy. Princeton: Princeton University Press, 2000.

459. Friedman D. Evolutionary Games in Economics // Econometrica. 1991b. Vol. 59, No. 3.

460. Friedman M. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

461. Friedman M. Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1953.

462. Friedman M. Inflation and Unemployment: Nobel Memorial Lecture, December 13, 1976. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1976/friedman-lecture.pdf

463. Friedman M. Nobel Lecture: Inflation and Unemployment // Milton Friedman on Economics: Selected Papers. Chicago: University of Chicago Press, 2007.

464. Friedman M. Old Wine in New Bottles // The Economic Journal. 1991a. Vol. 101, No. 404.

465. Friedman M. The Methodology of Positive Economics // Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1966.

466. Friedman M. The Role of Government in Education // Solo R.A. (ed.). Economics and the Public Interest. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1955.

467. Friedman M., Schwartz A.J. A Monetary History of the United States, 1867–1960. Princeton: Princeton University Press, 1963.

468. Friis E.E. Postmodernism, Globalization and the Metanarratives of Global- World- Transnational and Big-History: An Enquiry into How the Metanarratives of Contemporary Historiography Indicate a Shift of Paradigm beyond Postmodernism. 2013. URL: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/3810823

469. Fukuyama F. Friedrich F. Hayek – Big Government Skeptic // New York Times. 2011. May 6.

470. Fukuyama F. The End of History and the Last Man. N.Y.: Free Press, 1992.

471. Galbraith J.K. American Capitalism: The Concept of Countervailing Power. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1993.

472. Galbraith J.K. Economics in Perspective: A Critical History. Boston: Houghton Mifflin, 1987.

473. Galbraith J.K. How Keynes Came to America // Keynes M. (ed.). Essays on John Maynard Keynes. Cambridge: Cambridge University Press, 1975.

474. Galbraith J.K. The Essential Galbraith. N.Y.: Houghton Mifflin Company, 2001.

475. Galbraith J.K. The New Industrial State. Princeton: Princeton University Press, 2007.

476. Gallant T.W. Risk and Survival in Ancient Greece: Reconstructing the Rural Domestic Economy. Stanford, CA: Stanford University Press, 1991.

477. Galtung J. Macrohistory and Macrohistorians: A Theoretical Framework // Galtung J., Inayatullach S. (eds.). Macrohistory and Macrohistorians: Perspectives on Individual, Social, and Civilizational Change. Westport: Praeger, 1997.

478. Gang D. The Premodern Chinese Economy: Structural Equilibrium and Capitalist Sterility. L.: Routledge, 1999.

479. Ganshof F.L. Feudalism. N.Y.: Harper & Row, 1964.

480. Gass S.I., Assad A.A. An Annotated Timeline of Operation Research: An Informal History. Boston, MA: Kluwer Academic Publishres, 2005.

481. Gawer A. Platform Dynamics and Strategies: From Products to Services // Gawer A. (ed.). Platforms, Markets and Innovation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2009.

482. Gazeley I., Newell A. Poverty in Britain: An Early Social Survey Rediscovered: Working Paper no. 38. PRUS, 2007.

483. Gerlach C. Wu-Wei in Europe: A Study of Eurasian Economic Thought: Working Paper no. 12. London School of Economics, 2005.

484. Gerrits A. Nationalism in Europe since 1945. L.−N.Y.: Palgrave, 2016.

485. Gershuny J. Changing Times: Work and Leisure in Postindustrial Society. Oxford: Oxford University Press, 2000.

486. Gertner J. Does America Need Manufacturing? // New York Times. 2011. August 24.

487. Gilbert R.J., Kahn E.P. Competition and Institutional Change in U.S. Electric Power Generation // Gilbert R.J., Kahn E.P. (eds.). International Comparisons of Electricity Regulation. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

488. Gilpin R. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton: Princeton University Press, 2001.

489. Gimbel S. Einstein's Jewish Science: Physics at the Intersection of Politics and Religion. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2012.

490. Giraud Y. The Political Economy of Textbook Writing: Paul Samuelson and the Making of the First Ten Editions of Economics (1945–1976): Working Paper no. 2011-18. THEMA, 2011.

491. Giraud Y., Duarte P.G. Chasing the B: A Bibliographic Account of Economics' Relation to its Past, 1991−2011: Working Paper no. 2014-09. THEMA, 2014.

492. Goff S. Borderline: Reflections on War, Sex and Church. Eugene: Cascade Books, 2015.

493. Goldin C., Margo R.A. The Great Compression: The Wage Structure in the United States at Mid-Century: Working Paper 3817. Cambridge, MA: NBER, 1991.

494. Goldin P.R. Rituals of the Way: the Philosophy of Xunzi. Chicago: Open Court Pub., 1999.

495. Goodwin C. Comment: It's the Homogeneity, Stupid! // Journal of the History of Economic Thought. 2000. Vol. 22, No. 2.

496. Goodwin C.D. History of Economic Thought // Durlauf S.N., Blume L.E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008.

497. Goodwin N.R., Ananyin O.I., Ackerman F., Weisskopf T.E. Economics in Context: The Need for a New Textbook: Working Paper no. 00-02. Global Development and Environment Institute, 1997.

498. Goose N. Review of Guilds, Society & Economy in London 1450–1800 // Reviews in History 2003. Review no. 313. URL: http://www.history.ac.uk/reviews/review/313/

499. Gordon D. The Role of the History of Economic Thought in the Understanding of Modern Economic Theory // American Economic Review. 1965. Vol. 55, No. 1–2.

500. Gordon R., Dahl G.B. Views among Economists: Professional Consensus or Point-Counterpoint? // American Economic Review: Papers and Proceedings. 2013. Vol. 103, No. 3.

501. Ghosh B.N. The Living Ideas of Dead Economists: A Short History of Economic Thought. Wisdom House, 2001.

502. Gossen H.H. Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln. Braunsshweig, 1854.

503. Graafland J.J. Economics, Ethics and the Market: Introduction and Applications. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2007.

504. Greaves B.B. (ed.). Ludwig von Mises on Money & Inflation: A Synthesis of Several Lectures. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2010.

505. Green R.K., Watcher S.M. The American Mortgage in Historical and International Context // Journal of Economic Perspectives. 2005. Vol. 19, No. 4.

506. Green T. Joseph Stiglitz // Adbusters. 2009. July 15. URL: https://www.adbusters.org/article/joseph-stiglitz/

507. Greenhut M.L., Greenhut J.G. Our Teleological Economic World: Correlative Underpinnings of the Economic & Physical Sciences. Lanham: University Press of America, 2002.

508. Greenspan A. The Age of Turbulence: Adventures in a New World. N.Y.: Penguin, 2007.

509. Gregg P. King Charles I. Berkeley, CA: University of California Press, 1984.

510. Grint K., Woolgar S. The Machine at Work: Technology, Work and Organization. Oxford: Blackwell, 1997.

511. Groenewegen P. Eighteenth-Century Economics: Turgot, Beccaria and Smith and their Contemporaries. L., N.Y.: Routledge, 2002.

512. Groenewegen P. Teaching the History of Economic Thought at the University of Sydney: Some Reflections // History of Economics Review. 2003. No. 37.

513. Groenewegen P. The Australian Experience // History of Political Economy. 1996. Vol. 28 (Supplement).

514. Grossman G. M., Helpman E. Outsourcing on Global Economy // Review of Economic Studies. 2005. Vol. 72.

515. Grübler A. Technology and Global Change. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

516. Gualerzi D., Cibils A. High Development Theory, CEPAL and Beyond // Cardoso J.L., Marcuzzo M.C., Romero Sotelo M.E. (eds.). Economic Development and Global Crisis: The Latin Economy in Historical Perspective. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2014.

517. Guan-Zheng S. The Economics of Division of Labour from Xenophon to Hayek (1945): A Review of Selected Literature in Readings in the Economics of the Division of Labour. N.Y., Singapore: The World Scientific Publishing Co., 2005. Vol. 1.

518. Giddens A. Politics, Sociology and Social Theory. Encounters with Classical and Contemporary Social Thought. Cambridge: Polity Press, 1995.

519. Hagemann H. European émigrés and the ‘Americanization’ of Economics // The European Journal of the History of Economic Thought. 2011. Vol. 15, No. 5.

520. Haggard R.F. The Persistence of Victorian Liberalism: The Politics of Social Reform in Britain, 1870−1900. Westport: Greenwood Publishing Group, 2001.

521. Haigh C. (ed.). The Cambridge Historical Encyclopedia of Great Britain and Ireland. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1985.

522. Hainsworth F. Economics: What went wrong? An introduction to political economy. Sydney: Methuen of Australia, 1978. Vol. 1.

523. Haldane A. Foreword // Economics, Education and Unlearning: Economics Education at the University of Manchester. Manchester: Post-Crash Economics Society at the University of Manchester, 2014. URL: http://www.post-crasheconomics.com/download/778/

524. Hall B.H. University Industry Research Partnerships in the United States: Kansai Conference Paper. [S.l.], 2004. URL: http://elsa.berkeley.edu/~bhhall/papers/BHH04_Kansai.pdf

525. Hall P., Soskice D. (eds.). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundation of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press, 2001.

526. Hall S. Representation and Discourse // Smith M.J. (ed.). Social Science in Question. L.: SAGE Publications, 1998.

527. Halliwell M. American Culture in the 1950s. Edinburg: Edinburg University Press, 2007.

528. Haltom R.C. What Drives Changes in Economic Thought? Why Economists Study What They Do – and How the Crisis Might Change It // Region Focus. 2011. First Quarter.

529. Hands D.W. Orthodox and Heterodox Economics in Recent Economic Methodology // Erasmus Journal for Philosophy and Economics. 2015. Vol. 8, Iss. 1.

530. Haney L.H. History of Economic Thought: A Critical Account of the Origin and Development of the Economic Theories of the Leading Thinkers in the Leading Nations. N.Y.: The Macmillan Company, 1913.

531. Hannah L. The Rise of the Corporate Economy. Abingdon: Routledge, 1976.

532. Hara A. Japan: Guns Instead of Rice // Harrison M. (ed.). The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

533. Häring N. The End of History in Economics // Real-World Economics Review Blog. 2011. March 24. URL: http://rwer.wordpress.com/2011/03/24/the-end-of-history-in-economics/

534. Harley C.K. Trade: Discovery, Mercantilism and Technology // Floud R., Johnson P. (eds.). The Cambridge Economic History of Modern Britain. Cambridge (UK): CUP, 2008. Vol. 1.

535. Hart N. Alfred Marshall and Modern Economics: Equilibrium Theory and Evolutionary Economics. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013.

536. Harvey J.T. How Economists Contributed to the Financial Crisis // Forbes. 2012. February 6.

537. Haslam N. Dehumanization: An Integrative Review // Personality and Social Psychology Review. 2006. Vol. 10, No. 3.

538. Hassett K. Obama's Obsession Drives Progress in Reverse // Bloomberg News. 2010. August 16. URL: http://www.bloomberg.com/news/2010-08-16/obama-s-obsession-drives-progress-in-reverse-commentary-by-kevin-hassett.html

539. Hazlitt H. Introduction // Hazlitt H. (ed.). The Critics of the Keynesian Economics. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2009.

540. Heckscher E.F. The Continental System: An Economic Interpretation. N.Y.: Cosimo, 2006.

541. Hedlund S. Invisible Hands, Russian Experience, and Social Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

542. Heilbroner R. Technological Determinism Revisited // Smith M.R., Marx L. (eds.). Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism. Cambridge, MA: The MIT Press, 1994.

543. Henderson N. Britain's Decline; Its Causes and Consequences // The Economist. 1979. June 2. URL: http://www.economist.com/node/13315108/

544. Henderson W., Samuels W.J. The Etiology of Adam Smith's Division of Labor: Alternative Accounts and Smith's Methodology Applied to Them // Samuels W.J., Henderson W., Johnson K.D., Johnson M. (eds.). Essays in the History of Economics. L.: Routledge, 2004.

545. Henwood D. Beyond Globophobia // The Nation. 2003. December 1.

546. Hicks J. Causality in Economics. Oxford: Basil Blackwell, 1979.

547. Hicks J.R. Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory. Oxford: Clarendon Press, 1946.

548. Higgins J. Raymond Williams: Literature, Marxism and Cultural Materialism. N.Y.: Routledge, 1999.

549. Hildebrand G.H. Growth and Structure in the Economy of Modern Italy. L.: Oxford University Press, 1965.

550. Hines J.R. No Place like Home: Tax Incentives and the Location of R&D by American Multinationals // Poterba J.M. (ed.). Tax Policy and the Economy. Cambridge, MA: The MIT Press, 1994.

551. Hirai T. Keynes's Theoretical Development: From the Tract to the General Theory. Abingdon: Routledge, 2008.

552. Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970. Washington, DC: Government Printing Office, 1975. Part 1.

553. Hobsbawm E. The Age of Extremes: A History of the World, 1914–1991. N.Y.: Vintage Books, 1994.

554. Hodge A.W., Corea R.J., Green J.M., Retus B.A. Returns for Domestic Nonfinancial Business / Survey of Current Business. Washington, DC: U.S. Department of Commerce, 2011.

555. Hodgson G. Behind Methodological Individualism // Cambridge Journal of Economics. 1986. Vol. 10.

556. Hodgson G.M. From Micro to Macro: The Concept of Emergence and the Role of Institutions // Burlamaqui L., Castro A., Chang H.-J. (eds.). Institutions and the Role of State. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2000.

557. Hodgson G.M. How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science. L.−N.Y.: Routledge, 2001.

558. Hodgson G.M. The Evolution of Institutional Economics: Agency, Structure and Darwinism in American Institutionalism. L.−N.Y.: Routledge, 2004.

559. Holcombe R.G. Liberty and Democracy as Economic Systems // The Independent Review. 2002. Vol. VI, No. 3.

560. Holroyd M. Bernard Shaw: The One-Volume Definitive Edition. N.Y.: Random House, 1998.

561. Hoover K.D. Idealizing Reduction: The Microfoundations of Macroeconomics // Erkenntnis. 2010. Vol. 73, Iss. 3.

562. Horn K.I. Roads to Wisdom, Conversations with Ten Nobel Laureates in Economics. Northampton: Edward Elgar, 2009.

563. Howey R.C. A Bibliography of General Histories of Economics, 1692-1975. Lawrence: Regents Press of Kansas, 1982.

564. Howitt P. Endogenous Growth Theory // Durlauf S.N., Blume L.E. (eds.). The New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd Edition. Palgrave Macmillan, 2008.

565. Hsee C.K. et al. Hedonomics: Bridging Decision Research with Happiness Research // Perspectives on Psychological Science. 2008. Vol. 3, No. 3.

566. Hsee C.K., Zhang J., Cai C.F., Zhang S. Overearning // Psychological Science. 2013. Vol. 24(6).

567. Hudson M. The Creditary vs. Monetarist Debate in Historical Perspective // Bell S.A., Nell E.J. (eds.). The State, the Market and the Euro: Chartalism vs. Metallism in the Theory of Money. Northampton: Edward Elgar, 2003

568. Huebner J. A Possible Declining Trend for Worldwide Innovation // Technological Forecasting and Social Change. 2005. Vol. 72.

569. Huggins R., Izushi H. Competing for Knowledge: Creating, Connecting and Growing. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2007.

570. Hughes J. Locke's Memorandum (And More Incomplete Copyright Historiographies): Cardozo Legal Studies Research Paper no. 167. N.Y.: Yeshiva University, 2006.

571. Hughes T.P. The Evolution of Large Technological Systems // Bijker W.E., Hughes T.P., Pinch T. (eds.). The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, MA: MIT Press, 1989.

572. Humphery K. Shelf Life: Supermarkets and the Changing Cultures of Consumption. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

573. Hunt E.K. History of Economic Thought: A Critical Perspective. N.Y.: M.E. Sharpe, 2002.

574. Hutchison A. The Top 50 Inventions of the Past 50 Years // Popular Mechanics. 2005. December. URL: http://www.popularmechanics.com/technology/gadgets/a341/2078467/

575. Hutchison T.W. Historian of Economic Thought // Burns A.F. (eds.). Wesley Clair Mitchell: The Economic Scientist. N.Y.: NBER, 1952.

576. Hutchison T.W. On Revolution and Progress in Economic Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

577. Hynes H.P., Lopez R. Urban Health: Readings in the Social, Built, and Physical Environments of U.S. Cities. L.: Jones and Bartlett Publishers International, 2009.

578. Inglehart R., Welzel C. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequences. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

579. Ingram J.K. A History of Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

580. Ingraham R.D. The Anglo-Dutch Empire // Ingraham R.D. The Modern Anglo-Dutch Empire: its Origins, Evolution, and Anti-Human Outlook. [S.l.], 2008. URL: http://www.oaklandaspcomcastbiz.net/Chapter%209.html

581. Inman P. Beware False Sightings of Adam Smith's Invisible Hand // The Guardian. 2011. October 11.

582. Innovation and Commercialization of Emerging Technologies. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1995.

583. International Competition in Services. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1987.

584. Ireland R.D. et al. Understanding Business Strategy: Concepts and Cases. Mason: South-Western Cengage Learning, 2008.

585. Jacks D.S. Foreign Wars, Domestic Markets: England, 1793–1815 // European Review of Economic History. 2011. Vol. 15.

586. Jackson N., Carter P. Rethinking Organizational Behavior: A Poststructuralist Framework. L.: FT Prentice Hall, 2007.

587. Jackson W.A. Cultural Materialism and Institutional Economics // Review of Social Economy. 1996. Vol. 54, No. 2.

588. Jackson W.A. Economics, Culture and Social Theory. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.

589. Jackson R., Weller D. Nietzsche Made Simple. L.: Hodder Education, 2001.

590. Jacobson D.B., Raub B.G., Johnson B.W. The Estate Tax: Ninety Years and Counting // IRS Statistics of Income Bulletin. 2007. Vol. 27, No. 1. URL: http://www.irs.gov/pub/irs-soi/ninetyestate.pdf

591. Jaffe W. Menger, Jevons and Walras De-Homogenized // Wood J.C. (ed.). William Stanley Jevons: Critical Assessments. L.−N.Y.: Routledge, 1988.

592. Jain C.L., Tomic I.M. Essentials of Monetary and Fiscal Economics. N.Y.: Graceway Publishing Company, 1995.

593. Jain T.R., Malhotra A. Development Economics. New Delhi: FK Publications, 2010.

594. Jardine L. Britain and the Rise of Science // BBC's British History. 2011. February 17. http://www.bbc.co.uk/history/british/empire_seapower/jardineih_01.shtml

595. Jeauneau É. Rethinking the School of Chartres. Toronto: University of Toronto Press, 2009.

596. Jevons W.S. The Theory of Political Economy. L.−N.Y.: Macmillan & Co., 1888.

597. Johnson H.G. On Economics and Society: Selected Essays. Chicago: University of Chicago Press, 1975.

598. Johnson M., Meder M., Schweikhardt D. Introduction to Notes from Warren J. Samuels's Course on the Economic Role of Government // Johnson M. (ed.). Documents on Government and the Economy. Bingley: Emerald Group Publishing, 2012.

599. Jolink A. The Evolutionist Economics of Leon Walras. L.−N.Y.: Routledge, 1996.

600. Jolly J.L. The National Defense Education Act, Current STEM Initiative and the Gifted // Gifted Child Today. 2009. Vol. 32, No. 2.

601. Jong J de. Great Britain, the Industrial Revolution and the World Economy, 1780–1914 // Leidschrift. 2003. September. Jaargang 18, Nummer 2.

602. Joyce S. The Victorians in the Rearview Mirror. Athens: Ohio University Press, 2007.

603. Junker D. Introduction: Politics, Security, Economics, Culture and Society – Dimensions of Transatlantic Relations // Junker D. (ed.). The United States and Germany in the Era of the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2004a. Vol. 1.

604. Junker D. Politics, Security, Economics, Culture and Society – Dimensions of Transatlantic Relations // Junker D. (ed.). The United States and Germany in the Ear of the Cold War, 1945–1968: A Handbook. Cambridge: Cambridge University Press, 2004b. Vol. 1.

605. Kaboub F. Socialization of Investments // International Encyclopedia of the Social Sciences. Detroit: McMillan Reference USA, 2008. Vol. 7.

606. Kahneman D., Knetsch J.L., Thaler R.H. Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias // The Journal of Economic Perspectives. 1991. Vol. 5, No. 1.

607. Kaldor N. Origins of the New Monetarism. Cardiff: University College of Cardiff Press, 1981.

608. Karayiannis A.D. Democritus on Ethics and Economics // Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali. 1988. Vol. XXXV, No. 4–5.

609. Karayiannis A.D. The Eastern Christian Fathers (A.D. 350–400) on the Redistribution of Wealth // History of Political Economy. 1994. Vol. 26, Iss. 1.

610. Kates S. Defending History of Economic Thought. Cheltenham: Edward Elgar, 2013.

611. Kates S. The History of Economic Thought and Its Enemies: Unpublished manuscript. 2014. URL: http://www.vu.edu.au/sites/default/files/cses/pdfs/kates-paper.pdf

612. Kattel R., Kregel J., Reinert E.S. The Relevance of Ragnar Nurske and Classical Development Economics // Kattel R., Kregel J., Reinert E.S. (eds.). Ragnar Nurkse (1907–2007): Classical Development Economics and Its Relevance for Today. L.: Anthem Press, 2009.

613. Katz L.F., Loveman G.W., Blanchflower D.G. A Comparison of Changes in the Structure of Wages in Four OECD Countries // Freeman R.B., Katz L.F. (eds.). Differences and Changes in Wage Structures. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

614. Kawamata M. Scientific Contributions to International Journals // Ikeo A. (ed.). Japanese Economics and Economists since 1945. L.–N.Y.: Routledge, 2000.

615. Kay J. Angry Economics Students are Naïve – and Mostly Right // Financial Times. 2014. May 24. URL: https://www.ft.com/content/23da4f1e-df48-11e3-86a4-00144feabdc0

616. Keen S. Debunking Economics: The Naked Emperor of the Social Sciences. L.: Zed Books, 2004.

617. Keen S. Neoclassical Economics: Mad, Bad, and Dangerous to Know // Steve Keen's Debtwatch. 2009. March 24. URL: http://www.debtdeflation.com/blogs/2009/03/24/neoclassical-economics-mad-bad-and-dangerous-to-know/

618. Kennedy P. The Rise and Falls of Great Powers: Economic Change and Military Conflict From 1500 to 2000. N.Y.: Random House, 1987.

619. Kerr P. Knowledge without Pain // Joan Robinson's Economics: A Centennial Celebration. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2005.

620. Keynes J.M. Economic Possibilities for Our Grandchildren (1930). URL: http://www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf

621. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributions, 2006.

622. Kibler W.W., Zinn G.A. Medieval France: An Encyclopedia. L.: Routledge, 1995.

623. Kiely R. Sociology and Development: the Impasse and Beyond. N.Y.: Routledge, 1995.

624. Killion U. Modern Chinese Journey to the West: Economic Globalization and Dualism. N.Y.: Nova Science Publishers, 2006.

625. Kindleberger C. P. Historical Economics: Art or Science? Berkeley, CA: University of California Press, 1990.

626. Klaes M. Historiography // Samuels W.J., Biddle J.E., Davis J.B. (eds.). A Companion to the History of Economic Thought. Oxford: Blackwell, 2003.

627. Klages M. Literary Theory: A Guide for the Perplexed. N.Y.–L.: Continuum, 2006.

628. Klein L.R. The Keynesian Revolution. N.Y.: Macmillan, 1947.

629. Kleinknecht A., Van der Panne G. Technology and Long Waves in Economic Growth // Davis J.B., Dolfsma W. (eds.). The Elgar Companion to Social Economics. Northampton: Edward Elgar, 2008.

630. Kliman A. Reclaiming Marx's Capital: A Refutation of the Myth of Inconsistency. Lanham: Lexington Books, 2007.

631. Kolodko G.W. The Great Transformation, 1989–2009 // Hare P., Turley G. (eds.). Handbook of Economics and Political Economy of Transition. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2013.

632. Kroll D.J. Capitalism Revisited: How to Apply Capitalism in Your Life. Pittsburg: Dorrance Publishing, 2012.

633. Krugman P. 1938 in 2010 // New York Times. 2010. September 5.

634. Krugman P. How Did Economist Get It So Wrong? // New York Times. 2009. September 2.

635. Krugman P. Introduction // Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest, and Money. Macmillan, 2007a. URL: http://www.pkarchive.org/economy/GeneralTheoryKeynesIntro.html

636. Krugman P. Macro Debates and the Relevance of Intellectual History // New York Times. 2014. July 4.

637. Krugman P. Making Things in America // New York Times. 2011. May 19.

638. Krugman P. Minsky and Methodology (Wonkish) // Paul Krugman’s Column at New York Times. 2012. March 27. http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/03/27/minksy-and-methodology-wonkish/

639. Krugman P. Still Say’s Law After All These Years // New York Times. 2013a. February 10.

640. Krugman P. The Conscience of a Liberal. N.Y.: W.W. Norton & Co., 2007b.

641. Krugman P. Wynne Godley and the Hydraulics // Paul Krugman’s Column at New York Times. 2013b. http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/09/13/wynne-godley-and-the-hydraulics/?_r=0

642. Krugman P.R. The Age of Diminished Expectations: U.S. Economic Policy in the 1990s. Washington, DC: The Washington Post Company, 1997.

643. Kuhn T. The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change. Chicago: University of Chicago Press, 1977.

644. Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. With an Introductory Essay by Ian Hacking. Chicago: University of Chicago Press, 2012.

645. Kurihara K.K. Essays in Macrodynamic Economics. Albany: State University of New York Press, 1972.

646. Kurz H.D. Economic Thought: A Brief History. N.Y.: Columbia University Press, 2016.

647. Kurz H.D. Is There a “Classical” Alternative to Marginalist Theory? Some Introductory Remarks // Kurz H.D. (ed.). The Theory of Value and Distribution in Economics: Discussions Between Pierangelo Garegnani and Paul Samuelson. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2013a.

648. Kurz H.D. On the Dismal State of a Dismal What? // Kuroki R. (ed.). Keynes and Modern Economics. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2013b.

649. Kurz H.D. Technical Change // Kurz H.D., Salvadori N. (eds.). The Elgar Companion to David Ricardo. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2015.

650. Kurz H.D. Technical Progress, Capital Accumulation and Income Distribution in Classical Economics: Adam Smith, David Ricardo and Karl Marx // The European Journal of the History of Economic Thought. 2010. Vol. 17, No. 5.

651. Kurz H.D. Whither the History of Economic Thought? Going Nowhere Rather Slowly? // The European Journal of the History of Economic Thought. 2006. Vol. 13, Iss. 4.

652. Kurz H.J. Aiming for a ‘Higher Prize’ Paul Anthony Samuelson // The European Journal of the History of Economic Thought. 2010. Vol. 17, Iss. 3.

653. Kuznar L.A., Sanderson S.K. (eds.). Studying Societies and Cultures: Marvin Harris’s Cultural Materialism and Its Legacy. Boulder: Paradigm Publishers, 2007.

654. Lacey R. Ford: The Men and the Machine. L.: Heinemann, 1986.

655. Ladyman J. Understanding Philosophy of Science. L.−N.Y.: Routledge, 2002.

656. Laidler D. The Role of the History of Economic Thought in Modern Macroeconomics: Department of Economics Research Report no. 2001-6. University of Western Ontario, 2001. http://economics.uwo.ca/people/laidler_docs/theroleof.pdf

657. Lamoreaux N.R. Rethinking Microhistory: A Comment // Journal of the Early Republic. 2006. Vol. 26.

658. Lampe M. Effects of Bilateralism and the MFN Clause on International Trade – Evidence for the Cobden-Chevalier Network, 1860–1875 // The Journal of Economic History. 2009. Vol. 69, Iss. 4.

659. Landau R. The Innovative Milieu // Lundstedt S.B., Colglaizer E.W. (eds.) Managing Innovation: the Social Dimensions of Creativity, Invention and Technology. N.Y.: Pergamon Press, 1982.

660. Lane F.C. Venice, a Maritime Republic. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.

661. Larsen O.N. Milestones and Millstones: Social Science at the National Science Foundation, 1945–1991. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. 1992.

662. Lash S., Urry J. Economies of Science and Space. L.: Sage Publications, 2002.

663. Laughlin J.L. A Sketch of The History Of Political Economy // Mill J.S. Principles of Political Economy. Abridged, With Critical, Bibliographical, and Explanatory Notes, and a Sketch of the History of Political Economy, By J. Laurence Laughlin. N.Y.: D. Appleton And Company, 1885.

664. Lavoie M. Post-Keynesian Economics: New Foundations. Cheltenham, Northampton, 2014.

665. Lavoie M. Should Heterodox Economics Be Taught In Economics Departments, or Is There Any Room for Backwater Economics? Paper prepared for the session 'Teaching Economics', at the 2015 INET Annual conference, Paris, April 2015. URL: https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/Lavoie.pdf

666. Lawrence J.S. Lord Keynes and the Financial Community // Hazlitt H. (ed.). The Critics of the Keynesian Economics. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2009.

667. Lawson T. Reorienting Economics. L.: Routledge, 2003.

668. Lazonick W. Business Organization and the Myth of the Market Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

669. Leape J. Good Economists Need More Than Economics: the Multidisciplinary LSE100 Course // Coyle D. (ed.). What's the Use of Economics? Teaching the Dismal Science After the Crisis. L.: London Publishing Partnership, 2012.

670. Lee C.H. The British Economy since 1700: A Macroeconomic Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

671. Lee F. A History of Heterodox Economics: Challenging the Mainstream in the Twentieth Century. Abingdon, N.Y.: Routledge, 2009.

672. Lee F.S. Heterodox Economics // The New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd edition. Palgrave Macmillan, 2008.

673. Lee F.S. Heterodox Economics and Its Critics // Lee F.S., Lavoie M. (eds.). In Defense of Post-Keynesian and Heterodox Economics. L.–N.Y.: Routledge, 2013.

674. Lee F.S. The Ranking Game, Class, and Scholarship in American Mainstream Economics // Australasian Journal of Economics Education. 2006. Vol. 3, No. 1–2.

675. Lee F.S. To Be a Heterodox Economist: The Contested Landscape of American Economics, 1960s and 1970s // Journal of Economic Issues. 2004. Vol. XXXVIII, No. 3.

676. Leikin S.B. The Practical Utopians: American Workers and the Cooperative Movement in the Gilded Age. Detroit: Wayne State University Press, 2005.

677. Lengwiler Y. Microfoundations of Financial Economics: An Introduction to General Equilibrium Asset Pricing. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2004.

678. Letwin W. The Origins of Scientific Economics: English Economic Thought, 1660–1776. Abington: Routledge, 2003.

679. Lewchuk W. American Technology and the British Vehicle Industry. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

680. Limon G.L., Sansalvador F.L. Being Wright Is Not Enough: How to Make Your Improvement Initiatives to the Next Level. Bloomington: Author House, 2010.

681. Lipsey R.G., Carlaw K.I., Bekar C.T. Economic Transformations: General Purpose Technologies and Long Term Economic Growth. Oxford: Oxford University Press, 2005.

682. Liu L.-G., Premus R. Global Economic Growth: Theories, Research, Studies and Annotated Bibliography, 1950–1997. Westport: Greenwood Press, 2000.

683. Loades D.M. Politics and Nation. England: 1450–1660. Oxford: Blackwell, 1999.

684. Lockard C.A. Societies, Networks and Transitions: A Global History. Boston, MA: Houghton Miffin Company, 2008. Vol. 1.

685. Lodewijks J. What Price Is the History of Economics? // The Economics Student Society of Australia Website. 2014. http://economicstudents.com/2014/03/what-price-the-history-of-economics/

686. Lodge G.C. Review of How Economics Forgot History: The Problem of Historical Specificity in Social Science // Challenge. 2004. Vol. 47, No. 2.

687. Loftstrom M. Why Are Hispanic and African-American Dropout Rates So High? IZA Discussion Paper. 2007. No. 3265.

688. Logemann J.L. Trams or Tailfins? Public and Private Prosperity in Postwar West Germany and the United States. Chicago: University of Chicago Press, 2012.

689. Long R.D. Austro-Libertarian Themes in Early Confucianism // Journal of Libertarian Studies. 2003. Vol. 17, No. 3.

690. Loughran T., Ritter J. Why Has IPO Underpricing Changed Over Time // Financial Management. 2004. Autumn.

691. Louth J.L. From Newton to Newtonianism: Reductionism and the Development of the Social Sciences // Emergence. 2011. Vol. 13, No. 4.

692. Lowry S.T., Gordon B. Ancient and Medieval Economic Ideas and Concepts of Social Justice. Leiden: Koninklijke, 1998.

693. Lucas R.E. Keynote Address to the 2003 HOPE Conference: My Keynesian Education // Gilman M. (ed.). Collected Papers on Monetary Theory, by Robert E. Lucas, Jr. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013.

694. Lucas R.E. Macroeconomic Priorities // The American Economic Review. 2003. Vol. 93, No. 1.

695. Lucas R.E. On the Mechanisms of Economic Development // Journal of Monetary Economics. 1988. Vol. 22.

696. Machlup F. Professor Samuelson on Theory and Realism // The American Economic Review. 1964. Vol. 54, No. 5.

697. MacRaild D.M., Taylor A. Social Theory and Social History. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2004.

698. Macpherson C.B. Pareto's General Sociology: The Problem of Method in the Social Science // Wood J.C., McLure M. (eds.). Vifredo Pareto: Critical Assessments of Leading Economists. L.: Routledge, 1999.

699. Maddison A. The World Economy: A Millenial Perspective. Paris: OECD, 2001.

700. Magat R. Unlikely Partners: Philanthropic Foundations and the Labor Movement. N.Y.: Cornell University Press. 1999.

701. Magee G.A. Manufacturing and Technological Change // Floud R., Johnson P. (eds.). The Cambridge Economic History of Modern Britain. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Vol. II.

702. Magnusson L. Mercantilism: Critical Concepts in the History of Economics. L.: Routledge, 1995.

703. Malanima P. Decline and Growth? European Towns and Rural Economies, 1300–1600. University of Vienna, 2007.

704. Malanima P. Energy and Population in Europe: The Medieval Growth (10th–14th Centuries). Institute of Studies on Mediterranean Societies, National Research Council, 2010. URL: http://www.paolomalanima.it/default_file/Papers/MEDIEVAL_GROWTH.pdf.

705. Mallakh R.I. OPEC: Twenty Years and Beyond. L.: Croom Helm, 1982.

706. Malthus T.R. Observations on the Effects of the Corn Laws, and of a Rise or Fall in the Price of Corn on the Agriculture and General Wealth of the Country. L. Printed for J. Johnson and Co., St. Paul's Church-Yard, 1814. http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3//malthus/cornlaws

707. Mankiw G. Austrian Economics // Greg Mankiw's Blog. 2006. April 3. URL: http://gregmankiw.blogspot.ru/2006/04/austrian-economics.html

708. Manz S., Schulte Beerbühl M., Davis J.R. Migration and Transfer from Germany to Britain, 1600-1914. München: K.G. Saur, 2007.

709. Marcuzzo M.C. Is History of Economic Thought a 'Serious' Subject? // Erasmus Journal for Philosophy and Economics. 2008. Vol. 1, Iss. 1.

710. Martin H. Challenging History: Britain in the 19th Century. Cheltenham: Thomas Nelson and Sons, 1996.

711. Martin H.-P., Schumann H. The Globalization Trap: The 20–80 Society // Portland Independent Media Centre. 2004. February 19. URL: http://portland.indymedia.org/en/2004/02/280805.shtml

712. Martin R. The New 'Geographical Turn' in Economics: Some Critical Reflections // Cambridge Journal of Economics. 1999. Vol. 23, No. 1.

713. Marx L., Smith M.R. Introduction // Marx L., Smith M.R. (eds.). Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism. Cambridge, MA: MIT Press, 1994.

714. Masuda Y. The Information Society as Post-Industrial Society. Bethesda: World Future Society, 1981.

715. Mata T. Contextualizing One and Other // History of Economics Playground. 2012. May 21. URL: http://ineteconomics.org/blog/playground/contextualizing-one-and-other-eshet-2012

716. Mau V., Ulyukaev A. Global Crisis and Challenges for Russian Economic Development // Russian Journal of Economics. 2015. No. 1.

717. McCann F. The Heterogeneous Effect of International Outsourcing on Firm Productivity: Working Paper no. 2010-06. CEPII, 2010.

718. McCaughan J. The High-Tech Lever: Examining Technology's Influence on the Economy. Principal Financial Services, 2016. URL: https://www.principalglobal.com/documentdownload/41193/

719. McCloskey D. Radical Idea that Inspired the Industrial Revolution That Is: Good to Be Rich // New York Post. 2011. February 12.

720. McCloskey D.N. Knowledge and Persuasion in Economics. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

721. McCloskey D. Why Economics Is on the Wrong Track // Lanteri A., Vromen J. (eds.). The Economics of Economists. Institutional Setting, Individual Incentives, and Future Prospects. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

722. McCloskey D.N. Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

723. McCloskey D.N. Scattering in Open Fields: A Comment // Journal of European Economic History. 1980. Vol. 9, No. 1.

724. McCloskey D.N. The Rhetoric of Economics. Madison: University of Wisconsin Press, 1998.

725. McCulloch J.R. A Discourse on the Rise, Progress, Peculiar Objects, and Importance of Political Economy: Containing an Outline of a Course of Lectures on the Principles and Doctrines of that Science. Edinburgh: Printed for Archibald Constable and Co. Edinburgh; Hurst, Robinson and Co. London; and G. and J. Robinson , Liverpool, 1824.

726. McGrattan E.K., Prescott E.C. The 1929 Stock Market: Irving Fisher Was Wright: Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff Report no. 294. Minneapolis, 2003.

727. McLure M. Pareto, Economics and Society: The Mechanical Analogy. L.: Routledge, 2001.

728. McMurtry J. Understanding Market Theology // Hodgson B. (ed.). The Invisible Hand and the Common Good. Berlin: Springer, 2004.

729. Mearian L. Auto Industry Cuts the Cord on Electric Car Charging // Computer World. 2013. October 21.

730. Mearman A. Who Do Heterodox Economists Think They Are? University of the West of England Working Paper no. 915. Bristol, 2009. URL: http://carecon.org.uk/DPs/0915.pdf

731. Medema S.G., Waterman A.M.C. Introduction // Medema S.G., Waterman A.M.C. (eds.). Paul Samuelson on the History of Economic Analysis: Selected Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

732. Medema S.G., Waterman A.M.C. Paul Anthony Samuelson: Historian of Economic Thought // History of Economic Ideas. 2010. Vol. 3.

733. Mehrling P. Testing Monetarism // Challenge. 1982. Vol. 25, No. 4.

734. Mehrling P. The Problem of Time in the DSGE Model and the Post Walrasian Alternative // Colander D. (ed.). Post Walrasian Macroeconomics: Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

735. Menger C. Principles of Economics. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 1976.

736. Merchant C. Ecological Revolutions: Nature, Gender, and Science in New England. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1989.

737. Merk A. Sustainable Wealth: Achieve Financial Security in a Volatile World of Debt and Consumption. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.

738. Meyer M.W. Japan: A Concise History. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, 2009.

739. Michaelides P., Kardassi O., Milios J. Democritius and His Influence on Classical Political Economy // Seventh Conference of Greek Historians of Economic Thought. University of Athens, 2005.

740. Milanovic B. Income, Inequality and Poverty During Transition from Planned to Market Economy. Washington, DC: The World Bank, 1998.

741. Milanovic B., Lindert P.H., Williamson J.G. Pre-Industrial Inequality // The Economic Journal. 2011. Vol. 121, Iss. 551.

742. Milberg W. The Shifting and Allegorical Rhetoric of ‘Neoclassical’ Economics // Review of Social Economy. 2007. Vol. LXV, No. 2.

743. Milonakis D. Neoclassical Economics // Fine B., Saad-Filho A. Boffo M. (eds.). The Elgar Companion to Marxist Economics. Northampton: Edward Elgar, 2012.

744. Milonakis D., Fine B. From Political Economy to Economics: Method, the Social and the Historical in the Evolution of Economic Theory. L.−N.Y.: Routledge, 2009.

745. Milward A.S. War, Economy and Society, 1939−1945. Berkeley, CA: University of California Press, 1979.

746. Mirowski P. Machine Dreams: Economics Becomes a Cyborg Science. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2002.

747. Mirowski P. More Heat than Light. Economics as Social Physics: Physics as Nature’s Economics. Cambridge (UK): Cambridge University Press. 1989.

748. Mirowski P. Physics and the ‘Marginal Revolution’ // Cambridge Journal of Economics. 1984. Vol. 8.

749. Mirowski P. The Unreasonable Efficacy of Mathematics in Modern Economics // Mäki U. (ed.). Philosophy of Economics. Amsterdam: Elsevier B.V., 2012.

750. Mises L. Epistemological Problems of Economics. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2003.

751. Modigliani F. Collected Papers. Cambridge, MA: MIT Press, 1980. Vol. 1.

752. Mokyr J. Accounting for the Industrial Revolution // Johnson P., Floud R. (eds.). The Cambridge Economic History of Britain, 1700–2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Vol. 1.

753. Mokyr J. The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress. Oxford: Oxford University Press, 1990.

754. Mokyr J. The Second Industrial Revolution, 1870–1914. Northwestern University, 1998.

755. Molina L.A. Solon and the Evolution of the Athenian Agrarian Economy // Pomoerivn. 1998. Vol. 3.

756. Montes L. Newtonianism and Adam Smith // Berry C.J., Paganelli M.P., Smith C. (eds.). The Oxford Handbook of Adam Smith. Oxford: Oxford University Press. 2013.

757. Moore H. Thomas Piketty is a Rock-Star Economist – Can He Re-Write the American Dream? // The Guardian. 2014. April 27. https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/27/thomas-piketty-economist-american-dream/

758. Moreno A. Feeding the Democracy: The Athenian Grain Supply in the Fifth and Fourth Centuries BC. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 2007.

759. Morgan M. The Formation of 'Modern' Economics: Engineering and Ideology: LSE Working Paper no. 62/01. London School of Economics and Political Science, 2001.

760. Morgan M.S. The Character of 'Rational Economic Man': LSE Working Paper in Economic History no. 34/96. London School of Economics and Political Science, 1996.

761. Moscati I. More Economics, Please: We're Historians of Economics // Journal of the History of Economic Thought. 2008. Vol. 30, No. 1.

762. Moshenskyi S. History of the Weksel: Bill of Exchange and Promissory Note. N.Y.: Xlibris, 2008.

763. Mosselmans B. William Stanley Jevons and the Extent of Meaning in Logic and Economics // History and Philosophy of Logic. 1998. Vol. 19, Iss. 2. http://www.eshet.net/public//-1_mosselmans.pdf

764. Mostler T. Relativism: A Guide for the Perplexed. N.Y.: Continuum, 2008.

765. Mueller B. Dynamics of International Advertising: Theoretical and Practical Perspectives. N.Y.: Peter Lang Publishing, 2011.

766. Mukherjee S. Modern Economic Theory. New Delhi: New Age International Pubs., 2005.

767. Mumford L. Technics and Civilizations. L.: Routledge & Kegan Paul, 1955.

768. Mun T. England's Treasure by Foreign Trade: Or, The Balance of Our Foreign Trade Is the Rule of Our Treasure. Glasgow: R. & A. Foulis, 1775.

769. Mundliger C. Ancient Olive Oil Production – The Greek World, Part IV // Labyrinth (University of Waterloo magazine). 2002. Iss. 79. http://www.classics.uwaterloo.ca/labyrinth_old/issue79/Ancient%20Olive%20Oil%20Production.pdf

770. Murad A. What Keynes Means. New Heaven: Bookman Associates, 1962.

771. Murphy R. The Keynesian Corner // Townhall.com. 2008. January 26. URL: http://townhall.com/columnists/robertmurphy/2008/01/26/the_keynesian_corner/page/full/

772. Mussa M. U.S. Monetary Policy in the 1980s // Feldstein M. (ed.). American Economic Policy in the 1980s. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

773. Myrdal G. The Political Element in the Development of Economic Theory. L.: Routledge, 2002.

774. Nadiri M.I., Mamuneas T.P. R&D Tax Incentives and Manufacturing Sector R&D Expenditures // Poterba J.M. (ed.). Borderline Case: International Tax Policy, Corporate Research and Development and Investment. Washington, DC: National Academy Press, 1997.

775. Napier R. Anatomy of the Bear: Lessons from Wall Street's Four Great Bottoms. Petersfield: CLSA Books, 2007.

776. Nasar S. Grand Pursuit: The Story of Economic Genius. N.Y.: Simon & Schuster. 2011.

777. Nathanson C.E. The Militarization of the American Economy // Horowitz D. (ed.). Corporations and the Cold War. N.Y.: Monthly Review Press, 1969.

778. Nau H.H. History Matters: From Historical Economics to Modern Institutionalism // Nau H.H., Schefold B. (eds.). The Historicity of Economics: Continuities and Discontinuities of Historical Thought in 19th and 20th Century Economics. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2002.

779. Neal L. A Tale of Two Revolutions: International Capital Flows, 1789–1819 // Bulletin of Economic Research. 1991. No. 43:1.

780. Neill R. J.J. Spengler's New History of Economics. From Hope to Acceptance. 2002. URL: http://people.upei.ca/rneill/web_papers/newhisec.html

781. Nelson R.H. Economics as Religion: From Samuelson to Chicago and Beyond. University Park, PA: The Pennsylvania State University, 2001.

782. Niemark M.N. The Hidden Dimension of Annual Reports: Sixty Years of Social Conflict at General Motors. Princeton, NJ: Markus Weiner Publishers, 1995.

783. Nieuwenhuis P., Wells P. The Automotive Industry and Environment. Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2000.

784. North D.C. Transaction Costs, Institutions, and Economic History // Furubotn E.G., Richter R. (eds.). The New Institutional Economics: A Collection of Articles from the Journal of Institutional and Theoretical Economics. Tübingen: Mohr, 1991.

785. Nussbaum D. Why You're Working too Hard // Capital Ideas. 2013. Fall.

786. Nutzenadel A. Germany's Special Path? Economic Sciences and Politics in the Federal Republic, 1945−1970 // Biess F., Rosemann M., Schissler H. (eds.). Conflict, Catastrophe and Continuity: Essays on Modern German History. N.Y.: Berghahn Books. 2007.

787. O'Brein D.P. History of Economic Thought as an Intellectual Discipline // Murphy A.E., Prendergast R. (eds.). Contributions to the History of Economic Thought. Essays in Honour of R.D.C. Black. L.: Routledge, 2000.

788. O'Brien D.P. Marshall's Industrial Analyses // Wood J.C. (ed.). Alfred Marshall: Critical Assessments. L.: Routledge, 1996.

789. O'Connell S. The Car in British Society: Class, Gender and Motoring, 1896-1939. Manchester: Manchester University Press, 1998.

790. O'Mara M.P. Cold War Science and the Search for the Next Silicon Valley. Princeton: Princeton University Press, 2005.

791. O'Rourke K. H., Williamson J.G. From Malthus to Ohlin: Trade, Growth and Distribution Since 1500: Working Paper 8955. Cambridge, MA: NBER, 2002.

792. Oakley T.P. Penitential Discipline and Anglo-Saxon Law in Their Joint Influence. N.Y., 1923.

793. Oaksford M., Chater N., Stenning K. Connectionism, Classical Cognitive Science and Experimental Psychology // Clark A., Lutz R. (eds.). Connectionism in Context. Heidelberg: Springer, 2010.

794. Ober J. Fortress Attica: Defense of the Athenian Land Frontier, 404–322 B.C. Leiden: E.J. Brill, 1985.

795. Occupational Projections and Training Data: 2008–2009. Washington, DC: U.S. Department of Labor, 2008.

796. Ofek E., Richardson M. DotCom Mania: The Rise and Fall of Internet Stock Prices // The Journal of Finance. 2003. Vol. LVIII, No. 3.

797. Olasky M.N. The Aborted Debate Within Public Relations: An Approach Through Kuhn's Paradigm // Grunig J.E., Grunig L.A. (eds.). Public Relations Research Annual. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1989. Vol. 1.

798. Oliner S.D., Sichel D.E., Stiroh K.J. Explaining a Productive Decade: Finance and Economics Discussion Series Working Paper no. 63. The Brookings Institution, 2007.

799. Overton M. Agricultural Revolution in England: The Transformation of the Agrarian Economy, 1500–1850. 4th printing. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2004.

800. Overton M. Agricultural Revolution in England: The Transformation of the Agrarian Economy, 1500–1850. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1996.

801. Owen G. Where are the Big Gorillas? High Technology Entrepreneurship in the UK and the Role of Public Policy. London School of Economics, 2004. http://cep.lse.ac.uk/seminarpapers/09-05-05-OWE.pdf

802. Ozgur M.E. Dismal Science in Its Historical Context // European Journal of Social Sciences. 2011. Vol. 19, No. 3.

803. Padro F.F. Statistical Handbook of the Social Safety Net. Westport: Greenwood Press, 2004.

804. Palma N. History of Economics or a Selected History of Economics? MPRA Paper no. 511. 2007. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/5111/

805. Panda T.K. Branding – Paradigms and Prognostications. Hyderabad: ICFAI University Press, 2005.

806. Paraschiv M. Economics and Brahms. 2011. URL: http://whystudyeconomics.ac.uk/During-your-study/student-views/economics-and-brahms/

807. Parker R. Reflections of the Great Depression. Northampton: Edward Elgar, 2002.

808. Parker W.D. (2006). Methodological Individualism vs. Methodological Holism: Neoclassicism, Institutionalism and Socionomic Theory. Paper presented at the joint annual congress of the International Association for Research in Economic Psychology (IAR EP) and the Society for the Advancement of Behavioral Economics (SABE), University of Paris (Sorbonne), Paris, France, July 5–8, 2006. http://www.socionomics.org/pdf/neoclassicism_institutionalism.pdf

809. Pavlik J. About the Misinterpretations of Hayek's Theory of Spontaneous Order and their Negative Impacts on the Transformation Programme in the Czech Republic // E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy (ISSN 1211-0442). 1999. http://nb.vse.cz/kfil/elogos/ethics/pavlik-3.htm

810. Paxton R.O., Hessler J. Europe in the Twentieth Century. Boston: Wadsworth, 2011.

811. Peart S.J. Jevons and Menger Re-Homogenized?: Jaffe After 20 Years – W.S. Jevons, C. Menger, William Jaffe – Special Invited Symposium on the Foundations of Neoclassical Economics // American Journal of Economics and Sociology. 1998. June.

812. Peden G.C. Keynes and His Critics: Treasury Responses to the Keynesian Revolution, 1925–1946. Oxford: Oxford University Press, 2004.

813. Penslar D.J. Shylock's Children: Economics and Jewish Identity in Modern Europe. Berkeley, CA: University of California Press, 2001.

814. Peoples J., Bailey G. Humanity: An Introduction to Cultural Anthropology. Stamford: Cengage Learning, 2012.

815. Perez C. Financial Bubbles, Crisis and the Role of Government in Unleashing Golden Age: FINNOV Discussion Paper no. 2.12. L., 2012.

816. Perez C. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2002.

817. Perez C. Technological Revolutions and Techno-Economic Paradigms: TOC/TUT Working Paper no. 20. Tallinn: TOC/TUT, 2009a.

818. Perez C. Technological Roots and Structural Implications of the Double Bubble at the Turn of the Century: CERF Working Paper no. 31. Cambridge (UK): Cambridge Endowment for Research in Finance, 2009b.

819. Piketty T. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014.

820. Pimlott H.F. Access, Democracy and Technology in Community Television in Canada // Wyatt S., Henwood F., Miller N., Senker P. (eds.). Technology and In/Equality: Questioning the Information Society. L., N.Y.: Routledge, 2000.

821. Pinar W.F. Curriculum Studies in the United States: Present Circumstances, Intellectual Histories. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2013.

822. Porter T.M. Rigor and Practicality: Rival Ideals of Quantification in Nineteenth-Century Economics // Mirowski P. (ed.). Natural Images in Economic Thought: Markets Read in Tooth and Claw. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

823. Prechel H. Big Business and the State: Historical Transitions and Corporate Transformations, 1880s- 1990s. Albany: State University of New York Press, 2000.

824. Prentice A. Historical Sketches and Personal Recollections of Manchester Intended to Illustrate the Progress of Public Opinion From 1792 to 1832. L., 1851.

825. Prychitko D.L. Toward an Interpretive Economics: Some Hermeneutical Issues // Methodus. 1990. December.

826. Quiggin J. Zombie Economics: How Dead Ideas Still Walk Among Us. Princeton: Princeton University Press, 2012.

827. Quinn S. Money, Finance and Capital Markets // Floud R., Johnson P. (eds.). The Cambridge Economic History of Modern Britain. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2008. Vol. I.

828. Quinn S. Securitization of Sovereign Debt: Corporations as a Sovereign Debt Restructuring Mechanism in Britain, 1688–1750: Working Paper 200701. Texas Christian University, 2006. URL: http://www.economichistory.ucla.edu/conferences/quinnucla.pdf

829. Quinn S. Tallies or Reserves? Sir Francis Child's Balance between Capital Reserves and Extending Credit to the Crown, 1685–1695 // Business and Economic History. 1994. Vol. 23, No. 1.

830. Quinn S. The Glorious Revolution of 1688 // EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. April 17, 2003. URL: http://eh.net/encyclopedia/the-glorious-revolution-of-1688/

831. Rae J.B. American Automobile Manufactures: The First Forty Years. Randor, PA: Chilton Co. Book Division, 1959.

832. Ravier A. The History of Thought in the Education of an Economist // Laissez-Faire. 2010. No. 33.

833. Redburn T. It's All a Grand Capitalist Conspiracy // The New York Times. 2007. September 29.

834. Rehmke G. Property Rights and Law among the Ancient Greeks // The Freeman: Ideas on Liberty. 1997. Vol. 47, Iss. 2.

835. Reinert E.S. Competiveness and Its Predecessors – a 500-year Cross-National Perspective. Oslo: STEP Report, 1994.

836. Reinert E.S. Economics: 'The Dismal Science' or 'The Never-Ending Frontier of Knowledge'. On Technology, Energy, and Economic Welfare // Norwegian Oil Review. 1996. Vol. 22, No. 7.

837. Reinert E.S. Introduction // Reinert E.S. (ed.). Globalization, Economic Development and Inequality: An Alternative Prospective. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2004

838. Reinert E.S. Johann Heinrich Gottlob von Justi – The Life and Times of an Economist Adventurer // Backhaus J.G. (ed.). The Beginnings of Political Economy: Johann Heinrich Gottlob von Justi N.Y.: Springer Science + Business Media, 2009.

839. Reinert E.S. Karl Bücher and the Geographical Dimensions of Techno-Economic Change // Backhaus J. (ed.). Karl Bücher: Theory, History Anthropology, Non-Market Economies. Marburg: Metropolis Verlag, 2000.

840. Reinert E.S. The Terrible Simplifers: Common Origins of Financial Crises and Persistent Poverty in Economic Theory and the new '1848 Moment': Working Paper 88. N.Y.: UN DESA, 2009.

841. Reinert E.S., Daastøl A. The Other Canon: the History of Reinaissance Economics // Reinert E.S. (ed.). Globalization, Economic Development and Inequality: An Alternative Prospective. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2004.

842. Reinert E.S., Reinert S.A. Mercantilism and Economic Development. Shumpeterian Dynamics, Institution Building and International Benchmarking // Jomo K.S., Reinert E.S. (eds.). The Origins of Development. How Schools of Economic Thought Have Addressed Development. New Delhi: Shahpur Jat, 2005.

843. Renton D. Dissident Marxism: Past Voices for Present Times. N.Y.: Zed Books, 2004.

844. Richleson H., Richleson S. Bonds: The Unbeaten Path to Secure Investment Growth. Hoboken, NJ: John Willey & Sons, 2011.

845. Rifkin J. The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is transforming Energy, the Economy, and the World. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011.

846. Rifkin J. The Third Industrial Revolution: How the Internet, Green Electricity, and 3-D Printing Are Ushering in a Sustainable Era of Distributed Capitalism // The World Financial Review. 2012. March 3. URL: http://www.worldfinancialreview.com/?p=2271

847. Rigby S.H. Marxism and History: A Critical Introduction. Manchester, N.Y.: Manchester University Press, 1998.

848. Robbins L. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. L.: MacMillan, 1932.

849. Robinson J. Contributions to Modern Economics. N.Y.: Academic Press, 1978.

850. Roche J. The International Wool Trade. Cambridge: Woodhead Publishing, 1995.

851. Rockoff H. The United States: From Ploughshares to Swards // Harrison M. (ed.). The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2000.

852. Rodrik D. Economics Rules: Why Economics Works, When It Fails, and How to Tell the Difference. Oxford: Oxford University Press, 2015.

853. Romer C. Great Depression. Forthcoming paper for Encyclopædia Britannica. [Berkeley, 2003]. URL: https://eml.berkeley.edu/~cromer/Reprints/great_depression.pdf

854. Romer C.D., Romer D.H. The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks: NBER Working Paper 13264. Cambridge, MA: NBER, 2007.

855. Romer P.M. Mathiness in the Theory of Economic Growth // American Economic Review: Papers & Proceedings. 2015. Vol. 105, No. 5.

856. Roncaglia A. Should the History of Economic Thought Be Included in Undergraduate Curricula // Economic Thought. 2014. Vol. 3, No. 1.

857. Roncaglia A. The Wealth of Ideas: A History of Economic Thought. N.Y.: Cambridge University Press, 2005.

858. Rorty R. Method, Social Science, and Social Hope // Seidman S. (ed.). The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1994.

859. Rosser J.B. Jr., Holt R., Colander D. (eds.). European Economics at a Crossroads. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing, 2010.

860. Rostow W.W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. N.Y.: Cambridge University Press, 1991.

861. Rothbard M.N. A Note on Mathematical Economics. 2009. URL: http://mises.org/daily/3638

862. Rothbard M.N. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2006. Vol. 1.

863. Rothbard M.N. Mercantilism as the Economic Aspect of Absolutism. 2010a. May 6. URL: http://mises.org/daily/4300

864. Rothbard M.N. Mercantilism in England. 2010b. May 27. URL: https://mises.org/daily/4433

865. Rozov N.S. The Historical Macrosociology: Formation, Fundamental Areas of Research and Types of Models // Sociology: History, Theory, and Practices. Vol. 10: Bridging the World Together. Moscow: Institute of Socio-Political Research RAS, 2009. URL: http://www.nsu.ru/filf/rozov/eng/rozov-historical-macrosociology.htm

866. Rutherford M. Institutional Economics: Then and Now // Journal of Economic Perspectives. 2001. Vol. 15, No. 1.

867. Sachs J.D. The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity. N.Y.: Random House, 2012.

868. Saez E. Striking it Richer: The Evolution of Top Incomes in the United States. Berkeley, CA: University of California, 2009. URL: http://elsa.berkeley.edu/~saez/saez-UStopincomes-2007.pdf; http://elsa.berkeley.edu/~saez/tabfig2007.xls

869. Saint-Etienne C. The Great Depression, 1929–1938: Lessons for the 1980s. Stanford, CA: Hoover Press Publication, 1984.

870. Saito O. Forest History and the Great Divergence: China, Japan and the West // Journal of Global History. 2009. Vol. 4, No. 3.

871. Salvary S. C.W. The ‘Pure Science’ Approach to Economics and Monetary Policy // Journal of Business & Public Affairs. 2002. Vol. 29, No. 1.

872. Samuels W.J., Johnson K.D., Johnson M. What the authors of history-of-economic-thought textbooks say about the history of economic thought // Samuels W.J., Henderson W., Johnson K.D., Johnson M. (eds.). Essays in the History of Economics. L.: Routledge, 2004.

873. Samuelson P. The Passing of the Guard in Economics // Eastern Economic Journal. 1988. Vol. 14, No. 4.

874. Samuelson P.A. Modern economic realities and individualism // Stiglitz J. (ed.). The Collected Scientific Papers of Paul A. Samuelson. Cambridge, MA: MIT Press, 1966. Vol. 2.

875. Samuelson P.A. Out of the Closest: A Program for the Whig History of Economic Science // History of Economic Science Bulletin. 1987. Vol. 9, No. 1.

876. Samuelson P.A. Reflections of How Biographies of Individual Scholars Can Relate to a Science’s Biography // Samuelson P.A., Barnett W.A. (eds.). Inside the Economists Mind: Conversations with Eminent Economists. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.

877. Santos A.C. Behavioral and Experimental Economics: Are They Really Transforming Economics? // Cambridge Journal of Economics. 2011. Vol. 35, No. 4.

878. Sauer E. Paper-Contestations and Textual Communities in England, 1640–1675. Toronto: University of Toronto Press, 2005.

879. Scazzieri R., Zamagni S. Between Theory and History: on the Identity of Hicks’s Economics // Scazzieri R., Sen A., Zamagni S. (eds.). Markets, Money and Capital: Hicksian Economics for the Twenty-First Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

880. Schabas M. The ‘Worldly Philosophy’ of William Stanly Jevons // Victorian Studies. 1984. Vol. 28, No. 1.

881. Schabas M. The Oeconomy of Nature: An Interview with Margaret Schabas // Erasmus Journal for Philosophy and Economics. 2013. Vol. 6, No. 2.

882. Schabas M. World Ruled by Number: W. S. Jevons and the Rise of Mathematical Economics. Princeton: Princeton University Press, 1990.

883. Shackle G.L.S. The Years of High Theory: Invention and Tradition in Economic Thought, 1926-1939. Cambridge: Cambridge University Press, 1967.

884. Scheidel W. Great Leverer: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty First Century. Princeton: Princeton University Press, 2017.

885. Schelling T.C. The Strategy of Conflict. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.

886. Schilder A. Government Failures and Institutions in Public Policy Evaluation: The Case of Dutch Technology Policy. Assen: Van Gorcum Group & Company, 2000.

887. Schleifer R. Modernism and Time: The Logic of Abundance in Literature, Science and Culture, 1880–1930. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2000.

888. Schonhardt-Bailey C. Free Trade: The Repeal of the Corn Laws. Bristol: Thoemmes Press, 1995.

889. Schrödinger E. What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1944. URL: http://whatislife.stanford.edu/LoCo_files/What-is-Life.pdf

890. Schulz N. The Human Capital Imperative: Bringing New Minds to America. Washington, DC: National Chamber of Commerce, 2012.

891. Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism and Democracy. L.–N.Y.: Routledge, 1994.

892. Schumpeter J. Economic Doctrine and Method: An Historical Sketch. N.Y.: Oxford University Press, 1954.

893. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond // Foreign Affairs. 2015. December 12.

894. Schweikart L. Doti L. P. American Entrepreneur: The Fascinating Stories of the People Who Defined Business in the United States. N.Y.: AMACON, 2010.

895. Science and Engineering Indicators 2008. Arlington: National Science Foundation, 2008. Vol. 1.

896. Scitovszky A. The Employment Act of 1946 // Social Security Bulletin. 1946. Vol. 9, No. 3.

897. Screpanti E., Zamagni S. An Outline of the History of Economic Thought. Oxford: Oxford University Press, 2005.

898. Sen A. Adam Smith's Market Never Stood Alone // Financial Times. 2009. March 10.

899. Senn P.R. George Joseph Stigler (1911–1992) // Backhouse J.G. (eds.). The Elgar Companion to Law and Economics. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2005.

900. Senn P.R. The Theory and Measurement of Influence in the History of Economic Thought // Backhouse J.G. (eds.). Political Economy, Linguistics and Culture. N.Y.: Springer Science & Business Media, 2008.

901. Sent E.-M. The Evolving Rationality of Rational Expectations: An Assessment of Thomas Sargent's Achievements. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1998.

902. Setterfield M. What Is Analytical Political Economy? // International Journal of Political Economy. 2003. Vol. 33, No. 2.

903. Shionoya Y. Joseph Alois Schumpeter: The Economist of Rhetoric // Backhaus J. (ed.). Handbook of the History of Economic Thought: Insights on the Founders of Modern Economics. Heidelberg: Springer, 2012.

904. Shionoya Y. Reflections on Schumpeter's History of Economic Analysis In Light of His Universal Social Science // Henderson J.P. (ed.). The State of the History of Economics: Proceedings of the History of Economics Society. L.: Routledge, 1997.

905. Shionoya Y. Schumpeter and the Idea of Social Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

906. Siegfried J.J. Job Openings for Economists // American Economic Review: Papers & Proceedings. 2016. Vol. 106. No. 5.

907. Silva J.M. Coming Up Short: Working-Class Adulthood in an Age of Uncertainty. N.Y.: Oxford University Press, 2013.

908. Silver L.M. Remaking Eden: Cloning and Beyond in a Brave New World. N.Y.: Avon, 1997.

909. Silverberg G., Verspagen B. Breaking the Waves: A Poisson Regression Approach to Schumpeterian Clustering of Basic Innovations // Cambridge Journal of Economics. 2003. No. 27.

910. Singh R. Indian Economy for Civil Services Examinations. New Delhi: McGraw-Hill, 2010.

911. Skidelsky R. John Maynard Keynes: The Economist as Savior. N.Y.: Penguin Books, 1992.

912. Skidelsky R. Study Economic History // New York Times Room for Debate. 2012. April 1. URL: http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/04/01/how-to-teach-economics-after-the-financial-crisis/study-economic-history/

913. Skidelsky R. The Influence of the Great Depression on Keynes's 'General Theory' // History of Economics Review. 1996. Winter-Summer.

914. Skirbekk G., Gilje N. A History of Western Thought: From Ancient Times to the Twentieth Century. L.–N.Y.: Routledge, 2001.

915. Skousen M. The Big Three in Economics: Adam Smith, Karl Marx and John Maynard Keynes. N.Y.: M.E. Sharpe, 2007.

916. Smart B. Consumer Society: Critical Issues and Environmental Consequences. L.: SAGE Publications, 2010.

917. Smelthurst R.J. Takahashi Korekiyo's Fiscal Policy and the Rise of Militarism in Japan during Great Depression // Edström B. (ed.). Turning Points in Japanese History. L.: Japan Library, 2002.

918. Smil V. Made in the USA: The Rise and Retreat of American Manufacturing. Cambridge, MA: The MIT Press, 2013.

919. Smiley G. Cutting Marginal Tax Rates: Evidence from the 1920s // FEE. 1996. October 1. URL: https://fee.org/articles/cutting-marginal-tax-rates-evidence-from-the-1920s/

920. Smith B. M. A History of the Global Stock Market: From Ancient Rome to Silicon Valley. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

921. Snodgrass M.E. Clifts Notes On Heilbroner The Worldly Philosophers. Nebraska: Clifts Notes Inc., 1990.

922. Snowdon C. Selfishness, Greed and Capitalism: Debunking Myths about the Free Market. L.: The Institute of Economic Affairs, 2015.

923. Solomou S. Kondratieff Long Waves in Economic Growth, 1850–1913 // Review: A Journal of the Fernand Braudel Center. 1987. Vol. 10, No. 3.

924. Solomou S. Phases of Economic Growth: Kondratieff Waves and Kuznets Swings. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1990.

925. Solow R. How to Save American Finance from Itself: has financialization gone too far? // New Republic. 2013. April 8. URL: http://www.newrepublic.com/article/112679/how-save-american-finance-itself/

926. Solow R.M. Comments from Inside Economics // Klamer A., McCloskey D.N., Solow R.M. (eds.). The Consequences of Economic Rhetoric. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1988.

927. Solow R.M. Growth Theory and After // Nobel Lectures in Economic Sciences (1981–1990) – The Sveriges Riksbank (Bank of Sweden) Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Singapore: World Scientific Publishing, 1992.

928. Solow R.M. How Did Economics Get that Way and What Way Did It Get // Bender T., Schorske C.E. (eds.). American Academic Culture in Transformation: Fifty Years, Four Disciplines. Princeton: Princeton University Press, 1998.

929. Sorkin A.R. Why Uber Keeps Raising Billions // New York Times. 2016. June 21. URL: http://www.nytimes.com/2016/06/21/business/dealbook/why-uber-keeps-raising-billions.html?_r=0

930. Spiegel H.W. The Growth of Economic Thought. Durham: Duke University Press, 1991.

931. Spring J.H. Pedagogies of Globalization: The Rise of Educational Security State. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006.

932. Stabile D. Theories of Consumption and Waste: Institutional Foreshadowings in Classic Writings // Journal of Economic Issues. 1996. Vol. 30, No. 3.

933. Stabile D.R., Kozak A.F. Markets, Planning and the Moral Economy. Business Cycles in the Progressive Era and New Deal. Northampton: Edward Elgar Publishing, 2012.

934. Stanfield R. Kuhnian Scientific Revolutions and the Keynesian Revolution // Journal of Economic Issues. 1974. Vol. 8, No. 1.

935. Stark W. History and Historians of Political Economy. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1994.

936. Stark W. The History of Economics: In Its Relation to Social Development. L.: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1944.

937. Statistical Abstract of the United States. Washington, DC: U.S. Census Bureau, 1878–2017. URL: http://www.census.gov/library/publications/time-series/statistical_abstracts.html

938. Stefanović Z., Mitrović B. The Contribution Of Radical Political Economy To Understanding The Great Recession // Facta Universitatis. Series: Economics and Organization. 2011. Vol. 8, No. 4.

939. Steele G.R. Keynes and Hayek: The Money Economy. L.–N.Y.: Routledge, 2001.

940. Steele H. Microhistory and Macrohistory: Different Approaches to the Analysis of History. [S.l., 2005]. URL: https://historiasenconstruccion.wikispaces.com/file/view/macromicro.pdf

941. Stehr N., Ericson R. The Culture and Power of Knowledge // Stehr N., Ericson R. (eds.). The Culture and Power of Knowledge: Inquires into Contemporary Societies. Berlin: de Gruyter, 1992.

942. Steigerwald D. Wilsonian Idealism in America. N.Y.: Cornell University Press, 1994.

943. Stigler G. Does Economics Have a Useful Past? // History of Political Economy. 1969. Vol. 1(2).

944. Stigler G. Does Economics Have a Useful Past? // Stigler G. The Economist as Preacher and Other Essays. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

945. Stiglitz J.E. The Book of Jobs // Vanity Fair. 2012. January.

946. Stilwell F. Pluralism in Economics: Challenges by and for Heterodoxy // Courvisanos J., Doughney J., Millmow A. (eds.). Reclaiming Pluralism in Economics. N.Y.: Routledge, 2016.

947. Stirk P.M. Critical Theory, Politics and Society: An Introduction. L.: Continuum, 2000.

948. Streissler E.W. The Influence of German Economics on the Work of Menger and Marshall // Caldwell B.J. (eds.). Carl Menger and His Legacy in Economics. Durham: Duke University Press, 1990.

949. Stockhammer E., Ramskogler P. Post-Keynesian Economics – How to Move Forward // Lee F.S., Lavoie M. (eds.). In Defense of Post-Keynesian and Heterodox Keynesian. N.Y.: Routledge, 2013.

950. Sturgeon T.J., Memedovic O. Mapping Global Value Chains: Intermediate Goods Trade and Structural Change in the World Economy. Vienna: UNIDO, 2011.

951. Syll L.P. Amartya Sen on the state of modern economics // Lars P. Syll's Blog. 2012. July 24. URL: https://larspsyll.wordpress.com/2012/07/24/amartya-sen-on-the-state-of-modern-economics/

952. Szenberg M., Ramrattan L., Gottesmann A.A., Arrow K.J. Introduction: The Significance of Paul Samuelson in the 21st Century // Szenberg M., Ramrattan L., Gottesmann A.A. (eds.). Samuelsonian Economics and the Twenty-First Century. Oxford: Oxford University Press, 2006.

953. Tabb W.K. Reconstructing Political Economy: The Great Divide in Economic Thought. N.Y.: Routledge, 1999.

954. Tadajewski M. The Ordering of Marketing Theory: the Influence of McCarthyism and the Cold War // Marketing Theory. 2006. Vol. 6, Iss. 2.

955. Taleb N.N. Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance on Life and Markets. N.Y.: Random House, 2005.

956. Taleb N.N. The Black Swan: The Impact of Highly Improbable. N.Y.: Random House, 2010.

957. Tanzi V., Schuknecht L. Public Spending in the 20th Century. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2000.

958. Taylor F.W. The Principles of Scientific Management. Charleston, S.C.: Forgotten Books, 2008.

959. Taylor L. Maynard's Revenge: The Collapse of Free Market Macroeconomics. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.

960. Taylor M.Z. The Politics of Innovation: Why Some Countries Are Better Than Others at Science & Technology. Oxford: Oxford University Press, 2016.

961. Technological Trends in Major American Industries. Washington, DC: U.S. Department of Labour, 1966.

962. Tellis A.J. Preserving Hegemony: The Strategic Tasks Facing the United States // Tellis A.J., Kuo M., Marble A. (eds.). Challenges and Choices. Seattle, WA: National Bureau of Asian Research, 2008.

963. Termini V. A Note on Hicks's 'Contemporaneous Causality' // Cambridge Journal of Economics. 1984. Vol. 8, Iss. 1.

964. Thaler R.H. From Homo Economicus to Homo Sapiens // Journal of Economic Perspectives. 2000. Vol. 14, No. 1.

965. The Economic Effects of Significant U.S. Import Restrains. Sixth Update. Washington, DC: U.S. International Trade Commission, 2009.

966. The Facts about Modern Manufacturing 2009. Washington, DC: Manufacturing Institute, 2009.

967. Theocarakis N.J. A Commentary on Alessandro Roncaglia's paper: 'Should the History of Economic Thought be Included in Undergraduate Curricula?' // Economic Thought. 2014. Vol. 3, No. 1.

968. Thoma M. Re-Kindleberger // Economist's View (Mark Thoma's Blog). 2011. April 10. URL: http://economistsview.typepad.com/economistsview/2011/04/re-kindleberger.html

969. Thomas M. The Service Sector // Floud R., Johnson P. (eds.). The Cambridge Economic History of Modern Britain. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2008. Vol. II.

970. Thompson N. Theorizing Social Work Practice. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2010.

971. Thompson R.A. Counseling Techniques: Improving Relationships with Others, Ourselves, Our Families, and Our Environment. N.Y.: Taylor & Francis Group, 2003.

972. Thompson W. Postmodernism and History. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2004.

973. Thornton T.B. From Economics to Political Economy: The Problems, Promises and Solutions of Pluralist Economics. N.Y.: Routledge, 2016.

974. Tieben B. The Concept of Equilibrium in Different Economic Traditions. A Historical Investigation. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2009.

975. Tieben B., Keizer W. Introduction: Austrian Economics in Debate // Tieben B., Keizer W., van Zijp R. (eds.). Austrian Economics in Debate. L.: Routledge, 1997.

976. Tinel M. FAPE and the Open Letter // VI Annual Conference in Political Economy. Leeds, 2015. URL: http://iippe.org/wp/wp-content/uploads/2015/10/20150911-Tinel-IIPPE-plenary.pdf

977. Todaro M.P., Smith S.C. Economic Development. Harlow: Person Education, 2009.

978. Tokaryk T. Keynes, Storytelling, and Realism: Literary and Economic Discourse in Rohinton Mistry's A Fine Balance // Canadian Literature/Études en littérature canadienne. 2005. Vol. 30, No. 2. URL: http://journals.hil.unb.ca/index.php/scl/article/view/15288/16383

979. Torgler B., Piatti M. A Century of American Economic Review. N.Y.: Macmillan, 2013.

980. Toynbee A. Lectures on the Industrial Revolution in England: Popular Addresses, Notes, and other Fragments. L.: Rivingtons, 1884.

981. Treatser J.B. Paul Volcker: The Making of Financial Legend. Hoboken, NJ: Wiley, 2004.

982. Trebilcock M., Winter R.A., Collins P., Laccobuchi E.M. The Law and Economics of Canadian Competition Policy. Toronto: University of Toronto Press, 2002.

983. Tsai H.-L. Information Technology and Business Process Reengineering: New Perspectives and Strategies. Westport: Praeger Publishers, 2003

984. Turk M. The Idea of History in Constructing Economics. N.Y.: Routledge, 2016.

985. Turner M.S. Joan Robinson and the Americans. N.Y.: M.E. Sharpe, 1989.

986. Tvede L. Business Cycles: From John Law to the Internet Crash. L.: Routledge, 2001.

987. Tversky A., Kahneman D. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases // Science. 1974. Vol. 185, No. 4157.

988. Twiss T. View of the Progress of Political Economy in Europe since the Sixteenth Century. L.: Longman, Brown, Green, and Longmans, Paternoster Row, 1847.

989. Udehn L. Methodological Individualism: Background, History and Meaning. L.: Routledge, 2001.

990. Understanding the Benefits of the Smart Grid. Washington, DC: National Energy Technology Laboratory, 2010.

991. Vail C. Keynes' 15 Hour Workweek Revisited // Capital Ideas Blog. 2014. August. URL: https://www.chicagobooth.edu/capideas/blog/2014/august/keyness-15-hour-workweek-revisited

992. van Ark B., Inklaar R., McGuckin R.H. The Contribution of ICT-Producing and ICT-Using Industries to Productivity Growth: A Comparison of Canada, Europe and the United States // International Productivity Monitor. 2003. No. 3 (Spring).

993. van Asselt M.B.A. Perspectives on Uncertainty and Risk: the PRIMA Approach to Decision Support. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.

994. van de Vall M. Labour Organizations: A Macro- and Micro-Sociological Analyses on a Comparative Basis. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1970.

995. Varian H.R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. N.Y.: W.W. Norton, 2010.

996. Vass T.E. Equal Rights for All. Special Privileges for None. Re-Examining the Anti-Federalist Populist Heritage of Freedom. Sarasota: First Edition Design Publishing, 2014.

997. Vernengo M. Jean Tirole Is Afraid of Heterodox Economics // Naked Keynesianism Blog. 2015. February 24. URL: http://nakedkeynesianism.blogspot.ru/2015/02/jean-tirole-is-afraid-of-heterodox.html

998. Viner J. Legislative Proposals of Mercantilists. Studies in the Theory of International Trade. N.Y.: Harper & Brothers, 1965.

999. Viner J., Irwin D.A. Essays on the Intellectual History of Economics. Princeton: Princeton University Press, 1991.

1000. Wallis J., Dollery B. Market Failure, Leadership and Public Policy. N.Y.: St. Martin's Press, 1999.

1001. Wark M. 50 Years of Recuperation of the Situationist International, 1957–2007. N.Y.: Princeton Architectural Press, 2008.

1002. Weber W. Music and the Middle Class: The Social Structure of Concert Life in London, Paris and Vienna between 1830 and 1848. Burlington, VT: Ashgate Publishing, 2004.

1003. Weinstein M. Paul A. Samuelson, Economist, Dies at 94 // The New York Times. 2009. December 13.

1004. Weintraub E R. Economic Science Wars // Journal of the History of Economic Thought. 2007. Vol. 29, Iss. 3.

1005. Weintraub E.R. Economics Science Wars. [Porto, 2006]. URL: http://www.eshet.net/public/lecture%203.pdf

1006. Weintraub E.R. Legitimate contribution to H of E: Unpublished Manuscript. S.l., 1996. URL: http://eh.net/pipermail/hes/1996-September/005765.html

1007. Weintraub E.R. Making Economic Knowledge: Reflections on Golinski's Constructivist History of Science // Journal of the History of Economic Thought. 2001. Vol. 23, Iss. 2.

1008. Weintraub E.R. Telling the story of MIT Economics in the 1940s. [Berlin, 2012]. URL: http://public.econ.duke.edu/~erw/190/MIT-Contexts-Berlin.pdf

1009. Weintraub E.R. Telling the Story of MIT Economics; Pickering A. The History of Economics and the History of Agency // Henderson P.J. (ed.). The State of the History of Economics: Proceedings of the History of Economic Thought Society. L.: Routledge, 1997.

1010. Weis D. Everlasting Wisdom. Trowbridge (UK): Paragon Publishing, 2010.

1011. Weisskopf T.E. Reflections on 50 Years of Radical Political Economy // Review of Radical Political Economics. 2014. Vol. 46, No. 4.

1012. Wen-Hsin Y. Shanghai Splendor: Economic Sentiments and Making of Modern China, 1843-1949. Berkeley, CA: University of California Press, 2007.

1013. Wessel D. Big U.S. Firms Shift Hiring Abroad. Work Forces Shrink at Home, Sharpening Debate on Economic Impact of Globalization // The Wall Street Journal. 2011. April 19.

1014. Wessel D. Olivier Blanchard's Five Lessons for Economists from the Financial Crisis // The Wall Street Journal Blog. 2013. April 1. URL: http://blogs.wsj.com/economics/2013/04/01/olivier-blanchards-five-lessons-for-economists-from-the-financial-crisis/

1015. Weyl E.G. Introduction: Simon Kuznets, Cautions, and Empiricist of the Eastern European Jewish Diaspora // Lo S., Weyl E.G. (eds.). Jewish Economies: Development and Migration in America and Beyond. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2012.

1016. White E.N. Lessons from the Great American Real Estate Boom and Bust of the 1920s: NBER Working Paper 15573. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2009.

1017. White L. Medieval Technology and Social Change. Oxford: Oxford Univ. Press, 1962.

1018. White L.A. Modern Capitalist Culture. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, 2008.

1019. White L.H. The Clash of Economic Ideas: The Great Policy Debates and Experiments of the Last Hundred Years. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

1020. Wiessen S.J. Creating the Nazi Market Place: Commerce and Consumption in the Third Reich. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2011.

1021. Wigemore B. A. The Crash and Its Aftermath: A History of Securities Market in the United States, 1929–1933. Westport, CT: Greenwood Press, 1985.

1022. Winch D. Introduction // Winch D., O'Brien P.K. (eds.). The Political Economy of British Historical Experience, 1688–1914. N.Y.: Oxford University Press, 2002.

1023. Wood N. Foundations of Political Economy: Some Early Tudor Views on State and Society. Berkeley, CA: University of California Press, 1994.

1024. Woods T. Beginning Postmodernism. Manchester: Manchester University Press, 1999.

1025. World Development Report 1987. Washington, DC: The World Bank, 1987.

1026. World Economic Outlook, October 1996. Washington, DC: IMF, 1997.

1027. World Economic Outlook, October 2000. Washington, DC: IMF, 2000.

1028. Worrall D.M. The Anglo-German Concertina: A Social History: in 2 volumes. Fulshear, TX: Concertina Press, 2010.

1029. Wright S. Molecular Politics: Developing American and Britain Regulatory Policy for Genetic Engineering, 1972–1982. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

1030. Wunderlich J.-U., Warrier M. A Dictionary of Globalization. L.: Routledge, 2007.

1031. Yarrow A.L. Measuring America: How Economic Growth Came to Define American Greatness in the Late 20th Century. Cambridge, MA: University of Massachusetts Press, 2013.

1032. Ying S.-H. Economic Growth and Transition: Econometric Analysis of Lim's S-Curve Hypothesis. Singapore: World Scientific Publishing, 2010.

1033. Yonay Y.P. The Struggle over the Soul of Economics: Institutionalist and Neoclassical Economists in America between the Wars. Princeton: Princeton University Press, 1998.

1034. Zakai A. Jonathan Edwards's Philosophy of Nature: The Re-Enchantment of the World in the Age of Scientific Reasoning. L.–N.Y.: T&T Clark International, 2010.

1035. Zhu X. Study of Government Incentives and Enterprise Technological Innovations Based on Evolutionary Game // Cheng D. (ed.). Advances in Electrical Engineering and Electrical Machines. Berlin: Springer, 2011.